



РАЗДУМЬЕ

(РАЗНЫЯ ВАРИАЦІИ НА СТАРЫЯ ТЕМЫ).

Содержаніе: I. Записки одного молодого человека. II. Еще раз записка от
того молодого человека. III. По поводу одной драмы. IV. Картины и раздумье.
V. Сорока-воровка. Подпись. VI. Изъ сужденія доктора Крукова о душевных
болѣзняхъ вообще и объ индивидуальномъ развитіи болѣзней въ особенности. VII. По
несколько вариантовъ на старыя темы. VIII. Несколько замѣчаній объ историческомъ
развитіи чести. IX. Письма изъ „Авеню Миддлъ“. X. Сфера. XI. Дистан-
ты въ раздѣлѣ и дистанты-романы. XII. Письма ученыхъ и Буддизмъ въ
общемъ.

МОСКВА

1870

Дмитрій Наркиссовичъ

Маминъ.

РАЗДУМЬЕ.

(РАЗНЫЯ ВАРІАЦІИ НА СТАРЫЯ ТЕМЫ).

МОСКВА.

Изданіе Е. А. Троянъ.

1870.

РАЗДАМЪ

РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ НА СТАРЫЕ ТЕМЫ

Печатня С. П. Яковлева, Спиридоновка, домъ гр. Бобринскаго.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
I. Записки одного молодого человѣка.	3
II. Еще изъ записокъ одного молодого человѣка.	31
III. По поводу одной драмы.	67
IV. Капризы и раздумье.	93
V. Сорока-воровка. Повѣсть.	109
VI. Изъ сочиненія доктора Крунова „о душевныхъ болѣз- няхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности“.	135
VII. Новыя варіаціи на старыя темы	165
VIII. Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести..	181
IX. Письма изъ „Avenue Marigny“.	203
X. Гофманъ.	267
XI. Дилеттантизмъ въ наукѣ и Дилеттанты-романтики. . . .	285
XII. Цехъ ученыхъ и Буддизмъ въ наукѣ	323

ОТВАРЕНІЕ

1. Число, когда и где открыто
2. Каким образом открыто
3. Кто открыл
4. В каком месте
5. В каком часу
6. В каком месте
7. В каком часу
8. В каком месте
9. В каком часу
10. В каком месте
11. В каком часу
12. В каком месте
13. В каком часу
14. В каком месте
15. В каком часу
16. В каком месте
17. В каком часу
18. В каком месте
19. В каком часу
20. В каком месте
21. В каком часу
22. В каком месте
23. В каком часу
24. В каком месте
25. В каком часу
26. В каком месте
27. В каком часу
28. В каком месте
29. В каком часу
30. В каком месте
31. В каком часу
32. В каком месте
33. В каком часу
34. В каком месте
35. В каком часу
36. В каком месте
37. В каком часу
38. В каком месте
39. В каком часу
40. В каком месте
41. В каком часу
42. В каком месте
43. В каком часу
44. В каком месте
45. В каком часу
46. В каком месте
47. В каком часу
48. В каком месте
49. В каком часу
50. В каком месте
51. В каком часу
52. В каком месте
53. В каком часу
54. В каком месте
55. В каком часу
56. В каком месте
57. В каком часу
58. В каком месте
59. В каком часу
60. В каком месте
61. В каком часу
62. В каком месте
63. В каком часу
64. В каком месте
65. В каком часу
66. В каком месте
67. В каком часу
68. В каком месте
69. В каком часу
70. В каком месте
71. В каком часу
72. В каком месте
73. В каком часу
74. В каком месте
75. В каком часу
76. В каком месте
77. В каком часу
78. В каком месте
79. В каком часу
80. В каком месте
81. В каком часу
82. В каком месте
83. В каком часу
84. В каком месте
85. В каком часу
86. В каком месте
87. В каком часу
88. В каком месте
89. В каком часу
90. В каком месте
91. В каком часу
92. В каком месте
93. В каком часу
94. В каком месте
95. В каком часу
96. В каком месте
97. В каком часу
98. В каком месте
99. В каком часу
100. В каком месте

Литвинъ Вонифатъевичъ

ВУСНОВЪ

I.

ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДАГО ЧЕЛОВѢКА.

РОСІЙСКОЕ
ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВООРУЖЕНІЕ

ЗАКОНЪ О ПОДЪЕМѢ

ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДАГО ЧЕЛОВѢКА.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Твое предложеніе, другъ мой, удивило меня. Нѣсколько дней я думалъ о немъ. Въ эту грустную, томную, безцвѣтную эпоху жизни; въ этотъ болѣзненный переломъ, который еще Богъ-вѣсть чѣмъ кончится «писать мои воспоминанія». Мысль эта сначала испугала меня; но когда мало-по-малу образы давно-прошедшіе наполнили душу, окружили радостной вереницей,—мнѣ жаль стало разстаться съ ними,—и я рѣшился писать, для-того, чтобъ остановить, удержать воспоминанія, пожить съ ними подольше; мнѣ такъ хорошо было подъ ихъ вліяніемъ, такъ привольно... Сверхъ-того, думалось мнѣ, пока я буду писать, подольется вешняя вода и смоетъ съ мели мою барку.

А странно! Съ начала юности искалъ я дѣятельности, жизни полной; шумъ житейскій манилъ меня; но едва я началъ жить, какая-то *bufera infernal* завертѣла меня, бросила далеко отъ людей, очертила кругъ дѣятельности карманнымъ циркулемъ, велѣла сложить руки. Мнѣ пришлось въ молодости испытать отраду стариковъ: перебирать бывшее и, вмѣсто того, чтобъ жить въ-самомъ-дѣлѣ—записывать прожитое. Дѣлать нѣчего! я вздохнувши принялся за перо; но едва написалъ страницу, какъ мнѣ стало легче; тягость настоящаго дѣлалась менѣ чувствительна; моя веселость возвращалась; я оживалъ самъ съ прошедшимъ: разстояніе между нами исчезало. Моя работа стала мнѣ нравиться, я увлекался ею и, какъ комаръ Крылова, «изъ Ахиллеса сталъ Омпромъ»; и почему же нѣтъ, когда я прожилъ свою Илліаду?.. Цѣлая часть жизни окончена; я вступилъ въ новую область; тутъ другіе нравы, другіе люди: почему же не остановиться, перейдя межу, пока пройденное еще ясно видно? почему не проститься съ нимъ по-братски когда оно того стоитъ? Каждый день насъ отдаляетъ другъ отъ друга, а возвращенія нѣтъ. Моя тетрадка будетъ надгробнымъ

памятникомъ доли жизни, канувшей въ вѣчность. Въ ней будетъ записано, сколько я схоронилъ себя.—Но скучна будетъ Илліада чловѣка обыкновеннаго, ничего несовершившаго, и жизнь наша течетъ теперь по такому прозаическому, гладко-скошенному полю, таѣ исполнена благоразумія и осторожности, etc. etc.—Я не вѣрю этому; нѣтъ, жизнь столько же разнообразна, ярка, исполнена поэзи, страстей, коллизій, какъ житье-бытье рыцарей въ среднихъ вѣкахъ, какъ житье-бытье Римлянъ и Грековъ. Да и о какихъ совершеніяхъ идетъ рѣчь? Кто жилъ умомъ и сердцемъ, кто провелъ знойную юность, кто чловѣчески страдалъ съ каждымъ страданіемъ и сочувствовалъ каждому восторгу, кто можетъ указать на нее и сказать: «вотъ моя подруга», на него и сказать: «вотъ мой другъ»: тотъ совершилъ кое-что. „Каждый чловѣкъ“ говоритъ Гейне: „есть вселенная, которая съ нимъ родилась и съ нимъ умираетъ; подъ каждымъ надгробнымъ камнемъ погребена цѣлая всемірная исторія“—и исторія каждаго существованія имѣетъ свой интересъ; это понимали Шекспиръ, Вальтеръ-Скоттъ, Тенъеръ, вся фламандская школа: интересъ этого состоитъ въ зрѣлищѣ развитія духа подъ вліяніемъ времени, обстоятельствъ, случайностей, растягивающихъ, укорачивающихъ его нормальное, общее направленіе.

Какая-то тайная сила заставила меня жить: тутъ моего мало: для меня избрано время, въ немъ мое владѣніе; у меня нѣтъ на земли прошедшаго, ни будущаго не будетъ черезъ нѣсколько лѣтъ. Откуда это тѣло, крѣпости котораго удивлялся Гамлетъ, я не знаю. Но жизнь мое естественное право; я распоряжаюсь хозяиномъ въ ней,двигаю свое „я“ во все окружающее, борюсь съ нимъ, раскрываю свою душу всему, всасываю ея весь міръ, переплавляю его какъ въ горнилѣ, сознаю свою связь съ чловѣчествомъ, съ безконечностью—и будто исторія этого вырабатыванія отъ ребяческой непосредственности, отъ этого покойнаго сна на лонѣ матери, до сознанія, до требованія участія во всемъ чловѣческомъ, до самобытной жизни—лишена интереса. Не можетъ быть!

Но довольно.

Съ восхищеніемъ переживу я еще мои 25 лѣтъ, сдѣлаюсь опять ребенкомъ съ голой шеей, сяду за азбуку, потомъ встрѣчусь съ нимъ

тамъ, на Воробьевыхъ Горахъ, и уиюсь еще разъ всеѣмъ блаженствомъ первой дружбы; и тебя вспомню я, „старый домъ“—

Въ этой комнатѣ счастье былое

Дружба родилась и выросла тамъ,

А теперь запустѣнье глухое

Паутины висятъ по угламъ.

Потомъ и вы, товарищи аудиторін, окружите меня, и съ тобою, мой ангелъ, я увижусь на кладбищѣ...

О, съ какимъ восторгомъ встрѣчу я каждое воспоминаніе... Выходите же изъ гроба. Я каждое прижму къ сердцу и съ любовью положу опять въ гробъ...

I.

РЕВЯЧЕСТВО.

Das Höchste was wir von Gott und der Natur erhalten haben ist das Leben...

Göthe.

До пяти лѣтъ я ничего ясно не помню, ничего въ связи... Голубой полъ въ комнатѣ, гдѣ я жилъ; большой садъ и въ немъ множество воронъ. Идучи въ садъ, надобно было проходить сарай; тутъ обыкновенно сидѣлъ кучеръ Мосей съ огромной бородой, который ласкалъ меня и на котораго я смотрѣлъ съ какимъ-то по-добострастіемъ; съ нимъ, кажется, ни за какія блага въ мірѣ я не рѣшился бы остаться на-единѣ. Тогда при мнѣ уже была М-те Рговеаи, которая водила меня за руку по лѣстницѣ, занималась моимъ воспитаніемъ и, сверхъ-того, по дружбѣ, въ свободные часы, присматривала за хозяйствомъ. Еще года два-три наполнены смутными, неясными воспоминаніями; потомъ мало-по-малу образы яснѣютъ; какъ деревья и горы, изъ-за тумана вырѣзываются мелкія подробности дѣтства и крупныя событія, о которыхъ все говорили и которыя дошли даже до меня. Помню смерть Наполеона. Радовались, что Богъ прибралъ это чудовище, о которомъ было предсказано; проникательные не вѣрили его смерти; болѣе-проникательные увѣрили, что онъ въ Греціи. Всѣхъ больше радовалась одна богомольная старушка, скитавшаяся изъ дома въ домъ по бѣд-

ности, и не работавшая по *благородству*: она не могла простить Наполеону пожаръ въ Звенигородѣ, при которомъ сгорѣли двѣ комнаты ея, связанныя съ нею нѣжнѣйшей дружбой. Разказами о пожарѣ Москвы меня убаюкивали; сверхъ-того у меня были карты, гдѣ на каждую букву находилась каррикатура на Наполеона съ острыми двустипшями, на-примѣръ:

Широко Французъ въ плечахъ, ничто его неймётъ,

Авось-либо моя нагайка зашибетъ.

и съ еще-болѣе острыми изображеніями; напр. Наполеонъ ѣдетъ на свинѣ, и проч. Мудрено ли, что и я радовался смерти его?— Помню умерщвленіе Коцебу. За что Зандъ убилъ его, я никакъ не могъ понять, но очень помню, что племянникъ М-ше Proveau, гезель въ аптекѣ на Маросейкѣ, отъ котораго всегда пахло ребарбаромъ съ розовымъ масломъ, человѣкъ отчаянный и ученый, приносилъ картинку, на которой былъ представленъ юноша съ длинными волосами и рассказывалъ, что онъ убилъ почтеннаго старика, что юношѣ отрубили голову.

Я былъ совершенно одинъ; игрушки стали скоро мнѣ надоѣдать, а ихъ у меня было много: чего-чего не дарилъ мнѣ дядюшка! И кухню, въ которой готовился недѣли три обѣдъ, готовился бы и до сего дня и часа, ежели бъ я не отклеилъ задней стѣны, чтобъ подсмотрѣть секретъ,—и избу, покрытую мохомъ, въ которой обиталъ купидонъ, весь въ фольгѣ, и *lanterne magique*, занимавшій меня всего болѣе... Вотъ является на стѣнѣ яркое пятно и больше ничего; чего не надумаешься тутъ: что-то явится въ этихъ лучахъ славы и вогнутаго стекла... Вдругъ выступаетъ слонъ, увеличивается, уменьшается, точно живой; иной разъ пройдетъ вверхъ ногамъ, чего живому слону и не сдѣлать; потомъ Давидъ и Голиафъ дерутся и двигаются оба вмѣстѣ; потомъ арапъ, черный какъ моська Карла Ивановича, камердинера дядюшки (и она уже умерла, бѣдная крапка!) Весело было смотрѣть на такое общество и вверхъ головою и вверхъ ногами. Но не доставало важнаго пополненія: нѣкому было мнѣ показать его, и потому я часто покидалъ игрушки и просилъ Лизавету Ивановну что-нибудь рассказать, смиренно садился на скамеечку и часы цѣлые слушалъ ее съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ. Молчаливость не принадлежала къ числу

добродѣтелей М-me Proveau: она не заставляла повторять просьбу и, продолжая вязать свой чулокъ, начинала рассказъ. Вязала она безпрестанно. Я полагаю, еслибы сшить вмѣстѣ все связанное ею въ 58 лѣтъ, то вышла бы фуфайка, ежели не шару земному, то лунѣ (ей же и нужнѣе для ночныхъ прогулокъ). Дай Богъ ей царство небесное! недолго пережила она Наполеона и умерла такъ же далеко отъ своей родины, какъ онъ—только въ другую сторону. Но что же она мнѣ рассказывала? Во-первыхъ—это была ея любимая тема—какъ покойный мужъ ея былъ какимъ-то метр-д'отелемъ въ масонской ложѣ; какъ она разъ зашла туда: все обтянуто чернымъ сукномъ, а на столѣ лежитъ черепъ на двухъ шпагахъ... и дрожалъ какъ оспновый листъ, слушая ее. На стѣнахъ висятъ портреты, и ежели кто измѣнить, стрѣляютъ въ портретъ, а оригиналъ падаетъ мертвый, хотя бы онъ былъ за тридевять земель, въ тридесятимъ государствѣ. Потомъ рассказывала она интересные отрывки изъ исторіи французской революціи: какъ опять-таки покойный сожитель ея чуть не попалъ на фонарь; какъ кровь текла по улицамъ, какіе ужасы дѣлалъ *Робеспьерръ*,—и отрывки изъ собственной своей исторіи: какъ она жила при дѣтихъ у одного помѣщика въ Тверской Губерніи, который увѣрилъ ее, что у него по саду ходятъ медвѣди. „Ну, вотъ, я и пошла разъ уфѣ садъ, гляжу, гляжу, идетъ медвѣдь пристрашучій: я только ахъ! и въ обморокъ“—а почтенный сожитель чуть не выстрѣлилъ въ медвѣдя; кажется, за тѣмъ дѣло стало, что съ нимъ не было ружья; а медвѣдь былъ камердинеръ барина, который велѣлъ ему надѣть шубу шерстью вверхъ.“ Господи, какъ нравились мнѣ рассказы эти! я ихъ послѣ долго искалъ въ „Тысячѣ—Одной Ночи“—и не нашель.

Въ русской грамотѣ мы оба тогда были недалеки: съ-тѣхъ-поръ я выучился по толкамъ, а Лизавета Ивановна умерла и можетъ доучиваться изъ первыхъ рукъ у Кирилла и Меодія.

Однако горестное время ученія подступило. Разъ вечеромъ, батюшка говорилъ съ дядюшкой, не отдать ли меня въ пансіонъ. Фу! услышавъ это ужасное слово, я чуть не умеръ отъ страха, выбѣжалъ въ дѣвичью и горько заплакалъ: ночью просыпался—осматривался, не въ пансіонѣ ли я, и старался увѣрить себя, что страшное слово только приснилось. Однако батюшка рѣшился воспи-

тивать меня дома. И воспитанье мое началось, какъ разумѣтся, съ французской грамоты. М-г Bouchot—первое лицо, являющееся возлѣ Лизаветы Ивановны въ дѣлѣ моего воспитанія; вслѣдъ за нимъ выступаетъ Карлъ Карловичъ. М-г Bouchot былъ Французъ изъ Меца, а Карлъ Карловичъ Нѣмецъ изъ Сарепты и училъ музыкѣ. Параллель этихъ людей не безъ занимательности. Мужчина высокаго роста, совершенно плѣшивый, кромѣ двухъ трехъ пасмъ волосъ безконечной длины на вискахъ, вѣчно въ синемъ фракѣ толстаго сукна, на стаметовой подкладкѣ—таковъ былъ М-г Bouchot; важность впечатлѣвалась не только въ каждомъ поступкѣ его, но въ каждомъ движеніи (онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой; голова у него ни разу не гнулась съ-тѣхъ-поръ, какъ перестали его целовать, а это было очень-давно, лѣтъ полтора-стому назадъ).

Ко всему этому надобно прибавить французскую фізіономію конца прошлаго вѣка, съ огромнымъ носомъ, нависшими бровями—одну изъ тѣхъ фізіономій, которыя можно видѣть на хорошихъ гравюрахъ, представляющихъ народныя сцены временъ федераціи. Я боялся Бушо, особенно сначала. Карлъ Карловичъ былъ тоже высокъ, но такъ тонокъ и гибокъ, что походилъ на развернутый англійской футъ, который на каждомъ дюймѣ гнется въ обѣ стороны; фракъ у него былъ сѣренкій, съ перламутровыми пуговицами; панталоны черные, какой-то непонятной допотопной матеріи: онъ смиренно прятался въ сапоги à la Souvaroff, съ кисточками, и ихъ онъ выписывалъ изъ Сарепты; онъ свободно бралъ своими сухими, едва-обтянутыми сморщившейся кожей пальцами около двухъ октавъ на фортепьяно. Имѣя такой рѣшительный талантъ, мудрено ли, что Карлъ Карловичъ посвятилъ себя мусикійскому игранію? Карлъ Карловичъ провелъ свою жизнь въ чистѣйшей нравственности; это было одно изъ тѣхъ тихихъ, кроткихъ нѣмецкихъ существъ, исполненныхъ простоты сердечной, кротости и смиренія, которыя, неузнанныя никѣмъ, но счастливыя въ своемъ маленькомъ кружочкѣ, живутъ, любятъ другъ друга, играютъ на фортепьяно и умираютъ тихо, кротко, какъ жили. Онъ былъ женатъ въ незапамятныя времена; я пилъ малагу на золотой свадьбѣ его, и право старичекъ и старушка любили другъ друга, какъ въ медовый мѣсяцъ.

Изъ сказаннаго можно себѣ составить понятіе о Карлѣ Карло-

вчѣ: это лицо изъ легендъ реформаціи, изъ времени пуританизма во всей чистотѣ его. И Бушо былъ человѣкъ добрый, такъ точно, какъ лошадь—звѣрь добрый, по инстинкту, и къ нему однако, какъ къ лошади, не всякій рѣшился бы подойти, ближе размѣра ноги и копыть. Онъ уѣхалъ изъ Парижа въ самый разгаръ революціи, и, припоминая теперь его слова и лицо, я воображаю, что *sitoyen Bouchot* не былъ лишнимъ или празднымъ ни при взятіи Бастиліи, ни 10 августа: онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца и тамошней соборной церкви; о революціи онъ почти-никогда не говорилъ, но какъ-то грозно улыбаясь молчалъ о ней. Холостой, серьезный, важный, онъ со мной не тратилъ словъ, спрягалъ глаголы, диктовалъ изъ *les Incas de Marmontel*, разставлялъ послѣ *accent grave* и *aigu*, отмѣчалъ на полѣ сколько ошибокъ, бранился и уходилъ, опираясь на огромную сучковатую палку;—его никто никогда не билъ.

Не смотря на занимательность педагоговъ, я скучалъ; мнѣ нѣкуда было дѣть мою дѣятельность, охоту играть, потребность раздѣлять впечатлѣнія и игры съ другими дѣтьми. Одинъ товарищъ, одна подруга была у меня—Берта, полу-шарлотъ и полу-испанская собака батюшки. Много дѣлилъ я съ нею времени, запрягалъ ее бывало, ѣздилъ на ней верхомъ, дразнилъ ее, а въ зимніе дни сидѣлъ съ нею у печки: я пою пѣсни, а она спитъ—и время идетъ незамѣтно. Тогда она была ужь очень-стара, а все еще кокетничала и носила длинныя уши съ мохнатой коричневой шерстью. Не я одинъ любилъ Берту: лакей нашъ Яковъ Игнатьевичъ не могъ пережить ея, просто умеръ съ горя и съ вина, черезъ недѣлю послѣ ея смерти. Кромѣ Берты, былъ у меня еще ресурсъ: дѣти повара, никогда неутиравшія носъ и вѣчно валявшіяся гдѣ-нибудь въ дряни на дворѣ. Но съ ними играть было мнѣ строго запрещено, и я, побѣждая разныя опасности, могъ едва на нѣсколько минутъ ускользнуть на дворъ, чтобъ порубить съ ними ледъ около кухни зимою, или замараться въ грязи лѣтомъ. Сверхъ того, я и играть почти не умѣлъ съ другими: малѣйшая оппозиція меня бѣсила, отъ-того что игрушки не перечили ни въ чемъ; а дѣти вообще большіе демократы и не терпятъ товарища, который беретъ верхъ надъ ними.

Между-тѣмъ, важныя обстоятельства совершались. Лизавета Ивановна занемогла. Домовый лекаръ сказалъ, что это легкая простуда, затопилъ ей внутренность ромашкой, залѣпилъ болѣзнь мушкой и очень удивился, заставъ однимъ добрымъ утромъ свою выздоравливающую на столѣ. Да; она умерла. Карлъ Карловичъ былъ ея душеприкащикомъ и тогда поссорился съ племянникомъ Лизаветы Ивановны, каретникомъ Шмалцгофомъ, у котораго носъ былъ красно-фіолетовый. Какъ теперь помню ея похороны: я провожалъ тѣло старухи на католическое кладбище, и плакалъ.

Въ жизни моей много перемѣнилось: кончились рассказы Лизаветы Ивановны, кончилось патриархальное царствованіе ея надо мною; кончилась непомѣрная благодѣтельность, съ которой она вступалась за обиды, нанесенныя мнѣ. Словомъ, весь прежній бытъ низпровергнулся; во время Лизаветы Ивановны ходила за мною няня столько же добрая, какъ она, Вѣра Артамоновна, какъ двѣ капли воды похожая на индѣйку въ косынкѣ: такая же шея въ складочкахъ и морщинахъ; тотъ же видъ *ingénu*. Теперь приставили ко мнѣ камердинера Ванюшку, которому я обязанъ первыми основаніями искусства курить табакъ (завертывая его въ мокрую бумажку, свернутую трубочкой) и богатой фразеологіей, въ которой хозяиномъ раскинулся русскій духъ. Время, въ которое ребенка передаютъ съ женскихъ рукъ въ мужскія,—эпоха, переломъ; съ мальчикомъ это бываетъ лѣтъ въ семь, восемь; съ дѣвочкой лѣтъ въ семнадцать, восемнадцать.

Ребятчество оканчивалось преждевременно; я бросилъ игрушки и принялся читать. Такъ иногда въ теплые дни февраля наливаются почки на деревьяхъ, подвергаясь ежедневно погибнуть отъ мороза и лишить дерево лучшихъ соковъ. За книги принялся я скуки ради—само-собою разумѣется не за учебныя. Развившаяся охота къ чтенію выучила меня очень-скоро по-французски и по-нѣмецки, и съ тѣмъ вмѣстѣ послужила вѣчнымъ препятствіемъ доучиться. Первая книга, которую я прочелъ *con amore*, была „Лолотта и Фанфанъ“, вторая „Алексисъ или домикъ въ лѣсу“. Съ легкой ручки мамзель Лолотты, я пустился читать безъ выбора, безъ усталы, понимая, непонимая, старое и новое, трагедіи Сумарокова, „Россіаду“, „Россійскій Оеатръ“ etc. etc. И, повторяю, это неумѣренное чтеніе было важнымъ препятствіемъ ученію. Покидая какой-нибудь томъ

„Дѣтей Аббатства“ и весь занятый лордомъ Мортимеромъ, могъ ли я съ охотой заниматься грамматикой и спрягать глаголѣ *aïner* съ его адъютантами *être* и *avoir*, послѣ того какъ я зналъ, какъ спрягается онъ жизнію и въ жизни. Къ-тому же, романы я понималъ, а грамматику нѣтъ; то, что теперь кажется такъ ясно текущимъ изъ здраваго смысла, тогда представлялось какими-то путями, нарочно выдуманными затрудненіями. Бушо не любилъ меня и съ сквернымъ мнѣніемъ обо мнѣ уѣхалъ въ Мецъ. Досадно! когда поѣду во Францію, заверну къ старику. Чѣмъ же мнѣ убѣдить его? Онъ измѣряетъ человѣка знаніемъ французской грамматики и то не какой-нибудь, а именно восьмымъ изданіемъ Ломонодовой—а я только не дѣлаю ошибокъ на санскритскомъ языкѣ, и то потому-что не знаю его вовсе. Чѣмъ же? Есть у меня доказательство—ну ужь, это мой секретъ, а старикъ сдастся, какъ-бы только онъ не поторопился на тотъ свѣтъ;—впрочемъ, я и туда поѣду: мнѣ очень хочется путешествовать.

Перечитавъ всѣ книги найденныя мною въ сундукѣ, стоявшемъ въ кладовой, я сталъ промышлять другія, и провизоръ на Маросейкѣ, приносившій когда-то занцовъ портретъ и всегда запахъ ребарбара съ розой, прислалъ мнѣ засаленные и опцианные томы Лафонтена; томы эти совершенно свели меня съ ума. Я началъ съ романа „Der Sonderling“ и пошелъ, и пошелъ!.. Романы поглотили все мое вниманіе: читая, я забывалъ себя въ камлотовой курточкѣ, и переселялся послѣдовательно въ молодого Бургарда, Алкивиада, Ринальдо Ринальдини и т. д. Но какъ мое уметвенное обжорство не знало мѣры, то вскорѣ не достало въ фармаціи на Маросейкѣ романовъ, и я началъ отыскивать вездѣ всякую дрянъ, между-прочимъ отрылъ и „Письмовникъ Курганова“—этотъ блестящій предшественникъ извѣстной нравственно-сатирической школы въ нашей литературѣ. Богатымъ запасомъ истинъ и анекдотовъ украсилъ Кургановъ мою память; даже до-сихъ-поръ не забыты нѣкоторые, напр.: „Нѣкій польскій шляхтичъ вѣтрогоннаго нрава, желая оконфузить одного ученаго, спросилъ его, что значить оболъ, параболъ, фариболъ. Сей отвѣчалъ ему“ и т. д.. Можете въ самомъ источникѣ почерпнуть острый отвѣтъ.

Полезныя занятія Кургановымъ и Лафонтеномъ были вскорѣ

прерваны новымъ лицомъ. Къ человѣку французской грамоты присоединился человѣкъ русской грамматики, Василій Евдокимовичъ Пациферскій, студентъ медицины. Господи Боже мой, какъ онъ бывало, стучить дверью, когда придетъ, какъ снимаетъ галоши, какъ топаеть. Волосы носилъ онъ ужасно длинные и никогда не чесалъ ихъ по выходѣ изъ Рязанской Епархіальной Семинаріи: на иностранныхъ словахъ ставилъ онъ дикія ударенія школы, а французскія щедро снабжалъ греческой λ и русскимъ з на концѣ. По благодарность студенту медицины: у него была теплая человѣческая душа, и съ нимъ съ первымъ сталъ я заниматься, хотя и не съ самаго начала.

Пока дѣло шло о грамматикѣ, которая шла въ корню, и о географіи и ариметикѣ, которыя бѣжали на пристяжкѣ, Пациферскій находилъ во мнѣ упорную лѣнь и разсѣянность, приводившую въ удивленіе самаго Бушо, неудивлявшагося ничему (какъ было сказано), кромѣ соборной церкви въ Мецѣ. Онъ не зналъ, что дѣлать, не принадлежа къ числу записныхъ учителей, готовыхъ за билетъ часъ цѣлый толковать свою науку каменной стѣнѣ. Василій Евдокимовичъ краснѣя бралъ деньги и нѣсколько разъ хотѣлъ бросить уроки. Наконецъ онъ перемѣнилъ одну пристяжную и, наскоро прочитавши въ Геймѣ, изданномъ Титомъ Каменецкимъ, о ненужной и только для баланса выдуманной части свѣта Австраліи, принялся за исторію, и вмѣсто того, чтобъ задавать въ Шрекѣ *до отмытки ногтемъ*, онъ мнѣ рассказывалъ, что помнилъ и какъ помнилъ; я долженъ былъ на другой день ему повторять *своими* словами, и исторіей началъ заниматься съ величайшимъ прилежаніемъ. Пациферскій удивился и, утомленный моею лѣнью въ грамматикѣ, онъ поступилъ какъ настоящій студентъ, положилъ ее къ сторонѣ, и, вмѣсто того, чтобъ мучить меня мѣстничествомъ между е и ѣ, онъ принялся за *словесность*. Повторяю, у него душа была человѣческая, сочувствовавшая иззящному—и лѣнивый ученикъ, занимавшійся во время класса вырѣзываніемъ іероглифовъ на столѣ, быстро усвоивалъ себѣ школьно-романтическія воззрѣнія будущаго медико-хирурга. Уроки Пациферскаго много способствовали къ раннему развитію моихъ способностей. Въ двѣнадцать лѣтъ я помню себя совершеннымъ ребенкомъ, не смотря на чте-

ніе романовъ; черезъ годъ я уже любилъ заниматься, и мысль пробудилась въ душѣ, жившей дотолѣ однимъ дѣтскимъ воображеніемъ.

Но въ чемъ же состояло преподаваніе словесности Василія Евдокимовича,—мудрено сказать; это было какое-то отрицательное преподаваніе. Принимаясь за реторику, Василій Евдокимовичъ объявилъ мнѣ, что она пустѣйшая вѣтвь изъ всѣхъ вѣтвей и сучковъ древа познанія добра и зла, вовсе ненужная; ибо кому Богъ не далъ способности красно говорить, того ни Квинтиліанъ, ни Цедеронъ не научать; а кому далъ, тотъ родился съ риторикой. Послѣ такого введенія, онъ началъ по порядку толковать о фигурахъ, метафорахъ, хризахъ. Потомъ онъ мнѣ предписалъ *diurna manu nocturnaque* переворачивать листы *Образцовыхъ Сочиненій*, гигантской христоматіи, томовъ въ двѣнадцать, и прибавилъ, для поощренія, что десять строкъ „Кавказскаго Пѣвника“ лучше всѣхъ образцовыхъ сочиненій Муравьева, Капниста и компаніи. Не смотря на всю забавность отрицательнаго преподаванія,—въ совокупности всего, что говорилъ Василій Евдокимовичъ, проглядывалъ живой, широкій современный взглядъ на литературу, который я умѣлъ усвоить и, какъ обыкновенно дѣлаютъ послѣдователи, возвелъ въ квадратъ, въ кубъ всѣхъ односторонности учителя. Прежде я читалъ съ одинакимъ удовольствіемъ все, что попадалось: трагедіи Сумарокова, свергнѣйшіе переводы восьмидесятыхъ годовъ разныхъ комедій и романовъ: теперь я сталъ выбирать, цѣнить. Папиферскій былъ въ восторгѣ отъ новой литературы нашей, и я, бравши книгу, справлялся тотчасъ, въ которомъ году печатана, и бросалъ ее, ежели она была печатана больше пяти лѣтъ тому назадъ, хотя бы имя Державина или Карамзина предохраняло ее отъ такой дерзости. За то поклоненіе юной литературѣ сдѣлалось безусловно,—да она и могла увлечь именно въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь. Великій Пушкинъ явился царемъ-властителемъ литературнаго движенія: каждая строка его летала изъ рукъ въ руки; печатные экземпляры не удовлетворяли, списки ходили по рукамъ. „Горе отъ ума“ надѣлало болѣе шума въ Москвѣ, нежели всѣ книги, писанныя по-русски отъ „Путешествій Коробейникова къ Святымъ Мѣстамъ“ до „Плодовъ чувствованій“ князя Шаликова. „Теле-

графъ,, начиналъ энергически свое поприще и неполными, угловатыми знаками своими быстро передавалъ европензмъ; альманахи съ прекрасными стихами, поэмы сыпался со всѣхъ сторонъ; Жуковскій переводилъ Шиллера, Козловъ Байрона, и во всемъ, у всѣхъ была бездна надеждъ, упованій, вѣрованій горячихъ и сердечныхъ. Чтò за восторгъ, чтò за восхищенье, когда я сталъ читать только-что вышедшую первую главу „Онѣгина“! Я ее мѣсяца два носилъ въ карманѣ, вытвердилъ на память. Потомъ, года черезъ полтора я услышалъ, что Пушкинъ въ Москвѣ. О Боже мой, какъ пламенно я желалъ увидѣть поэта! казалось, что я вырасту, поумнѣю поглядѣвши на него. И я увидѣлъ наконецъ, и всѣ показывали съ восхищеньемъ говоря: „вотъ онъ, вотъ онъ“...

Чацкій.

Вы помните?

Софья.

Ребячество!

Чацкій.

Да-съ, а теперь...

Нѣтъ, лучше промолчимъ, потому-что Софья Павловна Фамусова совсѣмъ не паралельно развивалась съ нашей литературой... О другомъ, о другомъ.

Бушо уѣхалъ въ Мецъ; его замѣнилъ М-г Маршалъ. Маршалъ былъ человѣкъ большой учености (въ французскомъ смыслѣ), нравственный, тихій, кроткій; онъ оставилъ во мнѣ память яснаго лѣтняго вечера безъ малѣйшаго облака. Маршалъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые отъ-рода не имѣли знойныхъ страстей, которыхъ характеръ свѣтелъ, ровенъ, которымъ дано на столько любви, чтобъ они были счастливы, но не на столько, чтобъ она сожгла ихъ. Всѣ люди такого рода классики *par droit de naissance*; его прекрасныя познанія въ древнихъ литературахъ дѣлали его сверхъ-того классикомъ *par droit de conquête*. Откровенный почитатель изящной, ваятельной формы греческой поэзіи и выважной изъ нея поэзіи вѣка Людовика XIV; онъ не зналъ и не чувствовалъ потребности знать глубоко-духовное искусство Германии. Онъ вѣрилъ, что послѣ трагедій Расина нельзя читать вар-

варскія драмы Шекспира, хотя въ нихъ и проблескиваетъ талантъ; вѣрилъ, что вдохновеніе поэта можетъ только выливаться въ глиняныя формы Батѣ и Лагарпа; вѣрилъ, что бездушная поэма Буало есть *Corpus juris poetis*; вѣрилъ, что лучше Цицерона никто не писалъ прозой; вѣрилъ, что драмъ такъ же необходимы три единства, какъ Жиду одно обрѣзанье. При всемъ этомъ, ни въ одномъ словѣ Маршала не было пошлости. Онъ сталъ со мною читать Расина въ то самое время, какъ я попался въ руки шиллеровымъ „Разбойникамъ“,—ватага Карла Моора увела меня надолго въ богемскіе лѣса романтизма. Василій Евдокимовичъ неумолимо помогалъ разбойникамъ, и китайскіе башмаки лагарповскаго возрѣнія рвались по швамъ и по кожѣ.

Изъ сказаннаго уже видно, что все ученіе было беспсистемно; оттого я выучился очень немногому, и, вмѣсто стройнаго цѣлаго, въ головѣ моей образовалась беспорядочная масса разныхъ свѣдѣній, общихъ мѣстъ, переплетенныхъ фантазіями и мечтами. Наука за то для меня не была мертвою буквою, а живою частью моего бытія; но это увидимъ послѣ. Ко времени, о которомъ рѣчь, относится самая занимательная статья моего дѣтства. Мірѣ книжный не удовлетворилъ меня; распускавшаяся душа требовала живой симпатіи, ласки, товарища, любви, а не книгу,—и я вызвалъ наконецъ себѣ симпатію и еще изъ чистой груди дѣвушки.

Jetzt mit des Zuckers
Linderndem Saft
Zähme die herbe, brennende Kraft.
Schiller.

Еще въ тѣ времена, когда были живы М-ме Прово и М-ме Берта, Бушо не уѣзжалъ въ Мецъ, а Карлъ Карловичъ не улеталъ въ рай съ звуками органъ, гостила у насъ иногда родственница, пріѣзжавшая изъ Владимірской Губерніи; сначала она была маленькая дѣвочка, потомъ по больше. Пріѣзжала она изъ Меленовъ всегда въ сопровожденіи своей тетки, разительно похожей на принцессу ангулемскую и на брабантскіе кружева; эта тетка имѣла пріятное обыкновеніе ежегодно класть деньги въ Ломбардъ. У

меленковской родственницы была душа добрая, мечтательная: дѣвицы вообще несравненно экспансивнѣе нашего брата; въ нихъ есть теплота всегда грѣющая, есть симпатія всегда готовая любить; у нихъ рѣдко чувства подавлены эгоизмомъ и нѣтъ мужского, расчетливаго ума. Она въ одинъ изъ прїѣздовъ своихъ приголубила меня, приласкала; ей стало жаль, что я такъ одинокъ, такъ безъ привѣта; она со мною, тринадцати-лѣтнимъ мальчикомъ, стала обходиться какъ съ большимъ; я полюбилъ ее отъ всей души за это; я подаль ей съ горячностью мою маленькую руку, поклялся въ дружбѣ, въ любви, и теперь, черезъ 13 другихъ лѣтъ, готовъ снова протянуть руку,—а сколько обстоятельствъ, людей, верстъ протѣснилось между нами!.. Свѣтлымъ призракомъ прилетала она съ береговъ Клязьмы и надолго исчезала потомъ; тогда я писалъ всякую недѣлю эпистолы въ Меленки и въ этихъ эпистолахъ сохранились всѣ тогдашнія мечты и вѣрованія. Она въ долгу не оставалась, отвѣчала на каждое письмо и расточала съ чрезвычайной щедростью существительныя и прилагательныя для описанія меленковскихъ окрестностей, своей комнаты съ зелеными сто-рочками и съ лиловыми левкойчиками на окнахъ. Но я мало довольствовался письмами и ждалъ съ нетерпѣнїемъ ея самой; рѣшено было, что она прїѣдетъ къ намъ на цѣлые полгода; я рассчитывалъ по пальцамъ дни.. И вотъ, однимъ зимнимъ вечеромъ сижу я съ Васильемъ Евдокимовичемъ; онъ толкуетъ о *четырехъ родахъ* поэзіи и запиваетъ квасомъ каждый родъ. Вдругъ шумъ, поцалуи, громкій разговоръ радости, ея голосъ... Я отворилъ дверь; по залѣ таскають узелки и картончики; щеки вспыхнули у меня отъ радости, я не слушалъ больше, что Василій Евдокимовичъ говорилъ о дидактической поэзіи (можетъ, потому и поднесъ не понимаю ее, хотя съ-тѣхъ-поръ и имѣлъ случай прочесть петрозиліусову поэму „О фарфорѣ“); черезъ нѣсколько минутъ, она пришла ко мнѣ въ комнатку и послѣ оскорбительнаго „Ахъ, какъ ты выросъ!“ она спросила, чѣмъ мы занимаемся. Я гордо овѣчалъ: „разборомъ поэтическихъ сочиненій“. Даже красное мериновое платье помню, въ которомъ она явилась тогда передо мною. Но, увѣ! времена перемѣнились: она волосы зачесала въ косу; это меня оскорбило, меня, съ воротничками à l'enfant,—новая прическа такъ

рѣзко переводила ее въ совершеннолѣтнiя. Она знала мою скорбь о локонахъ, и въ мое рожденiе, 25-го марта, причесалась опять по-дѣтски. Чудный день былъ день моего рожденiя! она подарила мнѣ кольцо чугунное на серебряной подкладкѣ; на немъ было вырѣзано ея имя, какой-то девизъ, какой-то знакъ, змѣяная голова и проч.; вечеромъ мы читали на память отрывокъ изъ „Фингалла“—она была Мойна, я Фингалъ (вѣроятно я сюрпризомъ для себя твердилъ ко дню рожденiя стихи), съ-тѣхъ-поръ еще ни разу я не развертывалъ Озерова. Лѣтнѣе опять пошло ученiе: живая симпатiя мнѣ нравилась больше книги. Ни съ кѣмъ и никогда до нея я не говорилъ о чувствахъ, а между-тѣмъ ихъ было ужъ много, благодаря быстрому развитiю души и чтенiю романовъ; ей-то передать я первыя мечты, мечты пестрыя, какъ райскiя птицы, и чистыя, какъ дѣтскiй лепетъ; ей писалъ я разъ двадцать въ альбомѣ по-русски, по-французски, по-нѣмецки, даже, помнится, по-латинѣ. Она пресерььезно выслушивала меня и увѣряла еще больше, что я *рожденъ быть* Роландомъ Роландины или Алевинадомъ; я еще больше полюбилъ ее за эти удостовѣренiя. Отогрѣвался я тогда за весь холодъ моей короткой жизни милою дружбою меленковской пери. Передавъ другъ другу плоды чувствованiй, мы принялись вмѣстѣ читать—сначала разныя повѣсти, „Вакефильскаго Священника“, „Нуму Помилiя“, Флорiана, и т. п., обливая ихъ о рѣками горячихъ слезъ: потомъ принялись за „Анахарсисово Путешествiе“, и она имѣла самоотверженiе слушать эту—положимъ—чрезвычайно ученую, полезную и умную, но тѣмъ не менѣе скучную и безжизненную компиляцію въ семь томовъ.

Не знаю, было ли ея влiянiе на меня хорошо во всѣхъ смыслахъ. При многихъ истинныхъ и прекрасныхъ достоинствахъ, меленковская кузина не была освобождена отъ натянутаго „сантиментальности“, которая прививается дѣвункамъ въ дортуарахъ женскихъ пансионовъ, гдѣ онѣ выкалываютъ булавами вензеля на ручкѣ, гдѣ даютъ обѣты годъ не снимать такой-го ленточки; не была она также свободна отъ моральныхъ сентенцiй, этой лебеды, наполнявшей романы и комедii прошлаго вѣка. Она любила, чтобъ ее звали Темирой, и всѣ родственники звали ее такъ; ужъ это одно доказываетъ сантиментальность; право, просто человекъ не

согласится въ XIX вѣкѣ называться Пленирой, Темирой, Селеной, Усладомъ. Я вскорѣ взбунтовался противъ классическаго имени, совѣтоваль ей, на зло Буало (*), назваться Тоінон; а когда вышла вторая книжка „Онѣгина“, совѣтоваль рѣшительно остаться Татьяной, какъ священникъ крестилъ. Переимѣна имени мало помогла: Таня, по-прежнему, при каждой встрѣчѣ съ блѣдной подругой земнаго шара, дѣлала къ ней лирическое воззваніе, по-прежнему сравнивала свою жизнь съ цвѣтками, брошенными въ „буйныя волны“ Клязьмы; любила она въ досужные часы поплакать о своей горькой участи, о гоненіяхъ судьбы (которая гнала ее впрочемъ очень-скромно, такъ, что со стороны ея удары были вовсе незамѣтны), о томъ, что „никто въ мірѣ ея не понимаетъ“. Это лафонтеновскій элементъ; не лучше его былъ и жанлисовскій—моральный: она—меня, который читаль чортъ-знаетъ что, умоляла не дотрогиваться до Вертера, рекомендовала нравственныя книги, и проч. Теперь все это мнѣ кажется смѣшно, но тогда Таня была для меня валкирія: я покорно слушался ея проріцаній. Она очень-хорошо знала свой авторитетъ, и потому угнетала меня; когда же я возмущался, и она видѣла опасность потерять власть, слезы текли у ней изъ глазъ, дружескіе, теплые упреки изъ устъ; мнѣ становилось жалъ ея; я казался себѣ виноватымъ, и тронъ ея стоялъ опять незыблемо. Надобно замѣтить, дѣвушки лѣтъ въ 18-ть вообще любятъ пошколить мальчика, который имъ попадется въ руки и надъ которымъ онѣ пробуютъ оружіе, приготовленное для завоеваній болѣе важныхъ; за то какъ же и ихъ школютъ мальчишки потомъ, лѣтъ восемнадцать къ ряду, и чѣмъ далѣе тѣмъ хуже! И такъ, я слушался Тани, сантиментальничаль, и подъ-часъ нравственныя сентенціи, блѣдныя и тощія, служили финаломъ моихъ рѣчей. Воображаю, что въ эти минуты я былъ очень-смѣшонъ; живой характеръ мой мудрено было обвязать конфетнымъ билетомъ ложной чувствительности, и вовсе мнѣ не было къ-лицу ваять нравственныя сентенціи изъ патоки безъ инбиря жанлисовской морали. Но что дѣлать! я прошелъ черезъ это, а, можетъ, оно и недурно:

(*) Et changer, sans respect de l'oreille et du son
 Lycidas en Pierrot, et Philis en Toinon. Art Poétique.

сентиментальность развела, подсластила „жгучую силу“ и, слѣдственно, поступила по фармакопеѣ Шиллера (*); самый возрастъ отчасти способствовалъ къ развитію нѣжности. Для меня настаивало то время, когда ребячество оканчивается, а юность начинается: это обыкновенно бываетъ въ 16 лѣтъ. Ребячья наивная красота пропадаетъ, юношеская еще не является; въ чертахъ дисгармонія: онѣ дѣлаются грубѣе, нѣтъ граціи; голосъ переливается изъ тонкаго въ толстый, глаза томны, а подѣ-часъ заискрятся, щеки блѣдны, а подѣ-часъ вспыхнутъ,—физическое совершеннѣе наступаетъ. То же происходитъ въ душѣ: неопредѣленные чувства, зародыши страстей, волненіе, томность, чувство чего-то тайнаго, невѣдомаго, и въ-слѣдъ за тѣмъ юность, восторженный лиризмъ, полный любви, раскрытія объятія всему міру Божьему... Ранній цвѣтокъ, я скорѣе достигъ этой эпохи, и распуколки въ моей душѣ развернулись въ 14 лѣтъ; я чувствовалъ, что ребячество кончилось, а юность началась, и обижался, что никто не замѣчаетъ перелома въ моемъ бытіи. По-несчастью, замѣтилъ это Василій Евдокимовичъ и началъ въ-силу того преподавать мнѣ эстетику, въ которой, не тѣмъ будь помянуть, онъ былъ крайне недалекъ и тогда же заставилъ меня писать статьи. Жаль, очень жаль, что когда мы переѣзжали изъ стараго дома въ новый, пропали эти статьи! Съ какимъ наслажденіемъ перечиталъ бы я ихъ теперь! Чего я не писалъ! Были статьи, писанныя взапуски съ Темирой, были литературные обзоры, и въ нихъ я „уничтожалъ“ классицизмъ. Василій Евдокимовичъ приходилъ въ восторгъ, поправляя (и немудрено—его же мысли повторялись мною). Я перевелъ свои обзоры на французскій языкъ и гордо подалъ Маршало: „вотъ, молъ, какъ я уважаю вашего Буало“. Были и историческія статьи: сравненіе Марѳы Посадницы (то-есть не настоящей, а той спартанской Марѳы, о которой повѣсть написалъ Карамзинъ) съ Зиновіей пальмирской; Бориса Годунова съ Кромвелемъ. Жаль, что я не писалъ моихъ сравненій по французски, а то я увѣренъ, что они были на-столько негодны, что попали бы образцами въ нозлевы Курсъ Словесности, въ отдѣленіе *Parallèles et Caractères*.

(*) См. вышеприведенный эпиграфъ.

Такъ оканчивался періодъ прозябанія моей жизни. Вотъ предъидущее, съ которымъ я вошелъ въ проилеи юности. Маршалъ завѣщалъ мнѣ любовь къ изящной формѣ, любовь къ Греціи и Риму, логическую ясность, исторію французской литературы и *art poétique* Буало, котораго первую пѣснь помню до-сихъ-поръ; Василій Евдокимовичъ завѣщалъ поклоненіе Пушкину и юной литературѣ, метафизическую неясность романтизма и тетрадь *писанныхъ* стиховъ, которые я еще лучше вытвердилъ на память, нежели Буало; Темира—искреннее, теплое чувство любви, и дружбы, слезу о „Ваксфильдскомъ Священникѣ“ и потомъ о ней самой, когда осенью уѣхала она въ Меленки. Ergo, съ одной стороны классицизмъ въ видѣ Маршала, съ другой романтизмъ въ видѣ Падиферскаго, и жизнь въ видѣ Темиры—а въ средоточіи всего я самъ, мальчикъ пылкій, готовый ко всякимъ впечатлѣніямъ, не по лѣтамъ умудрившійся, развитый отчасти насильственно, или вѣрнѣе, искусственно, чтеніемъ романовъ и вѣчнымъ одиночествомъ.

Такъ продолжалась моя жизнь до пятнадцатаго года.

II.

ЮНОСТЬ.

Respekt vor den Träumen deiner Jugend!

Schiller.

Gaudeamus igitur

Juvenes dum sumus!...

Прелестное время въ развитіи человѣка, когда дитя сознаетъ себя юношею и требуетъ въ первый разъ доли во всемъ человѣческомъ: дѣятельность кипитъ, сердце бьется, кровь горяча, силъ много; а міръ такъ хорошъ, новъ, свѣтелъ, исполненъ торжества, ликованія, жизни... Удаля Ахиллеса и мечтательность Поэты наполняютъ душу. Время благородныхъ увлеченій, самопожертвованій, платонизма, пламенной любви къ человечеству, безпредѣльной дружбы: блестящій прологъ, за которымъ часто-часто слѣдуетъ пошлая, мѣщанская драма.

Разумъ восходитъ—но, проходя черезъ облака фантазій, онъ

обливаетъ, какъ восходящее солнце, пурпуромъ весь міръ. Освѣщеніе истинное, которое исчезаетъ, должно исчезнуть, но прелестное какъ лѣтнее утро на берегу моря. О, юность, юность..

И я въ Аркадіи родился!

Беззаботно отдался я стремительнымъ волнамъ; онѣ увлекли меня далеко за предѣлы тихаго русла частной жизни! Мнѣ нравились упругія волны, безконечность; будущее рисовалось какимъ-то иподромомъ, въ концѣ котораго ожидается стоустая слава и дѣва любви, вѣнокъ лавровый и вѣнокъ миртовый; я предчувствовалъ, какъ моя жизнь вилетется блестящей пасмой въ жизнь человѣчества, воображалъ себя великимъ, доблестнымъ... сердце раздавалось, голова кружилась... Право, хороша была юность! Она прошла; жизнь не кипитъ больше какъ пѣнящееся вино; элементы души приходятъ въ равновѣсіе, тихнуть; наступаетъ совершеннолѣтній возрастъ, и да будетъ благословенно и тогдашнее бѣшеное кинѣніе, и нынѣшняя предвозвѣстница гармоніи! Каждый моментъ жизни хорошъ, лишь бы онъ былъ вѣренъ себѣ; дурно, если онъ является не въ своемъ видѣ. Не люблю я скромныхъ, чопорныхъ, образцовыхъ молодыхъ людей: они мнѣ напоминаютъ Алексѣя Степановича Молчалина; они не постигли жизни, они не питали теплою кровью своего сердца отрадныхъ вѣрованій, не рвались участвовать въ міровыхъ подвигахъ. Они не жили надеждами на великое призваніе; они не лили слезъ горести при видѣ несчастія, и слезъ восторга, созерцая изящное; они не отдавались бурному восторгу оргіи; у нихъ не было потребности друга—и не полюбить ихъ дѣва любовью истинной; ихъ удѣлъ утонуть съ головою въ толпѣ. Пусть юноши будутъ юношами. Совершеннолѣтіе покажетъ, что Провидѣніе не отдало такъ много во власть каждаго человѣка; что человѣчество развивается по своей міровой логикѣ, въ которой нельзя перескочить черезъ терминъ въ угоду индивидуальной воли: совершеннолѣтіе покажетъ необходимость частной жизни; почка, принадлежавшая человѣчеству, разовьется въ отдѣльную вѣтвь: но, какъ говорить Жуковский о волнѣ:

Влившись въ море, она назадъ изъ моря не польется.

Душа, однажды предавшаяся универсальной жизни, высокимъ интересамъ,—и въ практическомъ мірѣ будетъ выше толпы, сим-

патичнѣ къ изящному; она не забудетъ моря и его пространства... Но я забываю себя; вотъ что значить заговорить о юности.

Темира уѣхала въ Меленки. Я долго смотрѣлъ на ворота, пропустившія коляско-бричку, въ которой повезли ее; день былъ мертво-осенній. Печально воротился я въ свою комнатку и развернулъ книгу. Старый другъ... опять книга, одна книга осталась товарищемъ; я принялся тщательно перечитывать греческую и римскую исторію. Разумѣется, я за исторію принялся не такъ, какъ за книгу народовъ, зеркало того и сего, а опять какъ за романъ и читалъ ее по той же методѣ, то-есть самъ выступая на сцену въ акрополисъ и на форумъ. Еще больше разумѣется, что Греція и Римъ, возстановленные по Сегюру, были нелѣпы, но живы и соотвѣтствовали тогдашнимъ потребностямъ. Театральныхъ натяжекъ всѣхъ этихъ Курціевъ, бросающихся въ пропасти, вовсе несуществующія, Сцеволя, жгущихъ себѣ руки по локоть, и пр., я не замѣчалъ, а гражданскія добродѣтели ихъ понималъ. Напрасно нынче возстаютъ противъ прежней методы пространно преподавать дѣтямъ древнюю исторію: это эстетическая школа нравственности. Великіе люди Греціи и Рима имѣютъ въ себѣ ту поражающую, пластическую, художественную красоту, которая навѣкъ отпечатлѣвается въ юной душѣ. Отъ-того-то эти величественныя тѣни Ѳемистокла, Перикла, Александра провожаютъ насъ черезъ всю жизнь, такъ-какъ ихъ самихъ провожали величественные образы Зевса, Аполлона. Въ Греціи все было такъ проникнуто изящнымъ, что самые великіе люди ея похожи на художественныя произведенія. Не напоминаютъ ли они собою, на примѣръ, свѣтлый міръ греческаго зодчества? та же ясность, гармонія, простота, юность, благодатное небо, чистая дѣтская совѣсть; даже черты лица плутарховыхъ героевъ такъ же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, какъ фронтоны и портики Парѳенона. Самое тріединое зодчество Греціи имѣетъ параллель съ героями ея трехъ эпохъ; такъ изящное тѣсно спаяно было у нихъ съ ихъ жизнію. Гомерическіе герои не дорическія ли это колонны, твердыя, безыскусныя? Герои персидскихъ войнъ и пелопонезской не сродни ли іоническому стилю, такъ какъ Алквіадъ изнѣженный—тонкой, кудрявой коринеской колоннѣ. Пусть же встрѣчаютъ эти высоко-

изящныя статуи юношу при первомъ шагѣ его въ область сознанія, съ высоты величія своего вперять ему первые уроки гражданскихъ добродѣтелей...

Сильно дѣйствовало на меня чтеніе греческой и римской исторіи. Я скорбѣлъ о томъ, что этотъ міръ добродѣтелей и энергіи давно схороненъ; плакалъ на его могилѣ—какъ вдругъ болѣе внимательное чтеніе одного автора, бывшаго въ моихъ рукахъ, доказало мнѣ, что и тотъ міръ, который окружаетъ меня, въ которомъ я живу,—не изытъ доблестнаго и великаго. Открытіе это сдѣлало переворотъ въ моемъ бытіи.

Шиллеръ! благословляю тебя; тебѣ обязанъ я святыми минутами начальной юности! Сколько слезъ лилось изъ глазъ моихъ на твои поэмы! какой алтарь я воздвигнулъ тебѣ въ душѣ моей! Ты по превосходству поэтъ юношества. Тотъ же мечтательный взоръ, обращенный на одно будущее, „туда, туда!“; тѣ же чувства благородныя, энергическія, увлекательныя; та же любовь къ людямъ и та же симпатія къ современности... Однажды взявъ Шиллера въ руки, я не покидалъ его, и теперь, въ грустныя минуты, его чистая пѣснь врачуетъ меня. Долго ставилъ я Гёте ниже его. Для-того, чтобъ умѣть понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтобъ всѣ способности развернулись, надобно познаться съ жизнью, надобны грозныя опыты, надобно пережить долю страданій Фауста, Гамлета, Отелло:—стремленіе къ добродѣтели, горячая симпатія къ высокому достаточны, чтобъ сочувствовать Шиллеру. Я боялся Гёте; онъ оскорблялъ меня своимъ пренебреженіемъ, своимъ несимпатизированіемъ со мною—симпатіи со вселенной я понять тогда не могъ. Пусть, думалъ я, Гёте—море, на днѣ котораго невѣсть какія драгоценности, я люблю лучше германскую рѣку, этотъ Рейнъ, льющійся между феодальными замками и виноградниками, Рейнъ, свидѣтель тридцатилѣтней войны, отражающій Альпы и облака, покрывающія ихъ вершины. Я забывалъ тогда, что рѣка вливается тоже въ море, въ землеобнимающій океанъ, равно нераздѣльный съ небомъ и съ землею. Гораздо-послѣ, мощный Гёте увлекъ меня; я тогда еще неполнѣ понималъ его, но почувствовалъ его морскую волну, его глубину, его пространство и (болѣзнь юности никогда не знать вѣса и мѣры!) на

Шиллера взглянулъ иначе, тѣмъ взглядомъ, которымъ юноша, прѣхавшій въ отпускъ, смотритъ на добрыя черты старца-воспитателя, привыкнувъ къ строгому лицу своего начальника: немножко внизъ, немножко съ благосклонностью. Но я скоро опомнился, покраснѣлъ отъ своей неблагодарности и съ горячими слезами раскаянія бросился въ объятія Шиллера. Имъ обоимъ не тѣсно было въ мѣрѣ—не тѣсно будетъ и въ моей груди: они были друзьями—такими да идутъ въ потомство.

Но въ ту эпоху, о которой идетъ рѣчь, я никакъ не могъ понимать Гёте; у него въ груди не билось такъ человѣчески-нѣжное сердце, какъ у Шиллера. Шиллеръ съ своимъ Максомъ, Донъ Карлосомъ, жилъ въ одной сферѣ со мною, какъ же мнѣ было не понимать его. Суха душа того человѣка, который въ юности не любилъ Шиллера, заявляла у того, кто любилъ да пересталъ!

У меня страсть перечитывать поэмы великихъ *maëstri*: Гёте, Шекспира, Шиллера, Пушкина, Вальтера Скота. Казалось бы, зачѣмъ читать одно и то же, когда въ это время можно „украсить“ свой умъ произведеніями гг. А. Б. В.? Да въ томъ-то и дѣло, что это не одно и то же: въ промежутки какой-то духъ мѣняетъ очень много въ вѣчноживыхъ произведеніяхъ маэстровъ. Какъ Гамлетъ, Фаустъ прежде были шире меня, такъ и теперь шире, не смотря на то, что я убѣжденъ въ своемъ расширеніи. Нѣтъ, я не оставляю привычки перечитывать, по-этому я наглазоу измѣряю свое возрастаніе, улучшеніе, паденіе, направленіе. Прошли годы первой юности, и надъ Моромъ, Позой выставилась мрачная, задумчивая тѣнь Валленштейна, и выше ихъ парила Дѣва Орлеанская; прошли еще годы—и Изабелла, дивная мать, стала рядомъ съ гордой дѣвственницей. Гдѣ же прежде была Изабелла? Мѣста, приводившія меня пятнадцатилѣтняго въ восторгъ, поблѣкли, напр. студентскія выходки, сентенціи въ „Разбойникахъ“; а тѣ, которыя едва обращали вниманіе, захватываютъ душу. Да, надобно перечитывать великихъ поэтовъ, и особенно Шиллера, поэта благородныхъ порывовъ, чтобъ поймать свою душу, если она начнетъ сохнуть! Человѣчество своимъ образомъ пересчитываетъ цѣлыя тысячелѣтія Гомера, и это для него оселокъ, на которомъ оно пробуетъ силу возраста. Лишь только Греція развила, —она Софокломъ, Прак-

сителямъ, Зевкисомъ, Эврипидомъ, Эсхиломъ повторила образцы, завѣщанные колыбельной пѣснью ея, Илліадой; потомъ Римъ попытался возсоздать ихъ по-своему, стоически, Сенекою; потомъ Франція напудрила ихъ и надѣла башмаки съ пряжками—Расиномъ; потомъ падшая Италія перечитала ихъ чернымъ Альфіери; потомъ Германія возсоздала своимъ Гёте Ифигенію, и на ней увидѣла всю мощь его.

Тутъ не достаётъ нѣсколькихъ страницъ... А досадно... должно быть, онѣ занимательны. Кстати, я не догадался объяснить въ предисловіи (можетъ-быть, потому-что его вовсе нѣтъ), какъ мнѣ попалась эта тетрадь, и потому, пользуясь свободнымъ мѣстомъ, оставленнымъ выдранными страницами, я объяснюсь въ *междусловіи*, и притомъ считаю это необходимымъ для предупрежденія догадокъ, заключеній и пр.—Тетрадь, въ которой описываются похождения любезнаго молодого человѣка, попала въ руки совершенно-нечаянно и—чему не всякій повѣритъ—въ Вяткѣ, окруженной лѣсами и Черемисами, болотами и исправниками, Вотиками и становыми приставами,—въ Вяткѣ, заспанной снѣгомъ и всякаго рода дѣлами, кромѣ литературныхъ. Но должно ли дивиться, что какая-нибудь тетрадь попала въ Вятку?.. „Намѣ въѣтъ, въѣтъ чудесь“ говаривалъ Фонтенель, жившій въ прошломъ вѣкѣ... Тетрадь молодого человѣка была забыта вѣроятно самимъ молодымъ человѣкомъ на станціи; смотритель, возникши для ревизованія книгу въ губернской городъ, подарилъ ее почтовому чиновнику. Почтовой чиновникъ далъ ее мнѣ—я ему не отдавалъ ея. Но прежде меня онъ давалъ ее поиграть черной quasi-датской собакѣ; сабака, болѣе скромная, нежели я, не присвоивая себѣ всей тетради, выдрала только мѣста, особенно пришедшія на ея quasi-датскій вкусъ; и, говоря откровенно, я не думаю, чтобъ это были худшія мѣста. Я буду отмѣчать, гдѣ выдраны листы, гдѣ остались одни городки, и прошу помнить, что единственный виновникъ—черная собака; имя же ей Пултусъ.—Послѣ выданныхъ страницъ продолжается рукопись такъ:

Поза, Поза! гдѣ ты? гдѣ ты, юноша-другъ, съ которымъ мы

обручимся душою, съ которымъ выйдемъ, рука-объ-руку, въ жизнь, крѣпкіе нашей любовью? Въ этомъ вопросѣ будущему было упованіе и молитва, грусть и восторгъ. Я вызывалъ симпатію, потому что не было мѣста въ одной груди вмѣстить все, волновавшее ее. Мнѣ надобна была другая душа, которой я могъ бы высказать свою тайну; мнѣ надобны были глаза полные любви и слезъ, которые бы были бы устремлены на меня; мнѣ надобенъ былъ другъ, къ которому я могъ бы броситься въ объятія, и въ объятіяхъ котораго мнѣ было бы просторно, вольно. Поза, гдѣ же ты?...

Онъ былъ близокъ.

Въ мірѣ все подтасовано: это старая истина; ее рассказали какой-то аббатъ на вечерѣ у Дидро. Одни честные игроки не догадываются и ссылаются на случай. Счастливыи случай, думаютъ они, вызвалъ любовь Дездемоны къ Мавру; несчастный случай затворилъ душу Эсмеральды для Клода Фролло. Совсѣмъ нѣтъ, все подтасовано,—и лишь только потребность истинная, сильная, потребность друга захватила мою душу, онъ явился, прекрасный и юный, какимъ мечтался мнѣ, какимъ представлялъ его Шиллеръ. Мы сблизились по какому-то тайному влеченію, такъ-какъ въ растворѣ сближаются два атома однороднаго вещества непонятнымъ для нихъ средствомъ.

Въ маломъ числѣ моихъ знакомыхъ былъ полу-юноша, полу-ребенокъ, однихъ лѣтъ со мною, кроткій, тихій, задумчивый; печально сидѣлъ онъ обыкновенно на стулѣ и какъ-то невнимательно смотрѣлъ на окружающіе предметы своими большими сѣрыми глазами, особо разсѣченными и того сѣраго цвѣта, который лучше голубаго. Непонятною силою тяготѣли мы другъ къ другу; я предчувствовалъ въ немъ брата, близкаго родственника душѣ—и онъ во мнѣ то же. Но мы боялись показать начинавшуюся дружбу; мы оба хотѣли говорить *ты*, и не смѣли, не смѣли даже въ запискахъ употреблять слово „другъ“, придавая ему смыслъ обширный и святой... Милое время дѣтской непорочности и чистоты душевной!.. Мало-по-малу слова дружбы и симпатіи начали врываться стороною какъ бы нехотя; посылая мнѣ „Идилліи“ Геснера, онъ написалъ маленькое пи съмецо и въ раздумьи подписалъ: „вашъ другъ ли—не знаю еще“. Передъ отъѣздомъ моимъ въ деревню

онъ приносилъ томъ Шиллера, идѣ его „Philosophische Briefe“, и предложилъ читать вмѣстѣ... Ахъ, какъ билось сердце, слезы навертывались на глазахъ! Мы тщательно скрывали слезы. „Ты уѣхалъ, Рафаиль—и желтые листья валятся съ деревьевъ, и мгла осенняго тумана, какъ гробовой покровъ лежитъ на вымершей природѣ. Одинокъ брожу я по печальнымъ окрестностямъ, зову моего Рафаила, и больно, что онъ не откликается мнѣ... Я схватилъ Карамзина и читалъ въ отвѣтъ: „Нѣтъ Агатона, нѣтъ моего друга“. Мы явно понимали, что каждый изъ насъ адресуешь эти слова отъ себя, но боялись прямо сказать. Такъ дѣлають *неопытные* влюбленные, отмѣчая другъ другу мѣста въ романахъ; да мы и были à la lettre влюбленные, и влюблялись съ каждымъ днемъ больше и больше. Дружба, прозябнувшая подъ благословіемъ Шиллера, подъ его благословіемъ расцвѣтала: мы усвоивали себѣ характеры всѣхъ его героевъ. Не могу выразить всей восторженности того времени. Жизнь раскрывалась передъ нами торжественно, величественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существованіе во благо человѣчеству; чертили себѣ будущность несбыточную безъ малѣйшей примѣси самолюбія, личныхъ видовъ. Свѣтлые дни юношескихъ мечтаній и симпатій! они проводили меня далеко въ жизнь...

(Здѣсь опять не достаетъ двухъ-трехъ страницъ.)

..... Въ деревнѣ я сдѣлалъ знакомство, достойное сдѣланнаго въ Москвѣ: я въ первый разъ послѣ ребячества явился лицомъ къ лицу съ природой, и ея выразительныя черты сдѣлались понятны для меня. Это отдохновеніе отъ школьныхъ занятій было на мѣстѣ; я закрылъ учебную книгу, не смотря на то, что надобно было готовиться къ университету. Колоссальная идиллія лежала развернутая передо мной, и я не могъ наглядѣться на нее: такъ нова она была мнѣ, выросшему въ третьемъ этажѣ на Пречистенкѣ. Читалъ я мало, и то одного Шиллера; на высокой горѣ, съ которой открывались пять-шесть деревенекъ, пробѣгалъ я „Телля“, и въ мрачномъ лѣсу перечитывалъ Карла Мора—и, казалось, молодецкій посвистъ его ватаги и топотъ конницы, окружавшей его,

раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросалъ книгу и долго-долго смотрѣлъ на окружающія поля, на рѣку, перерѣзывающую ихъ, на храмъ Божій, бѣлый какъ лилія и какъ лилія окруженный зеленью. Иногда мнѣ казалось, что вся эта даль—продолженіе меня, что гора со всѣмъ окружающимъ—мое тѣло, и мнѣ слышался пульсъ ея, и мы вмѣстѣ вдыхали и выдыхали воздухъ. Иногда мнѣ казалось, что я совершенно потерявъ въ этой безконечности—листокъ на огромномъ деревѣ; но безконечность эта не давила меня: мнѣ было хорошо лежать на моей горѣ; я понималъ, что я дома, что все это родное...

Смѣшно, что я останавливаюсь на этихъ подробностяхъ медовато мѣсяца моей жизни; я очень знаю, что всѣ видали природу днемъ и ночью и чувствовали при этомъ и то и сѣ; что тысяча лѣтъ тому назадъ люди восхищались ею, потому-что въ ней также просвѣчивалъ на каждой точкѣ ея Творецъ; но... но... но пожалуй, воротимся въ Москву. Вотъ глубокая осень, грязь по колѣно; иное утро подмерзнетъ, иное льется мелкій дождь; работы оканчиваются; одинъ цѣпъ стучитъ въ тактъ; сборы, хлопоты; священникъ съ просвирою и напутственнымъ благословеніемъ.. Староста провожаетъ верхомъ за десять верстъ на мірской лошади, чтобъ убѣдиться, что господа точно уѣхали... Карета вязнетъ въ грязи проселочной дороги, едва двигается, иногда склоняется на бокъ, и всякій разъ батюшкинъ камердинеръ, преданный, какъ въ „Ивангозъ“ Гуртъ Седрику Саксонцу, выходитъ изъ кибитки и поддерживаетъ карету; а самъ такой щедущный, что десяти фунтовъ не подыметъ. Наконецъ, вотъ Драгомиловскій Мостъ, освѣщенные лавочки, „калачи, горячи“,—и мы въ Москвѣ.

Такъ доѣхалъ я чрезъ Драгомиловскій Мостъ до окончанія первой части моей юности. Отсюда начинается новая жизнь, жизнь аудиторіи, жизнь студента; отсель не пустынные четыре стѣны родительскаго дома, а семья трехсотголовая, шумная и неугомонная..

Владиміръ-на-Клязьмѣ.

1838.

II.

ЕЩЕ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ОДНОГО МОЛОДАГО ЧЕЛОВѢКА.

THE FIRST PART OF THE HISTORY OF THE
REIGN OF CHARLES THE FIRST
BY JOHN BURNET
OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
IN TWO VOLUMES
THE SECOND VOLUME
LONDON
Printed by J. Streater, at the Sign of the Sun in St. Dunstons Church-yard, 1680.

II.

THE HISTORY OF THE REIGN OF CHARLES THE FIRST

THE SECOND VOLUME
LONDON
Printed by J. Streater, at the Sign of the Sun in St. Dunstons Church-yard, 1680.

ЕЩЕ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ОДНОГО МОЛОДАГО ЧЕЛОВѢКА.

ОТЪ НАШЕДШАГО ТЕТРАДЬ.

Помѣстивъ отрывокъ изъ первой тетради „Записокъ одного молодого человѣка“, мы объяснили въ приличномъ „междусловіи“, какъ намъ досталась тетрадь и какъ не достались нѣкоторые листы изъ нея. Теперь пришло намъ на мысль помѣстить отрывокъ изъ второй тетради. Между первой и второй тетрадями потеряны годы, версты, дести. Мы разстались съ молодымъ человѣкомъ у Драгомиловскаго моста на Москвѣ-рѣкѣ, а встрѣчаемся на берегу Оки-рѣки, да притомъ вовсе безъ моста. Тогда молодой человѣкъ шелъ въ университетъ, а теперь ѣдетъ въ городъ Малиновъ, худшій городъ въ мірѣ, ибо ничего нельзя хуже представить для города, какъ совершенное несуществованіе его. *Молодой человѣкъ дѣлается просто „человѣкъ“* (не считите этого двусмысленнаго слова за намекъ, что онъ пошелъ въ лакеи). Завиральныя идеи начинаютъ облетать какъ желтые листья. Въ третьей тетради—*полное развитіе*: тамъ никакихъ уже нѣтъ идей, мыслей, чувствъ; отъ этого она дѣльнѣе, и видно, что молодой человѣкъ „въ умъ вошелъ“; вся третья тетрадь состоитъ изъ расходной книги, формулярнаго списка и двухъ довѣренностей, засвидѣтельствованныхъ въ гражданской палатѣ. Пока вотъ отрывокъ изъ начала второй тетради, будетъ и изъ третьей, если того захотятъ, во-первыхъ, читатели, во-вторыхъ, издатель, въ-третьихъ... кто бишь въ-третьихъ, дай Богъ память... Вспомню, скажу послѣ.

ГОДЫ СТРАНСТВОВАНІЯ.

So bleibe denn die Sonne mir im Rücken
Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.
Faust. II Theil.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Per me si va nella citta dolente!
Dante. De l'Inferno.

Я устроенъ чрезвычайно-гуманно. Читая розенграшцеву „Психологию“, имѣлъ я случай убѣдиться, что устроенъ рѣшительно по хорошему современному руководству. Отъ-того меня нисколько не удивляетъ, что всякое первое впечатлѣніе бываетъ смутнѣе, слабѣе, нежели отчетъ въ немъ. Непосредственность только предесталь жизни человѣческой, и именно отчетомъ поднимается человѣкъ въ ту сферу, гдѣ вся мощь и доблесть его. Въ-самомъ-дѣлѣ, не знаю, какъ съ другими бываетъ, а я никогда не чувствовалъ всей полноты наслажденія—въ самую минуту наслажденія (само собой разумѣется, что рѣчь идетъ не о чувственномъ наслажденіи: котлеты въ воспоминаніи право меньше привлекательны, нежели во рту). Наслаждаюсь, я дѣлаюсь страдателемъ, воспринимающъ. Послѣ—блаженство какъ-то дѣятельно струится изъ меня, и я постигаю по этой силѣ исходящей всю полноту его. То же въ горестяхъ: никогда не чувствовалъ я всей горечи разлуки такъ сильно, какъ отъ ъхавъ нѣсколько станцій. Впрочемъ, такая организація не есть исключительно гуманная. Покойникъ А. Л. Ловецкій, Professor ord. Mineralogiae etc. etc., читалъ, когда еще былъ въ брэнной оболочкѣ, о камнѣ, называемомъ болонскимъ, который, полежавши на солнцѣ, затаитъ въ себѣ свѣтъ, а послѣ ночью свѣтится (не знаю, имѣютъ ли то же свойство болонскія собаки, но сомнѣваюсь). Такъ случилось и теперь; съ какимъ-то тяжело-смутнымъ, дурно-неяснымъ чувствомъ проскакалъ я 250 верстъ. Было начало апрѣля. Ока разлилась широко и величественно, ледъ только-что прошелъ. На большой паромъ поставили мою коляску, бричку какого-то коннаго офицера, ъхавшаго получать богатое наслѣдство, и коробочку

на колесахъ ревельскаго купца въ ваточномъ халатѣ, сверхъ котораго рисовалась шинель water proof. Мы ѣхали вмѣстѣ третью станцію, и я радъ былъ встрѣчи съ людьми, хотя въ сущности радоваться было нечему. Офицеръ рассказывалъ съ необычайною плодовитостью свои похождения въ Москвѣ съ казарменнымъ цинизмомъ, кричалъ въ интервалахъ ужаснымъ голосомъ: „Юрка, трубку!“, и бурнымъ потокомъ словъ обдавалъ каждого зрителя. Купецъ ревельскій, чрезвычайно похожій на Пріапа, былъ въ восторгѣ отъ геройскихъ подвиговъ господина-офицера, и только съ чувствомъ глубокой грусти иногда говорилъ, качая головой: „хорошо имѣть эполеты, а вотъ нашъ братъ...“ Офицеръ самодовольно поглаживалъ усы послѣ такого замѣчанія и еще громче кричалъ: „Юрка, трубку!“... А все-таки я радовался встрѣчѣ.

Небо было безоблачно; солнце свѣтило; какой-то особый запахъ весны носился надъ водою. Плавно, тихо двинулся паромъ; разливъ простирался верстъ на десять. Прѣсенскіе Пруды въ Москвѣ были наибольшее количество воды, видѣнное мною прежде. Меня поразила рѣка. Ревельскій Пріапъ вытащилъ фляжку съ ромомъ и, наливая въ крышку, подаль мнѣ, говоря: „Я купилъ этотъ ромъ у Кистера, въ Москвѣ; онъ очень хорошъ: пейте; вамъ *долго* не придется пить такого рома; *тамъ* продаютъ кизлярку съ мадерой за ромъ... На водѣ же не мѣшается“. Я выпилъ, повернулся лицомъ къ водѣ и оперся на загородеу. „Долго не придется“ повторилъ я, и неопредѣленные чувства, тяготившія грудь, вдругъ стали проясняться: грусть острая, жгучая развивалась и захватывала душу. Я пристально смотрѣлъ на гладкую, лоснящуюся поверхность Оки. Московскій берегъ отодвигался далѣе и далѣе; глубь, вода, пространство, препятствія меня отдѣляли болѣе и болѣе... А тотъ берегъ—чуждый, непріязненный, изъ темносиней полосы превращался въ поля; деревни становились ближе, ближе... На московскомъ берегу у меня все: впалыя щеки старца, по которымъ недавно катилась слеза... и другія слезы... О, Боже!.. А на томъ берегу ничего для меня, ни желанія ступить на него, ни воли не ступать. Слезы полились изъ глазъ; это бываетъ рѣдко со мною, и я опять твердилъ: „долго, долго“... Ярче я никогда не чувствовалъ разлуки. Тихое, спокойное движеніе по водѣ само со-

бою наводить грусть; рѣка была какимъ-то олицетвореніемъ препятствій и ихъ возрастанія, рубежей и ихъ непреодолимости, семи тяжелыхъ замковъ, которыми запирается все милое. Потомъ, прошедшее осѣнило меня какъ-бы въ утѣшеніе, и грустная, но вспрянувшая душа придавала ему чудное изящество: образъ друга, окруженный свѣтомъ заходящаго солнца на горахъ, образъ дѣвы-утѣшительницы, окруженный полумракомъ, среди надгробныхъ памятниковъ кладбища слетѣли съ неба. Когда они были близко, когда я могъ осязать ихъ, они были еще люди; разлука придавала имъ идеальную невещественность; они мнѣ казались тогда свѣтлыми видѣніями... И я былъ даже счастливъ въ эти минуты тяжелой грусти...

Паромъ стукнулся и остановился. Офицеръ хотѣлъ перескочить на берегъ прежде, нежели положили доску, и по колѣни увязъ въ грязи.

— Можетъ ли что-нибудь быть ужаснѣе! кричалъ онъ, бѣсясь отъ досады.—Юрка, Юрка!

— Можетъ, отвѣчалъ я. Но ему было не до моихъ возраженій.

— А что? спросите вы.

— Быть отложительнымъ глаголомъ латинской грамматики и спрягаться страдательно, не будучи страдательнымъ.

На Волгѣ я чуть не потонулъ — однакожь не потонулъ, что очень хорошо.

Наконецъ, послѣ разнообразнѣйшихъ приключеній, я благополучно сталъ на якорь передъ городомъ Малиновымъ, и его-то именно я хочу описать. Жаль только, что у меня голова устроена какъ-то бессмысленно. Плато-Карпини, на-примѣръ, рассказываетъ свое путешествіе какъ по писанному, и, сказавъ въ началѣ: *dicendo de cibus dicendum est de moribus*, знаетъ уже, что какъ опишешь десертъ такъ и слѣдуетъ о нравахъ. Я сколько ни думалъ, не придумалъ въ какой порядокъ привести *любопытные* отрывки изъ моего журнала и помѣщаю его въ томъ видѣ, какъ онъ былъ писанъ.

Патріархальныя права города Малинова.

Посвящаю памяти Кука, и его (вѣроятно) превосходя-
тельству Дюмон-д'Юрвиллю, Capitaine de Vaisseau.

Великіе океаниды! вы не пренебрегали бѣдными островами, ко-
торыхъ все населеніе составляютъ гадкіе слизняки, двѣ-три пти-
цы съ необыкновеннымъ клювомъ, и столбъ, вами же поставлен-
ный. Отвергнете ли вы городъ Малиновъ?

Тщетно искалъ я въ вашихъ вселенскихъ путешествіяхъ, въ ко-
торыхъ описанъ весь кругъ свѣта, чего-нибудь о Малиновѣ. Ма-
линовъ лежитъ не въ кругѣ свѣта, а въ сторону отъ него (отъ-
того тамъ вѣчныя сумерки). Я не видалъ всего круга свѣта и,
будто въ-нику вамъ и себѣ, видѣлъ одинъ Малиновъ:—посвящаю
его вамъ и себя съ нимъ повергаю на палубу вашихъ землеoble-
тающихъ фрегатовъ.

Summâ cum pietat

etc. etc. etc.

..... Паромъ двигался тихо; крутой берегъ, гдѣ
грѣлось на солнцѣ желтое, длинное зданіе присутственныхъ мѣстъ
едва приближался, и мнѣ было грустно—разлука, или предчув-
ствіе были причиною—не знаю: вѣроятно, то и другое. Для меня,
въѣздъ въ новый городъ всегда полонъ думъ, и думъ торжествен-
ныхъ; кучка людей, живущихъ тутъ, не имѣла понятія обо мнѣ, и
объ нихъ; они родились, выросли, страдали и радовались безъ меня,
я безъ нихъ—и вдругъ наши жизни коснутся и, почему знать,
можетъ, въ этой кучкѣ найду я себѣ друга, который проведетъ
меня черезъ всю жизнь; врага, который пошлетъ пулю въ лобъ.
Если же и ничего этого не будетъ, все же ихъ жизни для меня
раскроются, и я, какъ дѣятельный элементъ, войду въ кругъ чуж-
дый и почему знать, какъ подѣйствую на него, какъ онъ подѣй-
ствуетъ на меня...

Паромъ остановился, коляску заложили, и я въѣхалъ въ Бо-
гомъ-хранимый градъ Малиновъ, шагомъ тащась на гору по гли-
нистой землѣ. Благочестивый городъ не завелъ еще гостинницы:

я остановился на постояломъ дворѣ, довольно грязномъ и чрезвычайно душномъ. Первымъ дѣломъ было раскрыть окно: низенькіе домики стоятъ по обѣимъ сторонамъ улицы, травка растетъ возлѣ деревянныхъ троттуаровъ и изрѣдка проѣзжаютъ, особымъ образомъ дребезжа, какія-нибудь желтыя или свѣтлозеленыя дрожки, дѣланныя до Француза. „Должно быть, эти люди въ простотѣ душевной живутъ-себѣ тихо и хорошо“ думалъ я, и (такъ-какъ это было на другой годъ послѣ университета) прибавилъ: „Beatus ille qui procul negotiis—ѣздитъ по улицамъ, на которыхъ растетъ трава“.

Такъ-какъ идиллическое расположеніе не могло меня насытить, я спросилъ хозяина, что у него есть съѣстнаго. „Есть, пожалуй, рыба славная“—Дай рыбу!—Онъ принесъ черезъ полчаса кусокъ рыбы съ запахомъ лимбургскаго сыра; я люблю, чтобъ каждая вещь пахла сама собою, и потому не могъ въ ротъ взять рыбы.—Еще что есть?—„Да ничего, *пожалуй*, нѣтъ.“ Хозяйка пожалѣла обо мнѣ и изъ другой комнаты, минутъ черезъ пять, принесла яичницу, въ которой были куски сыромятной кожи, состоявшіе въ должности ветчины, какъ надобно думать. Дѣлать было нечего: я наѣлся яичницы. Такъ-какъ дѣло шло къ вечеру, а я былъ разбитъ весенней дорогой, то и легъ спать.

Черезъ недѣлю.

Я переѣхалъ изъ нечистаго постоялаго двора на нечистую квартиру одного изъ самыхъ большихъ домовъ въ городѣ. Домъ этотъ состоитъ изъ разныхъ пристроекъ, дополненій, прибавленій, и отдается въ наймы разнымъ семьямъ, которыя всѣ пользуются садомъ, заросшимъ крапивою и лапушникомъ. Вчера вечеромъ мнѣ вздумалось посѣтить нашъ паркъ; я нашелъ тамъ, во-первыхъ, хозяина дома, во-вторыхъ, всѣхъ его жильцовъ. Хозяинъ дома—холостой человѣкъ лѣтъ 45, отrostившій большіе бакенбарды для того, чтобъ жениться, болтунъ и дуракъ,—дружески адресовался ко мнѣ и тотчасъ началъ меня рекомендовать и мнѣ рекомендовать. Тутъ былъ кокой-то старикъ подслѣпный, съ анной въ петлицѣ нанковаго сюртука, отставленный членъ межевой конторы;

какая-то блѣдная семинарская фигура съ тѣмъ видомъ рѣшительнаго идиотизма, который мы преимущественно находимъ у такъ-называемыхъ „ученыхъ“,—и въ-самомъ-дѣлѣ, это былъ учитель Малиновской Гимназіи. Межевой членъ, поднося мнѣ табатерку, спросилъ: „Изволите служить?“—Теперь нѣтъ; дѣла мои требовали, чтобъ я покинулъ службу на нѣкоторое время.—„А ежели смѣю спросить, имѣете чинъ?“—Титулярный совѣтникъ.—„Боже мой!“ сказалъ онъ съ видомъ глубокаго оскорбленія: „я думаю вы не родились, а я уже былъ помощникомъ землемѣра при генеральномъ межеваніи, и мы въ одномъ чинѣ! Хоть бы при отставкѣ дали ассесора! Единъ Богъ знаетъ мои труды! Да за что же васъ произвели въ такой рангъ?“ Мнѣ было немножко-досадно: однако, уважая его лѣта, я ему объяснилъ университетскія права. Онъ долго качалъ головою, повторяя: „И служи послѣ этого до сѣдыхъ волосъ!“ Въ то время, когда участникъ генеральнаго межеванія страдалъ отъ университетскихъ правъ, учитель гимназіи принялъ важный видъ и самодовольно замѣтилъ, что и онъ, на основаніи права лицъ, окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, состоитъ въ 9 разрядѣ, протянулъ мнѣ руку, какъ гражданинъ *reipublicae litterarum* своему согражданину. Человѣкъ этотъ чрезвычайно безобразенъ, нечистъ и, судя по видимымъ образчикамъ его бѣлья, надобно думать, что онъ мѣняетъ его только въ день Касіана-Римлянина. „Какого факультета-съ?“—Математическаго.—„И я-съ; да знаете, трудная наука, сушить грудь-съ; напряженіе вниманія очень нездорово; я оставилъ теперь математику и преподаю реторику“... Хозяинъ потащилъ меня, перерывая педагога, рекомендовать дамамъ; вообще, онъ старался показать, что со мною старый знакомый и какія границы я ни ставилъ его дружбѣ, она, какъ всѣ сильныя чувства, ломала ихъ. „Вотъ нашъ столичный гость“ кричалъ онъ *прекрасному полу*, сидѣвшему подъ качелями, рѣшительно похожими на висѣлицу. Старуха, съ померанцовыми лентами на чепцѣ, начала меня тотчасъ спрашивать о Москвѣ и о прочемъ. Потомъ звала приходиться къ нимъ *поскучать* и указывая на трехъ барышень, изъ которыхъ двѣ смотрѣли мнѣ прямо въ глаза, а третья, довольно хорошенькая, сидѣла поодоль съ книгой, объявила, что это ея дочери. Учитель гимназіи приступилъ

ко мнѣ съ неотступной просьбой идти къ нему чай пить. Дивясь такой необыкновенной учтивости, я пошелъ. Учитель привелъ меня въ комнату, въ которой сидѣла премолоденькая женщина и, сказавъ: „Сѣ ма шамъ“, прибавилъ: „прошу безъ церемоніи трубочку Фаллеру; у насъ, ученыхъ, нѣтъ церемоніи“. Жена его премиленькая и проста до безконечности; она говорила, что ей скучно жить на свѣтѣ, что хочетъ умереть, и при этомъ дѣлала такіе предсмертные глазки, что мнѣ пришли въ голову фантазіи совершенно противоположныя смерти; въ-послѣдствіи я убѣдился, что я не такъ далеко былъ отъ ея мыслей въ этой противоположности.

Конечно, все это смѣшно; но гдѣ же найдешь въ большомъ городѣ такое радушіе, гостепріимство? Люди всегда судятъ по наружности; что за дѣло до формы!

Черезъ двѣ недѣли.

Жаль, право, что эти добрые люди такъ сплетничаютъ; это отнимаетъ всю охоту ходить къ нимъ. Я начинаю думать, что все гостепріимство ихъ основано на скукѣ; они другъ другу страшно надоѣли, и новый пріѣзжій, особенно изъ столицы, для нихъ акробатъ, фокусникъ, обязанный занимать ихъ, рассказывать имъ новости; за это они строятъ ему куры, кормятъ на убой, поятъ до-нельзя, заставляютъ для него дочерей нѣтъ, аккомпанируя на пяти-октавномъ фортепьяно съ скворородными звуками. Когда выпросить его обо всемъ, и тогда даже интересъ его далеко неисчерпанъ: они начинаютъ всеми средствами узнавать о его дѣлахъ, о его родныхъ; иные дѣлаютъ это изъ видовъ; на-прим. старуха совѣтница, живущая противъ меня (я каждое утро вижу, какъ она, повязанная платкомъ, изъ-подъ котораго торчатъ нѣсколько сѣдыхъ волосъ въ палецъ толпиною, осматриваетъ свое хозяйство), познакомилась у воротъ съ моимъ каммердинеромъ Петромъ Оедоровичемъ и спрашивала его, женатъ я или нѣтъ, и если нѣтъ, имѣю ли охоту и склонность къ браку. Въ это время выбѣгала за нею (разумѣется, ненарочно) дочка рыжая и курносая, у которой не только на лицѣ, но и на платьѣ были веснушки. Другіе находятъ

просто поэтическое удовольствіе въ томъ, чтобъ знать всѣ домашнія дѣла новоприбывшаго...

Черезъ мысляхъ.

Былъ на большомъ обѣдѣ у одного изъ здѣшнихъ аристократовъ. Ужасно смѣшно все безъ исключенія, начиная отъ хозяина въ свѣтло-яхонтовомъ фракѣ и съ волосами, вычесанными вгладь, до кресель изъ цѣльнаго краснаго дерева тизель 10 фунтоваго орудія, украшенныхъ позолоченной рѣзбою въ видѣ раковинъ и амуровъ. Торжественной процессіей отпавился beau monde въ столовую: губернаторъ съ хозяйкой дома впередъ; за нимъ всѣ въ почтительномъ разстояніи и въ томъ порядкѣ, въ какомъ чиновники пишутся въ Адресъ-Календарѣ. Толпа лакеевъ въ какихъ-то чижоваго цвѣта сюртукахъ, пестрыхъ галстукахъ и съ бисерными шнурками по жилетамъ, суетились за стульями подѣ предводительствомъ дворецкаго, котораго брюхо доказывало, что онъ вполнѣ пользуется правомъ ѣсть съ барскаго стола. Изъ-за полуза-творенной двери выглядывала босая баба, одѣтая въ грязь, съ тарелкой въ рукѣ и съ полотенцемъ. Вице-губернаторъ хотѣлъ было сѣсть за второй столъ, за которымъ помѣстились барышни и молодые люди; но старуха или мать хозяина начала кричать: „помилуйте, Сергѣй Львовичъ, что вы дѣлаете; куда это вы сѣли?“ — „Да развѣ вы меня считаете старикомъ?“ — „Охъ, батюшка“ отвѣчала старуха „лѣтами-то ты молодъ, да чинъ-то твой старъ.“ Малиновъ смѣло можетъ похвастать порядкомъ распределенія мѣстъ за обѣдомъ.

Главное дѣйствующее лицо за обѣдомъ былъ докторъ, сорокъ лѣтъ тому-назадъ забывшій медицину, и учившійся, пятьдесятъ лѣтъ тому-назадъ, въ Гёттингенѣ. Онъ поѣхалъ въ Россію съ твердымъ убѣжденіемъ, что въ Москвѣ по улицамъ ходятъ медвѣди и, занесенный въ Малиновъ нѣмецкой страстью пытать счастья по всему бѣлому свѣту, обжился здѣсь, привыкъ и остался дожидаться, пока разстройство животной экономіи и засореніе vasorum absorbentium превратитъ его самого въ соръ. Этотъ старичокъ весьма веселый и крошечнаго роста, лукаво посматривалъ

сѣренскими глазками, острить въ глаза надъ всѣми, шутить, отпущать вольтеровскія замѣчанія, смѣшля двусмысленностями и приводить въ ужасъ матеріализмомъ. При этомъ онъ умѣлъ принять такой видъ кліентизма и уничиженія, такой видъ бономіи и самоуничтоженія, что его вылазки даже на особу его превосходительства принимались милостиво. Я воображаю, что подобную роль играли Жиды въ замкахъ рыцарей, когда они имъ были пужны. Его всѣ любили и онъ всѣхъ любилъ. Это поколѣніе родилось, выросло, занемогло, выздоровѣло при немъ, отъ него; онъ не только зналъ ихъ наружность, но зналъ внутренности,—и еще больше, нежели наружность и внутренности: я замѣтилъ это по нѣкоторымъ сардоническимъ взглядамъ, отъ которыхъ пылали нѣкоторыя щечки.

За обѣдомъ первый тостъ пили за *здравіе* его превосходительства, съ благоговѣйнымъ чиномъ, вставши. Докторъ сложилъ руки на груди и сказалъ: „Ваше превосходительство, ну могу ли я откровенно пить такой ужасный тостъ для меня?“... Всѣ захохатали; чиновники качали головой, будто говоря „экій смѣльчае!“ и я хохоталъ, потому-что въ-самомъ-дѣлѣ выходка была смѣшна.

Когда кончился обѣдъ съ своими 26-ю блюдами и 15 тостами, всѣ бросились къ карточнымъ столамъ. Барышни столпились въ уголъ залы. Докторъ, слѣдуя гигіеническимъ правиламъ, еще возложеннымъ въ Гёттингенѣ и отъ которыхъ онъ никогда не отступалъ, сталъ ходить изъ угла въ уголъ по комнатѣ, всякій разъ стрѣляя островами, когда подходилъ къ барышнямъ. Я ушелъ.

Черезъ полтора мѣсяца.

Жена почтмейстера, принимающая во мнѣ родственное участіе, сказала, что на меня дуется весь городъ, зачѣмъ я не дѣлалъ визитовъ. Безъ вины виноватъ! Мнѣ отроду не приходила въ голову возможность ѣхать въ незнакомый домъ. Завтра нанимаю я у хозяина дома дрожки (досадно только, что онѣ обиты кирпичнаго цвѣта сукномъ) и ѣду.

На другой день.

Вездѣ приняли какъ роднаго и подчивали водкой. Право, они

предобрые люди! Глупы ужасно—ну, да что жь дѣлать. Дамы намекали что-то на то, что я прежде познакомился съ почтмейстершей. Какое вниманіе ко мнѣ! Немного досадно, что онѣ такъ дурно думаютъ о моемъ вкусѣ. Жена тощаго учителя въ тысячу разъ милѣе и ближе къ натурѣ. Вчера мы съ ней гуляли по саду въ лунный вечеръ. Луна и здѣсь такъ же sentimentalна, какъ вездѣ. Въ саду есть бесѣдка, изъ оконъ которой прекрасно смотрѣть на луну...

Черезъ помоду.

Бѣдная, жалкая жизнь! не могу съ нею свыкнуться... Пусть человѣкъ, гордый своимъ достоинствомъ, придетъ въ Малиновъ посмотреть на тамошнее общество—и смирится. Больные въ домѣ умалишенныхъ меньше бессмысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся къ однимъ призракамъ, по горло въ грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть (прошу не забывать, что я говорю о Малиновѣ); тѣсныя, узкія понятія, грубыя, животныя желанія... Ужасно и смѣшно! Въ природѣ есть какаютосардоническая логика, по которой она безжалостно развиваетъ нелѣпости чрезвычайно-последовательно. И именно въ этихъ-то развитіяхъ тѣсно спаянъ, какъ въ шекспировскихъ драмахъ, глубоко-трагическій элементъ съ уморительно-смѣшнымъ. И жаль ихъ отъ души, и не удержишься отъ смѣха... Бѣдные люди! Они подъ тяжелымъ фатумомъ; виноваты ли они, что съ молокомъ всосали въ себя понятія нечеловѣческія, что воспитаніемъ они исказили всѣ порывы, заглушили всѣ высшія потребности? Такъ же невиноваты, какъ Альбиносы, которые вдыхаютъ въ себя сѣверный болотный воздухъ, лишающій ихъ силъ и заражающій ихъ организмъ.

И этотъ міръ нелѣпости чрезвычайно-последовательно учредился, такъ какъ Японія, и въ немъ всякое измѣненіе на-сію-минуту невозможно, потому-что онъ твердо растетъ на прошедшемъ и вѣренъ своей почвѣ. Вся жизнь сведена на матеріальныя потребности: деньги и удобства—вотъ граница желаній, и для достиженія денегъ тратится вся жизнь. Идеальная сторона жизни Малиновцевъ — честолюбіе, честолюбіе дѣтское, микроскопическое,

вполнѣ удовлетворяющееся приглашеніемъ на обѣдъ къ губернатору и его пожатіемъ руки. Утромъ, Малиновъ на службѣ; въ два часа, Малиновъ ѣстъ очень-много и очень-жирно, что и обуславливаетъ необходимость двухъ большихъ рюмокъ водки, чтобъ сдѣлать снисходительнымъ желудокъ. Послѣ обѣда, Малиновъ почитаетъ, а вечеромъ играетъ въ карты и сплетничаетъ. Такимъ образомъ жизнь наполнена, законопачена, и нѣтъ ни одной щелки, куда бы прорѣзался лучъ восходящаго солнца, въ которую бы подулъ свѣжій, утренній вѣтеръ. И, что меня выводитъ пуще всего изъ себя, это удушливое однообразіе, это отвратительное *sempre idem*. Ежели танцуютъ—все тѣ же кавалеры и тѣ же фраки; иногда мѣняются перчатки. Какъ теперь вижу красное платье цвѣту давленной брусники на женѣ директора гимназій; это платье пятьдесятъ разъ мелькало передо мною въ разныхъ временахъ года, въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, въ разныхъ танцахъ. Даже мнѣ памятенъ особый, померанцовый запахъ отъ него, въ родѣ кюрасо.—И говорятъ все одно и то же. Всякій вечеръ играютъ четыре мученика другъ съ другомъ въ бостонъ, и всякій разъ однѣ и тѣ же остроги. Одинъ скажетъ: „пришестнемъ“ вмѣсто шести: „не вистъ, а вистище“ и трое другихъ хохочутъ, всякій разъ! Да вѣдь это ужасно! Человѣчество можетъ ходить взадъ и впередъ, Лиссабонъ проваливаться, государства возникать, поэмы Гёте и картины Брюлова являться и исчезать—Малиновцы этого не замѣтятъ. Наполеону надобно было предпринять походъ 1812 года и пройти нѣсколько тысячъ верстъ самъ-полмилліона для того, чтобъ обратить на себя ихъ вниманіе. И то какое вниманіе! О Французѣ они слышали, какъ о саранчѣ; вѣдь никто не спрашиваетъ откуда саранча, и зачѣмъ,—довольно знать, что хлѣбъ дороже будетъ...

Встрѣчались люди, у которыхъ сначала былъ какой-то зародышъ души человѣческой, какая-то возможность,—но они крѣпко заснули въ жалкой, узенькой жизни. Случалось говорить съ ними о смертномъ грѣхѣ противъ духа—обращать человѣческую жизнь въ животную: они просыпались, краснѣли; душа, вспоминая свою орлиную натуру, расправляла крылья; но крылья были тяжелы, и они, какъ куры, только хлопали ими, на воздухъ не поднимались и

продолжали копаться на заднемъ дворѣ. Я глядѣлъ на нихъ и чуть не плакалъ.

Чтобъ познакомить еще болѣе съ жизнію Малиновцевъ, я опишу типическій день отъ 8 часовъ утра до 3 часовъ ночи.

Праздникъ ☼. На дворѣ трескучій морозъ, на улицахъ снѣгъ на аршинъ; плохо разсвѣло, а снѣгъ ужъ скрипитъ подъ санями непремѣннаго члена приказа, который отпрашивается къ губернатору рапортовать о состояніи богоугодныхъ заведеній, и поздравить его съ праздникомъ. Онъ увѣренъ, что губернаторъ еще спитъ, что онъ его прождетъ часа полтора; но въ томъ-то и сила, чтобъ прійти раньше всѣхъ,—почтительнѣе. Сальные лакеи для него не встанутъ; шубу онъ самъ снялъ на первой ступенькѣ лѣстницы; калоши оставилъ въ саняхъ, а сани у воротъ. Черезъ полчаса начинаютъ подъѣзжать къ воротамъ чиновники низшаго разряда—все это, чтобъ поздравить „генерала“ съ праздникомъ; наконецъ являются аристократы; они гордо въѣхали на дворъ и смѣло вошли въ переднюю въ шубахъ. Зала наполняется. Смирненно въ углу стоитъ какой-нибудь исправникъ; онъ всѣмъ кланяется, всѣхъ уважаетъ; онъ дрожитъ до-тѣхъ-поръ, пока не доберется опять до своихъ лѣсовъ. Полціймейстеръ, въ мундирѣ безъ эполетъ, держитъ рапортъ о благосостояніи города; правитель канцеляріи съ портфелемъ ждетъ у дверей кабинета; исправникъ бросаетъ тоскливые взоры на эту портфель... Погода немного, съ шумомъ влетаетъ изъ внутреннихъ дверей—notez bien cela—чиновникъ особыхъ порученій, безъ шляпы: „мы, де-скалъ, свои люди“. Онъ одинъ громко говоритъ—остальные шепчутъ; исправникъ похудѣлъ, когда онъ вошелъ, и поклонился низко; чиновникъ особыхъ порученій потолстѣлъ, увидѣвъ исправника, и поклонился ему наизнанку, то-есть, закинувъ голову на спину. Между-тѣмъ, компанія раздѣлилась на двѣ части,—аристократы сами-по-себѣ, плебеи сами-по-себѣ. Да кто же тутъ аристократы? Сейчасъ объясню вамъ это. Есть чиновники, сидящіе за перегородкой, передъ столомъ, покрытымъ краснымъ сукномъ; эти чиновники пишутъ по одному слову на каждой бумагѣ—это совѣтники, аристократы; это люди, которые приглашаются къ обѣденному столу его превосходительства; есть другіе чиновники, сидящіе по сю сторону перегородки, передъ столами, которые по-

крыты чернильными пятнами: эти пишутъ по одному милйону словъ на каждомъ листѣ, но они не аристократы, они—канцелярскіе. Эти два міра нигдѣ несмѣшиваются; одинъ переходный мостъ между ими—секретарь; секретарь, какъ Лафайетта называли,—человѣкъ двухъ міровъ. Безъ него совѣтникамъ было бы нечего под-писывать, а канцелярскимъ списывать. Онъ и въ обществѣ играетъ ту же роль. Если нѣтъ вблизи четвертаго, его сажаютъ съ собою за бостонъ аристократы, и онъ надѣваетъ бѣлый галстукъ. А завтра, на именинахъ у *канцелярскаго*, для него составляютъ бостонъ изъ двухъ столоначальниковъ и частнаго пристава, но онъ прійдетъ въ сюртукъ и разстегнетъ двѣ пуговицы на жилетъ. Есть еще разные двусмысленные чиновники, Zwittergestalten, лавирующие между двумя мірами, и, смотря по обстоятельствамъ, прикрѣпляющіеся то къ одному, то къ другому: губернской стряпчій, правитель дѣлъ губернатора; но истинно завидное общественное положеніе принадлежитъ чиновнику особыхъ порученій. Партизанъ юридическихъ набѣговъ, онъ съ презрѣніемъ смотритъ на все, кромѣ губернатора; его аристократы боятся, плебеи ему удивляются, всѣ завидуютъ; онъ въ синемъ фракѣ обѣдаетъ у губернатора, онъ отправляетъ на почту письма его превосходительства.—Около міровъ губернскаго чиновничества, обращаются міры уѣздныхъ; о нихъ въ другой главѣ. Въ всего этого, шага на два, отдѣльные владѣтельные князья: прокуроръ, директоръ гимназіи, уѣзльный начальникъ; ихъ отношенія не такъ правильно истекаютъ изъ главной идеи, какъ въ мірѣ, подчиненномъ губернатору. Но двери въ кабинетъ растворились, и „генералъ“ вышелъ; съ нимъ его гость и другъ, малиновскій откупщикъ, толстый мужчина съ свинными глазами. Губернаторъ Малинова говоритъ съ тремя-четырьмя изъ аристократовъ, на остальныхъ не обращаетъ вниманія; а ежели кому случится встрѣтиться съ его взглядомъ, тотъ тотчасъ кланяется, хотя бы въ пятый разъ; многіе выставляются, чтобъ заявить свое присутствіе. Директоръ гимназіи, пріѣхавшій позже всѣхъ, поднимаетъ голосъ: „Ваше превосходительство, не соблаговолите ли ѣхать въ кафедральный соборъ? Отецъ-ректоръ семинаріи высокопреподобный Макридій будетъ говорить слово“.—Какъ же! непременно. Онъ хорошо говоритъ.—„Ораторское искусство

Цицерона, ваше превосходительство“, и директоръ гордо смотритъ на окружающихъ. Губернаторъ, обращаясь ко всѣмъ, произноситъ: „И вы вѣроятно въ соборъ? надобно молиться!“, и всѣ ѣдутъ въ соборъ. Обѣдъ я описывалъ. Вечеромъ балъ у полиціймейстера. Губернаторъ отдаетъ приказъ, чтобъ раньше собирались: онъ не любить, когда кто-нибудь позже его пріѣзжаетъ. Выспавшись, городъ начинаетъ торопиться, надѣваетъ пестрый жилетъ, коричневый фракъ, надѣваетъ всего чаще виц-мундиръ, и ѣдетъ на балъ. Дамскій туалетъ я описать не возьмусь: отъ одного описанія можетъ зарябѣть въ глазахъ. Плоски горятъ у воротъ полиціймейстера; въ окнахъ свѣтъ. Въ восьмомъ часу начинается собираться *beau monde*; пьяный сторожъ снимаетъ шубы и прячетъ ихъ, чтобъ никто не уѣхалъ; въ передней тѣсно: четыре семинариста въ трапезныхъ халатахъ, два солдата и канцелярскій служитель въ фризовой шинели, подпоясанный бѣлымъ полотенцемъ, составляютъ оркестръ. Начинаютъ подъѣзжать экипажи, и огромный возокъ почтмейстера, мыча и скрипя остановился у крыльца. Возокъ этотъ дѣланъ около царствованія Анны Иоанновны и, отодвигаясь каждое двадцатипятилѣтіе на нѣсколько сотъ верстъ отъ Петербурга, оканчивалъ преклонныя лѣта свои въ сараѣ почтмейстера. Встарь онъ былъ внутри покрытъ мѣхомъ; теперь оплешивѣлъ, и окна качаются у него, какъ зубы у старухи. Изъ возка вынимаютъ человѣкъ восемь обоего пола: какъ они помѣстились, съ накрахмаленными юбками, съ Станиславомъ (во весь ростъ) на шеѣ у почтмейстера, съ цвѣтами на челѣ почтмейстерши — трудно постигнуть; но кому же и умѣть укладываться. какъ не почтовымъ? Это гости почетные, и ихъ полиціймейстеръ встрѣчаетъ въ передней. Въ залѣ становится людно и сильно пахнетъ духами, которые *троитъ à Paris* Мусатовъ. Но ни картъ не даютъ, ни чаю; ни музыка не играетъ. Подполковница гарнизоннаго баталіона—дама отважная, дама хорошо-воспитанная въ разныхъ казармахъ и кордегардіяхъ, начинаетъ роптать и повторяетъ свою вѣчную фразу: „когда я стояла съ мужемъ въ Молдавіи, то самъ господарь...“ Квартальный сбиваетъ гостей съ ногъ, ищетъ хозяина и кричитъ „ваше высокоблагородіе; его превосходительства карета *извогла* на мостъ въѣхать!“ Полицій-

мейстеръ, прихрамывая отъ тарутинской пули, бѣжитъ съ лѣстницы, чтобъ встрѣтить генерала. Генераль пріѣхалъ съ откупщикомъ. Входитъ. Музыка преміи польскій; генераль открываетъ балъ и отправляется за карточный столъ. Машина спущена. Чай подается, карты сдаются, vis-à-vis выбираются, пары становятся... Балъ провинціальный описывали тысячи разъ; разумѣется, онъ имѣетъ нѣкоторое сходство съ столичнымъ баломъ—такъ, какъ есть же общее въ портретахъ Кутузова, цѣною въ десять рублей, и цѣною въ 10 копѣекъ. Иногда танцующіе ссорятся за мѣста, и тутъ недалеко до членовредительства: есть дамы, въ томъ числѣ подполковница, которая непременно хочетъ быть въ первой парѣ въ мазуркѣ и готова щипать несчастную даму, стоящую передъ ней. Есть кавалеры, которые какъ-то прищелкиваютъ каблукъ, такъ что изъ другой комнаты можно думать, что дверью кто-нибудь давить грецкіе орѣхи. За то есть голыя плечи, ни чуть не хуже столичныхъ, пластически прелестныя, отъ которыхъ трудно отвести глаза, особенно стоя за стуломъ; есть свѣжія лица, очень хорошенькія: но глазъ съ выраженіемъ нѣтъ. Въ всемъ Малиновѣ было три глаза выразительные: два изъ нихъ принадлежали одной пріѣзжей барышнѣ, третій кривой оболонгѣ губернаторской. Въ антрактахъ между одной кадрилию и другою, наполняютъ „желудка бездонную пропасть“, какъ говоритъ Гомеръ: дамамъ сласти, мужчинамъ водкой, виномъ и солеными закусками. Отсюда немудрено понять, что балъ разгорается болѣе и болѣе. Матери семейства, сидяція неподвижно около стѣнъ, громче сплетничаютъ; лица барышень разгораются; юность и веселье беретъ верхъ надъ этикетомъ, — словомъ, балъ во всей красѣ. Въ двѣнадцать часовъ губернаторъ окончилъ бостонъ, выходитъ въ залу и танцуетъ кадрили съ хозяйкой дома. Въ Малиновѣ всѣ танцуютъ—отъ грудныхъ дѣтей до столѣтнихъ старцовъ, такъ-какъ всѣ играютъ въ бостонъ. Можно думать, что всѣ жители заражены пляской Виты. Потомъ трескъ, шумъ, sensation... „Ваше превосходительство, еще минуту!“ Генераль неумолимъ, генераль твердъ, генераль не ужищается, генераль въ шубѣ, генераль уѣхалъ. Нѣсколько человѣкъ, несмѣвшіе танцовать съ нимъ подъ одной крышей, являються на паркетъ; уѣздный казначей кричитъ въ котильонѣ „окончимъ по-

пурами, я смерть люблю попури“. Отъ попурей за ужинъ; съ ужина матери семействъ укладываются, целуются, увѣщаютъ съ дочерьми; изъ дамъ остается одна подполковница—ее не испугаешь ничѣмъ, бывалой человѣкъ. Шампанское льется рѣкой. Пьяный подполковникъ умоляетъ жену пройти съ нимъ „русскую“: одни свои, чужіе разѣхались. Канцелярскій въ фризовой повелъ смычкомъ „барыню“,—и салонъ незамѣтно переливается въ *Перовъ* трактиръ. Часа въ четыре, гости разѣзжаются. Хозяинъ доволенъ, потираетъ себѣ руки, говоря „жаркій денекъ удался“...

Но довольно вязнуть въ этомъ болотѣ; тяжело ступать, тяжело дышать. Перейдемъ въ сферу, гдѣ человѣкъ отъ животныхъ отдѣляется не одними зоологическими признаками, которые упрочищаютъ за нимъ почетное мѣсто возлѣ обезьянъ и лемуновъ.

Вотъ одна человѣческая встрѣча въ Малиновѣ, и очень-странный притомъ.

Недалеко отъ Малинова-города, живетъ какой-то помѣщикъ, рассказы о которомъ безконечны у Малиновцевъ,—богатый человѣкъ, выписывающій вещи изъ Парижа и изъ Лондона, устроившій свое имѣнье по-ученому, по *аграноміи*, польско-прусскій дворянинъ, и проч. и проч.

„Почему онъ не женится?“ говорили одни. „Потому-что онъ фармазонъ, а въ ихъ вѣрѣ даютъ обѣтъ монашества; масоны и иезуиты—вѣдь это одно“ отвѣчали люди мудрые, вершавшіе окончательно трудные вопросы, которые изрѣдка возникали въ малиновскихъ головахъ. „Онъ скучъ какъ кашей“ говорили чиновники: „ни одного *стола* не сдѣлалъ во всю жизнь; нашъ братъ живетъ лучше его, не смотря на бѣдные оклады“. „Онъ развратилъ своихъ крестьянъ“ говорили помѣщики: „до того, что они въ будни ходятъ въ сапогахъ, да еще имѣютъ у себя батраковъ“. „Сумасшедшій, просто сумасшедшій“ увѣрялъ пятидесятилѣтній корнетъ, обладатель 20 душъ и камердинера въ плисовыхъ панталонахъ. Наконецъ я познакомился съ нимъ.

Трензинскій сдѣлалъ на меня самое странное впечатлѣніе. Чортъ-знаетъ, какъ онъ съ такимъ апатическимъ равнодушіемъ умѣлъ соединить силу дѣйствовать на душу странными мифіями и парадоксами. Ему удалось нанести глухой ударъ нѣкоторымъ изъ-

теплыхъ вѣрованій моихъ. Да что это, какъ я слабъ, или какъ слабы мои теоріи, когда первый встрѣчный можетъ потрясти ихъ! И прескверная манера у него: онъ почти не спорить; онъ на теоретическія разрѣшенія вопросовъ смотритъ какъ на что-то постороннее, школьное, безъ вліянія на жизнь и безъ корня въ ней. Отъ-того, вмѣсто спора и опроверженія, онъ преравнодушно соглашается, и иной разъ, кажется, откровенно.

Я ему былъ рекомендованъ единственнымъ человѣкомъ, имѣвшимъ съ нимъ постоянныя сношенія, докторомъ медицины, проживавшимъ въ одномъ изъ большихъ заводовъ малиновскихъ. Самъ докторъ лицо примѣчательное. Имѣя практику въ городѣ, онъ въ недѣлю раза два являлся въ Малиновъ. Я часто встрѣчался съ нимъ, но никогда не слыхалъ отъ него ни одного слова, которое относилось бы къ чему-нибудь постороннему для его занятій, ни даже о погодѣ, о дорогѣ и проч. А между-тѣмъ, ироническая улыбка и яркіе глаза показывали, что онъ многое могъ бы сказать, и что ему дорого стоитъ прилѣпить языкъ къ гортани. Мнѣ не здоровилось, и я просилъ доктора заѣхать; онъ явился, и незнаю какъ, но у меня онъ не игралъ своей молчаливой роли. Говорятъ, что храмовые рыцари вездѣ узнавали другъ друга, узнавали даже степень свою въ таинствахъ и силу въ орденѣ при встрѣчѣ. Это только съ перваго взгляда кажется удивительнымъ: мы всѣ храмовые рыцари, и свой своего узнаетъ по тремъ, четыремъ словамъ. И такъ, нѣтъ ничего удивительнаго, что два выхода университета поняли тотчасъ другъ друга въ Малиновѣ. Докторъ посѣщалъ меня вдвое чаще, нежели требовала моя полуболѣзнь, и сидѣлъ вдвое долѣе, нежели у всѣхъ больныхъ Малиновцевъ. Онъ говорилъ съ восхищеніемъ о Трензинскомъ. И однимъ добрымъ утромъ мы поѣхали къ нему.

Трензинскій принималъ европейски-учтиво, т. е. малиновски-грубо, безъ полуварварскаго гостепріимства, безъ трехъ четвертей варварскихъ церемоній, и безъ вполне-варварскаго принужденія пить и ѣсть когда не хочется. Поговоривъ о томъ, о семъ, онъ сказалъ намъ, что въ это время ежедневно осматриваетъ заводъ, и просилъ или идти съ нимъ, или, пока онъ возвратится, погулять въ саду. Мы пошли на заводъ.—Трензинскій человѣкъ высокаго роста,

чрезвычайно худой; лицо нѣжное, очень блѣлое; эта бѣлизна придаетъ что-то мертвое, отжившее всѣмъ чертамъ, и если бѣ не большіе сѣро-голубоватые глаза и улыбка на губахъ, то онъ былъ бы похожъ на хорошо-сдѣланную восковую фигуру. И улыбка его примѣчательна: сначала она кажется добродушіемъ, потомъ насмѣшкой, и наконецъ убѣждаешься, что этотъ ротъ вовсе не можетъ улыбаться, а что движеніе губъ его болѣзненно-судорожное сжиманіе. Ему за пятьдесятъ; но онъ прямъ и бодръ; „чело какъ черепъ голый“. Исторія его жизни, должно быть, представляетъ длинную повѣсть мыслей, страстей, ощущеній, коллизій; но повѣсть кончена, а жизнь продолжается. Такъ казалось мнѣ, когда я пристально всматривался въ его лицо; оно мнѣ напомнило мраморные, холодные, гладкіе надгробные памятники, поставленные надъ прахомъ, въ которомъ клокоталъ когда-то огонь. Въ его кабинетѣ мало книгъ: „Mémorial de St-Helène“ и какой-то трактатъ о черепословіи, лежали на столѣ между Таромъ, Берцеліусомъ и книгами, прямо относящимися къ заводскому дѣлу. На окнахъ стояли реторты, стеклянки и банки, а на стѣнахъ висѣло нѣсколько видовъ Венеціи, копія съ рембрандова Яна Собѣскаго, двѣ-три головы съ свѣтлыми усами и картина, тщательно завѣшанная тафтою.

Осмотрѣвъ заводъ, пришли мы въ садъ и сѣли на террасѣ; день былъ очень хорошъ; запахъ воздушныхъ жасминовъ и тополей доносился къ намъ, вмѣстѣ съ неопредѣленнымъ лѣтнимъ говоромъ природы,—говоромъ, въ которомъ перенутаны и шелестъ листьевъ, и чириканье птицъ, и звуки бузничка, и жужжанье пчелъ и еще сотня разныхъ звуковъ, свидѣтельствующихъ, что все вокругъ васъ живо, весело и радуется солнцу. Ничего нѣтъ удивительнаго, что разговоръ мало-по-малу оживился и сдѣлался откровеннымъ. Человѣку вовсе несвойственно непрерывно корчить дипломата, и надобно ему пройти великую школу разврата духовнаго, чтобъ подозрительно затаивать всякую мысль отъ каждаго вновь-встрѣтившагося человѣка.

— Славно живете вы, сказалъ я:—особенно въ хорошую погоду; но, признаюсь, удивляюсь, какъ вамъ не скучно въ такомъ одиночествѣ и въ такой глуши.

— Конечно, подѣ-часъ бываетъ скучно, но не думайте, чтобъ

болѣе нежели гдѣ-нибудь. Скука внутри имѣть зародышъ. Повѣрьте, кто понялъ душою, что на свѣтѣ *можетъ быть* очень скучно, тому придется иной разъ поскучать, гдѣ бы онъ ни жилъ —отъ Нью-Йорка до Малинова. Вообще, здѣсь я меньше скучаю, нежели скучалъ прежде, кочуя изъ города въ городъ; здѣсь у меня положительные занятія.

— Я не понимаю, откровенно говоря, возможность жить и не имѣть подлѣ себя ни одного близкаго существа.

— Вамъ, кажется, лѣтъ двадцать, а мнѣ пятьдесятъ-шесть. И не смотря на то, что есть много истиннаго въ вашемъ замѣчаніи, я увѣряю васъ, что человѣкъ можетъ всячески жить: таково устройство его, и я въ этомъ нахожу высочайшую премудрость; брошенный совершенно во власть случайности, не имѣя возможности измѣнить внѣшнее на волосъ, онъ былъ бы несчастнѣйшимъ существомъ, еслибъ не доставало ему эластичности, хорошо прилаживающейся къ обстоятельствамъ. Вы не имѣете повода думать, чтобъ я отталкивалъ отъ себя симпатію; одинъ человѣкъ образованный и съ душою, на 300 верстъ кругомъ,—это докторъ, и онъ бываетъ у меня; давно ли пріѣхали вы въ Малиновъ, и такъ ли, иначе ли, вы здѣсь,—и я чрезвычайно радъ. Но понимаю, что тотъ же случай могъ сдѣлать, и съ тою же безсознательностью, чтобъ вы не были въ Малиновѣ, чтобъ вмѣсто доктора, привезеннаго ко мнѣ моимъ управляющимъ безъ моего вѣдома, пріѣхалъ Нѣмецъ Буффъ, котораго, вѣроятно, вы видѣли. И я былъ бы одинъ. Власти надъ случаемъ у меня нѣтъ: что жъ бы мнѣ дѣлать? писать элегіи—лѣта ушли. Съ-тѣхъ-поръ, какъ я понялъ, что часто случай управляетъ индивидуальнымъ существованіемъ и цѣлыми семействами, я отдался ему во власть: онъ меня бросилъ въ Малиновъ, тогда-какъ я и имени этого города не слыхалъ прежде; могъ бы бросить въ Канаду, и я сдѣлался бы тамъ куперовскимъ колонистомъ....

— Случай, которому вы, кажется, придаете всю мощь греческаго фатума, имѣетъ вліяніе надъ внѣшнею стороннею жизни, такъ-сказать надъ обстановкой. Въ томъ-то вся задача, чтобъ, подобно какому-нибудь Гёте, стоять головою выше всѣхъ обстоятельствъ

и ихъ покорять,—чтобъ внутренній міръ сдѣлать независимымъ отъ наружнаго.

— Гёте вы поставили не совсѣмъ-хорошо въ примѣръ. Тотъ же случай, о которомъ я говорю, далъ, во-первыхъ, ему огромную дозу эгоизма и, во-вторыхъ, организацію холодную ко многому, волнуящему другихъ. Тутъ нѣтъ побѣды, что человѣкъ, не чувствующій потребности пить вино, не пьянствуетъ. Что касается до вашего внутренняго міра, все это хорошо въ стихахъ и въ трактатахъ, а не на самомъ дѣлѣ и не для всѣхъ. Я тоже сошлюсь на Гёте: онъ чрезвычайно-глубокомысленно сказалъ въ одной эпиграммѣ, которая, вѣроятно, вамъ извѣстна, что жизнь не имѣетъ *ни ядра, ни скорлупы*. Съ другой стороны, а не спорю, внутренняя полнота, особенно при экзальтаціи воображенія, можетъ сдѣлать человѣка совершенно независимымъ отъ всего внѣшняго; но еще разъ—это не для всѣхъ: для этого надобно имѣть, можетъ-быть, слабонервныхъ родителей, вообще склонность къ сумасшествію... Вѣдь и сумасшествіе есть независимость отъ внѣшняго міра.

— Помилуйте! вскричалъ я, выведенный изъ себя результатомъ: —идеаль высшаго гармоническаго существованія кажется вамъ болѣзнію, близкой къ сумасшествію, и совершенную потерю божественной искры въ человѣкѣ вы сравнили съ безконечною высотой духа, пренебрегающаго всѣми суетами и гордо находящаго цѣлый міръ въ себѣ!

— А вы сейчасъ сказали, что не понимаете жизни безъ близкаго существа. Тутъ противорѣчіе. Это близкое существо будетъ внѣ васъ, и случай—сквозной вѣтеръ, на-примѣръ,—можетъ отнять его у васъ: ну что-то тутъ скажетъ ваша теорія внутренней полноты?

— Она самоотверженно склонитъ главу, и воспоминаніемъ, самою грустью замѣнитъ бывшее.

— Хорошо, что у ней гибкая шея. А еслибъ у ней была непреклонная вѣя Байрона, еслибъ самоотверженіе для нея было столько же невозможно, какъ для рыбы дышать воздухомъ?.. Конечно, и спорить нечего; воздухъ славная среда для дыханія, жиденькая, прозрачная—а рыба умираетъ въ ней. Я вижу, вы большой идеалистъ. Это дѣлаетъ вамъ честь; идеализмъ доступенъ только выс-

шимъ натурамъ; идеализмъ одна изъ самыхъ поэтическихъ ступеней въ развитіи человѣка и совершенно по-плечу юношескому возрасту, который все пытается словами, а не дѣломъ. Жизнь послѣ покажетъ, что всѣ громкія слова только прикрываютъ кисейнымъ покровомъ пропасти, и что ни глубина, ни ширина ихъ не уменьшается отъ-того ни на волосъ. Увидите сами.

— Увѣряю васъ, что я не позволю какому-нибудь отдѣльному, случайному факту, несчастію, потрясти моихъ убѣжденій.

— Богъ-знаетъ; судя по живости вашей, я не думаю, чтобъ вы могли пасть въ незавидное положеніе нѣмецкихъ ученыхъ, которые, выдумавъ теорію, всю жизнь ее отстаиваютъ, хотя бы каждый день опровергали ее. Конечно, это такъ невинно и безвредно, что жаль ихъ бранить, но тѣмъ не менѣе чрезвычайно смѣшно. Они мнѣ напоминаютъ старика Англичанина, съ которымъ я познакомился въ началѣ нынѣшняго вѣка. Благородный лордъ доказывалъ ясно, какъ $2 \times 2 \equiv 4$, что Наполеона недолжно признавать императоромъ и называлъ его „генераломъ Бонапартѣ“. Это навлекло на него разныя гоненія, и онъ долженъ былъ непрерывно оставлять городъ за городомъ; наконецъ поселился въ Вѣнѣ—тутъ ему было раздолье опровергать права Наполеона. На-бѣду, генераль Бонапартѣ сталъ близокъ австрійскому Императору, лордъ поспѣнулъ Австрію, увѣряя, что ежели весь міръ признаетъ Бонапартѣ императоромъ, то онъ одинъ станетъ противъ всего міра и скорѣй положитъ свою сѣдую голову на плаху, нежели назоветъ его государемъ. Почтенный человѣкъ! и я всегда съ любовью протягивалъ ему руку; душа отдыхала, находя въ ту эпоху флюгерства человѣка съ такимъ мощнымъ убѣжденіемъ,—а бывало, слушая его, внутренно смѣешься, переносясь въ Парижъ, гдѣ короли ждуть большаго выхода и склоняются передъ Наполеономъ.

— Всякая крайность имѣетъ свою смѣшную сторону. Но я никогда не думалъ, чтобъ толпа, погруженная въ ежедневность и направляемая ею, незнающая, что она [завтра будетъ дѣлать, и которой вся жизнь опредѣляется внѣшнимъ, стеченіемъ обстоятельствъ, была ближе къ назначенію человѣка, нежели гордый духъ, отвергающій всякое внѣшнее вліяніе и непокоряющійся ничему имъ непризанному.

—То и другое, кажется, дурно. Толпа виновата тѣмъ, что она не понимаетъ, почему она такъ живетъ; а гордый духъ, говоря вашими словами, виноватъ вдвое тѣмъ, что, умѣя понимать, не признаетъ очевидной власти обстоятельствъ и тратитъ силу свою на отстаиваніе мѣста, то-есть на чисто-отрицательное дѣло. Не лучше ли, куда бы и какъ бы судьба ни забросила, стараться дѣлать максимумъ пользы, пользоваться всеѣмъ настоящимъ, окружающимъ,—словомъ, дѣйствовать въ той сферѣ, въ которую попалъ, какъ бы ни попалъ.

—Извините, я не могу удержаться отъ вопроса, какъ вы, на примѣръ, попали на мысль сдѣлаться малиновскимъ помѣщикомъ? Этотъ вопросъ идетъ прямо къ вашимъ словамъ.

—Моя жизнь неидетъ въ примѣръ. Для того, чтобъ быть брошеною такъ безцѣльно, такъ нелѣпо въ мірѣ, какъ я, надобенъ цѣлый рядъ исключительныхъ обстоятельствъ. Я никогда не зналъ ни семейной жизни, ни родины, ни обязанностей, которыя врастаютъ въ сердце съ колыбели. Но замѣьте, я нисколько не былъ виноватъ, я не навлекъ на себя этого отчужденія отъ всего человѣческаго: обстоятельства устроили такъ. Когда-нибудь я расскажу больше; теперь только скажу о пріѣздѣ сюда. Въ 1815 году жилъ я въ Карлсбадѣ; это время мнѣ очень памятно; я никогда не страдалъ такъ, какъ тогда. Побѣдители Франціи возвращались гордые и лгующіе. Политическія партіи кипѣли; одни хвалились своими ранами, другіе своими проектами; все было занято—побѣжденные слезами, униженными воспоминаніями, но все же занято. Я одинъ былъ посторонній во всемъ, какимъ-то дальнимъ родственникомъ человѣчества... Это давило меня, я былъ еще помоложе. Всѣ больные развѣхались; я оставался, потому-что не могъ придумать, куда ѣхать и зачѣмъ. Жилъ цѣлую зиму; пришла весна; явились новые больные, и я вмѣстѣ съ ними принялся пить шпрудель. Я велъ большую игру и—вѣрѣе или нѣтъ, съ радостью видѣлъ, какъ мое богатство утекало широкою рѣкой, предвидя, что наконецъ нужда рѣшить вопросъ о томъ, что мнѣ дѣлать. Разъ, въ Казино, мечу я банкъ; русскій князь, бросавшій деньги горстями и дѣлавшій удивительныя глупости, о которыхъ, я полагаю, до-сихъ-поръ говорятъ въ Карлсбадѣ, подошелъ къ

столу. „Сколько въ банкѣ?“ спросилъ онъ.—Тысяча червонцевъ.— „Не стоить и руки марать“ замѣтилъ князь съ презрительной улыбкой. Это взбѣсило меня.—Князь! закричалъ я ему въ-слѣдъ:—я отвѣчаю за банкъ, сколько бы вы ни выиграли; вотъ небольшая гарантія—и бросилъ на столъ заемное письмо банкира въ огромную сумму. „Теперь посмотримъ“ сказала князь, вынулъ карту и поставилъ на нее тысячу червонцевъ. Нѣсколько игроковъ и больныхъ, стоявшихъ возлѣ, взглянули на него, какъ на великаго человека. Этого-то онъ и хотѣлъ, и за это заплатилъ тысячу червонцевъ, потому-что карта была убита. Игра завязалась; и довольно сказать, что въ пять часовъ утра князь дрожащимъ мѣломъ сосчиталъ 630,000 франковъ, два раза провѣрилъ, и съ пятнами на лицѣ признался, что у него такой суммы теперь нѣтъ. На другой день онъ мнѣ прислалъ билетъ въ 130,000 франковъ и предложеніе заложить свое имѣніе въ Малиновской губерніи. Новая мысль блеснула у меня въ головѣ; я просилъ за долгъ уступить имѣніе; онъ обрадовался,—и я сдѣлался властителемъ и обладателемъ 550 душъ въ Малиновской губерніи. Въ 1818 году я приѣхалъ съ княземъ въ Россію и, по окончаніи нужныхъ формъ, явился сюда. Десять лѣтъ я работалъ денно и нощно. Представьте, не зная ни слова по-русски, будучи незнакомъ съ правами, видя, что мои нововведенія принимаются съ ропотомъ и неудовольствіемъ—я, разомъ ученикъ и распорядитель, впадалъ въ грубѣйшія погрѣшности, судилъ о русскомъ мужикѣ à la Robert Owen, и въ то же самое время усердно занимался химіей и заводскими дѣлами. Это счастливѣйшіе годы моей жизни! Въ 1829 году, поѣхалъ я посмотреть Петербургъ, пробылъ тамъ зиму, соскучился и воротился сюда. Вотъ была для меня минута, полная наслажденія. Тутъ только увидѣлъ я разомъ плоды десятилѣтнихъ трудовъ. Поля моихъ крестьянъ отличались отъ сосѣднихъ какъ небо отъ земли; ихъ одежда... ну, словомъ, ихъ благосостояніе тронуло меня до слезъ. Съ-тѣхъ-поръ продолжаю я еще ревностнѣе устраивать мое имѣніе, хочу осушить болота, увеличить заводъ, и меня тѣшитъ явное улучшение того клочка земли, который судьба мнѣ дала. Я работаю, а между-тѣмъ жизнь идетъ да идетъ. Et, c'est autant de pris sur le diable!

— Прошу въ столовую, прибавилъ онъ, вставая и принимая опять свой холодный видъ, котораго онъ было-лишился, рассказывая свою агрономическую поэму.

Я остался въ раздумьи отъ этой встрѣчи. Въ умномъ хозяинѣ моемъ не было ничего мефистофельскаго, ни балзаковскихъ yeux fascinateurs, ни лихорадочнаго взора героевъ Сю, ни... всѣхъ необходимыхъ діагностическихъ и прогностическихъ признаковъ разочарованныхъ, мизантроповъ, бѣснующихся девятнадцатаго вѣка. Совсѣмъ напротивъ: въ немъ было много добраго, а между-тѣмъ, его слова производили какое-то тяжкое, грустное впечатлѣнiе, тѣмъ болѣе, что въ нихъ была доля истины и что онъ жизнь дошелъ до своихъ результатовъ.

Послѣ обѣда люди дѣлаются вообще гораздо-добрѣе. Это одно изъ тѣхъ убійственныхъ замѣчанiй, которыя глубоко оскорбляютъ душу мечтательную, а между-тѣмъ, оно до того справедливо, что Гомеръ въ „Илиадѣ“ и „Одиссеѣ“ и Шекспиръ, не помню гдѣ, говорить объ этомъ. И такъ мы сдѣлались добрѣе и сѣли на турецкiй диванъ въ маленькой угольной комнатѣ, потому-что солнце свѣтило теперь прямо на террасу. На стѣнѣ висѣло нѣсколько эстамповъ; я всталъ, чтобъ посмотреть ихъ и остановился передъ гравюрой съ раухова бюста Гёте. Господи, какъ въ преклонныя лѣта сохранилась такая мощная и величественная красота! Эта голова могла бы послужить типомъ для греческаго ваятеля. Это чело, возвышенное и мощное по самой формѣ, эти спокойныя очи, эти брови... Самое слабое, старческое тѣло придало глубокий смыслъ его лицу, смыслъ, понятый тѣмъ изъ его современниковъ, который по многому могъ стать возлѣ него. Какъ одежда восточнаго жителя едва держится на его станѣ и готова упасть съ плечъ, такъ и тутъ вы видите, что тѣло готово отпасть, а духъ воспрянуть во всей славѣ и красотѣ своей безтѣлесности (*). Я долго стоялъ передъ изображенiемъ поэта и спросилъ у Трензинскаго:— видали ли вы Гёте и похожъ ли этотъ бюстъ?

— Два раза, отвѣчалъ онъ.— Да, онъ въ инныя минуты былъ похожъ на свой бюстъ. Раухъ точно генiально умѣлъ схватить высшее выраженiе его лица.

(*) Гегель въ „Эстетикѣ“..

— Расскажите, пожалуйста, гдѣ и какъ вы его видѣли. Я страстно люблю рассказы очевидцевъ о великихъ людяхъ.

— Я не думаю, чтобъ вамъ понравился мой рассказъ: вы мечтатель, вамъ вѣроятно Гёте все представляется молніеноснымъ Зевсомъ, глаголющимъ міровыя истины и великія слова. Я, напротивъ, никогда не умѣлъ уничтожаться въ поклоненіи и адуляціи знаменитыхъ индивидуальностей, и смотрѣлъ на нихъ безъ заготовленныхъ теорій—и большею частію видѣлъ, что онѣ sont ce que nous sommes,—имѣютъ лицевую сторону и изнанку. Вы, поэты, именно изнанки-то и не хотите знать, а безъ нея индивидуальность неполна, не жива. Вотъ вамъ моя встрѣча, послѣ предисловія, за которое прошу не сердиться. Первый разъ я видѣлъ его мальчикомъ, лѣтъ 16. При началѣ революціи, отецъ мой былъ въ Парижѣ и я съ нимъ. Régime de terreur какъ-то проглядывалъ севозъ сладеоглаголивую жиронду. Люди совершенно-безумные, съ растрепанными волосами и въ сальныхъ кафтанахъ, показались въ парижскихъ салонахъ и проповѣдывали громко уничтоженіе всѣхъ прежнихъ общественныхъ связей. Иностранцамъ было опасно ѣхать и еще опаснѣе оставаться. Отецъ мой рѣшился на первое, и мы тайкомъ выбрались изъ Парижа. Много было хлопотъ, пока мы доѣхали до Альзаса. Еслибъ я былъ настоящій Пруссакъ, я издалъ бы непременно толстую книгу на обверточной бумагѣ подъ заглавіемъ „Ausserordentliche Reise-Abenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der grossen Umwälzung Anno 1792 nach d. Erlösung etc.“. Въ-самомъ-дѣлѣ, мы нѣсколько разъ подвергались опасности быть принятыми за переметчиковъ. Наконецъ, кривой мальчишка, провожавшій насъ черезъ лѣсъ, указалъ вдали огни и сказалъ: V'la vos chiens de Brunswick“, взявъ обѣщанный червонецъ и скрылся въ лѣсу, крича во все горло „Ça ira“. Насъ остановили на цѣпи, и пока фельдфебель ходилъ съ паспортомъ не знаю куда, я съ удивленіемъ смотрѣлъ на солдатъ. Караулъ былъ занятъ Австрійцами; и я такъ привыкъ къ живымъ, одушевленнымъ фізіономіямъ Французовъ, что меня поразила холодная нѣмота этихъ лицъ съ свѣтлыми усами и въ бѣлыхъ мундирахъ. Неподвижно, угрюмо стояли они точно загрязнившіяся статуи командора изъ „Донъ-Жуана“. Насъ

повели къ генералу, и послѣ разныхъ допросовъ и распросовъ позволили ѣхать далѣе; но возможности никакой не было достать лошадей: всѣ были взяты подъ армію, для которой тогда наступило самое критическое время. Армія гибла отъ голода и грязи. На другой день пригласилъ насъ одинъ владѣтельный князь на вечеръ. Въ маленькой залѣ, принадлежавшей сельскому священнику, мы застали нѣсколько полковниковъ, какъ всѣ нѣмецкіе полковники, съ сѣдыми усами, съ видомъ честности и неслишкомъ большой дальновидности. Они грустно курили свои сигары. Два, три адъютанта весело говорили по-французски, коверкая германизмомъ каждое слово; казалось, они еще не сомнѣвались, что имъ придется попить въ Palais Royal и тамъ оставить свой здоровый цвѣтъ лица, завѣтный локонь, подаренный при разлукѣ и нѣмецкую способность краснѣть отъ двусмысленнаго слова. Вообще было скучно. Довольно-поздно явился еще гость, во фрагѣ, мужчина хорошаго роста, довольно плотный, съ гордымъ, важнымъ видомъ. Всѣ привѣтствовали его съ величайшимъ почтеніемъ; но его взоръ не былъ привѣтливъ, не вызывалъ дружбы, а благосклонно принималъ привычную дань вассальства. Каждый могъ чувствовать, что онъ не товарищъ ему. Князь предложилъ кресло возлѣ себя; онъ сѣлъ, сохраняя ту особенную Steifheit, которая въ крови у нѣмецкихъ аристократовъ. „Нынѣе утромъ“ сказалъ онъ послѣ обыкновенныхъ привѣтствій: „я имѣлъ необыкновенную встрѣчу. Я ѣхалъ въ каретѣ герцога, какъ всегда; вдругъ подъѣзжаетъ верхомъ какой-то военный, закутанный шинелью отъ дождя. Увидѣвъ веймарскій гербъ и герцогскую ливрею, онъ подъѣхалъ къ каретѣ и—представьте взаимное наше удивленіе—когда я узналъ въ военномъ его величество короля, а его величество нашелъ вмѣсто герцога,—меня. Этотъ случай останется у меня долго въ памяти“.

Разговоръ обратился отъ разсказа чрезвычайной встрѣчи къ королю и естественно перешли къ тѣмъ вопросамъ, которые тогда занимали всѣхъ бывшихъ въ залѣ, т. е. къ войнѣ и политикѣ. Князь подвелъ моего отца къ дипломату и сказалъ, что отъ него можно узнать самыя новыя новости. „Что дѣлаетъ генераль Лафайетъ и всѣ эти антронофаги?“ спросилъ дипломатъ.—Лафайетъ,

отвѣчалъ мой отецъ:—неустранимо защищаетъ короля и въ открытой борьбѣ съ якобинцами.—Дипломатъ покачалъ головою и выразительно замѣтилъ: „Это одна маска; Лафайетъ, я почти увѣренъ, за-одно съ якобинцами.“—Помилуйте! возразилъ мой отецъ:—да съ самаго начала у нихъ непримиримая вражда. Дипломатъ иронически улыбнулся и, помолчалъ, сказалъ: „Я собирался ѣхать въ Парижъ, года два тому назадъ; но я хотѣлъ видѣть Парижъ Людовика-Великаго и великаго Аруэта, а не орду Гунновъ, неистовствующихъ на обломкахъ его славы. Можно ли было ожидать, чтобъ буйная шайка демагоговъ имѣла такой успѣхъ? О, еслибъ Неккеръ въ свое время принялъ инныя мѣры, еслибъ Людовикъ XVI послушался не ангельскаго сердца своего, а преданныхъ ему людей, которыхъ предки столѣтія процвѣтали подъ лѣліями, намъ не нужно бы было теперь подниматься въ крестовый походъ! Но нашъ Готфредъ скоро образумитъ ихъ, въ этомъ я не сомнѣваюсь, да и сами Французы ему помогутъ; Франція не заключена въ Парижъ“.

Князь былъ ужасно доволенъ его словами.

Но кто не знаетъ откровенности германскихъ воиновъ, да и воиновъ вообще? Ихъ разрубленные лица, ихъ прострѣленные груди даютъ имъ право говорить то, о чемъ мы имѣемъ право молчать. Понесчастію, за княземъ стоялъ, опершись на саблю, одинъ изъ сѣдыхъ полковниковъ; въ наружности было видно, что онъ жизнь провелъ съ 10 лѣтъ на бивуакахъ и въ лагеряхъ, что онъ хорошо помнитъ стараго Фрица; черты его выражали гордое мужество и безусловную честность. Онъ внимательно слушалъ слова дипломата и наконецъ сказалъ:

„Да не-уже-ли вы нешутя вѣрите до-сихъ-поръ, что Французы насъ примутъ съ распростертыми объятіями, когда всякій день показываетъ намъ, какой свирѣпо-народный характеръ принимаетъ эта война, когда поселяне жгутъ свой хлѣбъ и свои дома, для того, чтобъ затруднить насъ? Признаюсь, я не думаю, чтобъ намъ скоро пришлось обращать Парижъ на путь истинный, особенно ежели будемъ стоять на одномъ мѣстѣ.“

— „Полковникъ не въ духѣ“, возразилъ дипломатъ и взглянулъ

на него такъ, что мнѣ показалось, что онъ придавилъ его ногой. — „Но я полагаю, вы знаете лучше меня, что осенью, въ грязь, невозможно идти впередъ. Въ полководцѣ не благородная запальчивость, а благоразуміе дорого; вспомните Фабія-Кунктатора.“

Полковникъ не струсилъ ни отъ взора, ни отъ словъ дипломата. „Разумѣется, теперь нельзя идти впередъ, да и назадъ трудно. Впрочемъ, вѣдь осень въ нынѣшнемъ году не первый разъ во Франціи, грязь можно было предвидѣть. Я молю Бога, чтобъ дали генеральное сраженіе; лучше умереть передъ своимъ полкомъ съ оружіемъ въ рукѣ отъ пули, нежели сидѣть въ этой грязи...“ И онъ жалъ рукою эфесъ сабли. Началось шептанье и издали слышалось: „ja, ja, der Obrist hat Recht... Wäre der grosse Fritz, oh! der grosse Fritz“. Дипломатъ, улыбаясь, обернулся къ князю и сказалъ: „Въ какой бы формѣ ни выражалась эта жажда побѣды воиновъ тевтонскихъ, нельзя ее видѣть безъ умиленія. Конечно, наше настоящее положеніе не изъ самыхъ блестящихъ, но вспомнимъ, чѣмъ утѣшался Жуанвиль, когда былъ въ плѣну съ Святѣмъ-Лудовикомъ: Nous en parlerons devant les dames.“

„Покорно благодарю за совѣты!“ возразилъ неумолимый полковникъ. „Я своей женѣ, матери, сестрѣ (еслибъ онѣ у меня были) не сказалъ бы ни слова объ этой компаніи, изъ которой мы принесемъ грязь на ногахъ и раны на спинѣ. Да и объ этомъ, пожалуй, нашимъ дамамъ прежде насъ расскажутъ эти чернильные яkobинцы, о которыхъ насъ увѣряли, что они исчезнутъ какъ дымъ при первомъ выстрѣлѣ.“

Дипломатъ понялъ, что ему не совладать съ такимъ соперникомъ, и онъ, какъ Ксенофонтъ, почетно отступилъ съ слѣдующими 10,000 словами: „Миръ политики мнѣ совершенно чуждъ; мнѣ скучно, когда я слушаю о маршахъ и эволюціяхъ, о преніяхъ и мѣрахъ государственныхъ. Я не могъ никогда безъ скуки читать газетъ; все это что-то такое преходящее, временное, да и вовсе чуждое по самой сущности намъ. Есть другія области, въ которыхъ я себя понимаю царемъ: зачѣмъ же я пойду безъ призыва, дюжиннымъ резонѣромъ, вмѣшиваться въ дѣла, возложенныя Провидѣніемъ на избранныхъ имъ нести тяжкое бремя управления? И что мнѣ за дѣло до того, что дѣлается въ этой сферѣ!“

Слово „дюжинный резонёр“ попало въ цѣль: полковникъ сжалъ сигару такъ, что дымъ у нея пошелъ изъ двадцати мѣстъ, и впрочемъ довольно спокойно, но съ огненными глазами сказалъ: „Вотъ я, простой человѣкъ, нигдѣ себя нечувствую ни царемъ, ни геніемъ, а вездѣ остаюсь *человѣкомъ*, и помню, какъ, еще будучи мальчишкой, затвердилъ пословицу: „*Homo sum et nihil humani a me alienum puto*“. Двѣ пули, пролетѣвшія сквозь мое тѣло, подтвердили мое право вмѣшиваться въ тѣ дѣла, за которыя я плачу своею кровью.“

Дипломатъ сдѣлалъ видъ, что онъ не слышитъ словъ полковника; къ-тому же тотъ сказалъ это, обращаясь къ своимъ сосѣдямъ: „И здѣсь“ продолжалъ дипломатъ, „среди военного стана, я такъ же далекъ отъ политики, какъ въ веймарскомъ кабинетѣ“.

— „А чѣмъ вы теперь занимаетесь?“ спросилъ князь, едва скрывая радость, что разговоръ перемѣнился.

„Теоріею цвѣтовъ; я имѣлъ счастье третьяго-дня читать отрывки свѣтлѣйшему дядюшкѣ вашей свѣтлости.“

Стало, это не дипломатъ. „Кто это?“ спросилъ я эмигранта, который сидѣлъ возлѣ меня и, не смотря на бивачную жизнь, нашелъ средство претщательно нарядиться, хотя и въ короткое платье. „Ah, hah! c'est un célèbre poëte allemand M-r Koethè, qui a écrit, qui a écrit... Ah, hah!.. la *Messiad*!“—Такъ это-то авторъ романа, сводившаго меня съ ума: „*Werthers Leiden*“! подумалъ я, улыбаясь филологическимъ знаніямъ эмигранта. Во Франціи, кромѣ „Вертера“, не было ни одного изъ его сочиненій.—Вотъ моя первая встрѣча.

Прошло нѣсколько лѣтъ. Мрачный терроръ скрылся за блескомъ побѣдъ. Дюмурье, Гошъ и наконецъ Бонапарте поразили міръ удивленіемъ. То было время первой итальянской компаніи, этой юношеской поэмы Наполеона. Я былъ въ Веймарѣ и пошелъ въ театръ. Давали какую-то политическую фарсу гётева сочиненія. Публика не смѣялась, да и по правдѣ насмѣшка была натянута и плосковата. Гёте сидѣлъ въ ложѣ съ герцогомъ. Я издали смотрѣлъ на него и отъ всей души жалѣлъ его: онъ понялъ очень хорошо равнодушіе, кашель, разговоры въ партерѣ, и испытывалъ

участь журналиста, попавшаго не въ тонъ. Между-прочимъ, въ партерѣ былъ тотъ же полковникъ; я подошелъ къ нему; онъ узналъ меня. Лицо его исхудало, какъ-будто лѣтъ десять мы не видались, рука была на перевязкѣ. „Что же Гёте тогда толковалъ, что политика ниже его, а теперь пустился въ памфлеты? Я дюжинный резонёръ и не понимаю тѣхъ людей, которые хохочутъ тамъ, гдѣ народы обливаются кровью, и, открывши глаза, не видятъ, что совершается передъ ними. А, можетъ-быть, это право генія...“

Я молча пожалъ его руку и мы разстались. При выходѣ изъ театра, какіе-то три, вѣроятно пьяные, бурша съ растрепанными волосами въ честь Арминія и тацитова сказанія о Германцахъ, съ портретомъ Фихте на трубкахъ, принялись свистать, когда Гёте сѣлся въ карету. Буршей повели въ полицію, я пошелъ домой, и съ-тѣхъ-поръ не видалъ Гёте.

—Что вы хотите всѣмъ этимъ сказать? спросилъ я.

Я хотѣлъ исполнить ваше желаніе и рассказать мои встрѣчи; тутъ нѣтъ виѣшней цѣли, это фактъ. Я видѣлъ Гёте такъ, а не иначе; другіе видѣли его иначе, а не такъ:—это дѣло случая.

—Но вы какъ-то умѣли сократить колоссальную фигуру Гёте, даже умѣли покорить его какому-то полковнику.

—Что-нибудь одно: или вы думаете, что я лгу—въ такомъ случаѣ у меня нѣтъ документовъ, чтобъ убѣдить васъ въ противномъ; или вы вѣрите мнѣ,—и тогда вините себя, ежели Гёте живой не похожъ на того, котораго вы создали... Всѣ мечтатели увлекаются безусловно авторитетами, строятъ себѣ въ головѣ фантастическихъ великихъ людей, одностороннихъ и, слѣдовательно, невѣрныхъ оригиналамъ. Лафатеръ, читая Гёте, составилъ идею его лица по своей теоріи; черезъ нѣсколько времени они увидѣлись, и Лафатеръ чуть не заплакалъ: Гёте живой нисколько не былъ похожъ на Гёте а priori. Я вамъ предсказывалъ, что вы будете недовольны моимъ рассказомъ. Въ томъ-то и дѣло, что все живое такъ хитро спаяно изъ многоаго множества элементовъ, что оно почти всегда стороною или двумя ускользаетъ отъ самыхъ многообъемлющихъ теорій. Отсюда рядъ ошибокъ. Когда мы говоримъ о Римлянахъ, у насъ все мелькаетъ передъ глазами театральная поза, цивическія добродѣтели, форумъ. Будто жизнь Римлянъ не имѣла

еще множества других сторонъ! Такъ поступаютъ и съ историческими людьми. Для идеалистовъ задача: какъ Рембрандтъ могъ быть скупцомъ и великимъ художникомъ; какъ Тиверій могъ быть жестокимъ и между-тѣмъ глубокомысленнымъ, проникательнымъ монархомъ. Живая индивидуальность—вотъ порогъ, за который цѣпляется ваша философія, и Шекспиръ безсомнѣнно лучше всѣхъ философовъ, отъ Анаксагора до Гегеля, понималъ *своимъ путемъ* это необъятное море противорѣчій, бореній, добродѣтелей, пороковъ, увлеченій, прекраснаго и гнуснаго,—море, заключенное въ маленькомъ пространствѣ отъ діафрагмы до черепа, и спаянное неразрывно въ живой индивидуальности... Но довольно философствовали; пойдемте гулять; погода прекрасная, жаль въ комнатѣ сидѣть.

— Въ томъ-то вся великая задача, сказалъ я, вставая:—чтобъ умѣть примирить эти противорѣчія и боренія и соткать изъ нихъ одну гармоническую ткань жизни—и эту-то задачу разрѣшить намъ Германія, потому-что она ее громко выговорила, и одной ею и занимается.

— Дай Богъ успѣха! Но я боюсь, чтобъ не повторилась исторія отыскиванія всеобщаго лекарства отъ болѣзней, которое занимало Парацельса и умнѣйшія головы того вѣка. Спору нѣтъ, всякое примиреніе хорошо, и мы всѣ чѣмъ-нибудь примираемся съ жизнью: безъ этого пришлось бы застрѣлиться. Философы примираются съ несчастіями, слѣпо и грубо поражающими ежедневно индивидуальность мыслью о ничтожности индивидуума. Мистикъ примирается съ этими же несчастіями, полагая, что ими искупается паденіе Люцифера, и что за это будетъ награда... по-крайней-мѣрѣ это мнѣніе не такъ ледяно-холодно. А потомъ и человѣкъ чѣмъ-нибудь да примирается съ жизнью: одинъ—тѣмъ, что онъ не вѣритъ ни въ какое примиреніе, и это выходъ; другой—какъ вы на-примѣръ, вѣря, что вы убѣждены разумомъ въ томъ, во чтѣ вы вѣрите; я—тѣмъ, что будто-бы дѣлаю существенную пользу, копаю землю. Повѣрьте, всѣ мы дѣти и, какъ дѣти вообще, играемъ въ игрушки и принимаемъ куклы за дѣйствительность. Мнѣ теперь пришелъ на память лордъ Гамильтонъ, ѣздившій по Европѣ и Азіи

отыскивать идеаль женской красоты между статуями и картинами. Знаете, чѣмъ онъ кончилъ?

—Нѣтъ.

—Тѣмъ, что женился на доброй бѣлокуренькой Ирландкѣ и кричалъ: „нашелъ! нашелъ!“ Ха, ха, ха!.. Ей-Богу, дѣти!—Но время идетъ. Пойдемте.

Мы пошли...

1838.

Вл. п. К.

Примѣчаніе нашеднаго тетрадь.—Считаю себя обязаннымъ, предупреждая недоразуміе, сказать нѣсколько словъ о рассказѣ Трензинскаго относительно Гёте. Больно было бы мнѣ думать, что рассказъ этотъ сочтутъ мелкимъ камнемъ, брошеннымъ мною въ великаго поэта, передъ которымъ я благоговѣю. Въ Трензинскомъ преобладаетъ скептицизмъ d'une existence manquée; это равно не скептицизмъ древнихъ, ни скептицизмъ Юма, а скептицизмъ жизни убитой обстоятельствами, безпредѣльно грустный взглядъ на вещи человѣка, котораго грудь покрыта ранами незаслуженными, человѣка, оскорбленнаго въ благороднѣйшихъ чувствахъ и между тѣмъ человѣка полного силы (eine kernhafte Natur). Я расскажу со временемъ всю жизнь его, и тогда можно будетъ увидѣть, какъ онъ дошелъ до своего воззрѣнія. Трензинскій—человѣкъ по преимуществу практической, всего менѣе художникъ. Онъ могъ смотрѣть на Гёте съ такой бѣдной точки; да и долженъ ли былъ вселить Гёте уваженіе къ себѣ, подавить авторитетомъ—человѣка, который рядомъ бѣдствій дошелъ до неуваженія лучшихъ упованій своей жизни? Съ другой стороны, люди практической сферы рѣдко умѣютъ свой острый умъ прилагать къ сужденію о художникахъ и о ихъ произведеніяхъ. Фридрихъ II, прочитавъ „Гёца фон-Берлингена“, сказалъ: „Encore une mauvaise tragédie dans le genre anglais!“—Гёте простилъ ему это сужденіе отъ всей души.

Сверхъ того, не увлекаясь авторитетами, мы должны будемъ сознаться, что жизнь германскихъ поэтовъ и мыслителей чрезвычайно-односторонняя; я не знаю ни одной германской біографіи, которая не была бы пропитана *филлистерствомъ*. Въ нихъ, при

всей космополитической всеобщности, не достаёт цѣлаго элемента человѣчности, именно практической жизни, и хоть они очень много пишутъ, особенно теперь, о конкретной жизни но уже самое то, что они пишутъ о ней, а не живутъ ею, доказываетъ ихъ абстрактность. Просимъ вспомнить для того, чтобъ разомъ увидѣть все необъятное разстояніе между ими и людьми жизни, біографію Байрона.... Трензинскій, конечно, не могъ симпатизировать съ Германцами и, какъ человѣкъ, въ которомъ нѣкогда была развита именно та сторона жизни, которая вовсе не развита у Нѣмцевъ, не могъ съ нею и примириться за другія стороны.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ.

III.

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ.

Всего в 1917 году в театре было
показано 12 спектаклей, в том числе
5 опер, 3 балета, 4 пьесы. В 1918
году в театре было показано 15
спектаклей, в том числе 7 опер, 3
балета, 5 пьес. В 1919 году в
театре было показано 18 спектаклей,
в том числе 9 опер, 4 балета, 5
пьес. В 1920 году в театре было
показано 20 спектаклей, в том
числе 10 опер, 5 балета, 5 пьес.

III

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ДРАМЫ.

Сердце жертвуетъ родъ — лицу, разумъ лицо — роду. Человѣкъ безъ сердца — не имѣетъ своего очага; семейная жизнь зиждется на сердцѣ; разумъ — res publica человѣка.

Изъ какой-то тѣмной книги.

Отличительная черта нашей эпохи есть grübeln. Мы не хотимъ шага сдѣлать, не вырази́въ его, мы безпрестанно останавливаемся какъ Гамлетъ, и думаемъ, думаемъ.... Некогда дѣйствовать; мы переживаемъ непрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся съ нами и съ другими, — ищемъ оправданій, объясненій, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее насъ подверглось пытующему взгляду критики. Это болѣзнь промежуточныхъ эпохъ. Встарь было не такъ: всѣ отношенія, близкія и дальнія, семейныя и общественныя были опредѣлены — справедливо ли, нѣтъ ли, — но опредѣлены. Отъ того много думать было нечего: стоило сообразоваться съ положительнымъ закономъ, и совѣсть удовлетворялась. Все существующее казалось тогда натурально, какъ кровообращеніе, пищевареніе, которыхъ причина и развитіе спрятаны за спиною сознанія, но дѣйствуютъ своимъ порядкомъ, безъ того, чтобъ мы объ нихъ заботились, безъ того, чтобъ мы ихъ понимали. На всѣ случаи были разрѣшенія; оставалось жить по писанному. А если и являлись когда сомнѣнія, ихъ легко было разрѣшить; стоило спросить папу, напимбръ, или обмакнуть руку въ кипятокъ — и истина открывалась. На всѣхъ перепутьяхъ жизни стояли тогда разныя неподвижныя тѣни, грозныя привидѣнія для указанія дороги, и люди покорно шли по ихъ указанію. Иногда спорили, почему указана та дорога, а не другая, но никому и въ голову не приходило, откуда взялись эти привидѣнія, и по какому праву рас-

*

поряжаются они. Ихъ принимали за фактъ, имѣющій самъ въ себѣ узаконеніе и котораго признанное бытіе — непреложное ему доказательство. Ко всему привязывающійся, сварливый вѣкъ нашъ, шатающаяся и раскачивающаяся все, что попадалось подъ руку, добрался наконецъ и до этихъ призраковъ, подточилъ ихъ основаніе, сжегъ огнемъ критики и они улетучились, исчезли. Стало просторно; но просторъ даромъ не достается; люди увидѣли, что вся отвѣтственность, падавшая вѣкъ ихъ, падетъ на нихъ; имъ самимъ пришлось смотрѣть за всѣми и знать мѣста привидѣній; упреки стали злѣе грызть совѣсть. Сдѣлалось тоскливо и страшно — пришлось проводить сквозъ горнило сознанія статью за статью прежняго кодекса, а пока этого не сдѣлано, начали grübeln. Ясное, какъ дважды-два — четыре нашимъ дѣдамъ, исполнилось мучительной трудности для насъ. Въ событіяхъ жизни, въ наукѣ, въ искусствѣ насъ преслѣдуютъ неразрѣшимые вопросы, и, вмѣсто того, чтобы наслаждаться жизнью — мы мучимся. Подъ часъ, подобно Фаусту, мы готовы отказаться отъ духа, вызваннаго нами, чувствуя, что онъ не по груди и не по головѣ намъ. Но бѣда въ томъ, что духъ этотъ вызванъ не изъ ада, не съ планетъ, а изъ собственной груди человѣка, и ему нѣкуда исчезнуть. Куда бы человѣкъ ни отвернулся отъ этого духа, первое, что попадетъ на глаза, это онъ съ своими вопросами. *Tu l'as voulu Georges Dandin, tu l'as voulu!*

Безотходный духъ критики овладѣлъ и театромъ; мы его приносимъ съ собою въ партеръ. Сочинитель пишетъ пьесу для того, чтобы пояснить свое сомнѣніе, — и, вмѣсто того, чтобы отдохнуть отъ дѣйствительной жизни, глядя на произведенную искусствомъ, мы выходимъ изъ театра задавленные мыслями тяжелыми и неловкими. Это понятно. Театръ — высшая инстанція для рѣшенія жизненныхъ вопросовъ. Кто-то сказалъ, что сцена — представительная камера поэзіи. Все тяготящее, занимающее извѣстную эпоху, само собою вносится на сцену и обсуживается страшной логикой событий и дѣйствій, развертывающихся и свертывающихся передъ глазами зрителей. Это обсуживаніе приводитъ къ заключеніямъ не отвлеченнымъ, но трепещущимъ жизнью, неотразимымъ и многостороннимъ. Тутъ не лекція, не поученіе, поднимающее слушате-

лей въ сферу отвлеченныхъ всеобщностей, въ безстрастную алгебру, мало относящуюся къ каждому, потому именно, что она относится ко всемъ. На сценѣ жизнь схвачена во всей ея полнотѣ, схвачена въ дѣйствительномъ осуществленіи лицами, на самомъ дѣлѣ, en flagrant délitъ съ ея общечеловѣческими началами и частноличными случайностями, съ ея ежедневною пошлостью и съ ея грязной, всепожирающей страстью, скрытой подъ пыльной пленю мелочей, какъ огонь подъ золой Везувіа. Жизнь схвачена и, между тѣмъ, не остановлена; напротивъ, стремительное движеніе продолжается, увлекаетъ зрителя съ собой, и онъ съ прерывающимся дыханіемъ, боясь и надѣясь, несется вмѣстѣ съ развертывающимся событіемъ до крайнихъ слѣдствій его — и вдругъ остается одинъ. Лица исчезли, погибли; онъ переживаетъ ихъ жизнь; успѣлъ полюбить ихъ, войти въ ихъ интересы. Ударъ, разразившійся надъ ними рикшотомъ, былъ ударъ въ него. Такая страшная близость зрителя и сцены дѣлаетъ сильную, органическую связь между ними; по сценѣ можно судить о партерѣ, по партеру о сценѣ. Партеръ не чужой сценѣ: онъ въ родѣ хора греческой трагедіи; онъ не внѣ драмы, а обнимаетъ ее волнами жизни и атмосферой сочувствія, которая оживляетъ актёра; и сцена, съ своей стороны, не чужая зрителю; она переноситъ его не дальше, какъ въ его собственное сердце. Сцена всегда современна зрителю, она всегда отражаетъ ту сторону жизни, которую хочетъ видѣть партеръ. Нынче она участвуетъ въ трупоразъятіи жизненныхъ событий, стремится привести въ сознаніе всѣ проявленія жизни человѣческой и разбираетъ ихъ какъ мы, судорожной и трепетной рукой — потому что не видитъ, какъ мы, ни выхода, ни всего результата этихъ изслѣдованій. Она дѣлаетъ это, относясь къ намъ такъ, какъ нѣкогда Эсхиловъ „Прометей“ относился къ внутренней жизни народа аѳинскаго, или „Свадьба Фигаро“ къ внутренней жизни Франціи передъ революціей. Мы умѣемъ восхищаться, понимать и „Прометей“ и „Свадьбу Фигаро“, но мы понимаемъ (лучше ли, хуже ли — другой вопросъ), мы понимаемъ иначе, нежели рукоплескавшіе Аѳиняне, нежели рукоплескавшіе Парижане 1785 года, — и того тѣсно жизненнаго сочлененія нѣтъ болѣе. Французъ XIX вѣка опѣнить и пойметъ Бомарше, но „Фигаро“ не есть уже необходи-

мость для него съ тѣхъ поръ, какъ его лицо воплотилось во множество лицъ палаты, а графъ Альмавива скончался въ бѣдности, отъ преждевременной дряхлости, обыкновенной спутницы слишкомъ разгульной юности. Самый воздухъ, окружающій его, не тотъ; густая, знойная атмосфера, пропитанная нѣгой, сладострастіемъ и тяжелой отъ предчувствія бури, такъ очистилась и разъяснилась отъ громовыхъ ударовъ кроваваго террора, что чахоточные бояться чрезвычайной изрѣженности ея. Въ Германіи, въ одно и то же время, были принимаемы громомъ рукоплесканій Коцебу и Шиллеръ, потому что въ Германіи сантиментальность и шпизбюргерлихейтъ, по странному стеченію обстоятельствъ, были корою, за которую шевелился мощный и здоровый зародышъ. Шиллеръ и Коцебу — полные и достойные представители: одинъ всего святаго человѣческаго, возникавшаго въ эту эпоху; другой всего грязнаго и отвратительнаго, загнивавшаго тогда же. У насъ дають все на свѣтъ — отъ того, что нашъ партеръ все на свѣтъ. Мы не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ отношеніи всеядны. Какъ послѣдніе пришельцы и наслѣдники, мы перебираемъ унаслѣдованное изъ всѣхъ странъ и вѣковъ, смотримъ на это, какъ на чужое и постороннее, смотримъ не потому, чтобъ оно было нужно намъ или доставляло много удовольствія, а для того, чтобъ заявить наше право и не отставать отъ другихъ — на томъ же основаніи, какъ нѣкогда мы ѣздили въ ассамблеи, не для удовольствія, а по ряду и по нуждѣ. А *force de forger* многое принялось — однимъ то, другимъ — другое; никто ни съ кѣмъ не сговаривался, всякій молодецъ на свой образецъ: отъ того потребности нашего партера съ одной стороны очень сложны, а съ другой стороны имъ очень легко удовлетворить. У насъ, въ одномъ ряду креселъ встрѣчаются полюсы челоуѣчества — отъ *небритой* бороды патриархальной, бороды *an sich*, до отрошенной бороды, сознательной, бороды *für sich*; а между двумя бородами можно найти представителей главныхъ моментовъ развитія челоуѣчества, да еще нѣкоторыхъ оригинальныхъ, недостававшихъ челоуѣчеству. Каждый говоритъ своимъ языкомъ, каждый имѣетъ свои потребности. Счастливы Вавилоняне, мы начинаемъ съ того, чѣмъ они кончили свое столпотвореніе, то есть, не понимаемъ другъ друга; они таскали камни, и долго рабо-

тая, дошли до того, что у нас впередъ идетъ. Каждая пьеса имѣетъ свою публику; къ ней присоединяется постоянно балластъ, то-есть, люди, которые послѣ 7 часовъ бываютъ въ театрѣ единственно потому, что они не выѣзжаютъ изъ театра послѣ 7 часовъ. Разомъ для всей публики, у насъ, пьесы не даются, развѣ за исключеніемъ „Горе отъ Ума“ и „Ревизора“, для бель-этажа — безъ словъ, но съ танцами и богатой постановкой; для райка — пьесы, въ которыхъ кто-нибудь кого-нибудь бьетъ; для статскихъ чиновниковъ — пьесы съ пушечной пальбой, превращеніями, нравственными сентенціями; для купцовъ тоже съ превращеніями, но и съ цыганскими плясками; другіе все смотрятъ, но особенно же любятъ водевили съ двусмысленными куплетами и танцы съ двусмысленными движеніями.

Все это безсвязно, такъ, какъ я рассказывалъ, пришло мнѣ въ голову при выходѣ изъ театра, когда я думалъ о пьесѣ, которую видѣлъ; а содержаніе этой пьесы въ самыхъ короткихъ словахъ вотъ какое:

Драма самая простая; если бы вы не видали подобной у себя въ домѣ, то навѣрное могли видѣть у котораго-нибудь изъ сосѣдей. Дѣвица 28 лѣтъ, по имени Генріэтта, болѣзненная и печальная, влюблена до безумія въ юношу 20 лѣтъ, а тотъ, беззаботный и веселый, живетъ себѣ не думая о ней; да сверхъ-того, кажется, ни о чемъ другомъ. Докторъ — другъ отца Генріэтты, понявъ дѣло, захотѣлъ съ патологическимъ благоразуміемъ помочь и само собою разумѣется, страшно повредилъ. Онъ торжественно и таинственно рассказалъ юношѣ о любви къ нему Генріэтты, требуя отъ него, чтобъ онъ убѣхалъ, скрылся. Вѣсть о любви сильно отзывалась въ сердцѣ юноши; сознаніе быть любимымъ и притомъ въ 20 лѣтъ, обняло огнемъ всю грудь его — и съ той минуты онъ самъ её любитъ. Она, никогда несмѣвшая питать надежды на взаимность, счастлива до высочайшей степени; мечта ея сбылась, осуществилась прекрасно и полно. Онъ просить ея руки и, не смотря на предостереженія доктора, или именно подстрекаемый ими, женится. Проходитъ пять лѣтъ въ антрактѣ. Мы застаёмъ нашу чету въ замкѣ. Люди богатые, они ведутъ пустую и праздную жизнь, дѣтей нѣтъ. Скоро открывается, что подъ этой празд-

ностью кроются развѣдающія страсти. Онъ не любитъ больше Генріэтты, и страстно влюбленъ въ Полину. Молодой человекъ благороденъ и честенъ; онъ понимаетъ святость своихъ обязанностей и болѣе — онъ исполненъ безпредѣльнаго уваженія къ любящей кроткой, доброй Генріэттѣ. Но онъ ея не любитъ — онъ любитъ другую, это фактъ его сердца: любить потому что любить, не любить потому что не любить; — логика чувствъ и страстей коротка. Сгнетенная страсть растетъ; онъ ей не даетъ шага; онъ уничтожается, разлагается въ этой борьбѣ, но борется. Жена догадалась, и они быстро влекутъ другъ друга къ гибели во имя любви. Генріэтта въ отчаяніи: она ничего не имѣетъ внѣ мужа, ея жизнь только любовь къ нему; а онъ еще болѣе въ отчаяніи: онъ безчестенъ въ своихъ глазахъ, онъ клятвопреступникъ, онъ подлый обманщикъ — тутъ, притворяясь, что любитъ; тамъ, притворяясь что не любитъ. Такое натянутое положеніе долго не можетъ продолжаться. Генріэтта рѣшается выдать Полину за какого-то шута; та не хочетъ. Въ порывѣ ревности, Генріэтта упрекаетъ ее въ разрушеніи семейнаго счастья, въ любви къ ней мужа, въ ея любви къ нему. Молодая дѣвица, любившая въ тиши, не признаваясь себѣ, Эмиля, не подозрѣвая его любви, этими словами вовлечена въ страшную борьбу страстей. Чувство ея названо; тайна ея обличена. Въ первомъ порывѣ отчаянія, она соглашается идти замужъ. Спрашиваютъ согласія Эмиля: Полина живетъ у нихъ въ домѣ и родственница. Онъ согласенъ. Долгъ побѣдилъ; но и Эмиль получилъ рану въ грудь, вся сила его истощена на эту побѣду. Онъ рѣшается — и это, можетъ, благоразумнѣйшая мысль во всю его жизнь — онъ рѣшается уѣхать... Даль, занятія разсѣютъ, отвлекутъ, исцѣлятъ; но жена, узнавъ это, намѣревается лишить себя жизни, отказываетъ ему имѣніе и исчезаетъ. Эмиль въ отчаяніи. Проходитъ годъ. Полина въ монастырѣ; вдовецъ ѣдетъ за ней, женится — и на обратномъ пути встрѣчается съ Генріэттой, которая вовсе не утонула, а жила съ убійственной грустью въ душѣ и съ злою чахоткой въ груди, у доктора; бѣдная женщина питала на днѣ оскорбленнаго, истерзаннаго сердца надежду, что Эмиль любитъ ее изъ сожалѣнія, а между тѣмъ, она не знала, что смерть ея была доказана трупомъ всплывшей женщины въ день ея по-

бѣга. Эмиль, отыскивая въ маленькомъ городкѣ врача, приходитъ къ доктору и застаётъ Генріэтту; она бросается къ нему; но онъ, окаменѣлый, полумертвый, потеряннй, отвѣчаетъ на ея порывъ новостью о своемъ бракѣ. Слабой, едва-живой Генріэттѣ нельзя было вынести такого удара. Глухо закашляла она и бросилась изъ комнаты. Онъ ринулся было за нею — дверь заперта... Страшная минута тишины, невыносимая минута бездѣйствія — онъ сломился подъ ея гнетомъ, онъ съ бѣшенствомъ и безуміемъ бросился на полъ, вырывая себѣ волосы и стелая. Дверь отворилась; докторъ вышелъ спокойный и величественно-кротко возвѣстилъ, что она умерла, прощая его и совѣтуя беречь Полину. И двоеженецъ, поверженный въ прахъ, остается съ страшными угрызениями совѣсти, которыя, вѣроятно, проводить его черезъ всю жизнь. Вотъ и пьеса!

Когда опустился занавѣсъ, мнѣ было невыразимо-тяжело. Точно я присутствовалъ при инквизиторской пыткѣ невинныхъ. Всѣ люди въ этой драмѣ — люди добрые, обыкновенные, даже честные и исполняющіе долгъ свой; а между тѣмъ, одинъ изъ нихъ казнень смертью, двое другихъ — участіемъ въ этой казни. — „Какъ вамъ нравится драма?“ спросилъ меня сосѣдъ, протирая очки... У меня есть примѣта не вступать въ разговоръ съ незнакомымъ въ публичномъ мѣстѣ, если онъ самъ его не начнетъ; мнѣ все кажется, что такой человѣкъ или большой говорунъ, или большой слушатель. А потому, вмѣсто отвѣта, я посмотрѣлъ на моего сосѣда, желая узнать что онъ, говорунъ или слушатель; но онъ такъ добродушно и такъ наивно и такъ щуря глаза протирая очки, что я преступилъ правило дипломатической гнѣны и отвѣчалъ: — „Драма, кажется, обыкновенная, а между тѣмъ она глубоко задѣваетъ.“ — „Я даже было прослезился... стыдно признаться. Эдакая славная женщина, идеалъ“ ... продолжалъ человѣкъ кресель подъ № 39: „и досталась же такому мерзавцу мужу!“

— Не лучше ли сказать — такому несчастному человѣку?

— Какой онъ несчастный! Безхарактерный эгоистъ, не умѣлъ ни отказаться во-время отъ нея, ни любить ее послѣ, ни побѣдить новой страсти. Неужели онъ правъ по-вашему?

— По-моему, отвѣчалъ я, улыбаясь: — во-первыхъ, всѣ они правы,

а во-вторыхъ, всѣ они виноваты, но вѣроятно не такъ, какъ вы полагаете.

— Очень-хорошо, но... главный виновникъ!

— Да на что вамъ онъ? Главный виновникъ, какъ всегда, спрятался: онъ стоялъ за кулисами.

Въ это время къ № 39 подошелъ какой-то знакомый — и нашъ разговоръ кончился, но продолжался во мнѣ рядомъ грустныхъ Grübeleien..

...Ничѣмъ люди не оскорбляются такъ, какъ неотысканіемъ виновныхъ; какой бы случай ни представился, люди считаютъ себя обиженными, если нѣкого обвинить — и, слѣдственно, бранить, наказывать. Обвинять гораздо легче, нежели понять событіе, преступленіе, несчастье — чрезвычайно-важно и совершенно-противоположно рѣшительнымъ сентенціямъ строгихъ судей, понять значитъ, въ широкомъ смыслѣ слова, оправдать, возстановить: дѣло глубоко-человѣческое, но трудное и не казистое. Оправдать падшаго то же, что поставить его на одну доску со мною. То ли дѣло съ высоты своего нравственнаго величія упрекать и позорить его, указывая на себя; въ положеніи и нѣтъ никакого сходства, и проповѣдникъ по-большей-части — извѣстная мышь въ голландскомъ сырѣ! Оставя эту суетность, спрашиваемъ, для чего намъ судить? Для суда и осужденія есть положительное законодательство, имѣющее на это болѣе права — силу, власть. Наше *партикулярное* дѣло — проникать мыслью въ событіе, освѣщать его не для того, чтобъ наказывать и награждать, не для того, чтобъ прощать, — тутъ столько же гордости и еще больше оскорбленія, — а для того, что, внося свѣтъ въ тайники, въ подземельные ходы жизни изъ которыхъ вырываются иногда чудовищныя событія, мы изъ тайныхъ дѣлаемъ ихъ явными и открытыми. Зло — темнота; оно не имѣетъ никакой внутренней силы, чтобъ противостоять свѣту. Оно только сильно — пока не взошло солнце разума, и мы, не видя его, придаемъ ему фантастическіе, чудовищные образы. Къ этой страсти искать виновныхъ для того, чтобъ ихъ ругать и клеймить позоромъ, присовокупляется у добрыхъ людей наивное требованіе, чтобъ каждый человѣкъ былъ мелодрамнымъ, романически-безукоризненнымъ героемъ, исполнять бы съ полнымъ самоотверженіемъ свои

обязанности, или, лучше, не свои обязанности, а тѣ, которыя заставляютъ его исполнять. И кто же эти взыскательные? Люди, которые для общей пользы не пожертвуютъ рюмкой водки, люди, къ которымъ въ семейную жизнь оборони Богъ заглянуть, милые невѣжды въ страстяхъ и увлеченіяхъ, потому что любили только себя и употребили всю жизнь для успокоенія и колѣнья себя. Кто бывалъ искушаемъ, падалъ и воскресалъ, найдя себѣ силу хранительную, кто одолѣлъ хоть истинно-распахнувшуюся страсть, тотъ не будетъ жестокъ въ приговорѣ: онъ помнитъ, чего ему стоила побѣда, какъ онъ, изнеможенный, сломанный, съ изорваннымъ и окровавленнымъ сердцемъ, вышелъ изъ борьбы; онъ знаетъ цѣну, которую покупаются побѣды надъ увлеченіями и страстями. Жестоки непадавшіе, вѣчно-побѣждающіе, то есть, такіе, къ которымъ страсти едва притрогиваются. Они не понимаютъ, что такое страсть. Они благоразумны какъ ньюфаундлендскія собаки, и хладнокровны, какъ рыбы. Они рѣдко падаютъ и никогда не поднимаются; въ добрѣ они такъ же воздержны, какъ въ злѣ. Остановимся лучше съ горестью передъ лицами нашей драмы, пожалѣемъ объ нихъ, протянемъ имъ руку, не осуждая, не браня; мы не члены уголовного суда; они довольно пострадали — поговоримъ объ нихъ съ участіемъ, а не съ укоромъ, будемъ на нихъ смотрѣть какъ на больныхъ, а не такъ, какъ на преступниковъ.

Герой нашей драмы — человѣкъ увлекающійся и безъ всякаго направленія: его жизнью управляетъ внѣшняя власть; онъ одинъ изъ тѣхъ людей, которые ложатся спать, не зная, что завтра будутъ дѣлать, пойдутъ ли на охоту или будутъ читать, или играть въ карты. Онъ сначала любилъ свою жену откровенно, — въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, и, какъ всѣ люди, неимѣющіе такъ-сказать *задней мысли* дающей тонъ всей ихъ жизни, онъ не могъ быть остановленъ ничѣмъ въ свѣтѣ передъ бракомъ. Когда люди такого рода получаютъ какое-нибудь опредѣленное чувство, имъ становится хорошо; состояніе безцѣльнаго существованія тягостно... Мало-помалу онъ охладѣлъ къ женѣ; къ этому многое способствовало: всегдашняя зависимость его отъ впечатлѣній, разница лѣтъ, насмѣшки; потомъ — бездѣтный бракъ всегда ближе къ тому, чтобы распасться. Не смотря на охлажденіе мужа, жизнь ихъ могла бы идти довольно-

хорошо: форма безъ содержанія можетъ долго простоять въ покоѣ, но первый толчокъ — и она падетъ. Въ молодой душѣ Эмиля была бездна силъ неупотребленныхъ; ихъ некуда было ему дѣть; у домашнего очага, въ пустой жизни, блага неупотреблены, праздныя силы всегда грозятъ бѣдой: онѣ бродятъ, требуютъ занятія, истокъ. Взоръ его, искавшій спасенія отъ скуки, встрѣтилъ живой, милый взоръ дѣвицы, только-что вышедшей изъ дѣтской хризолиты. „Тутъ онъ долженъ былъ остановить себя!... Да неужели, вы думаете, онъ полюбилъ ее намѣренно? Эти привязанности дѣлаются безсознательно; можетъ, мѣсяцы прошли прежде, нежели онъ догадался, отъ-чего ему пріятно смотрѣть на ея улыбку, слушать ея пѣсню; а когда онъ узналъ, назвалъ свое чувство, страсть глубоко вкоренилась, и когда онъ хотѣлъ себя остановить, его бытіе раскололось на двое, гдѣ съ одной стороны долгъ и умъ, а съ другой, сердце кипящее страстями; у него не достало силы найти выходъ. Онъ остался, какъ былъ, человѣкъ подчиненный сердцу, да сверхъ того, какъ слабый человѣкъ и въ страсти, не умѣлъ идти до крайнихъ послѣдствій, а остановился въ страшной и мучительной борьбѣ, не имѣя силы, ни сердца принести въ жертву долгу, ни долга принести въ жертву сердцу. Мы его видимъ во второмъ дѣйствіи съ потеряннымъ видомъ, жалкимъ до слезъ; онъ твердъ въ натянутой роли; но подземный хоръ дьяволовъ, какъ въ „Робертѣ“, слышится глухо въ его груди, и эта страшная пѣсня раздастся вопреки ему, — и чувствуется, что ему не подавить этого хора.

Генріетта сама ускоряетъ взрывъ. Она точно также покорна одному сердцу, болѣе, можетъ, нежели Эмиль; по счастью ея сердце не въ разладѣ съ долгомъ: ея любовь къ мужу — безумная страсть; уязвленная, она обвивается гремучей змѣей около трехъ лицъ и должна или ихъ задушить, или погубить. Да не ненависть ли это?.. Посмотрите, какъ все страшно въ этой тѣсной сферѣ личныхъ отношеній. Кроткая, благородная, добрая женщина въ своекорыстномъ опьяненіи ревности жертвуетъ жизнію Полины, отдавая ее замужъ за какого-то урода. Дѣвица готова погубить себя, — юность всегда самоотверженна и безрасчетна, — готова предать себя позору брачнаго ложа безъ любви, какъ-будто Эмиль отъ этого снова

полюбить свою жену. Не знаю цѣли, съ какой авторы (*) прибавили третье дѣйствіе, но оно до такой степени не нужно, до такой степени несправедливо (въ смыслѣ наказанья Эмиля), что превосходно вѣнчаетъ всю драму. Только въ этомъ мірѣ могутъ развиваться такія катастрофы, гдѣ внутренняя случайность чувствъ учреждаетъ жизнь вмѣстѣ съ вѣйшней случайностью обстоятельствъ.

Виновныхъ тутъ нѣтъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ хотять виноватыхъ (какъ сознательныхъ преступниковъ); есть одна вина, за которую ихъ нельзя отдать подъ судъ, но которая была причиною всѣхъ бѣдствій, причиною скрытой, неизвѣстной имъ.

Нѣтъ ничего легче, послѣ сужденій обвиняющей толпы, какъ стоическимъ формализмомъ разрѣшать жизненные вопросы. Формализмъ, какъ всякая отвлеченность, беретъ одну сторону, и правъ съ этой стороны, а другихъ онъ знать не хочетъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пытались, особенно въ Германіи, всѣ вопросы и всѣ сомнѣнія разрѣшать путемъ отвлеченнымъ, отрѣшая отъ вопроса усложняющія стороны его и дѣлая его, слѣдовательно, вовсе не тѣмъ вопросомъ, какимъ онъ есть; на широкихъ и крѣпкихъ основаніяхъ выросли тощія и бѣдные плоды, искусственно и насильственно-вытянутые. Рѣшенія такого формализма безжизненны; онъ идетъ отъ умерщвленнаго даннаго къ мертвому послѣдствію; отъ его холоднаго дыханія все коченѣетъ, вытягивается въ угловатая формы, въ которыхъ содержанію мочи нѣтъ тѣсно; въ немъ нѣтъ ни пощады, ни милосердія — одни категорія и пренебреженія. Вездѣ, гдѣ гордый формализмъ касается жизни, онъ стремится рабски подчинить страсти сердца, всю естественную сторону, всѣ личныя требованія — разума, какъ-бы чувствуя, что онъ не совладаетъ съ ними, пока онѣ на волѣ. Тоскуя безпрестанно о тождествѣ противоположностей, о примиреніи ихъ въ высшемъ единствѣ, объ ихъ соприисносущности и взаимной необходимости, формалисты только на словахъ принимаютъ тождество и примиреніе, а на дѣлѣ хотять подавить всю естественную сторону, хотять отбросить ее, какъ ка-лоши, служившія только, чтобъ пройти по грязи. Кто-то прекрасно замѣтилъ, что природа для идеалистовъ, *разрабатывающаяся*

(*) Arnauld et Fournier.

идея (so eine liederliche Idee). Все временное, частное, само собою приносится въ жертву идеѣ и всеобщему: это цѣль его; но хотѣтъ у него отнять и минутное владѣніе, единственное благо его; вмѣсто свободной жертвы, хотѣтъ вынудить насилѣмъ рабское признаніе своей ничтожности; *не даютъ себѣ труда устремить сердце къ разумной цѣли*, а требуютъ, чтобъ оно отреклось отъ себя, потому-что оно ближе къ природѣ. Такихъ требованій не признаетъ гордое сердце человѣка; оно сильно своими страстями и знаетъ свою силу: оно знаетъ, если пламя страстныхъ увлеченій подниметъ голову, какъ безсильно, какъ несостоятельно обязательство жертвовать формальному долгу! Сердце знаетъ, что наслажденіе есть также право всего живущаго, ищетъ его и манитъ имъ, за что оно имъ пожертвуетъ — формализму до этого дѣла нѣтъ. Держась на ледяной высотѣ всеобщностей, онъ пренебрегаетъ сердцемъ, онъ его не хочетъ знать. Такъ принялся было онъ защищать бракъ, но никогда не могъ дойти до христіанскаго ученія о бракѣ, именно по недостатку любви и сердца (*). Онъ допускаетъ, что *основаніе* браку любовь; это его естественная непосредственность; но послѣ вѣнчанія любовь не нужна, — вы перешли за границу естественныхъ влеченій, въ сферу нравственности, гдѣ ужъ нѣтъ ни плача, ни воздыханія, никакой страстности, а есть скука и тупое исполненіе долга, котораго смыслъ утратился и котораго внутренняя психея отлетѣла. Сознаніе, что я жертвую всею сердечной стороною бытія для нравственной идеи брака — вотъ награда. Словомъ, бракъ для брака. Самое высшее развитіе такого брака будетъ, когда мужъ и жена другъ друга терпѣть не могутъ и исполняютъ ех offiціо супружескія обязанности. Тутъ торжество брака для брака гораздо полнѣйшее, нежели въ случаѣ равнодушія. Люди равнодушные другъ къ другу могутъ по расчету жить вмѣстѣ; они не мѣшаютъ другъ другу.

Религія *устремляется* въ другой міръ, въ которомъ также улетучиваются страсти земныя; этотъ другой міръ не чуждъ сердцу; напротивъ, въ немъ сердце находитъ покой и удовлетвореніе; сердце не отвергается имъ, а распускается въ него; во имя его религія

(*) На прим. диссертація Рёттера о гётевомъ Wahlverwandtschaft.

могла требовать пожертвованія естественными влеченіями; въ высшемъ мірѣ религіи личность признана, всеобщее нисходитъ къ лицу, лицо поднимается во всеобщее, не переставая быть лицомъ; религіи имѣетъ собственно двѣ категоріи: всемірная личность Божественная и единичная личность человѣческая. Формализмъ убиваетъ живыя личности въ пользу промежуточныхъ отвлеченныхъ всеобщностей. Религія не становится выше любви и отношеніи брака; религія говоритъ: люби твою жену, потому что она Богомъ тебѣ данная подруга. Религія связываетъ лица связью неразрушимой; здѣсь бракъ есть таинство, совершающееся подъ благословеніемъ Божиимъ. Формализмъ разсуждаетъ не такъ: „Ты, какъ свободно-разумная воля, вступишь въ бракъ съ сознаніемъ его обязанности въ нравственномъ и специальномъ смыслѣ — пади же жертвой этой обязанности, запутайся въ нѣтъ, которую добровольно надѣлъ на себя; плати всѣми годами твоей жизни за прошедшій фактъ, быть можетъ основанный на минутномъ увлеченіи. Никакой взглядъ на міръ, ни развитіе, ни опытность ничего не помогутъ, потому что принесеніемъ тебя въ жертву идея брака укрѣпляется и поднимается. Тебѣ, какъ личности, выхода нѣтъ; да и гни себѣ, ты, случайность. Необходимъ человѣкъ, а не ты“. Формализмъ топчетъ ногами всю сторону естественной непосредственности; религія и тутъ его побуждаетъ, ибо она, признавая семейную жизнь, считаетъ ее естественною непосредственностью въ свою очередь передъ жизнью въ высшемъ мірѣ. Да, религія снимаетъ семейную жизнь, какъ и частную, во имя высшей, и громко призываетъ къ ней: „Кто любитъ отца своего и мать свою болѣе Меня — тотъ недостоинъ Меня“. Эта высшая жизнь не состоитъ изъ одного отрицанія естественныхъ влеченій и сухого исполненія долга: она имѣетъ свою положительную сферу во всеобщихъ интересахъ своихъ; поднимаясь въ нее, личные страсти сами собою теряютъ важность и силу — и это единственный путь обузданія страстей — свободный и достойный человѣка. Сдѣлаемъ опытъ оглянуться на нашу драму съ этой точки зрѣнія.

Жизнь лицъ, печально прошедшихъ передъ нашими глазами, была жизнь односторонняго сердца, жизнь личныхъ преданностей, исключительной нѣжности. Небосклонъ ея тѣсенъ; намъ въ немъ

неловко дышать, человекъ требуетъ больше; комнатный воздухъ для него нездоровъ. Мы чувствуемъ себя чужими между этими людьми и личностями, другъ въ другѣ живущими, сосредоточенными на себѣ и довлѣющими другъ другу во имя своихъ личностей. При такомъ направленіи духа, начала кроткаго, тихаго семейнаго счастья лежали въ нихъ; они моглибы быть счастливы, даже нѣкоторое время были — и ихъ счастье было бы дѣломъ случая, такъ же, какъ и ихъ несчастіе. Міръ, въ которомъ они жили — міръ случайности. Частная жизнь, незнающая ничего за порогомъ своего дома, какъ бы она ни устроилась, бѣдна; она похожа на обработанный садъ, благоухающій цвѣтами, вычищенный и прибранный. Садъ этотъ можетъ долго утѣшать хозяевъ, особенно если заборъ его перестанетъ колоть ихъ глаза; но случись ураганъ — онъ вырветъ деревья съ корнями и затопитъ цвѣты, и садъ будетъ хуже всякаго дикаго мѣста. Такимъ хрупкимъ счастіемъ человекъ не можетъ быть счастливъ; ему надобенъ безконечный океанъ, который волнуется ураганами, но чрезъ нѣсколько мгновеній бываетъ гладокъ и свѣтелъ какъ прежде. Судьба всего исключительно-личнаго, невыступающаго изъ себя, незавидна; отрицать личныя несчастія нелѣпо; вся индивидуальная сторона человека погружена въ темный лабиринтъ случайностей, пересѣкающихся, влетающихъ другъ въ друга; дикія физическія силы, непросвѣтленныя влеченія, встрѣчи, — имѣютъ голосъ, и изъ нихъ можетъ составиться согласный хоръ, но могутъ двигать и раздирающіе душу диссонансы. Въ эту темную кузницу судебъ свѣтъ никогда не проникаетъ; слѣпые работники бьютъ зря молотомъ налѣво и направо, не отвѣчая за слѣдствія. Чѣмъ болѣе человекъ сосредоточивается на частномъ, тѣмъ болѣе голыхъ сторонъ онъ представляетъ ударамъ случайности. Пенять нѣ на кого: личность человека не замкнута; она имѣетъ широкія ворота для выхода. Вся вина людей, живущихъ въ однихъ сердечныхъ, семейныхъ и частныхъ интересахъ, въ томъ, что они не знаютъ этихъ воротъ, а остальное, въ чемъ ихъ винять, — обыкновенно дѣло случая.

Случайность имѣетъ въ себѣ нѣчто невыносимо-противное для свободнаго духа; ему такъ оскорбительно признать неразумную власть ея, онъ такъ стремится подавить ее, что, не зная выхода,

выдумываетъ лучше грозную судьбу и покоряется ей; хочетъ, чтобъ бѣдствія, его постигающія, были предопредѣлены, т. е. состояли бы въ связи съ всемірнымъ порядкомъ; онъ хочетъ принимать несчастія за преслѣдованія, за наказанія: тогда ему есть утѣха въ повиновеніи или въ ропотѣ; одна случайность для него невыносима, тягостна, обидна; гордость его не можетъ вынести безразличной власти случая. Эта ненависть и стремленіе выйти изъ-подъ ярма указываютъ довольно ясно на необходимость другой области, *иного міра*, въ которомъ врагъ поправъ, духъ свободенъ и дома. Еслибъ человѣкъ не имѣлъ никакого выхода, въ немъ не было бы и потребности выйти изъ міра случайности, какъ у животнаго, напримѣръ. Поднимаясь, развиваясь въ сферу разумную и вѣчную всеобщаго, мы стяжаемъ возможность и крѣпость переносить удары случайности: они быють тогда въ одну долю бытія, они не такъ обидны. Надобно было большое совершенствленіе, большое развитіе своей индивидуальности въ родовое, чтобъ съ иснымъ челоомъ сказать: „есть міръ; въ немъ мы развиваемся; какая судьба насъ постигнетъ, все равно (да и судьбы вовсе нѣтъ); дѣло въ томъ, чтобъ мы *принимъ въ себя*, — остальное безразлично“. Хвала великой еврейкѣ, сказавшей это! (*)

Не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство — всеобщему, но раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности; работать столько же для рода, сколько для себя, словомъ, развить эгоистическое сердце во всѣхъ-скорбящее, обобщить его разумомъ, и въ свою очередь оживить имъ разумъ... Человѣкъ безъ сердца какъ-то безстрастная машина мышленія, неимѣющая ни семьи, ни друга, ни родины; сердце составляетъ прекрасную и неотъемлемую основу духовнаго развитія; изъ него пробѣгаетъ по жиламъ струя огня всеогрѣвающего и живительнаго; имъ живое сотрясается въ наслажденіи, радо себѣ. Поднимаясь въ сферу всеобщаго, страстность не утрачивается, но преобразается, теряя свою дику, судорожную сторону; предметъ ея выше, святѣе; по мѣрѣ

(*) Рахель—Briefwechsel.

расширенія интересовъ, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей. Въ самомъ колебаніи между двумя мірами — личности и всеобщаго, есть непреодолимая прелесть; человѣкъ чувствуетъ себя живою, сознательною связью этихъ міровъ, и теряясь, такъ-сказать, въ свѣтломъ эфирѣ одного, онъ хранитъ себя и слезами, и восторгами, и всею страстностью другаго. Человѣческая жизнь—трудная статистическая задача; безчисленныя противоположности, множество борющихся элементовъ ринуты въ одну точку и сняты ею. Природа, развиваясь, безпрестанно усложняется; проще всего камень, зато и жизнь его состоитъ въ одномъ мертвомъ, косномъ покоѣ. Человѣкъ не можетъ отказаться безнаказанно отъ участія во всѣхъ обителяхъ, въ которыя онъ призванъ своимъ временемъ. Человѣкъ развившійся равно не можетъ ни исключительно жить семейною жизнью, ни отказаться отъ нея въ пользу всеобщихъ интересовъ. Было время для каждаго народа, когда семейная жизнь удовлетворяла всѣмъ требованіямъ; для насъ-Европейцевъ это время миновало; мы живемъ шире, богаче. Въ патриархальный вѣкъ, дѣтская простота, односложность отношеній, физическій трудъ и психическая неразвитость отстраняла всякую возможность скорбныхъ катастрофъ, поражающихъ нѣжныя одухотворенныя существованія развитыхъ странъ. Удары случайности были тѣже; грудь, на которую они падаютъ, измѣнилась.

Лица нашей драмы отравили другъ другу жизнь, потому-что они слишкомъ-близко подошли другъ къ другу, и, занятыя единственно и исключительно своими личностями, они собственными руками разрыли пропасть, въ которую низверглись; страстность ихъ, не имѣя другаго выхода, сожгла ихъ самихъ. Человѣкъ, строящій домъ свой на одномъ сердцѣ, строить его на огнедышащей горѣ. Люди, основывающіе все благо своей жизни на семейной жизни, ставятъ домъ на песокъ. Быть-можетъ, онъ простоятъ до ихъ смерти, но обезпеченія нѣтъ, и домъ этотъ, какъ дома на дачахъ, прекрасны только во время хорошей погоды. Какое семейное счастье не раздробится смертію одного изъ лицъ? Мнѣ отвѣтить: а утѣшеніе религіи? Но религія есть по преимуществу выходъ въ иной міръ. А тамъ, гдѣ религіозная и гуманическая сторона бытія слаба,

гдѣ она подчинена чувствамъ, подчинена частному и личному, тамъ ждите бѣдъ и горестей... Въ этомъ положеніи наши герои. Они сводятъ насъ въ преисподнюю, въ міръ сердца, разорваннаго съ разумомъ, въ подземный міръ обезумѣвшихъ естественныхъ влеченій, готовыхъ пожрать все вокругъ себя. Это страшная изнанка жизни человѣческой; тутъ опредѣляются личныя гибели, дробятся однимъ ударомъ песчинками собранныя достоянія; тутъ раздаются глухіе стоны отчаянія, яростные крики боли; тутъ индивидуальное доведено до послѣдней крайности, до нечѣлости, и царитъ объ-руку съ безумнымъ самоотверженіемъ и съ наглымъ эгоизмомъ. Тутъ люди сражаются съ призраками, порожденными ихъ болѣзненной фантазіей, рвутъ въ ключья свою грудь и грудь ближняго, бѣснуются, ненавидятъ, ревнуютъ, лишаютъ себя жизни, влюбляются—все это ни разу не давши себѣ отчета въ томъ, чего хотятъ...

Не засмѣяться ль имъ, пока

Не обагрилась ихъ рука?

Если человѣкъ, попавшій въ власть адскимъ силамъ, найдетъ твердость приостановиться, подумать—онъ, безъ сомнѣнія, засмѣется и, еще вѣрнѣе, покраснѣетъ. Главное сумашествіе состоитъ въ какой-то чудовищной важности, которую приписываютъ событіямъ, именно потому, что они не знаютъ что въ самомъ дѣлѣ важно. Не факты отдѣльные—смертныя грѣхи, а грѣхи противъ духа и въ духѣ. Возьмемъ, на-примѣръ, драму Бомаршѣ „la Mère Coupable“. Человѣкъ, годы цѣлыя съ злою ревностію отыскивавшій улики противъ своей жены, наконецъ находитъ ихъ. Теперь-то онъ отмститъ, теперь-то онъ бросится со всею жестокостію невинности, со всею свирѣпостію судьи на преступную, которая двадцать лѣтъ, не осушая слезъ, оплакиваетъ свое паденіе. Онъ точно пользуется первымъ случаемъ, чтобъ положить на благородное чело ея печать позора; при этомъ онъ ждетъ увертокъ, ждетъ горькихъ словъ—и встрѣчаетъ кроткое сознаніе вины, и его жесткая душа смягчается; онъ *протрезвляется*, изъ мужа мстителя дѣлается мужемъ человѣкомъ. Сердце, полное жолчи и злобы, раскрывается снова любви. А между-тѣмъ доказательства найдены, и то, что въ подозрѣніи онъ не могъ вынести, онъ забываетъ при достовѣрности.

Почти всѣ злодѣйства въ мірѣ происходятъ отъ нетрезваго пониманія; Бентамъ говоритъ, что всякій преступникъ дурной счетчикъ. Если обобщить эту мысль и взять ее не въ тѣхъ матеріальныхъ границахъ, въ которыхъ она высказана имъ, то это будетъ одна изъ величайшихъ истинъ. Но возвратимся къ нашей драмѣ. Закулисная вина несчастія этихъ людей—тѣснота и неестественная для человѣка жизнь праздности; преступное отчужденіе отъ интересовъ всеобщихъ, преступный холодъ ко всему человѣческому внѣ ихъ тѣснаго круга, исключительное занятіе собою, взаимное обоготвореніе. Другихъ винъ не ищите, вотъ больное мѣсто! Еслибъ въ нихъ было развито *живое* религиозное чувство, еслибъ *человѣчность* ихъ не ограничилась первой ступенью, т. е. семейной жизнью, — катастрофы этой, конечно, не было бы. Еслибъ Эмиль, сверхъ своихъ личныхъ привязанностей, имѣлъ симпатію къ современности, любовь къ родинѣ, къ искусству, къ наукѣ, остался ли бы онъ, сложа руки, въ ничтожной праздности, разжигая бездѣйствіемъ страсти, истощая силы души на противодѣйствіе несчастной любви. Можетъ-быть, эта любовь и посягнула бы его сердце, какъ мимолетная гостья, но она не стащила бы его въ преисподнюю, не нарушила бы мира съ женою, потому-что онъ былъ бы сильнѣе всего той стороною бытія, которой онъ не развилъ. Еще разъ, ихъ жизнь была бѣдная жизнь въ сферѣ частной любви, выхода не имѣла и при неудачѣ лопнула. Словомъ, *любовь* оправдываетъ всё. Но нынче, когда нѣтъ авторитета, подъ который духъ критики не дѣлалъ бы опыта надкonnаться, можно и самую златовласую Афродиту потребовать къ трибуналу, если судья только не боится ея красоты. Я съ своей стороны готовъ быть лучше Антоніемъ, нежели Октавіаномъ, и навѣрное не велю покрыться Клеопатрѣ, лишь бы встрѣтиться съ нею; однакожъ, осмѣливаюсь звать на праведъ ея, изъ пѣны морской рожденную!

Существовать — величайшее благо; любовь раздвигаетъ предѣлы индивидуальнаго существованія и приводитъ въ сознаніе все блаженство бытія; любовью жизнь восхищается собою; любовь — апоэоза жизни. Лукрецій всю природу называетъ торжественнымъ празднествомъ любви, брачнымъ пиромъ, для котораго цвѣты развѣтываютъ свои прекрасные вѣнчики, наполняютъ благоуханіемъ

воздухъ, птицы покрываются красивыми перьями и проч. Любовь человѣческая — еще болѣе апопееза самой любви, такъ-какъ вообще человѣческое есть апопееза естественнаго. Природа оканчивается взоромъ юноши и дѣвы, любящихъ другъ друга. Этимъ взоромъ она страстно понимаетъ всю безконечную красоту свою; имъ она *ощутила себя*; далѣе она идти не можетъ — далѣе другое царство; она совершила свое, подняла форму до соответствія духу, раздвоилась, и, взглянувъ высшими представителями своего дуализма, она поняла выразительность своей красоты; личности, въ нѣмомъ восторгѣ другъ отъ друга, въ торжественномъ упоеніи взаимнаго созерцанія, отрѣшились отъ себя. Они сняли противоположность свою любовью и между-тѣмъ не совпадаютъ для того, чтобъ наслаждаться другъ другомъ, для того, чтобъ жить другъ въ другѣ. И съ этимъ мгновеніемъ восторга и поклоненія бытію соединена великая тайна возникновенія, обновленія юнымъ отжившаго. Любовь — пышный, изящный цвѣтокъ, вѣнчающій и оканчивающій индивидуальную жизнь; но онъ, какъ всѣ цвѣты, долженъ быть раскрытъ одною стороною, лучшей стороною своей къ небу — всеобщаго. Цвѣтокъ питается изъ земли и изъ солнца; отъ этого, въ немъ земное такъ чудно-хорошо. Любовь — одинъ моментъ, а не вся жизнь человѣка; любовь вѣнчаетъ личную жизнь въ ея индивидуальномъ значеніи; но за исключительною личностью есть великія области, также принадлежащія человѣку, или, лучше, которымъ принадлежитъ человѣкъ и въ которыхъ его личность, не переставая быть личностью, теряетъ свою исключительность. Монополю любви надобно подорвать вмѣстѣ съ прочими монополіями. Мы отдали ей принадлежащее; теперь скажемъ прямо: человѣкъ не для того только существуетъ, чтобъ *любить*; неужели *вся* цѣль мужчины — обладаніе такою-то женщиной; *вся* цѣль женщины — обладаніе такимъ-то мужчиною?—Никогда! Какъ неестественна такая жизнь, всего лучше доказываютъ герои почти всѣхъ романовъ. Что за жалкое, потерянное существованіе какого-нибудь Вертера, — чтобъ указать на знаменитость; — сколько сумасшедшаго и эгоистическаго въ немъ, при всей блестящей сторонѣ, которую всегда придаетъ человѣку сильная страсть. Не должно ошибаться: это блескъ очей лихорадочнаго; онъ имѣетъ въ себѣ маг-

нетическое, притягивающее, а между-тѣмъ онъ выражаетъ не огонь жизни, а пламя, разрушающее ее. При всѣхъ поэтическихъ выходахъ Вертера, вы видите, что эта нѣжная, добрая душа не можетъ выступить изъ себя; что, кромѣ маленькаго міра его сердечныхъ отношеній, ничто не входитъ въ его лиризмъ; у него ничего нѣтъ ни внутри, ни внѣ, кромѣ любви къ Шарлоттѣ, не смотря на то, что онъ почитываетъ Гомера и Оссіана. Жаль его! Я горькими слезами плакалъ надъ его послѣдними письмами, надъ подробностями его кончины. Жаль его; — а вѣдь пустой малый былъ Вертеръ! Сравните его, или Эдуарда, и всѣхъ этихъ страдателей съ широко-развернутыми людьми, у которыхъ субъективному Кесарю отдана богатая доля, но и доля обще-человѣческая не забыта; сравните ихъ съ Карломъ Мооромъ, съ Максомъ Пикколомини, съ Теллемъ, наконецъ, съ этимъ добрымъ патріархальнымъ отцомъ семейства, съ этимъ энергическимъ освободителемъ своего отечества. И, чтобъ не обидѣть Гёте, сравните съ архитекторомъ въ „Wahlverwandschaft“, и вы ясно увидите, что я хочу сказать. Любовь вошла великимъ элементомъ въ ихъ жизнь, но не поглотила, не всосала въ себя другихъ элементовъ. Они любовью не отрѣзались отъ всеобщихъ интересовъ гражданственности, искусства, науки; напротивъ они внесли все одушевленіе ея, весь пламень ея въ эти области, и наоборотъ ширину и грандіозность этихъ міровъ внесли въ любовь. Отъ-того любовь ихъ счастлива или нѣтъ, но не выражается въ помѣшательство. Помнится, Тиссо, въ извѣстной книгѣ своей о нѣкотораго рода самоудовлетвореніи, сказалъ: „Природа жестоко мститъ оскорбляющимъ ея законы; эта „месть“ лежитъ въ самомъ отступленіи объ бытія, въ которое долженъ развиваться организмъ и есть физическое послѣдствіе его“. Великая истина! Человѣкъ долженъ развиваться въ міръ всеобщаго; оставаясь въ маленькомъ частномъ мірѣ, онъ надѣваетъ китайскіе башмаки: чему дивиться, что ступать больно, что трудно держаться на ногахъ, что органы уродуются? чему дивиться, что жизнь, несообразная цѣли, ведетъ къ страданіямъ? Самые эти страданія — громкій голосъ, напоминающій, что человѣкъ сбился съ дороги.

Но я предвижу возраженіе; этотъ міръ всеобщихъ интересовъ, эта жизнь общественная, художественная, сціентифическая, — все

это для мужчины; а у бѣдной женщины ничего нѣтъ, кромѣ ея семейной жизни. Она должна жить исключительно сердцемъ; ея міръ ограниченъ спальней и кухней... Странное дѣло! девятнадцатіе столѣтіе христіанства не могли научить людей понимать въ женщинѣ человѣка. Кажется, гораздо мудренѣе понять, что земля вертится около солнца; однако поспорили, да и согласились; а что женщина человѣкъ, въ голову не помѣщается! Однакожъ участіе женщины въ высшемъ мірѣ было признано религіею. „Марѳа, Марѳа, ты печешься о многомъ, а одно необходимо. Маріа избрала *благую часть*“. На женщинѣ лежатъ великія семейныя обязанности относительно мужа — тѣ же самыя, которыя мужъ имѣетъ къ ней, а званіе матери поднимаетъ ее надъ мужемъ, и тутъ то женщина во всемъ ея торжествѣ: женщина больше мать, нежели мужчина — отецъ; дѣло начальнаго воспитанія есть дѣло общественное, дѣло величайшей важности, а оно принадлежитъ матери. Можетъ ли это воспитаніе быть полезно, если жизнь женщины ограничить спальней и кухней? Почему Римляне такъ уважали Корнелію, мать Гракховъ? Во вторыхъ, ея семейное призваніе никоимъ образомъ не мѣшаетъ ея общественному призванію. Міръ религіи, искусства, всеобщаго — точно также раскрытъ женщинѣ, какъ намъ, съ тою разницею, что она во все вноситъ свою грацію, непреодолимую прелесть кротости и любви. Вся исторія Италіи не совершилась ли подъ непрерывнымъ вліяніемъ женщинъ? Не доказали ль онѣ мощь геніальности своей и на престолѣ, какъ Екатерина II, и на плахѣ, какъ Роланъ? Нужны ли доказательства людямъ, которые своими глазами видѣли Сталь, Рахель, Беттину и теперь еще видятъ исполинскій талантъ геніальной женщины?.. Но въ сторону эти исключительныя явленія: обращаю вниманіе на фактъ, извѣстный всѣмъ, находящійся у каждаго передъ глазами. Откуда дѣвицы имѣютъ необыкновенный тактъ поведенія, умѣнье себя держать, вѣрный смыслъ въ дѣлахъ жизни? Воспитаніе ихъ ограничено гаремнымъ заключеніемъ, и между-тѣмъ ихъ быстро-понимающей натурѣ достаточно нѣсколько шаговъ по полю жизни, чтобъ выразумѣть ее, чтобъ приобрѣсти *esprit de conduite*, до котораго мужчина вырабатывается полжизни самымъ скорбнымъ путемъ паденій, разврата, раззореній, обидъ, униженій и, Богъ знаетъ

чего. Этотъ фактъ, совершенно-всеобщій, доказываетъ ли подчиненность женщины мужчинамъ въ-отношеніи ума, или напротивъ? Какое же мы имѣемъ право отчуждать ихъ отъ міра всеобщихъ интресовъ; я скажу какъ Розина, когда ей Бартоло доказывалъ, что мужъ можетъ распечатывать письма жены: „Mais pourquoi lui donnerait on la préférence d'une indignité, qu'on ne fait à personne?“ („Севильскій Цирюльникъ“). Въ дикія времена феодализма (которыя представляются такими поэтическими, чистыми у нашихъ романтиковъ), рыцари имѣли обыкновеніе въ своихъ помѣстьяхъ выбирать маленькихъ дѣвочекъ, обѣщавшихъ красоту, и запирали въ особое отдѣленіе, гдѣ за ихъ нравственностью былъ строгій надзоръ; изъ этихъ разсадниковъ брали они себѣ, по мѣрѣ надобности, любовницъ. Такъ рассказываетъ очевидецъ Брантомъ. Нынче такого грубаго и отвратительнаго уничиженія женщины нѣтъ. А не правда ли, что-то родственное этимъ хозяйственнымъ запасамъ осталось въ воспитаніи дѣвицъ исключительно въ невѣсты? Мысль, что она сама въ себѣ никакой цѣли не имѣетъ, кромѣ замужства, право, неправственна и непристойна,

Я почти все сказалъ, что хотѣлъ сказать по поводу одной драмы: слѣдовало бы остановиться; но характеръ Grübeleien именно таковъ, что они до-тѣхъ-поръ тянутся, пока виѣшняя причина не толкнетъ на что-нибудь другое, или напомнитъ, что пора кончить. Теперь, когда слѣдовало положить перо, мнѣ пришло въ голову еще кое-что о любви.

Любовь почти всегда поэтами поется сквозь слезы, покрытая какою-то траурною мантиею, замѣнившіею алое покрывало. Въмѣсто радостной улыбки, у нихъ скрежетъ зубовъ; вмѣсто юнаго румянца—блѣдныя щеки. Откуда взялся въ любви, въ этомъ торжественномъ, радостномъ чувствѣ, мучительногрустный, раздирающій душу характеръ, это наслѣдіе мечтательности среднихъ вѣковъ и германизма; для романтизма нѣтъ счастья выше несчастья, нѣтъ радости выше скорби и грусти: все человѣческое получило тогда судорожно-болѣзненное направленіе: такъ простыя, южныя болѣзни получаютъ на сѣверѣ чрезвычайно-сложное, нервичное, жолчевое свойство. То было время убіенія всего естественнаго и развитія всего противоестественнаго, время вѣчнаго противорѣчія словъ и

дѣла; оно—мрачное, сосредоточенное, вѣчно-обращенное на себя, занимающееся собою, раздуло въ струи адскаго огня крсткій пламень любви. Міръ дѣйствительный былъ въ пренебреженіи: жили въ мечтахъ, отреклись отъ естественныхъ влеченій и воцарили вмѣсто ихъ новыя, порожденные отъ безаконной смѣси крови и духа: таково понятіе чести, доведенное до безумнаго себя обоготворенія, такова платоническая любовь—натянутое одухотвореніе истинной любви. Словомъ, романическое воззрѣніе представляетъ, какъ телескопъ, весь міръ вверхъ ногами; внутреннее у него поставлено вдали, духовное исполнено чувственности, чувственность одухотворена. Съ такимъ настроеніемъ души, при вѣчномъ разрывѣ съ истинною жизнью, страсти получили тѣмъ ужаснѣйшее развитіе, что онѣ были неестественны. Нельзя отрицать сильную увлекаемость романтизма; туманность его, бѣгущая ясности и разума, стремленіе, не знающее предѣла и цѣли, искусственная чистота, восторженная нѣжность, рѣчь, которая, какъ музыка, больше намекаетъ, нежели высказываетъ—все вмѣстѣ захватываетъ душу особенно юную, дѣвственную. Романтизму шла также хорошо платоническая, несчастная любовь, какъ романтизмъ шелъ среднимъ вѣкамъ. Но время его миновало, поэты-романтики знать этого не хотятъ. А между-тѣмъ, представьте вы себѣ вмѣсто изящнаго образа рыцаря Тогенбурга, закованнаго въ желѣзо, съ крестомъ на груди—представьте г. Тогенбурга въ пальто и резинковыхъ сапогахъ, проводящаго жизнь гдѣ-нибудь въ Парижѣ, Лондонѣ, Брюсселѣ, на улицѣ, дожидаясь „какъ стукнетъ окно“,—и вамъ сдѣлается ужасно смѣшно...

Мечтательность, романтизмъ, платоническая любовь,—все это въ наше время очень-хорошо при переходѣ изъ отрочества въ юношество. Душа моется, расправляетъ крылья въ этомъ фантастическомъ морѣ, въ этомъ упонительномъ полумракѣ. Но остаться на вѣкъ мечтательно-вдыхающимъ, страдающимъ безнадежно *по ней*, стремящимся и возносящимся—не видя, что подъ ногами дѣлается, что надъ головою гремитъ!.. Какъ люди вѣчно занятые суетою ежедневности, безсознательно влекомые общимъ движеніемъ, совершенно-внѣшніе и ограниченные вышли, съ одной стороны, изъ жизни истинно-человѣческой, такъ мечтатели, исполненные,

неопредѣленной тоски, сердечныхъ страданій, боящіеся грубыхъ прикосновеній дѣйствительности, въ другую сторону вышли изъ жизни. Первые возвратились въ состояніе животныхъ или не дошли еще до человѣческаго; они довольны своею жизнію на скотномъ дворѣ. Вторые вышли изъ человѣской жизни въ какую-то степь, по которой сколько ни пройдешь, столько же остается. Тѣ не могутъ прійти въ себя, эти выйти изъ себя не могутъ. Жизнь не для нихъ; это два берега ея: она величественно течетъ между ними. На мечтателей часто клепаютъ глубину души, неизвѣстную намъ, профанамъ; тамъ „покоится не одна прекрасная жемчужина“, да они ее выковырять не могутъ, и словъ нѣтъ высказать, и звуковъ нѣтъ спѣть... Знаете ли, что мнѣ подчасъ приходитъ въ голову? глубина эта похожа на то, что еслибъ выкопать колодезь центра земли и все продолжать копать; каждый шагъ глубже былъ бы шагомъ ближе къ поверхности. Центр тяжести — граница глубины; еще разъ, жизнь — статистическая задача — *ni troppo, ni troppo poco*. *Troppo poco* — чловѣкъ въ толпѣ съ низкими желаніями безгласенъ; *troppo* — чловѣкъ внѣ дѣйствительности въ сферѣ праздной и бесполезной... Возвращаюсь къ любви. Мучительная любовь не есть истинная, а... „Знаешь ли ты“, сказалъ мнѣ одинъ ученый другъ, которому я читалъ эту тетрадь, „знаешь ли ты условіе, чтобъ недурную, да и не хорошую статью прочли“. Я навострилъ уши. „Надобно“, продолжалъ онъ съ важностью ученаго и съ участіемъ друга, точно въ статистической задачѣ жизни чловѣческой: „чтобъ было сказано *ni troppo, ni troppo poco*. Въ по- „слѣднемъ ты предостерегся, я первый отдаю полную справедливость; подумай о второмъ; вспомни историческую воздержность „Сципіона“.

Подумавъ и вспомнивъ историческую воздержность Сципіона, я остановился; тѣмъ болѣе не осмѣлюсь заставить благосклоннаго читателя (если Богъ пошлетъ его) читать продолженія безвязныхъ *Grübeleien*.

1842, октября 10-го.

IV.

КАПРИЗЫ И РАЗДУМЬЕ.

КАПРИЗЫ И РАЗДУМЬЕ.

Года два тому назадъ, умеръ въ своей подмосковной одинъ очень странный человѣкъ. Я его нѣсколько знавалъ при жизни, и довольно коротко познакомился съ нимъ послѣ его смерти. Человѣкъ онъ былъ тяжелый; его не любили, онъ надоедалъ своимъ рефлексивствомъ — рефлексивство развилось у него подъ конецъ жизни въ болѣзнь, чуть не въ помѣшательство. Не было того простаго вопроса, надъ которымъ бы онъ не ломалъ головы. Онъ утратилъ ту врожденную сумму правилъ и истинъ, которая впередъ идетъ у каждаго человѣка, которую мы находимъ въ своемъ сознаніи прежде, нежели начинаемъ разсуждать, такъ какъ находимъ у себя носъ, глаза — нисколько не трудившись пріобрѣсти ихъ и не зная собственно откуда они. Чудакъ называлъ ихъ *Фуэросами*, и искалъ иныхъ правилъ — до которыхъ не добился.

Странный человѣкъ былъ сверхъ того совершенно праздный человѣкъ. Не найдя никакой дѣятельности въ средѣ, въ которой родился, онъ сдѣлался туристомъ; потаскавшись лѣтъ десять по Европѣ, онъ воротился усталый, не совсѣмъ юный, и принялся читать. Читалъ днемъ, читалъ ночью, читалъ романы, читалъ ученныя сочиненія, читалъ журналы и вскорѣ дочитался до отвращенія отъ книгъ; тогда онъ сложилъ руки и рѣшился ничего не дѣлать; вѣроятно, для этого онъ поселился въ Москвѣ. Мысль нельзя сложить какъ руки; она и во снѣ не совсѣмъ спитъ — дѣятельность мысли росла въ немъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе было всякой другой дѣятельности, и онъ дошелъ до своего вѣчнаго раздумья, до своего раздраженнаго, почти лихорадочнаго рефлексивства.

Послѣ его смерти попались мнѣ въ руки его бумаги; я нашелъ тамъ множество замѣтокъ, мыслей, *капризовъ*, брошенныхъ на-скоро, но не лишенныхъ интереса, по крайней мѣрѣ патологическаго интереса. Посылаю вамъ два, три образчика — помѣстите ихъ, если найдете занимательнымъ для читателей.

КАПРИЗЫ И РАЗДУМЬЕ.

Cogitata et visa.

I.

Легкое повидимому только легко, а трудное повидимому только трудно. Обыкновенно думаютъ, чѣмъ мысль общѣе, тѣмъ она труднѣе; что надобно имѣть чрезвычайное глубокомысліе и сметливость, чтобъ понять, напримѣръ, философскую книгу; такъ думаютъ не только нечитающіе такихъ книгъ, но и тѣ, которые ихъ пишутъ; они, единственно для облегченія мыслей, само собою понятныхъ, затемняютъ ихъ до того, что онѣ дѣлаются совершенно непонятными. А посмотримъ прямо въ глаза этимъ головоломнымъ истинамъ, снявши съ нихъ ежовую шкуру школьнаго изложенія — ребенокъ пойметъ; труднѣе не понять ихъ, нежели понять. Если мы мало видимъ дѣтей, понимающихъ истины, это отъ того, что со дня рожденія развращаютъ естественный смыслъ ребенка такъ называемымъ воспитаніемъ. Воспитаніе очень надолго лишаетъ ребенка возможности понять ясное, тѣмъ самымъ, что оно ему передаетъ темное за ясное, подавляетъ авторитетомъ; систематически приучаетъ дѣтей къ сумасшествію. Часть людей, свихнувши въ молодости свой умъ, такъ и остается на всю жизнь, въ родѣ тѣхъ Индѣйцевъ, которымъ при рожденіи сдваливали черепныя кости; многіе, потомъ, собственными трудами продолжаютъ развивать въ себѣ способность искаженного мышленія и достигаютъ нерѣдко нѣкоторой ловкости въ этомъ искусствѣ. Человѣку, понявшему ясно и основательно хоть одну ложь за правду, чрезвычайно трудно понять всякую истину; это объясняется по методѣ Жакато: типы нелѣпныхъ выводовъ остаются въ головѣ, какъ законы, отъ которыхъ отвязаться мудрено. Не истины науки трудны, а расчистка человѣческаго сознанія отъ всего наслѣдственнаго хлама, отъ всего осѣвшего ила, отъ приниманія неестественнаго за естественное, непонятнаго за понятное.

Дѣйствительно-трудное для пониманія не за тридевять земель, а возлѣ насъ, такъ близко, что мы и не замѣчаемъ его: частная

жизнь наша, наши практическія отношенія къ другимъ лицамъ, наши столкновенія съ ними. Людямъ все это кажется очень простымъ и чрезвычайно естественнымъ—а въ сущности нѣтъ головоломнѣе работы, какъ понять все это; кто разъ, на минуту отступя въ сторону, добросовѣстно всмотрится въ ежедневную мелочь, въ которой мы проводимъ время, да подумаетъ объ ней,—тотъ или расхохочется до того, что сдѣлается болѣнъ, или расплачется до того, что потеряетъ глаза. Мы слишкомъ привыкли къ тому, что мы дѣлаемъ и что дѣлаютъ другіе вокругъ насъ; насъ это не поражаетъ; привычка—великое дѣло; это самая толстая цѣпь на людскихъ ногахъ; она сильнѣе убѣжденій, таланта, характера, страстей, ума. Къ чему нельзя привыкнуть? Итальянецъ, живущій на Везувіѣ, привыкъ спать возлѣ кратера такъ же спокойно, какъ въ свою очередь нашъ мужичекъ спокойно отдыхаетъ въ обществѣ нѣсколькихъ тысячъ таракановъ. Митридатъ привыкъ вмѣсто кабула и сои приправлять кушанья всякими ядами и былъ очень здоровъ; а Фридрихъ II привыкъ класть въ супъ асса-фетиду и находилъ, что его супъ прекрасно пахнетъ. Считаютъ, что все достойное вниманія, замѣчательное, любопытное гдѣ-нибудь вдали, въ Египтѣ или въ Америкѣ; добрые люди не могутъ убѣдиться, что нѣтъ такого далекаго мѣста, которое не было бы близко отъ куда-нибудь; что вещь, возлѣ нихъ стоящая со дня рожденія, отъ этого не сдѣлалась ни менѣе достойна изученія, ни понятнѣе. Какъ на смѣхъ подобнымъ мнѣніямъ, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточивалось подъ крышей каждаго дома,—и критическій, аналитическій вѣкъ нашъ, критикуя и разбирая важныя историческія и всяческія вопросы, спокойно, у ногъ своихъ, дозволяетъ расти самой грубой, самой нелѣпой непосредственности, которая мѣшаетъ ходить и предательски прикрываетъ болота и ямы; ядра, летящія на разрушеніе падающаго зданія готическихъ предразсудковъ, пролетаютъ надъ головою преготическихъ затѣй, отъ того, что они подъ самымъ жерломъ.

Наука, государство, искусство, промышленность идутъ, развиваясь, во всей Европѣ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ,

основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и вѣншихъ необходимостяхъ; объ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ; для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ, — не даромъ ее называютъ *прозой*, въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни идиллій. Только лѣта юности обставлены похудожественнѣе; а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви — утомительное *semper idem* закулисной жизни, ежедневной суеты, мелкихъ хлопотъ, булавочныхъ уколовъ и пр. Общие сферы похожи на вызолоченныя гостинныя и залы, на отдѣлку которыхъ употреблены капиталы; а частная жизнь — это тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бываютъ. Конечно, въ послѣдніе три вѣка много перемѣнилось въ образѣ жизни; впрочемъ, украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ, мѣняя образъ жизни, люди не признавались въ этомъ: знамена остались тѣ же; люди, какъ Испанцы, хотятъ только сохранить *фуэросы*, не смотря на то, что большая часть ихъ не соответствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивимся, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и тоже время совмѣстить въ своей нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романически-восторженные выходы рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя правоученія благочестивыхъ отшельниковъ степеней еивандскихъ и своекорыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно — мертвую мораль, мораль существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда — не болѣе. У каждаго человѣка за его официальной моралью есть свой спрятанный *esprit de conduite*; официально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный бѣденъ, официально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины, — *privatim* онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя въ правѣ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоящее сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти

всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарпювъ, нежели мушаровъ, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе только двоедущіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье это, конечно, много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ рождаются и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ, и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ челоуѣка, благовоспитаннаго — потому, что никогда не добьешься отъ него, чтобъ онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

Наполеонъ говаривалъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснить главнѣйшихъ явленій всемірной жизни, пока не бросится въ міръ *подробностей*.

Чего желалъ Наполеонъ — исполнилъ микроскопъ. Естественныя испытатели увидѣли, что не въ палецъ толстыя артеріи и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы фізіологіи, а волосяные сосуды, а клѣтчатки, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно рассмотреть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самыя сильныя характеры, самыя огненныя энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома, съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ; о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ, — но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, прислугѣ, слугамъ и пр. и пр., — объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобъ не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобъ не дать развиваться угрызѣніямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же ин-

стинетомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ, — а не пора ли бы и имъ на свѣтъ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты: мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта; да въ сущности это все равно: прячь, не прячь — все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein
Still und gesponnen,
Kommt — wie kann es anders sein?
Endlich an die Sonnen.

Изрѣдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стоявшихъ позы, заставить ихъ задуматься... для того, чтобъ потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человѣкъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобъ убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. „Его жена уѣхала вчера отъ него“ — скверная женщина! „Отецъ его лишилъ наслѣдства“ — скверный отецъ! Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы, и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ, Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать какъ математическую задачу, т. е. стараться понять, — этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобъ преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандально, обито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотрѣть какъ цари, герои или, по крайней мѣрѣ, полководцы и напереники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобъ видѣть мѣщански проливаемые слезы.

Людемъ необходимы декорации, обстановка, надписи; мѣщанинъ въ дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говоритъ прозой — мы хохочемъ надъ этимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, по-

тому что ихъ злодѣянiя не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса — и мы не плачемъ надъ ними.

Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила: слѣдствiе было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять: Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ). Крикъ, толки. Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное — въ этомъ никто не сомнѣвается; да что же особенно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго, — разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ, напримѣръ, мой сосѣдъ, этотъ богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на колѣняхъ, умоляя спасти ихъ имѣніе, ихъ честь — продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ; что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной? Отчего эти ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какимъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфила и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ; и немудрено, ядъ у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользають отъ химическихъ реакцій и отъ тупости людскихъ сужденій. „Чего не достаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши“ — говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ, — себя наряжаетъ; онъ ее наряжаетъ потому, что она его, на томъ основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера, — „Все такъ, — говорятъ умнѣйшіе, — но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу“.

А позвольте спросить: возможно ли *хроническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой не важность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали — это понятно; а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву — да гдѣ же взять столько геройства или столько истиннаго терпѣнія? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву — такая жертва, само

собою разумѣтся, не приносится ни отцу, ни матери, потому что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣроятно, не остановился на куплѣ, потребовалъ, сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все человеческое достоинство, любви и, не найдя ея, началъ, *par dépit*, тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе, эту извѣстную охоту *par force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена, преслѣдованіе, управляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ; оно, какъ Инусъ о двухъ лицахъ — одно для гостей глупо улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гienны, сказалъ бы я, еслибъ гienны улыбались: хищные звѣри добросовѣстны, они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кусать. Умри жена, — супругъ воздвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ, и, для довершенія удара, слезами откровенными: онъ, поддавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

Людямъ непременно надобны видимые знаки; несчастію нѣмому они сочувствовать не могутъ. „Вотъ видите этого толстаго мужчину съ усами — онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ“, — и всѣ: „ахъ, Боже мой! бѣдный, что онъ вынесъ!“ Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извертъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ идти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело — я это знаю лучше многихъ, но ставить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершеннѣйшій, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синія пятна, какъ будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнувшая лампа, догорающая свѣча, — на меня находитъ ужасъ; за каждой стѣной

миѣ мерещится драма, за каждой стѣнной видѣются горячія слезы, слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія; а иногда и самая жизнь. — Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спать безиробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть кака-нибудь племянница притѣсненная, за-давленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непременно кому-нибудь, да солопо жить.

Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не со-всѣмъ еще выработалось въ продолженіи шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій, — имъ на-добны дядьки, няньки, педели, наказанія, приказанія, карьеры, иг-рушки, конфеты и прочее, — дѣло дѣтское!

II.

Богатые моды по большей части или моты, или скупицы; на сот-ни выищется одинъ, который умѣетъ управлять своимъ состояніемъ, не впадая въ крайность расточительности или скупости. Совершен-но случайное сосредоточеніе огромныхъ средствъ какъ-то кружить голову людямъ; они бросаютъ ихъ, или не употребляютъ, дока-зывая въ обоихъ случаяхъ ненужность ихъ. Впрочемъ, не надобно ставить расточительность и скупость на одну доску. Расточитель-ность носить сама въ себѣ предѣлъ: она оканчивается съ послѣд-нимъ рублемъ и съ послѣднимъ кредитомъ; скупость безконечна и всегда при началѣ своего поприща; послѣ 10 миллионъ, она съ тѣмъ же оханьемъ начинаетъ откладывать 11-й. Расточительность поправляетъ сдѣланное стяжаніемъ; она видитъ горсть золота въ своихъ рукахъ, невѣстно какъ въ нихъ попавшуюся, невырабо-танную, свалившуюся съ неба, — и бросаетъ ее за наслажденія, пиръ, за упоеніе нѣгой, за удобство роскоши. Конечно, это дурно т. е. то дурно, что человѣкъ ставитъ высшимъ наслажденіемъ суетное удовлетвореніе желаній, если и не порочныхъ, то пустыхъ; но вредъ расточительности больше отрицательный; мотъ могъ бы луч-

ше употребить себя и свои средства—безъ сомнѣнія, но онъ и не удерживаетъ эти средства въ своихъ рукахъ, а отдаетъ ихъ другимъ; собственно гнуснаго, преступнаго ничего нѣтъ въ расточительности; мотовство часто сопрягается съ художественной любовью изящнаго, съ благородными порывами. Избалованный мотъ иногда откажетъ въ участіи, но дастъ денегъ; скупой никогда не откажетъ въ участіи, но никогда денегъ не дастъ. Въ мотѣ есть что то избалованное, прихотливое, распушенность характера гетеры; въ скупцѣ что то преступное, антисоціальное, онъ похожъ на шакала, онъ хуже его. Дидеро говорить, что онъ знаетъ только одинъ порокъ, и этотъ порокъ—скупость.

Ревнивая привязанность къ имуществу безнравственна; богатство хранимое болѣе развращаетъ человѣка, нежели богатство расточаемое; оно, какъ тяжелая гиря, стягиваетъ къ землѣ всякой порывъ, всякую благородную мысль; не имущество принадлежитъ скупому, а скупой имуществу. Слово—„недвижимое имѣніе“ значитъ для скупца капканъ, въ который пойманъ подвижный духъ его. Деньги и богатство—страшный оселокъ для людей: кто на немъ попробовалъ себя и выдержалъ испытаніе, тотъ смѣло можетъ сказать, что онъ человѣкъ.

Самоотверженіе на поприщѣ гражданственности, мужество на полѣ битвъ, смѣлая рѣчь, патріотизмъ, готовность служить другу рукой, головой,—все это довольно часто встрѣчается на бѣломъ свѣтѣ, но . . . но до кармана касаться не совѣтую тому, кто хочетъ сохранить юношескіе вѣрованія. Гдѣ люди, которые не согнуты подъ бременемъ ожидаемаго мильона? А если есть такіе, которые не своротятъ съ прямой дороги для чужаго мильона, то конечно нѣтъ такихъ, которые не своротятъ, чтобъ сохранить свой собственный.

Обвиняютъ мота въ неуваженіи къ деньгамъ; но онѣ и недостойны уваженія, такъ какъ вообще всѣ вещи, кромѣ художественныхъ произведеній. Человѣкъ ими пользуется, употребляетъ ихъ, и вещь вполнѣ достигаетъ высшей цѣли, отдаваясь въ наслажденіе человѣку; другаго уваженія она не заслуживаетъ, другимъ образомъ человѣкъ можетъ уважать только человѣка; уважать вещь вообще: безсмыслица, но уважать деньги двойная безсмыслица:

въ вещи я уважаю иногда ея красоту, воспоминаніи, сопряженный въ нею; но деньги—алгебраическая формула всякой вещи; не вещь, а представительница вещей.

Расточительность и скупость—двѣ болѣзни, текущія изъ одного источника и приводящія различными путями къ одному концу. Голодная бѣдность мота встрѣчается съ голоднымъ богатствомъ скупа — и тутъ они равны. Лучшаго доказательства нелѣпости богатства быть не можетъ.

Безпривратенно быть мотомъ, зная что сосѣдъ умираетъ съ голоду; въ этомъ нѣтъ сомнѣній; придетъ время, будутъ удивляться нашему аппетиту и крѣпости нервъ, особенно дамскихъ, но... но есть нѣчто гораздо безпривратеннѣйшее: беречь свои деньги, зная, что сосѣдъ умираетъ съ голоду.

III.

Совершеннолѣтіе закономъ опредѣляется въ 21 годъ. Въ дѣйствительности, убѣгающей отъ арифметическихъ однообразныхъ опредѣленій, можно встрѣтить старика лѣтъ двадцати и юношу лѣтъ въ пятьдесятъ. Есть люди совершенно неспособные быть совершеннолѣтними, такъ какъ есть люди, неспособные быть юношами. Знаменитая Бетина оставалась ребенкомъ на всю жизнь, тѣмъ самымъ восторженнымъ ребенкомъ, котораго кудри ласкалъ олимпической рукой Гёте, никогда не бывшій юношей въ жизни; онъ отбылъ, какъ извѣстно, свою юность Вертеромъ. Біографы Ньютона удивляются, что ничего неизвѣстно объ его ребячествѣ, а сами говорятъ, что онъ въ 8 лѣтъ былъ математикомъ, т. е. не имѣлъ ребячества. Напротивъ, Лафайетъ въ 80 лѣтъ нуждался еще въ гувернерѣ—это было самое благородное, самое старое дѣти обонхъ полушарій. Для одного юность—эпоха, для другаго—цѣлая жизнь. Въ юности есть нѣчто, долженствующее проводить до гроба, но не все: юношескія грезы и романтическія затѣи очень жалки въ старикѣ и очень смѣшны въ старухѣ. Остановиться на юности потому скверно, что на всемъ останавливаться скверно,—надобно быстро нестись въ жизни; оси загорятся—пускай себѣ, лишь бы не заржавѣли. Человѣкъ, способный на дѣятельность, на совершеннолѣтіе, имѣетъ органъ претворенія всѣхъ событій, внутреннихъ и вѣншихъ, въ такую

ткань, которая, безирестанно обновляясь, сама усугубляет силу и объемъ взгляда; изъ юношескаго романтизма онъ строитъ практической взглядъ; онъ подъ тѣми же словами разумѣтъ несравненно ширшія понятія; старый юноша неподвижно остается при старыхъ понятіяхъ. — Въ юности человѣкъ имѣетъ непремѣнно какую нибудь мономанію, какой нибудь несправедливый перевѣсъ, какую нибудь исключительность и бездну готовыхъ истинъ; плоская натура при первой встрѣчѣ съ дѣйствительностію, при первомъ жесткомъ толчокѣ, плюетъ на прежнюю святыню души своей, ругается надъ своими заблужденіями, и по мѣрѣ надобности беретъ взятки, женится изъ денегъ, строитъ домъ, два....

Благородная, но не реальная натура идетъ наперекоръ событіямъ, не стремится понять препятствій, а сломить ихъ, лишь бы спасти свои юношескія мечты, и обыкновенно, видя, что нѣтъ успѣха, останавливается, и, остановившись, повторяетъ всю жизнь одну и ту же ноту, какъ роговой музыкантъ. Натура дѣйствительная не такъ поступаетъ: она воспитываетъ свои убѣжденія по событіямъ, такъ, какъ Петръ I-й воспитывалъ своихъ воиновъ шведскими войнами; она не держится за старое въ его буквальный смыслъ, она не съ юношескими сентенціями отправляется на борьбу, на жизнь а съ юношеской энергіей; сентенціи, правила ей ненужны, у ней есть тактъ, т. е. органъ импровизацій, творчества; она вступаетъ во взаимодѣйствіе съ окружающей средой; ничего не можетъ быть болѣе удалено отъ твердыхъ и законныхъ истинъ, какъ дѣйствительное воззрѣніе; оно текуче, тягуче, оно колеблется какъ вода въ морѣ—но кто двинетъ подвижное море! Всѣ немѣдкіе филистеры по большой части бурши, не умѣвшіе примирить юное съ совершеннолѣтнимъ. Самая смѣшная сторона филистерства именно въ этомъ соучастіи въ одномъ и томъ же человѣкѣ теоретической юности съ мѣщанскимъ совершеннолѣтіемъ. Старѣться значитъ окостенѣть; неправда, что всякій долженъ старѣться: старѣется собственно остановившаяся натура, она тогда въ мертвенномъ покоѣ, осѣдаетъ кристалами; въ нравственномъ мірѣ тоже, что въ физическомъ: мозгъ сохнетъ, хрящъ идетъ въ кость, зубы костенеютъ до того, что выпадаютъ изо рта, какъ камешки; но въ нравственномъ мірѣ это не непремѣнно, натура безпрестанно обнов-

ляющаяся, безпрестанно развивающаяся,—въ старости молода! Натура реальная почти не имѣетъ способности старѣться—она по преимуществу, душа живая. Сикстъ V распрямился, чтобъ достать головою тіару, старость не помѣшала ему. Старый юноша имѣетъ свои приемы, которыми онъ съ двухъ словъ обличаетъ себя. Вы его узнаете по ненависти къ Гёте и по пристрастію къ Шаллеру, по его требованію къ практической дѣятельности, къ матеріальному интересу; онъ не любитъ желѣзныхъ дорогъ, положительности, индустріи, Сѣверной Америки, Англіи; онъ любитъ средніе вѣка, платоническую любовь; ему надобенъ эффектъ, фраза—и замѣтите, что у него эффектъ и фраза вовсе не ложь, вовсе не поддѣльны, онъ за фразу пойдетъ и сядетъ на колъ, если онъ только живетъ въ такой образованной странѣ, гдѣ за фразу сажаютъ на колъ. Романтизмъ вообще ищетъ несчастій, онъ очищается ими, хотя мы не знаемъ, гдѣ онъ загрязнился; это особая метода леченія, Unglückskur, такъ какъ есть Wasserkur, Hungerkur. Старый юноша это Эгмонтъ; юный старецъ—это Вильгельмъ Оранскій. Донъ-Карлосъ, маркизъ Поза, Максъ-Пикколомини — должны были умереть въ юности—и образы ихъ остались у насъ неразрывны съ чертами отроческой красоты, и такъ они хороши! Исторія намъ много завѣщала вѣчно-юныхъ лицъ, начиная съ представителя Греціи Ахилла и до... ну хоть до Шарлоты Кордай. Доживи Максъ Пикколомини до генераль-аншефовъ, Донъ Карлосъ до смерти Филиппа II, они пережили бы себя, они играли бы престранную роль, или должны были бы переработаться, но въ томъ то и бѣда, что въ нихъ мало замѣтно перерабатывающей силы. Такъ, какъ они есть—они высоко художественны; но для того, чтобъ ихъ оставить такими, надобно было ихъ спасти смертной казнію. Таковъ нашъ соотечественникъ Владиміръ Ленскій и Пушкинъ разстрѣлялъ его. Не такова Татьяна—и она осталась, слава Богу, здорова. Шекспиръ зналъ, что дѣлалъ, перерывая такъ сказать на первомъ подалуѣ ихъ нить жизни Ромео и Юліи.

Вот что такое искусство. Оно не есть наука, оно не есть ремесло, оно не есть искусство. Оно есть нечто иное, нечто большее, нечто меньшее, нечто другое. Оно есть нечто, что не может быть описано, что не может быть объяснено, что не может быть понято. Оно есть нечто, что не может быть сказано, что не может быть написано, что не может быть изображено. Оно есть нечто, что не может быть осязано, что не может быть услышано, что не может быть почувствовано. Оно есть нечто, что не может быть описано, что не может быть объяснено, что не может быть понято. Оно есть нечто, что не может быть сказано, что не может быть написано, что не может быть изображено. Оно есть нечто, что не может быть осязано, что не может быть услышано, что не может быть почувствовано.

СОРОКА-ВОРОВКА.

г.

СОРОКА-ВОРОВКА.

ПОВѢСТЬ.

СОБОРЪ-БОГОРОДЪ

НОБРОТЪ

СОРОКА - ВОРОВКА.

ПОВѢСТЬ.

(ПОСВЯЩЕНО МИХАИЛУ СЕМЕНОВИЧУ ЩЕПКИНУ).

Твой домъ, украшенный богато,
Гостямъ-согражданамъ открытъ;
Тамъ Терпсихира и Эрато
Съ подругой Таліей гостить;
Хозяинъ, ласковый душою

Склоняеть къ нимъ пріятный взоръ.

Украинскій вѣстникъ на 1816 годъ.

— Замѣтели ли вы, сказала молодой человекъ, остриженный подъ гребенку, продолжая начатый разговоръ о театрѣ:— замѣтили ли вы, что у насъ, хотя и рѣдки хорошіе актеры, но бываютъ, а хорошихъ актрисъ почти вовсе нѣтъ, и только въ преданіи сохранилось имя Семеновой; не безъ причины же это.

— Причину искать не далеко; вы ее не понимаете только потому, возразилъ другой, остриженный въ кружокъ:— что вы на все смотрите сквозь западные очки. Славянская женщина никогда не привыкнетъ выходить на помость сцены и отдаваться глазамъ толпы, возбуждать въ ней тѣ чувства, которыя она приносить въ исключительный даръ своему главѣ; ей мѣсто дома, а не на позорницѣ. Незамужняя—она дочь, дочь покорная, безгласная; замужемъ—она покорная жена. Это естественное положеніе женщины въ семьѣ, если лишаетъ насъ хорошихъ актрисъ, зато прекрасно хранить чистоту нравовъ.

— Отчего же у нѣмцевъ—замѣтилъ третій, вовсе нестриженный,—семейная жизнь сохранилась, я полагаю, не хуже, нежели у насъ, и это нисколько не мѣшаетъ появленію хорошихъ актрисъ. Да потому я и въ главномъ несогласенъ съ вами: не знаю, что дѣлается около очага у западныхъ славянъ, а мы, русскіе, право

перестаемъ быть такими патріархами, какими вы насъ представляете.

— А позвольте спросить, гдѣ вы наблюдали и изучали славянскую семью? У высшихъ сословій, живущихъ особою жизнью, въ городахъ, которые оставили сельскій бытъ, одинъ народный у насъ по большимъ дорогамъ, гдѣ мужикъ сдѣлался торгашемъ, гдѣ ваша индустрія развратила его довольствомъ, развила въ немъ искусственныя потребности? Семья не тутъ сохранилась; хотите ее видѣть, ступайте въ скромныя деревеньки, лежащія по проселочнымъ дорогамъ.

— Однако, странное дѣло, большія дороги, города, все то, что хранить и развиваетъ другихъ, вредно для славянъ, такъ какъ угодно ихъ представлять: по вашему, чтобъ сохранить чистоту правовъ, надобно, чтобъ не было проѣзда, сообщенія, торговли, наконецъ довольства, перваго условія развивающейся жизни. Конечно и Робинзонъ, когда жилъ одинъ на островѣ, былъ примѣрнымъ человѣкомъ, никогда въ карты не игралъ, не шаялся по трактирамъ.

— Все можно представить въ недѣльномъ видѣ; шутка иногда разсмѣшитъ, но опровергнуть ею ничего нельзя. Есть вещи, которыхъ при всей ловкости западнаго ума вы не поймете, ну такъ не поймете, какъ человѣкъ, лишенный уха, не понимаетъ музыки, что ему вовсе не мѣшаетъ быть живописцемъ или чѣмъ угодно. Вы не поймете никогда, что бѣдность, смиренная и трудолюбивая выше самодовольнаго богатства. Вы не поймете нашего семейнаго, отеческаго распорядка ни въ избѣ, гдѣ отецъ глава, ни въ цѣломъ селѣ, гдѣ глава общины—отецъ. Вы привыкли къ строгимъ очертаніямъ правъ, къ рамамъ для лицъ, сословій, къ взаимному обузданію и недоувѣрю, — все это необходимо на западѣ: тамъ все основано на враждѣ, тамъ вся задача государственная, какъ сказали вашъ же поэтъ, въ ловкой борьбѣ:

Здѣсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровой
Пружины смѣлыя гражданственности новой.

— Этой дорогой я не думаю, чтобъ мы скоро добрались до рѣшенія вопроса, отчего у насъ рѣдки актрисы, сказали начавшій

разговоръ;—если для полноты отвѣта вы хотите *chemin faisant* разрѣшить всѣ историческіе и политическіе вопросы, то надобно будетъ посвятить на это лѣтъ сорокъ жизни, да и то еще успѣхъ сомнителенъ. Вы, любезный славянинъ, сколько я понимаю, хотите сказать, что у насъ оттого нѣтъ актрисъ, что женщина существуетъ не какъ лицо, а какъ членъ семейства, которымъ она поглощается: тутъ много истиннаго. Однако, вы полагаете, что семейство въ маленькихъ деревенькахъ; ну, а вѣдь актрисы берутся не изъ этихъ же деревенекъ, къ которымъ нѣтъ проѣзда.

— Здѣсь позвольте мнѣ отвѣчать вамъ, замѣтилъ европеецъ:—такъ мы будемъ называть нестриженного — у насъ вообще и по шоссе и по проселочнымъ дорогамъ женщина не получила того развязнаго права участія во всемъ, какъ, напр. во Франціи; встрѣчаются исключенія, но всегда неразрывныя съ какимъ-то фанфаронствомъ—лучшее доказательство, что это исключеніе. Женщина, которая бы вздумала у насъ вести себя наравнѣ съ образованнымъ мужчиной, не свободно бы пользовалась своими правами, а хотѣла бы выказать свое освобожденіе.

— Конечно такая женщина была бы уродъ; и по счастью, возразилъ славянинъ:—не у насъ надобно искать *la femme émancipée*, да и вообще надобно ли ее гдѣ-нибудь искать—я не знаю. Вотъ что касается до человѣческихъ правъ, то обратите нѣсколько вниманія на то, что у насъ женщина пользовалась ими въ самой глубокой древности, больше нежели въ Европѣ: ея имѣнье не сливалось съ имѣньемъ мужа; она имѣетъ голосъ на выборахъ, право владѣнія крестьянами.

— Конечно изъ правъ, которыми пользуются у насъ дамы, не всѣ принадлежатъ европейской женщинѣ. Но, извините, здѣсь рѣчь вовсе не о писанныхъ правахъ, а именно о правахъ неписанныхъ, объ общественномъ мнѣніи. Что сказали бы мы сами, еслибы въ нашу бесѣду, очень тихую и неимѣющую въ себѣ ничего оскорбительнаго, вдругъ явилась одна изъ знакомыхъ дамъ. Я увѣренъ, что и намъ, и ей было бы не по себѣ; мы совсѣмъ иначе настроиваемъ себя, если предвидимъ дамское общество: въ этомъ недостатокъ уваженія къ женщинѣ.

— Какъ вы начитались Жоржа Санда. Мужчина вовсе не долженъ быть съ женщинами на распашку; и зачѣмъ женщина поидеть дѣлать его бесѣду? Миѣ ужасно нравятся мужскія собранія, въ которыя не мѣшаются дамы,—въ этомъ есть что-то строгое, неизпѣженное.

— И чрезвычайно гуманное относительно женщинъ, которыя покинуты дома. Вы, я думаю, пошли бы въ запорожскіе казаки, еслибъ попрежде родились.

— Ваша мысль до того иностранная, что вы и слова русскаго не прибрали, чтобъ ее выразить. Какъ-будто мало женщинъ дѣла въ скромномъ кругу домашней жизни; я не говорю ужъ о матери, которой обязанности и такъ святы, и такъ сложны.

— Охъ, этотъ скромный кругъ! императоръ Августъ, который раздѣлялъ ваши славянскія теоріи, держалъ дочь дома и съ улыбкой говорилъ спрашивавшимъ о ней: „дома сидить, шерсть прядеть“. Ну, а знаете, нельзя сказать, чтобъ нравы ея сохранились совершенно чистыми. По моему, если женщина отлучена отъ половины нашихъ интересовъ, занятій, удовольствій, такъ она вполнину менѣе развита и браните меня хоть по чешски: вполнину менѣе нравственна; твердая нравственность и сознаніе неразрывны.

— Теперь мой чередъ вамъ возражать, сказалъ начавшій разговоръ. — Каждый видѣлъ своими собственными глазами, что у насъ въ образованныхъ сословіяхъ женщины несравненно выше своихъ мужей; вотъ и ловите жизнь послѣ этого общими формулами. Дѣло очень понятное. Мужчина у насъ не просто мужчина, а военный или статскій, онъ съ двадцати лѣтъ не принадлежитъ себѣ, онъ занятъ дѣломъ: военный—ученьями; статскій—протоколами, выписками; а жоны въ это время, если не ударятся исключительно въ соленье и варенье, читаютъ французскіе романы.

— Поздравляю ихъ. Должно быть хорошо образованіе, вставилъ славянинъ,—которое можно почерпнуть изъ Бальзака, Сю, Дюма, изъ этой болтовни старика, начинающаго морализировать отъ истощенія силъ.

— Я съ вами пожалуй соглашусь, хоть я и не говорилъ, что дамы читаютъ именно тѣ романы, о которыхъ вы говорите; и тутъ, удивительное дѣло, самые пустые французскіе романы боль-

ше развиваютъ женщину, нежели очень важныя занятія развиваютъ ихъ мужей, и это отчасти оттого, что судьба такъ устроила француза: чтобы онъ ни дѣлалъ, онъ все учитъ. Онъ напишетъ дрянной романъ съ неестественными страстями, съ добродѣтельными пороками и съ злодѣйскими добродѣтелями, да по дорогѣ, или, вѣрнѣе, потому-что это совсѣмъ не по дорогѣ, коснется такихъ вопросовъ, отъ которыхъ у васъ духъ займется, отъ которыхъ вамъ сдѣлается страшно; а чтобы прогнать страхъ, вы начнете думать. Положимъ, что вопросовъ-то и не разрѣшите вы, да самая возбужденность мысли есть своего рода образованіе. Вотъ, видя это отношеніе женскаго образованія у насъ къ мужскому, я и удивляюсь, что нѣтъ актрисъ.

— Да что же вамъ еще надо, возразилъ съ занальчивостью славянинъ: — у насъ нѣтъ актрисъ потому, что занятіе это несовмѣстно съ цѣломудренною скромностью славянской жены: она любить молчать.

— Давно бы вы сказали, прибавилъ европеецъ: — вы больше объяснили, нежели хотѣли. Теперь ясно, отчего у насъ актрисъ нѣтъ, а танцовщицъ очень много. Но шутки въ сторону. Я думаю, у насъ оттого нѣтъ актрисъ, что ихъ заставляютъ представлять такія страсти, которыхъ онѣ никогда не подозрѣвали, а во все не отъ недостатка способностей. Каждое чувство, повторяемое артистомъ, должно быть ему коротко знакомо, для того, чтобы его выразить некаррикатурно. Китайца въ *Opium et Champagne* ничего не значить представить; но если бы возможность, чтобы я хорошо сыгралъ индѣйскаго брамина, повергнутого въ глубокое отчаяніе оттого, что онъ нечаянно зацѣпился за парю, или боярина XVII столѣтія, который въ принадлежарикъ аристократическаго мѣстничества, изъ *point d'honneur*, валяется подъ столомъ, а его оттуда тащатъ за ноги. Если бы въ самомъ дѣлѣ у насъ женщина не существовала какъ лицо, а была бы совершенно потеряна въ семействѣ, тутъ нечего было бы и думать объ актрисѣ. Въ пастушеской жизни, какъ и вездѣ, могутъ быть страсти, но не тѣ, которыя возможны въ драмѣ — слѣпая покорность, коварная скрытность, двоедушіе также мало идутъ въ истинную драму, какъ подлое убійство, какъ чувственность. Необразованная семья слишкомъ

неразвита, она семья—а въ драмѣ нужны лица. По счастью, такая семья только и существуетъ въ преданіяхъ, да въ славянскихъ мечтахъ. Но если мы и перешагнули за плетень патріархальности, такъ не дошли же опять до той всесторонности, чтобъ глубоко сочувствовать прожитому, выстраданному опыту другихъ. Ну, я васъ спрашиваю, какъ съиграетъ русская актриса Дѣву Орлеанскую? это не въ ея родѣ совсѣмъ; или: какъ русскій актеръ создастъ эти величавыя и мрачныя, гордыя и самобытныя шекспировскія лица, окружающія его Іоанна, Ричарда, Генриховъ — лица совершенно англійскія? Они для него также странны, какъ человѣкъ, который бы нюхалъ глазами и ушами пѣль бы пѣсни. Фальстафа онъ представитъ скорѣе, потому-что въ Фальстафѣ есть черты, которыя мы можемъ видѣть во всякомъ домѣ, во всякомъ уѣздномъ городѣ....

— Но есть же общечеловѣческія страсти?

— И да, и нѣтъ. Отелло былъ ревнивъ по-африкански и задушилъ невинную Дездемону, потомъ зарѣзался, называя себя “собакой”. А у меня былъ пріятель, сосѣдъ по имѣнію, тоже преревнивый; онъ перехватилъ разъ письмо, писанное къ его женѣ, и притомъ очень недвусмысленное; въ припадкѣ ярости онъ употребилъ отеческую исправительную мѣру, и помирился съ женой. Ревность — одна страсть, но похожа ли она въ бѣшенномъ маврѣ и въ нравоучительномъ пріятелѣ? До нѣкоторой степени можно натянуть себя на поминанѣ чуждаго положенія и чуждой страсти, но для художественной игры этого мало. Повѣрьте, такъ-какъ поэтъ всюду вноситъ свою личность, и чѣмъ вѣрнѣе онъ себѣ, чѣмъ откровеннѣе, тѣмъ выше его лиризмъ, тѣмъ сильнѣе онъ потрясаетъ ваше сердце; тоже съ актеромъ: чему онъ не сочувствуетъ, того онъ не выразитъ или выразитъ учено, холодно: вы не забывайте, онъ все же себя вводитъ въ лицо, созданное поэтомъ.

— О чемъ это вы такъ горячо проповѣдуете? спросилъ, входя въ комнату, одинъ извѣстный художникъ.

— Вотъ кстати-то какъ нельзя больше; рѣшайте намъ вопросъ, занимающій насъ; мы единогласно выбираемъ васъ непогрѣшимымъ судьей.

— Много чести. Въ чемъ же дѣло?

— Во-первыхъ, скажите, видали ли вы русскую актрису, которая бы вполне удовлетворила всѣмъ вашимъ требованіямъ на искусство?

— Которая была бы не хуже Марсь, Рашель?

— Хоть Алланъ и Плесси.

— Видѣлъ, отвѣчалъ артистъ: — видѣлъ великую русскую актрису; только я ее сузу безъ всякаго сравненія; всѣ названныя вами актрисы хороши, велики, каждая въ своемъ родѣ, но какъ ихъ искусство относится къ той, которую я видѣлъ, не знаю. Знаю, что я видѣлъ великую актрису, и что она была русская.

— Въ Москвѣ или Петербургѣ?

— Вотъ задача-то для нашего славянина, подхватилъ одинъ изъ говорившихъ: — какъ вы думаете, вѣдь театръ-то болѣе принадлежить петербургской эпохѣ, нежели московской. Ну, гдѣ же она была?

— Все-таки, должно быть, въ Москвѣ, рѣшительно возразилъ славянинъ.

— Успокойтесь. Я ее видѣлъ ни тамъ, ни тутъ, а въ одномъ маленькомъ губернскомъ городѣ.

— Вы это вѣрно говорите для оригинальности, хотите насъ поразить эффектомъ.

— Можетъ быть. Вы признали меня непогрѣшающимъ судьей— ваше дѣло вѣрить. Ну, какъ я теперь вамъ докажу, что, двадцать лѣтъ тому назадъ, я видѣлъ великую актрису, что я тогда рыдалъ отъ Сороки-Воровки, и что все это было въ маленькомъ городкѣ?

— Очень легко. Расскажите намъ какія-нибудь подробности о ней: вѣдь не съ неба же она свалилась прямо въ Сороку-Воровку и не улетѣла же вмѣстѣ съ безнравственной птицей.

— Пожалуй, — да только эти воспоминанья неотрадны для меня, какъ-то очень тяжелы. Но извольте, что помню — расскажу. Дайте сигару.

— Вотъ вамъ *casadores cubrey*, сказалъ европеецъ, вынимая изъ портфейля длинную, стройную сигару, которой наружность ясно доказывала, что она принадлежитъ къ высшей аристократіи табачнаго листа.

— Вы знаете человѣческую слабость — о чемъ бы человѣкъ ни вспоминалъ, онъ начнетъ всегда съ того, что вспомнить самого себя; такъ и я, грѣшный человѣкъ, попрошу у васъ позволенія начать съ самого себя.

— Отъ души позволяемъ, отъ всей души.

— Не знаю, будутъ ли подробности объ актрисѣ интересны, а объ васъ-то навѣрное:

Parlez nous de vous, notre grand père,

Parlez nous de vous! —

Напѣвалъ европеецъ.

Всѣ успокоились, всѣ немножко подвинулись, какъ обыкновенно бываетъ, когда приготавливаются слушать. Передаю здѣсь, на сколько могу, рассказъ художника; конечно, записанный, онъ много теряетъ и потому, что трудно во всей живости передать рѣчь, и потому, что я не все записалъ, боясь перегрузить статейку.

Но вотъ его рассказъ.

Вы знаете, что я началъ свое артистическое поприще на скромномъ провинціальномъ театрѣ. Дѣла нашего театра поразстроились; я былъ ужъ женатъ: надобно было думать о будущемъ. Въ самое это время распространялись болѣе и болѣе сказочныя повѣствованія о театрѣ князя Скалинскаго, въ одномъ дальнемъ городѣ. Любопытство видѣть хорошо устроенный театръ, надежды, а можетъ быть и самолюбіе, сильно манили туда. Долго думать было не о чемъ; я предложилъ одному изъ товарищей, который вовсе не предполагалъ ѣхать, отправиться вмѣстѣ въ N, и черезъ недѣлю мы были тамъ. Князь былъ очень богатъ и проживался на театрѣ, Вы можете изъ этого заключить, что театръ былъ не совсѣмъ дурень. Въ князѣ была русская широкая, размашистая натура: страшный любитель искусства, человѣкъ съ огромнымъ вкусомъ, съ тактомъ роскоши, ну и при этомъ, какъ водится, непривычка обуздываться, и расточительность въ высшей степени. За послѣднее винить его не станемъ: это у насъ въ крови; я, небо-

гатый художникъ, и онъ, богатый аристократъ, и бѣдный поденщикъ, пропивающій все, что вырабатываетъ, въ кабакъ, — мы руководствуемся одними правилами экономіи; разница только въ цифрахъ.

— Мы нерасчетливые нѣмцы, замѣтилъ съ удовольствіемъ славынинъ.

— Въ этомъ нельзя не согласиться, прибавилъ европеецъ. — Останавливался ли кто изъ насъ мыслію, что у него денегъ мало, напр. когда ему хотѣлось выпить благороднаго вина? „За него“, говорить Пушкинъ:

„Послѣдній бѣдный лептъ, бывало,
Давалъ я, помните ль, друзья?“

Совсѣмъ напротивъ: чѣмъ меньше денегъ, тѣмъ больше тратимъ. Вы вѣрно не забыли одного изъ нашихъ друзей, который отдавалъ назадъ налитой стаканъ плохаго шампанскаго, замѣтилъ, что мы еще не такъ богаты, чтобъ пить дурное вино.

— Господа, мы мѣшаемъ разсказу. Итакъ-съ?

— Ничего, — Князь слышалъ обо мнѣ прежде. Когда я явился къ нему, онъ былъ въ своей конторѣ и раздавалъ билеты, съ глубокимъ обсуживаніемъ, достоинъ или нѣтъ, и какого именно мѣста достоинъ приславшій за билетомъ. „Очень радъ, очень радъ что вы вздумали наконецъ посѣтить нашъ театръ, вы будете нашимъ дорогимъ гостемъ“, и бездну любезностей; мнѣ оставалось благодарить и кланяться. Князь говорилъ о театрѣ, какъ человѣкъ, совершенно знающій и сцену, и тайну постановки. Мы остались, кажется, довольны другъ другомъ. — Въ тотъ же вечеръ и отправился въ театръ; не помню, что давали, но увѣряю, что такой пышности вамъ рѣдко случалось видѣть; что за декорации, что за костюмы, что за сочетаніе всѣхъ подробностей! словомъ, все внѣшнее было превосходно, даже выработанность актеровъ; но я остался холоденъ; было что-то натянутое, неестественное въ манерѣ, какъ дворовые люди князя представляли лордовъ и принцессъ. Потомъ я дебютировалъ, былъ принятъ публикой какъ нельзя лучше; князь осыпалъ меня учтивостями. Приговариваясь ко

второму дебюту, я пошелъ въ театръ. Давали Сороку-Воровку; мнѣ хотѣлось посмотрѣть княжескую труппу въ драмѣ.

Пьеса уже началась, когда я вошелъ; я досадовалъ, что опоздалъ, и разсѣянно, не понимая, что дѣлаютъ на сценѣ, смотрѣлъ по сторонамъ, смотрѣлъ на правильное размѣщеніе лицъ по чинамъ, на странное сборище фizioномій, вовсе другъ на друга не похожихъ, а выражающихъ одно и тоже, на провинціальныхъ барынь, пестрыхъ какъ американскія птицы, и на самого князя, который такъ гордо, такъ озабоченно сидѣлъ въ своей ложѣ. Вдругъ меня поразилъ слабый женскій голосъ; въ немъ выражалось такое страшное, глубокое страданіе. Я устремился глазами на сцену. Служанка откупщика узнала въ старомъ бродягѣ своего отца, бѣглаго солдата. . . . Я почти не слушалъ ея словъ, а слушалъ голосъ. Боже мой! думалъ я;—откуда взялись такіе звуки юной груди; они не выдумываются, не пріобрѣтаются изъ солфеджей, а бываютъ выстраданы, приходятъ наградою за страшные опыты. Она провожаетъ отца до плетня, она стоитъ передъ нимъ такъ просто, задумчиво; надеждъ мало его спасти, — и когда старикъ уходитъ, вмѣсто словъ, назначенныхъ въ роли, у нея вырвался неопредѣленный крикъ, крикъ слабого беззащитнаго существа, на которое обрушилось тяжкое, незаслуженное горе. Теперь, черезъ двадцать лѣтъ, я слышу этотъ раздрающій крикъ“.

Онъ пріостановился.
„Да, господа“, сказалъ онъ, помолчавши: — „это была великая русская актриса!“

„Вѣроятно, вы знаете сюжетъ Сороки-Воровки хоть по россиіевской оперѣ. Страшная пьеса, послѣ которой ничего бы не оставалось на душѣ, кромѣ отчанія, еслибы не придѣляли мелодрамную развязку. Анету обвиняютъ въ кражѣ, подозрѣніе имѣеть какъ-будто полное право пасть на ея голову; какъ ее не подозрѣвать? Она бѣдна, она служанка. Да и наконецъ, если обвиненіе окажется несправедливымъ, что за бѣда; ей скажутъ: „поди, голубушка, домой; видишь, какое счастье, что ты невинна! А до какой степени все это вмѣстѣ должно разбить, уничтожить оскорбленіемъ нѣжное существо—этого разказать не могу; для этого надобно было видѣть игру Анеты, видѣть, какъ она, испуганная, тре-

пещущая и оскорбленная, стояла при допросѣ; ея голосъ и видъ были громкій протестъ, протестъ, раздирающій душу, обличающій много нелѣпаго на свѣтѣ и въ то же время умягченный какой-то теплой, кроткой женственностію, разливающій свой характеръ нѣжной граціи на всѣ ея движенія, на всѣ слова. Я былъ изумленъ, пораженъ; этого я не ожидалъ. Между тѣмъ пьеса развивалась: обвиненіе шло впередъ, Балли хотѣлъ его для наказанія неприступной красавицы; черные люди суда мелькали по сценѣ, толковали такъ глубокомысленно, рассуждали такъ здраво, — потомъ осудили невинную Анету, и толпа стражей повела ее въ тюрьму, да, да, вотъ какъ теперь вижу, Балли говоритъ: „Господа служивые, отведите эту дѣвицу въ земскую тюрьму“ — и бѣдная идетъ! но она останавливается еще разъ „Ринаръ“, говоритъ она, „я невинна, да неужели и ты не вѣришь, что невинна!“ И тутъ уже среди стога угнетенной женщины звучитъ вопль негодованія, гордости, той непреклонной гордости, которая развивается на краю униженія, послѣ потери всѣхъ надеждъ, развивается вмѣстѣ съ сознаніемъ своего достоинства и тупой безвыходности положенія. Помните старый анекдотъ, какъ добрый нѣмецъ закричалъ изъ райка людямъ убитаго командора, искавшимъ Донъ-Жуана: „Онъ побѣждалъ направо въ переулокъ!“ Я чуть не сдѣлалъ того же, когда Анету повели солдаты. Потомъ сцена въ тюрьмѣ съ Балли. Развратный старикъ видитъ невинность ея въ кражѣ и предлагаетъ продажей чести купить свободу. Несчастная жертва вырастаетъ; ея слова становятся страшны, и какая-то глубокая иронія лица удваиваетъ оскорбительную силу словъ. Я какъ-то случайно взглянулъ въ продолженіе этой сцены на князя; онъ былъ сильно потрясенъ, вертѣлся, покидалъ лорнетъ, опять бралъ его. Какъ такому знатоку не быть пораженнымъ этой игрой! Онъ вѣрно умѣлъ вполне цѣнить такую актрису, подумалъ я. Тихо, съ опущенной головой, съ связанными руками, шла Анета, окруженная толпою солдатъ, при рѣзкихъ звукахъ барабана и дудки. Ея видъ выражалъ какую-то глубокую думу и изумленіе. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ всю нелѣпость: это дитя, слабое, кроткое, съ свѣтлымъ челомъ невинности, французскіе солдаты съ тесаками, съ пштыками, и барабаны, да гдѣ же непріятель? А непріятель-то — это

дита въ серединѣ ихъ, и они побѣждаютъ его... но она останавливается передъ церковью, бросается, молча, на колѣни, поднимаетъ задумчивый взглядъ къ небу; не укоръ Прометея, не надменность Титана въ этомъ взглядѣ, совсѣмъ нѣтъ, а такъ простой вопросъ: „За что же это? и неужели это правда?“ Ее повели. Я рыдалъ какъ ребенокъ. Вы знаете преданіе о Сорокѣ-Воровкѣ; дѣйствительность не такъ слабонервна, какъ драматическіе писатели; она идетъ до конца: Анету казнили. Въ пьесѣ открываютъ, что воровка не она, а сорока,—и вотъ Анету несутъ назадъ въ торжествѣ; но Анета лучше автора поняла смыслъ событія; измученная грудь ея не нашла радостнаго звука; блѣдная, усталая, Анета смотрѣла съ тупымъ удивленіемъ на окружающее ликованіе; со стороною упованій и надеждъ, кажется, она не была знакома. Сильныя потрясенія, горькій опытъ подрѣзали корень, и цвѣтокъ, еще благоуханный, склонялся, вянулъ; спасти его нельзя было; какъ мнѣ жаль было эту дѣвушку!.. Фу, Боже мой, продолжалъ онъ, обтирая лицо платкомъ:—я такую волю далъ воспоминанію, что, кажется, и заврался, и расплакался; да я не могу объ этихъ предметахъ иначе говорить, всякой разъ увлекусь.... Ну, занавѣсъ опустилась. Какъ дорого бы я далъ, чтобъ ее опять подняли; еще бы разъ взглянулъ на эту потухающую красоту, на это изящное страданіе. Но ее не вызывали. Не увидѣть Анеты я не могъ; идти къ ней, сжать ей руку, молча, взглядомъ передать ей все, что можетъ передать художникъ другому, поблагодарить ее за святыя мгновенія, за глубокое потрясеніе, очищающее душу отъ разнаго хлама, — мнѣ это необходимо было какъ воздухъ. Я бросился за кулисы... въ партеръ меня остановилъ одинъ любитель театра; онъ кричалъ мнѣ, выходя изъ своего ряда: „А вѣдь Анета-то не дурна была, какъ вамъ? очень недурна, немножко манеры тривиальны“. Я не возражалъ ему ни слова; его бы не убѣдилъ, а время терять не хотѣлъ. „Куда вы?“ спросилъ меня официантъ, стоявшій при входѣ за кулисы. „Я желаю видѣть Анету, понимаешь, ту актрису, которая представляла сегодня служанку. „Безъ княжова позволенія нельзя“.—Помилуй, любезный, я самъ артистъ, третьяго дня игралъ. „Мнѣ не было приказу васъ пускать“.—Пожалуйста, сказалъ я выразительно опустивши два пальца въ жилетный карманъ. „Ка-

кіе вы мудреные“, отвѣчалъ лакей: — „что же, мнѣ изъ-за васъ свою спину подставить?“ Я больше не настаивалъ и отправился домой; но я былъ близко къ отчаянію, я былъ несчастенъ, и это не фраза, не пустое слово.... Неужели изъ васъ никому не случилось отдаваться безотчетно и безцѣльно обаятельному вліянію женщины, вовсе не близкой, долго смотрѣть на нее, долго ее слушать, встрѣчаться взглядомъ, привыкнуть къ ея улыбкѣ, и такъ вжиться въ эту летучую симпатію, что вы потомъ удивляетесь ея силѣ, когда эта женщина исчезаетъ; и вы себя чувствуете какъ-то оставленнымъ, одинокимъ; какая-то горечь наполняетъ душу, и весь вечеръ испорченъ, и вы торопитесь домой и сердитесь, что у васъ въ передней нагорѣло на свѣчѣ, и что сигара скверно курится,—все оттого, что сыграли романъ въ полтора часа, романъ съ завязкой и развязкой. Если вы это испытали, то поймете, что происходило во мнѣ, молодомъ художникѣ; тоска по Анетѣ привела меня въ лихорадочное состояніе. Я, больной, бросился на кровать, я бредилъ, спалъ и не спалъ, и въ обоихъ случаяхъ образъ несчастной служанки носился передо мною. То она стоитъ, осужденная, такъ просто, удивительно просто; кругомъ сумасшедшіе—ихъ называютъ судьи, и мнѣ становилось горько; никто изъ нихъ не можетъ понять, что съ этимъ лицомъ и съ этимъ голосомъ нельзя быть виноватой. То вооруженные стражи ведутъ ее, со связанными руками, на торжественное убіеніе и думаютъ, что дѣлають дѣло. То несутъ ее съ криками радости, ей толкуютъ, говорятъ, что все прошло, что она свободна,—а она устала, у ней нѣтъ силъ обрадоваться, она какъ-будто спрашиваетъ: „да что же было, вѣдь ничего и не было?“ Словомъ, тысячи варіацій на тему Сороки-Воровки бродили у меня въ головѣ всю ночь.

На другой день утромъ, часовъ въ одиннадцать, я отправился въ домъ князя, съ твердымъ намѣреніемъ лечь костьюми, или добиться аудіенціи у Анюты. Когда я взошелъ на парадное крыльцо—одинъ отпертой входъ во всѣ дома, домики и флигеля князя,—явился швейцаръ съ своимъ глобусомъ на палкѣ. Начался допросъ: къ кому, за чѣмъ? Я сказалъ. Швейцаръ объявилъ мнѣ, что безъ письменнаго дозволенія отъ князя меня не пропустятъ. Ну, мучить ревнивъ, подумалъ я. „Да какъ же берутъ эти дозволенія?“—

Пожалуйте въ контору, тамъ управляющій можетъ доложить его сіятельству. Швейцаръ позвонилъ; вышелъ офиціантъ и повелъ меня въ контору. Гордо развалился передъ конторкой, сидѣлъ толстый управляющій, и, не смотря на ранній часъ, онъ уже успѣлъ не только утолить голодь, но даже и жажду. Я объяснилъ ему мою просьбу; вѣроятно, толстый господинъ не очень бы двинулся для меня, но онъ зналъ, что князь хотѣлъ заманить меня въ свою труппу, и, предоставляя себѣ дѣлать мнѣ отказы и непріятности впослѣдствіи, счелъ за нужное теперь уступить моей просьбѣ и самъ отправился къ князю для переговоровъ по такому важному дѣлу. Черезъ минуту онъ возвратился съ вѣстью, что князь билетъ подпишетъ и пришлетъ въ контору. Мнѣ было некуда идти, я свѣлъ въ уголъ. Въ конторѣ царствовала большая дѣятельность. Французъ декоратёръ прибѣгалъ крупно браниться съ управляющимъ и ломанымъ русскимъ языкомъ говорилъ совершенно нерусскія вещи; онъ былъ растрепанъ, въ засаленномъ сюртукѣ и такъ гордо смотрѣлъ, какъ самъ управляющій, и очень ругался. Потомъ управляющій велѣлъ позвать какого-то Матюшку; привели молодого человѣка съ завязанными руками, босаго, въ сѣромъ кафтанѣ изъ очень толстаго сукна. „Пошелъ къ себѣ“, сказалъ ему грубымъ голосомъ управляющій:— „да если въ другой разъ осмѣлишься выкинуть такую штуку, я тебя не такъ угощу; забыли о Сенькѣ.“ Босой человѣкъ поклонился, мрачно посмотрѣлъ на всѣхъ и вышелъ вонъ. „*Sacré*“, пробормоталъ декоратёръ и вышелъ вонъ, надѣвши середь комнаты пляшу. „Лицо молодого человѣка мнѣ что-то очень знакомо“, сказалъ я лакею, случившемуся близъ меня.—Да вы съ нимъ третьяго дня играли.—„Неужели это тотъ, который игралъ лорда?—Тотъ самый.—За что это его такъ скрутили?“ спросилъ я, понизивъ голосъ. Лакей бросилъ косвенный взглядъ на управляющаго и, видя, что онъ щелкаетъ на щетахъ, слѣдственно совершенно поглощенъ, отвѣчалъ мнѣ полупропотомъ: „Записочку перехватили къ одной актеркѣ; ну, этого у насъ не долюбиваютъ, его и велѣли на мѣсяцъ посадить въ сибирку.“ —Такъ это его тогда приводили на сцену оттуда?—„Да-съ; имъ туда роли посылають твердить.“—Порядокъ всего дороже, отвѣчалъ я, и желаніе идти въ княжескую труппу начало остывать.

Дверь въ контору растворилась съ шумомъ, всѣ вскочили, вошелъ князь. Лакей взглянулъ на меня, я понялъ: это была просьба о скромности. Князь прямо подошелъ ко мнѣ и, подавая билетъ, замѣтилъ, какъ ему пріятно, что артистка его труппы заслужила такое одобреніе отъ меня, — весьма лестно отзывался о ней, страхъ какъ жалѣлъ, что она слаба здоровьемъ, извинялся, что меня не пустили безъ билета..... „Дѣлать нечего, порядокъ въ нашемъ дѣлѣ половина успѣха, ослабь сколько-нибудь возжибѣда, артисты люди безпокойные. Вы знаете можетъ быть, что французы говорятъ: легче арміею цѣлой управлять, нежели труппой актеровъ. Вы не сердитесь за это,“ прибавилъ онъ смѣясь: — „вы такъ привыкаете играть разныхъ султановъ, вельможъ, что и за кулисами остаются такіа замашки.“ — Князь, сказалъ я: — если французы это говорятъ, то потому, что они не знаютъ устройства вашей труппы и ея управленія. „О, да вы къ тому же и льстецъ большой!“ замѣтилъ князь, грозя пальцемъ, и, благосклонно улыбувшись, важно отправился къ бюро. А я къ Анетѣ.

Пока я достигъ флигеля, гдѣ жила Анета, меня раза три оставляли: то лакей въ ливреѣ, то дворникъ съ бородой: билетъ побѣдилъ всѣ препятствія, и я съ бьющимся сердцемъ постучался робко въ указанную дверь. Вышла дѣвочка лѣтъ тринадцати, я назвалъ себя. „Пожалуйте,“ сказала она: — „мы васъ ждемъ.“ Она привела меня въ довольно опрятную комнатку, вышла въ другую дверь; дверь черезъ минуту отворилась, и женщина, одѣтая вся въ бѣломъ, шла скорыми шагами ко мнѣ. Это была Анета. Она протянула мнѣ обѣ руки и сказала: „Чѣмъ заслужила я это.... благодарю васъ....“ сказала тѣмъ голосомъ, который вчера такъ сильно потрясъ меня, и прежде нежели я успѣлъ что-нибудь отвѣчать, она залилась слезами. „Извините,“ шептала она сквозь слезы прерывающимся голосомъ: — „Бога ради, извините.... это сейчасъ пройдетъ.... я такъ обрадовалась.... я слабая женщина, простите.“

— Успокойтесь, что съ вами? успокойтесь, говорилъ я ей, и мои слезы капали на жилетъ: — еслибъ я зналъ, что мое посѣщеніе....

— Полноте, какъ вамъ не грѣшно, полноте, и она снова протянула мнѣ руку, омоченную слезами, а другою закрыла глаза: — вы не можете понять, сколько добра вы мнѣ сдѣлали вашимъ по-

сѣщеніемъ, это благодѣяніе... будьте же снисходительны, подождите минуту... я немного выпью воды, тогда все пройдетъ. И она улыбнулась мнѣ такъ хорошо и такъ печально.... Мнѣ давно хотѣлось поговорить съ художникомъ, съ человѣкомъ, которому я могла бы все сказать, но я не ждала такого человѣка, и вдругъ вы—я вамъ очень благодарна. Пойдемте въ ту комнату, здѣсь могутъ насъ подслушать; не думайте, чтобъ я боялась, нѣтъ, ей Богу, нѣтъ. Но это шпионство унизительно, грязно... и не для ихъ ушей то, что я вамъ хочу сказать.

Мы вошли въ спальню; она выпила воды и бросилась на стулъ, указывая мнѣ на кресло. Гдѣ были все придуманныя мною похвалы, гдѣ были эти тонкія замѣчанія, которыми я хотѣлъ похвалиться? Я смотрѣлъ на нее сквозь слезы, смотрѣлъ, и грудь моя поднималась. Лицо ея, прекрасное, но уже изнеможенное, было страшное сказанье: въ каждой чертѣ можно было прочесть ту исповѣдь, которая звучала въ ея голосъ вчера. Къ этимъ чертамъ, къ этому лицу прибавлять много не было нужды: нѣсколько собственныхъ именъ, нѣсколько случайностей, чиселъ; остальное было высказано очень ясно. Огромные черные глаза блистали не восточной нѣгой, а какъ-то траурно, безнадежно; огонь, свѣтившійся въ нихъ, кажется, сжигалъ ее. Худое и до невѣроятности истомленное лицо раскраснѣлось отъ слезъ какъ-то неестественно, чахоточно; она отбросила волосы за ухо и склонила на руку, опертую на столъ, свою голову. Зачѣмъ тутъ не было Кановы или Торвальдсена: вотъ статуя страданья, внутренняго, глубокаго! Что за благородная, богатая натура, думалъ я, которая такъ изящно гибнетъ, такъ страшно и такъ граціозно выражаетъ несчастье!... Минутами артистъ побѣждалъ во мнѣ человѣка... я восхищался ею какъ художественнымъ произведеніемъ.

Между тѣмъ она оправилась и говорила:—Не правда ли, какая смѣшная встрѣча? Да еще не конецъ; я вамъ хочу рассказывать о себѣ; мнѣ надобно высказаться; я можетъ быть умру, не увидѣвши въ другой разъ товарища-художника.... Вы, можетъ быть, будете смѣяться—нѣтъ, это я глупо сказала—смѣяться вы не будете. Вы слишкомъ человѣкъ для этого; скорѣе вы сочтете меня за безумную. Въ самомъ дѣлѣ, что за женщина, которая бросается съ

своей откровенностью къ человѣку, котораго не знаетъ; да вѣдь я васъ знаю; я видѣла васъ на сценѣ: вы художникъ.

Я жалъ ей руку и не могъ вымолвить ни слова.

— Исторія моя не длинна, очень коротка напротивъ; я не утомлю васъ; послушайте ее хоть за то удовольствіе, которое я вамъ доставила Анетой.

— Да говорите, ради Бога, говорите; я жадно ловлю каждое слово, хотя, скажу вамъ откровенно, я бы могъ вамъ рассказать вашу исторію, не слыхавъ ни отъ васъ, ни отъ кого другого ни слова.... я ее знаю.

— Вотъ потому-то я вамъ и расскажу ее. Я не такъ давно въ здѣшней труппѣ. Прежде я была на другомъ провинціальномъ театрѣ, гораздо меньшемъ, гораздо хуже устроенномъ; но мнѣ тамъ было хорошо, можетъ быть оттого, что я была молода, беззаботна, чрезвычайно глупа, жила, не думая о жизни. Я отдавалась любви къ искусству съ такимъ увлеченіемъ, что на вѣшнее не обращала вниманія, я болѣе и болѣе вживалась въ мысль, вамъ, вѣроятно, коротко знакомую, — въ мысль, что я имѣю призваніе къ сценическому искусству; мнѣ собственное сознаніе говорило, что я актриса. Я непрерывно изучала мое искусство, воспитывала тѣ слабыя способности, которыя нашла въ себѣ, и радостно видѣла, какъ трудность за трудностью исчезаетъ. Помѣщикъ нашъ былъ добрый, простой и честный человѣкъ; онъ уважалъ меня, цѣнилъ мои таланты, далъ мнѣ средства выучиться по-французски, возилъ съ собою въ Италію, въ Парижъ, я видѣла Тальму и Марсъ, я пробыла полгода въ Парижѣ, и — что дѣлать! — я еще была очень молода, если не лѣтами, то опытомъ, и воротилась на провинціальный театрикъ; мнѣ казалось, что какіе-то особенные узы долга связываютъ меня съ воспитателемъ. Еще бы годъ! . . . мало ли что могло бы быть . . . Онъ умеръ скоропостижно; въ мрачной бо-язни ждали мы шесть недѣль; онѣ прошли; вскрыли бумаги, но въ нихъ ничего не нашлось. Новость эта оглушила насъ; пока мы еще плакали, да думали, что дѣлать, наша труппа перешла въ другія руки. Князь насъ хорошо принялъ, хорошо помѣстилъ, какъ вы сами видите, даже положилъ большіе оклады, не стѣсняя себя, впрочемъ, точностью выдачи. Но это былъ ужъ не прежній директоръ

добродушный и снисходительный; онъ съ перваго разу далъ почувствовать всю необъятную разницу между имъ и его гаерами, назначенными для его удовольствія. Онъ привыкъ къ раболѣпнѣю, онъ протягивалъ свою руку охотникамъ цѣловать; дворецкій и толпа его фаворитовъ старались подражать ему въ обращеніи. Тяжело было на сердцѣ, очень тяжело, но были еще и отрадныя минуты; меня берегли за талантъ, и я умѣла еще такъ предаваться искусству, что забывала окружающее; меня тѣшило — самой смѣшно и стыдно теперь — прекрасное устройство театра. Все это прошло, — даже сановится невѣроятнымъ, что было.

Я стала замѣчать, что одинъ изъ любимцевъ князя особенно внимателенъ ко мнѣ, я поняла эту внимательность и — вооружилась. Князь не привыкъ къ отказамъ изъ труппы. Я дѣлала видъ, что ничего не понимаю; онъ счелъ за нужное высказывать яснѣе и яснѣе свои намѣренія: наконецъ онъ подослалъ ко мнѣ своего повѣреннаго съ разными обѣщаніями и условіями. Я прогнала повѣреннаго, и на время преслѣдованія прекратились. Разъ поздно вечеромъ, воротившись съ представленія, я читала вслухъ, одна, читала вновь переведенную съ нѣмецкаго трагедію „Коварство и Любовь“. Вы знаете, вѣроятно, ее. Въ ней такъ много близкаго душѣ, такъ много негодованія, упрека, улыки въ нелѣпости жизни, которую ведутъ люди; когда читаешь ее, будто вспоминаешь что-нибудь родное, близкое, бывалое. Всѣ лица этой пьесы оставляютъ какое-то тяжелое впечатлѣніе — гофмаршалъ, и леди, и старикъ камердинеръ, у котораго дѣти пошли добровольно въ Америку... и милыя дѣти Фердинандъ и Луиза. Знаете, Луизу я сыграла бы, особенно сцену съ Вурмомъ, гдѣ онъ заставляетъ писать письмо, если бы можно при васъ, да князь не любитъ такихъ пьесъ. Итакъ, я читала „Коварство и Любовь“, и была совершенно подъ вліяніемъ пьесы, увлечена, одушевлена ею; вдругъ кто-то сказалъ: „прекрасно, прекрасно!“ и положилъ мнѣ на раскрытое плечо свою руку. Я съ ужасомъ отскочила къ стѣнѣ. Это былъ онъ.

— Чтѣ угодно приказать вамъ? спросила я голосомъ, дрожавшимъ отъ бѣшенства и негодованія: — я слабая женщина, вы это сейчасъ видѣли, но увѣряю, я могу быть и сильной женщиной.

— Я и это видѣлъ, возразилъ я, намакая на нѣкоторыя выраженія въ ея разсказѣ.

Приказывать нечего, отвѣчалъ посѣтитель, стараясь придать плѣнительное выраженіе своему лицу—можно ли приказывать такимъ глазкамъ: они должны приказывать.

Я смотрѣла прямо ему въ глаза. Онъ нѣсколько смутился, онъ ждалъ какого-нибудь отвѣта. Но онъ скоро нашелся, подошелъ ко мнѣ, и, сказавши: „*Ne faites donc pas la prude*, не дурачься, ну, посмотри же на меня не такъ; другія за счастье поставили бы себѣ...“ и онъ взялъ меня за руку, я ее отдернула.

— Вы, сказала я, — можете сдѣлать мнѣ много зла, но есть такія блага и у самого животного, которыхъ у него отнять нельзя, пока оно живо по-крайней-мѣрѣ. Идите къ другимъ, осчастливьте ихъ, если вы успѣли воспитывать ихъ въ такихъ понятіяхъ.

— *Mais elle est charmante!* возразилъ онъ: — какъ къ ней идетъ этотъ гнѣвъ! Да полно ролю играть.

— Что вамъ угодно въ моей комнатѣ въ такое время? сказала я сухо.

— Ну, пойдемъ въ мою, отвѣчалъ онъ: — я не такъ грубо принимаю гостей, я гораздо добрѣе тебя. И онъ придалъ своимъ глазамъ видъ сладко-чувствительный. Старикъ этотъ въ эту минуту былъ безмѣрно отвратителенъ, съ дрожащими губами, съ выраженіемъ... съ гадкимъ выраженіемъ.

— Дайте вашу руку, подите сюда. Онъ, ничего не подозревая, подалъ мнѣ руку; я подвела его къ моему зеркалу, показала ему его лицо и спросила его: — И вы думаете, что я пойду къ этому смѣшному старику, къ этому плѣшивому селадону? Я расхохоталась.

Старикъ поблѣднѣлъ отъ бѣшенства. Въ первую минуту онъ, вырвавши свою руку, поднялъ ее и вѣроятно ударилъ бы меня въ лицо, еслибъ онъ больше владѣлъ собою. Онъ ограничился грубой бранью и вышелъ вонъ, крича:

— Я тебя научу забываться; кому ты смѣешь говорить этимъ языкомъ? Ты воображаешь, что ты актриса!

Я захлопнула за нимъ дверь и бросила на полъ столовый ножикъ, который безъ всякой мысли схватила, когда мнѣ помѣшали читать, и потомъ спрятала его въ рукавъ на всякой случай.

Что я чувствовала, какъ я провела эту ночь, вы можете понять. Не хочу вамъ рассказывать ряда мелкихъ, оскорбительныхъ неприятностей, который начался для меня съ этого дня. У меня отняли лучшія роли, меня мучили непрерывной игрой въ роляхъ, вовсе чуждыхъ моему таланту, со мною всё наши власти начали обращаться грубо, говорили мнѣ *ты*, не давали мнѣ хорошихъ костюмовъ; не хочу потому рассказывать, что это все пойдетъ въ похвалу князю: онъ не такъ могъ поступить со мною, онъ поделикатился, онъ меня уважилъ гоненіями, въ то время, какъ онъ могъ наказать меня другими средствами. Да и сказать правду, я думаю, меня не скоро бы они добились только такими мелочами..... Я постоянно въ лихорадкѣ, сонъ не освѣжаетъ меня, къ вечеру голова горитъ, а утромъ я какъ въ ознобѣ. Повѣрите ли, что съ тѣхъ поръ каждую недѣлю мнѣ перебиваютъ костюмы, и я радуюсь этому, а съ тѣмъ вмѣстѣ, признаюсь вамъ, страшно, страшно и больно. Да развѣ не могло иначе быть?... Видно, что нѣтъ... Съ тѣхъ поръ, больная, въ какомъ-то горячечномъ состояніи выхожу я на сцену, и меня осыпаютъ рукоплесканіями, не понимая моей игры. Я съ тѣхъ поръ играю одну роль, зрители не догадались. Талантъ мой тухнетъ, я становлюсь одностороннѣе; есть роли, которыя я играю небрежно, которыя мнѣ сдѣлались невозможны. Итакъ, все кончено — и талантъ и жизнь... прощай, искусство, прощайте, увлеченія на сценѣ! Ноживу еще года два съ князевыми словами: ихъ бы вырѣзать на моей могилѣ“.

Она умолкла. Я не нашель ей ничего сказать въ утѣшеніе. Помолчавши, она продолжала:

„Мѣсяца два тому назадъ былъ бенефисъ. Прошу костюма, не даютъ. Въ такомъ случаѣ, сказала я режиссеру, я куплю на свои деньги, что надобно, и сошью его себѣ. Надѣваю шляпку и хочу итти въ лавки“.

— Не велѣно куда пускать безъ спросу, гдѣ у васъ дозволеніе?

„Я была раздражена и пошла въ контору. Князь былъ тамъ, подхожу къ нему и прошу позволенія итти въ лавки.“

— Странное время тебѣ назначаютъ любовники для свиданья — утромъ! замѣтилъ князь, къ неопisanному удовольствію управляющаго и лакеевъ.

Кровь бросилась мнѣ въ голову; мое поведеніе было неоправданное; оскорбленіе вывело меня изъ себя.

— Такъ это для сбереженія нашей чести запираютъ насъ? Ну, князь, вотъ вамъ моя рука. Мое честное слово, что ближе году я докажу вамъ, что мѣры, вами избранныя, недостаточны!

„При этомъ я вышла прежде, нежели онъ успѣлъ сказать слово“.

Тутъ она остановилась, взволнованная, изнуренная. Я ее просилъ успокоиться, выпить еще воды, держалъ ее холодную и влажную руку въ моей.... она опустила голову; казалось, ей тяжело продолжать. Но вдругъ она подняла ее, гордую и величественную, и, ясно взглянувъ на меня, сказала:

— „Я сдержала слово....!“

— „Мой романъ не оставилъ мнѣ тѣхъ кроткихъ, сладкихъ воспоминаній счастья, упоеній, какъ у другихъ: въ немъ все лихорадочно, безумно; въ немъ не любовь, а отчаяніе, безвыходность.... Я вамъ не расскажу его, потому что собственно нечего рассказывать.“

— Князь знаетъ? спросилъ я.

— „Вѣроятно, знаетъ; онъ все знаетъ.... да я бы была въ отчаяніи, еслибъ онъ не зналъ. Я не боюсь его; я умру въ этой комнатѣ, а ужъ проситься не пойду къ нему. Я и это слово сдержу. Меня одно страшило: умереть, не выдавши человѣка.... теперь вы понимаете, что для меня ваше посѣщеніе....“

— Да нельзя ли какъ-нибудь.... располагайте мною.

— „Нѣтъ; вы видите, какъ насъ строго пасутъ.“

Бѣдная артистка! думалъ я: что за безумный, что за преступный человѣкъ сунулъ тебя на это поприще, не подумавши о судьбѣ твоей. Зачѣмъ разбудили тебя? Затѣмъ только, чтобъ сообщить вѣсть страшную, подавляющую? Спала бы душа твоя въ неразвитости, и великій талантъ, неизвѣстный тебѣ самой, не мучилъ бы тебя; можетъ быть подъ часъ и поднималась бы съ дна твоей души непонятная грусть, зато она осталась бы непонятной.

— Цора намъ разстаться, сказала она печально.

— Прощайте, благодарю васъ; какъ бы я желалъ что-нибудь....

Она улыбнулась.

— Вспоминайте иногда, что и во мнѣ....

— Погибла великая русская актриса!.. — Я вышел, заливаясь слезами.

— Знаешь ли, какая радость? сказалъ мнѣ товарищъ, мой, когда я возвратился домой: — здѣсь сейчасъ былъ управляющій князя, удивлялся, что ты не приходишь еще домой, и велѣлъ тебѣ сказать, что князь желаетъ тебя оставить на слѣдующихъ условіяхъ. — Онъ съ торжествующимъ лицомъ подалъ мнѣ бумагу.

Условія были превосходны.

— А знаешь ли ты новость, отвѣчалъ я ему: — иду домой, и зашелъ къ нашему ямщику и нанялъ ту же тройку, которая насъ сюда привезла. Оставайся, если хочешь, а я черезъ часъ ѣду.

— Да что ты, съ ума сошелъ?

— Не знаю, но я здѣсь не останусь; климатъ нездоровъ для художника. А? подумай-ка, да и поѣдемъ на нашъ старый театръ, съ его декораціями, въ которыхъ мудрено отличить тѣнистую алею отъ рѣки, въ которыхъ море спокойно, а стѣны волнуются. Поѣдемъ-ка!

— Я бы и готовъ, право, воротиться, отвѣчалъ товарищъ, беззаботнѣйшій изъ смертныхъ: — да вѣдь съ голоду тамъ умремъ.

— А здѣсь отъ сытости. Голодъ можно вылечить кускомъ хлѣба, а кусокъ хлѣба, слава Богу, съ нашимъ здоровьемъ выработаемъ. Болѣзни отъ сытости не такъ скоро лечатся.

Товарищъ задумался; я не хотѣлъ его уговаривать. Вдругъ онъ померъ со смѣху: „ха, ха, ха! ѣду, братецъ, ѣду; знаешь ли что мнѣ въ голову пришло: какъ удивится Василій Петровичъ, когда мы черезъ двѣ недѣли воротимся, вотъ удивится-то!

Эта мысль о сюрпризѣ совершенно примирила моего пріятеля съ неожиданнымъ путешествіемъ. Однако онъ спросилъ: „Ну, а управляющему какой отвѣтъ?“

— Тутъ очень затрудняться нечѣмъ; не мы будемъ отвѣчать завтра, если сегодня уѣдемъ; ему скажутъ: вчера отправились обратно. Вотъ и князю сюрпризъ такой же, какъ Василью Петровичу.

— Въ самомъ дѣлѣ хорошо, оттого хорошо, что условія выгодны; пусть онъ знаетъ, что не все на свѣтѣ покупается. Сейчасъ буду укладываться! — И онъ началъ увязывать и складывать

небольшіе пожитки наши, насвистывая мотивъ изъ Калифа Багдадскаго.

Вотъ и все. Для полноты прибавлю, что черезъ два часа мы попрыгивали въ кибиткѣ. Мнѣ было скверно, какая-то жолчевая злоба наполняла душу; я пробовалъ и на дорогу смотрѣть и по сторонамъ, и сигары курить—ничего не помогало. Да и, какъ на смѣхъ, небо было сѣро, вѣтеръ холоднѣй, даль терялась за болотистыми испареніями, всѣ виды, которыми я восхищался, ѣхавши сюда, были угрюмы, оттого ли, что я ихъ видѣлъ въ обратномъ порядкѣ, или отчего другого, только они меня не веселили. Даже роскошные господскіе дома съ парками и оранжереями, такъ гордо красовавшіеся между почернѣвшихъ и полуразвалившихся избъ, казались мнѣ мрачными.

— Чтò же сдѣлалось потомъ съ Анетой? Видѣли вы ее?

— Нѣтъ; она умерла черезъ два мѣсяца послѣ родовъ.

Художникъ отиралъ слезы, бѣжавшія по щекѣ. Молодые люди молчали; онъ и они представляли прекрасную надгробную группу Анетѣ?....

— Все такъ, сказалъ вставая славянинъ: — но зачѣмъ она не обвѣнчалась тайно?...

26 января 1846.

ИЗЪ СОЧИНЕНІЯ ДОКТОРА КРУПОВА

VI.

ИЗЪ СОЧИНЕНІЯ ДОКТОРА КРУПОВА,

„О ДУШЕВНЫХЪ ВОЛЗЪПЯХЪ ВООБЩЕ И ОБЪ ЭПИДИМИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІИ
ОНЫХЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ.“

АВОНУРЖ АРОТНОД РИНАННОЗ ДЕМ

ИЗЪ СОЧИНЕНІЯ ДОКТОРА КРУПОВА

„О ДУШЕВНЫХЪ ВОЛЗНЯХЪ ВООБЩЕ И ОБЪ ЭПИДЕМИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІИ
ОНЫХЪ ВЪ ОСОБЕННОСТИ.“ (*)

Отъ автора.

Много и много лѣтъ прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ я постоянно посвящаю время, отъ леченія больныхъ и исполненія обязанностей остающееся,—на изложеніе *сравнительной психіатріи*, съ точки зрѣнія совершенно новой и мнѣ принадлежащей; но недвѣріе къ силамъ, скромность и осторожность доселѣ воспрещали мнѣ всякое обнародованіе моей теоріи. Нынѣ дѣлаю первый опытъ, побуждаемый предчувствіемъ скорого перехода въ минерально-химическое царство, коего главное неудобство—отсутствіе сознанія; мнѣ кажется, что на всякомъ лежитъ обязанность узнанное имъ закрѣпить, такъ сказать, внѣ себя добросовѣстнымъ рассказомъ для пользы и соображенія сотоварищамъ по наукѣ; мнѣ кажется, что я не имѣю права допустить мысль мою безслѣдно исчезнуть при новыхъ предстоящихъ большимъ полушаріямъ мозга моего химическихъ сочетаніяхъ и разложеніяхъ.

(*) Предлагая отрывокъ изъ записокъ почтеннаго и вѣроятно очень искуснаго доктора Крупова, мы никакъ не думаемъ, чтобъ оригинальное мнѣніе его, явнымъ образомъ превратившееся въ помѣшательство, въ *idée fixe*, могло кого-нибудь оскорбить. Человѣкъ, считающій исторію—хроническимъ безуміемъ, считающій всѣхъ людей на земномъ шарѣ (кромѣ себя!) за помѣшанныхъ, протеръ нелѣпость своего мнѣнія до той всеобщности, гдѣ она становится безличною; можно хохотать надъ нимъ, а сердиться нельзя; самое же лучшее можно и должно ему сказать: *Medice cura te ipsum*.

Читая постоянно журналъ вашъ, я рѣшился послать въ него отрывокъ изъ введенія, потому именно, что оно весьма общедоступно: въ ономъ собственно содержится не теорія, а исторія возникновения оной въ головѣ моей. При семъ позвольте предупредить васъ, что я всего менѣе литераторъ и, проживши нынѣ лѣтъ тридцать въ губернскомъ городѣ, удаленномъ какъ отъ резиденціи, такъ и отъ столицы, отвыкъ отъ краснорѣчиваго изложенія мыслей и не привыкъ къ модному языку. Не должно однако терять изъ виду, что цѣль моя вовсе не бельетристическая, а патологическая. Я не плѣнить хочу моими сочиненіями, а быть полезнымъ, сообщая чрезвычайно важную теорію, доселѣ отъ вниманія величайшихъ врачей ускользнувшую, нынѣ же недостойнѣйшимъ ученикомъ Иппократа—научнообразно развитую и наблюденіями провѣренную.

Сію-то теорію посвящаю я вамъ, самоотверженные врачи, жертвующіе временемъ вашимъ печальному занятію леченія и хожденія за страждущими душевными болѣзнями.

Круновъ,

Médecine et Chirurgie Doctor.

Un auteur anglais a dit avec raison, que le déluge universel a peut-être autant dérangé le monde moral que le monde physique et que les cervelles humaines conservent encore l'empreinte des chocs qu'elles ont alors reçus.

Я родился въ одномъ помѣщикемъ селеніи на берегу Оки. Отецъ мой былъ діакономъ. Возлѣ нашего домика жилъ пономарь, человѣкъ хилый, бѣдный и обремененный огромной семьей. Въ числѣ восьми дѣтей, которыми Богъ наградилъ пономаря, былъ одинъ, ровесникъ мнѣ; мы съ нимъ вмѣстѣ росли, всякой день вмѣстѣ играли на огородѣ, на погостѣ или передъ нашимъ домомъ. Я ужасно привязался къ товарищу, дѣлился съ нимъ всѣми лакомствами, которыя мнѣ давали, даже кралъ для него спрятанные куски пирога, кашу — и передавалъ черезъ плетень. Пріятеля моего всѣ звали „косой Лёвка“ — и онъ дѣйствительно немного косилъ глазами. Чѣмъ болѣе я возвращаюсь къ воспоминаніямъ о немъ, чѣмъ внимательнѣе перебираю ихъ, тѣмъ яснѣе мнѣ становится, что пономаревъ сынъ былъ ребенокъ необыкновенный: — шести лѣтъ онъ плавалъ въ Окѣ какъ рыба, лазилъ на самыя большія деревья, уходилъ за нѣсколько верстъ отъ дома одинъ-одинехонекъ, и въ то же время былъ чрезвычайно непонятливъ, разсѣянъ, даже тупъ. Лѣтъ восьми насъ стали учить грамотѣ; я чрезъ нѣсколько мѣсяцовъ бѣгло читалъ псалтырь, а Лёвка не дошелъ и до складовъ. Азбука сдѣлала переворотъ въ его жизни. Отецъ его употреблялъ всевозможныя средства, чтобъ развить умственныя способности сына — и не кормилъ дня по два, и сѣлъ такъ, что недѣли двѣ рубцы были видны, и половину волосъ выдралъ ему, и запиралъ въ темный чуланъ на сутки — все было тщетно: грамота Лёвкѣ не давалась; но безжалостное обращеніе онъ понялъ, ожесточился и выносилъ все, что съ нимъ дѣлали, съ

какой-то злой сосредоточенностію; это ему не дешево стоило: онъ исхудалъ; видъ его, выразившій прежде дѣтскую кротость, совершеннѣйшую беззаботность, сталъ выражать дикость запуганнаго звѣря; на отца онъ не могъ смотрѣть безъ ужаса и отвращенія; еще года два побился пономарь съ сыномъ, убѣдился наконецъ, что онъ глупорожденный и предоставилъ ему полную волю. Освобожденный Лѣвка сталъ пропадать цѣлыя дни, приходилъ домой грѣться или укрываться отъ непогоды, молчалъ, сидѣлъ въ углу, и иногда бормоталъ про себя разныя слова и велъ дружбу только съ двумя существами — со мной и съ своей собачонкой. Собачонку эту онъ приобрѣлъ неотъемлемымъ правомъ. Разъ, когда Лѣвка лежалъ на пескѣ у рѣки, крестьянскій мальчикъ вынести щенка, привязалъ ему камень на шею и, подойдя къ крутому берегу, гдѣ рѣка была поглубже, бросилъ туда собачонку; въ одинъ мигъ Левка отправился за нею, нырнулъ и черезъ минуту явился на поверхности со щенкомъ: съ тѣхъ поръ они не разлучались.

Лѣтъ двѣнадцати меня отправили въ семинарію. Два года я не былъ дома, на третій я пріѣхалъ провести вакаціонное время къ отцу. На другой день утромъ рано я надѣлъ свой затрапезный халатъ и хотѣлъ итти осматривать знакомыя мѣста; только я вышелъ на дворъ, у плетня стоитъ Левка, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ бывало я ему давалъ пироги; онъ бросился ко мнѣ съ такою радостію, что у меня слезы навернулись. „Сенька“, говорилъ онъ: „я всю ночь ждалъ Сеньку, Груша вчера молвила: Сенька пріѣхалъ....“ и онъ ласкался ко мнѣ какъ звѣрокъ, съ какимъ-то подострастіемъ, смотрѣлъ мнѣ въ глаза и спрашивалъ: — „ты не сердился на меня? Всѣ сердиты на Левку — не сердись. Сенька — я плакать буду, не сердись — я тебѣ векшю поймаю“. — Я бросился обнимать Лѣвку; это такъ ново, такъ необыкновенно было для него, что онъ просто зарыдалъ и, схвативши мою руку, цаловалъ ее; я не могъ отдернуть руки, такъ крѣпко онъ держалъ ее. — „Пойдемъ-ко въ лѣсъ“, сказалъ я ему. — „Пойдемъ далеко, хорошо будетъ, очень хорошо“, отвѣчалъ онъ. — Мы пошли. Онъ велъ версты четыре лѣскомъ, подымавшимся въ гору, и вдругъ вывелъ на открытое мѣсто: внизу текла Ока, кругомъ верстѣ на двѣдцать одинъ изъ превосходнѣйшихъ сельскихъ видовъ Великороссіи. —

Здѣсь хорошо, говорилъ Левка: здѣсь хорошо. — Что же хорошо? спросилъ я его, желая испытать, что онъ скажетъ. Онъ остановилъ на мнѣ какой-то невѣрный взглядъ, лицо его приняло другое болѣзненное выраженіе, онъ грустно покачалъ головою и сказалъ: „Левка не знаетъ, такъ хорошо!“ Мнѣ стало стыдно. — Левка сопровождалъ меня почти на всѣхъ прогулкахъ: его безграничная преданность, его непрерывное вниманіе трогали меня. — Привязанность его ко мнѣ была понятна; одинъ я обходился съ нимъ ласково. Въ семьѣ имъ гнушались, стыдились его; крестьянскіе мальчишки дразнили его, даже взрослые мужики дѣлали ему всякаго рода обиды и оскорбленія, приговаривая: юродиваго обижать не надо; юродивый Божій человѣкъ. Онъ обыкновенно ходилъ за домъ села; когда же ему случалось идти улицей, однѣ собаки обходились съ нимъ почеловѣчески: онѣ, издали завидя его, виляли хвостомъ, прыгали на шею, лизали лицо и ласкались до того, что Левка, тронутый до слезъ, садился середь дороги и цѣлые часы занималъ изъ благодарности своихъ пріятелей до тѣхъ поръ, пока какой-нибудь крестьянской мальчишка пускатель камень на удачу, въ собакъ ли попадетъ, или въ бѣднаго мальчика: тогда онъ вставалъ и убѣгалъ въ дѣсь.

Передъ сельскимъ праздникомъ мой отецъ, видя, что Левка весь въ лохмотьяхъ, велѣлъ моей матери сшить ему длинную рубашку и отдать ее сестрамъ сшить. Управитель, услышавши объ этомъ, отпустилъ толстаго домашняго сукна для него на кафтанъ — показавши двойное число аршинъ въ расходной книгѣ, вѣроятно, отъ разсѣянности. При господскомъ домѣ былъ приставленъ одинъ старикъ лакей; онъ былъ приставленъ не столько по способности смотрѣть за чѣмъ-нибудь, сколько за пьянство, этотъ лакей, фершалъ и портной, весьма затруднился, когда онъ получилъ отъ управляющаго приказаніе сшить Левкѣ кафтанъ, какъ строить дурацкій кафтанъ; сколько онъ ни думалъ, все выходило довольно обыкновенный кафтанъ; а потому онъ и рѣшился на отчаянное средство — пришить къ нему красный воротникъ изъ остатковъ какой-то старинной ливреи. Левка былъ ужасно радъ и новой рубашкѣ, и кафтану, и красному воротнику, хотя, по правдѣ сказать, радоваться было нечему. Доселѣ крестьянскіе мальчишки нѣсколько

удерживались, но когда на Левку надѣли парадный мундиръ дурака, — тогда гоненія и насмѣшки удвоились. Однѣ женщины были на сторонѣ Лѣвки: подавали ему лепешки, квасу и браги, и говорили иногда пріятливое слово. Мудрено ли впрочемъ, что бабы и дѣвки, пользовавшіяся патріархальнымъ покровомъ мужниной и отцовской власти, сочувствовали безвинно гонимому мальчику. Мнѣ было чрезвычайно жаль Левку, но помочь было ему трудно; унижая его, добрые люди, казалось, росли въ своихъ собственныхъ глазахъ; серьезно съ нимъ никто слова не молвилъ, даже мой отецъ отъ природы вовсе не злой человѣкъ, хотя исполненный предразсудковъ и лишенный всякаго снисхожденія — и тотъ иначе не могъ обращаться съ Левкой, какъ унижая его и возвышая себя. — А что, Левка, говаривалъ онъ ему, любишь ли ты кого-нибудь больше этого пса смердящаго? — Люблю, отвѣчалъ Левка. Сеньку люблю больше. — Видишь губа-то не дура, ну, а еще кого любишь? — Никого, простодушно отвѣчалъ Левка. — Ахъ, глупорожденный, глупорожденный, ха, ха, ха, а мать родную меньше любишь развѣ? — Меньше, отвѣчалъ Левка. — А отца твоего? — Совсѣмъ не люблю. — О, Господи Боже мой, чти отца твоего и мать твою, а ты дуракъ что? бессмысленныя животныя и тѣ любятъ родителей; какъ же разумному подобію Божію не любить ихъ?

— Какія животныя?

— Ну, какія? псы, лошади.... всякія.

— Вотъ наша кошка Машка любитъ моего Шарика больше всѣхъ.

И батюшка мой хохоталъ отъ души, прибавляя „блаженни нишіе духомъ!“

Я уже тогда оканчивалъ риторикѣ, и потому не трудно понять, отчего мнѣ въ голову пришло написать „Слово о богопротивномъ людей обращеніи съ глупорожденными“. Желая расположить мое сочиненіе по всѣмъ квинтилиановскимъ правиламъ, съ соблюденіемъ законовъ хріи, я, обдумывая его, пошелъ по дорогѣ; шель, шель и, не замѣчая того, очутился въ лѣсу; такъ какъ я вошелъ въ него безъ вниманія, то и неудивительно, что потерялъ дорогу; искалъ, искалъ и еще болѣе терялся въ лѣсу, — вдругъ слышу знакомый лай Левкиной собаки; я пошелъ въ ту сторону, откуда раздавался онъ и вскорѣ былъ встрѣченъ Шарикомъ; шагахъ въ пятъ

надцати отъ него подъ большимъ деревомъ спалъ Левка. — Я тихо подошелъ къ нему и остановился — какъ кротко, какъ спокойно спалъ онъ! — Онъ былъ дурень собой на первый взглядъ; бѣлые волосы прямо падали съ головы странной формы, онъ былъ блѣденъ, съ бѣлыми рѣсницами и къ тому же съ нѣсколько косившимися глазами. Но никто никогда не далъ труда себѣ взглянуть въ его лицо, отталкивающее съ перваго раза. Это странное лицо вовсе не было лишено своей красоты, особенно теперь, какъ онъ спалъ; щеки его немного раскраснѣлись, косые глаза не были видны, черты его выражали такой миръ душевный, такое спокойствіе, что становилось завидно. Тутъ, стоя передъ этимъ спящимъ дурачкомъ, меня поразила мысль, которая преслѣдовала всю жизнь: „Счего люди, окружающіе его, воображаютъ, что они лучше его? счего считают себя въ правѣ презирать, гнать это существо тихое, доброе, — никогда никому не сдѣлавшее вреда?“ и какой-то таинственный голосъ шепталъ мнѣ: оттого, что и всѣ остальные — юродивые, только на свой ладъ, и сердятся, что Левка глупъ по своему. Странная мысль эта выгнала изъ головы у меня хрип и метафоры; я оставилъ спящаго Левку и пошелъ на удачу бродить по лѣсу, съ какой-то внутренней боязнью перевортывая и вглядываясь въ новую мысль. Въ самомъ дѣлѣ, думалось мнѣ, чѣмъ Левка хуже другихъ? *тѣмъ*, что онъ не приноситъ никакой пользы? Ну, а пятьдесятъ поколѣній, которыя жили только для того на этомъ клочкѣ земли, чтобъ ихъ дѣти не умерли съ голоду сегодня, и чтобъ никто не зналъ зачѣмъ они жили, и для чего они жили — гдѣ же польза ихъ существованія? *Наслажденіе жизни*? да они ею никогда не наслаждались, по крайней мѣрѣ гораздо менѣе Левки. Для нихъ жизнь была тяжелая ноша и скучный обрядъ. Дѣти? дѣти могутъ быть и у Левки: это дѣло не хитрое. — Зачѣмъ Левка не работаетъ? Да что же за бѣда, онъ ни у кого ничего не просить, кой-какъ сытъ. Чѣмъ же онъ хуже умниковъ, которые, не смотря на то, что работаютъ денно и нощно, не богаче его? Работа не наслажденіе какое-нибудь: кто можетъ обойтись безъ работы, тотъ не работаетъ. Да вотъ чего далеко искать: одинъ человѣкъ, дѣлающій пользу, т. е. не вообще пользу, а хотъ себѣ, Оедоръ Григорьевичъ, вовсе ничего не дѣлаетъ, польза

сама дѣлается для него. Чѣмъ Левка сытъ, я не понимаю, но знаю одно, что какъ онъ ни тупъ, но если набереть ягодъ или грибовъ, то его не такъ легко убѣдить, что онъ можетъ ѣсть однѣ неснѣ-
лыя ягоды, да сыроѣжки, а что вкусныя ягоды и бѣлые грибы принадлежать... ну, хоть отцу Василью. Левка никогда дома не живетъ, не исполняетъ обязанностей сына, брата. Ну, а тѣ, кото-
рые дома, развѣ исполняютъ? У него есть еще семь братьевъ и сестеръ, живущихъ въ постоянной ссорѣ между собой, которая длится въ родѣ тридцатилѣтней войны... И я постоянно возвра-
щался къ основной мысли, что причина всѣхъ гоненій на Левку состоитъ въ томъ, что Левка глупъ на свой особенный салтыкъ, а другіе *повально глупы*; и такъ какъ картежники не любятъ неиг-
рающихъ, и пѣйници непьющихъ, такъ и они ненавидятъ бѣднаго Левку. Однако диссертациі я не написалъ; для меня, ученика се-
минаріи, казалось труднымъ и неприличнымъ писать о такихъ пред-
метахъ. Намъ учили все ексордіи, экспозиціи и перорациі писать о предметахъ возвышенныхъ.

Вакаціонное время прошло, пора мнѣ было возвращаться. Когда батюшка мой заложилъ пѣгую лошадку въ телегу, чтобъ отвезть меня, Лёвка пришелъ опять къ плетню; онъ не совался впередъ, а, прислонившись къ веревѣ, обтиралъ по временамъ грязнымъ, спу-
щеннымъ рукавомъ рубашки слезы. Мнѣ было очень грустно его оставить; я подарилъ ему всякихъ бездѣлушекъ; онъ на все смотре-
лъ печально. Когда же я сталъ садиться въ телегу, Лёвка по-
дошелъ ко мнѣ и такъ печально, такъ грустно сказалъ мнѣ: „Сенька, прощай!“ а потомъ подаль мнѣ Шарика и сказалъ: „возьми, Сень-
ка, Шарика себѣ.“ Дороже предмета у Лёвки не было и онъ от-
давалъ его! Я на силу уговорилъ его оставить Шарика у себя, что пусть онъ будетъ мой, но живетъ у него. Мы поѣхали. Лёвка по-
бѣждалъ лѣсомъ и выбѣжалъ на гору, мимо которой шла дорога; я увидѣлъ его и сталъ махать платкомъ. Онъ стоялъ неподвижно на горѣ, опираясь на свою палку.

Мысль о Лёвкѣ, о причинѣ его страннаго развитія не выходила изъ головы моей. Она мѣшала мнѣ вполне предаваться учению, она не давала мнѣ покою. Хотя я твердо зналъ ничтожность всего тѣлеснаго и суетность всего физическаго, но мало по малу во мнѣ

развилося непреодолимое желаніе изучать медицину. Когда я впервые заикнулся объ этомъ отцу моему, онъ вошелъ въ неописанный гнѣвъ: „Ахъ, ты баловень презорный!“ кричалъ онъ на меня: „вотъ какъ хвачу за вихри, такъ ты у меня и узнаешь, гдѣ раки зимуютъ. Дѣды твои и отцы не хуже тебя были, да не выходили изъ своего званія!... Думалъ ли я подъ старость дожить до такого сраму? Вотъ и радость, приносимая сыномъ, отъ плоти моей рожденнымъ! Не одинъ видно пономарь посѣщенъ Богомъ, не даромъ съ дуракомъ валандается: вѣдь свой своему поневолѣ братъ.... А все ты, малодушная баба, испортила его.“ прибавилъ батюшка, обращаясь къ матушкѣ. Почему именно матушка была виновата, что я хотѣхъ учиться медицинѣ, этого я не знаю.—Господи! думалъ я:—да чтó же я сдѣлалъ такое? Мнѣ хочется заняться медициной, а кто послушаетъ батюшку, право подумаетъ, что я просился на большую дорогу людей рѣзать.—Даль я мѣсто родительскому гнѣву, промолчалъ; черезъ мѣсяцъ завелъ-было опять рѣчь: куда ты! съ перваго слова такъ его лицо и зардѣло. Дѣлать нечего, жду особаго случая, а самъ только и занимаюсь латынью. Отецъ ректоръ славно зналъ латинскій языкъ и полюбилъ меня за мои успѣхи. Я выбралъ минуту добрую, да въ ноги ему; онъ такъ кротко и благосклонно сказалъ: „встань, сынъ мой, встань, чтó тебѣ надобно, говори просто?“ Я разсказалъ ему о моемъ желаніи и просилъ замолвить батюшкѣ. Отецъ ректоръ покачалъ головой и много говорилъ со мною, убѣждая кротко оставить мое намѣреніе, совѣтовалъ болѣе молиться, чтобъ Богъ послалъ силы противостоятъ искушенію, отвлекающему отъ леченія духовнаго къ леченію плотскому,—о важности сана, которому я посвященъ самимъ рожденіемъ. Потомъ напомнилъ четвертую заповѣдь и далъ прочесть сочиненіе Нила Сорскаго о монашескомъ житіи. Я все исполнилъ въ точности, но не могъ переломить влеченія къ медицинѣ. На вакаціи поѣхалъ я опять домой. Лѣвка еще болѣе одичалъ: онъ добровольно помогалъ пастуху пасти стадо и почти никогда не ходилъ домой. Меня однако онъ принималъ съ прежней безграничной, нечеловѣческой привязанностью; грустно мнѣ было на него смотрѣть, особенно потому, что языкъ у него какъ-то сдѣлался невнитнѣе, сбивчивѣе и взглядъ сталъ еще страшнѣе. Че-

резъ годъ мнѣ приходилось окончить курсъ, временить было нечего: батюшка уже готовилъ мнѣ мѣсто. Чтѣ было дѣлать? утѣшающій за соломенку хватается. Слыхалъ я отъ дворовыхъ людей, что сынъ нашего помѣщика (они жили это лѣто въ деревнѣ) добрый баринъ, ласковый,—я и подумалъ: еслибъ онъ черезъ Федора Григорыча попросилъ обо мнѣ моего отца, можетъ быть тотъ, видя такое высокое ходатайство, и согласился бы. Почему не сдѣлать опыта. Надѣлъ я свой нанковой сюртукъ, тщательно вычистилъ сапоги, повязалъ голубой шейной платокъ, и пошелъ въ господскій домъ. На дорогѣ попался Лѣвка.—Сенька, кричалъ онъ мнѣ; въ лѣсъ: Лѣвка гнѣздо нашелъ, птички маленькія, едва пушокъ, матери нѣтъ, грѣть надо, кормить надо.

— Нельзя, братъ иду вонъ туда.

— Куда?

— Въ барскій домъ.

— У... у!... сказалъ Лѣвка поморщившись, у... у!... знаешь дядю Захара? весной дядю Захара били, Лѣвка смотрѣлъ, дядя Захаръ здоровый, сильный, стоитъ—его бьютъ, онъ ничего. Дядя Захаръ дуракъ сильный, большой. Не ходи, Сенька!—Нѣтъ, не бось, меня никто не прибьетъ.—Онъ долго смотрѣлъ мнѣ въ слѣдъ, потомъ свиснулъ своей собакѣ и побѣжалъ къ лѣсу,—но едва я успѣлъ сдѣлать двадцать шаговъ, Лѣвка нагналъ меня.—Лѣвка идетъ туда, Сеньку бить будутъ, Лѣвка камнемъ пустить. При этомъ онъ мнѣ показалъ булжжикъ величиною съ индючье яйцо. Но мѣры его были не нужны; люди отказали, говоря, что господа чай кушаютъ;—потомъ я раза три приходилъ, все недосугъ молодому барину; послѣ третьяго раза я не пошелъ больше. И чѣмъ же это молодой баринъ такъ занятъ? вѣчно ходить или съ ружьемъ, или такъ просто безъ всякаго дѣла ходить по полямъ, особенно гдѣ крестьянскія дѣвки работаютъ; неужели не могъ оторваться на полчаса? Судьба наконецъ показала выходъ, хотя и очень горестный. Въ селѣ Порѣчѣ, верстъ восемь отъ насъ, былъ храмовой праздникъ; село Порѣчье казенное, торговое, побогаче нашего, праздникъ у нихъ справлялся отлично. Тамошній священникъ (онъ же и благочинный) приглашалъ насъ всѣхъ. Мы отправились накануне: отецъ Василій съ попадѣей, батюшка одинъ, причетники

и я—для того, чтобъ отслужить всенощную соборнѣ. Праздникъ былъ великолѣпный, фабричныя пѣли на крысѣ.—Во время литургіи на другой день пріѣхалъ самъ капитанъ-исправникъ съ супругой и двумя засѣдателями. Голова за мѣсяцъ собиралъ по двадцати пяти копеекъ серебромъ съ тягла начальству на закуску. Словомъ сказать, было весело и шумно; одинъ я грустилъ; грустилъ я и потому, что намѣренія мои не удавались, и по непривычкѣ къ многолюдію; вина я тогда еще въ ротъ не бралъ, въ хоровахъ ходить не умѣлъ, а пуще всего мнѣ досадно было, что всѣ перемитивались, глядя на меня и на дочь порѣчинскаго священника. Я приглынулся ея отцу и онъ предлагалъ, какъ только кончу курсъ, женить на дочери, а онъ мѣсто уступить и обзаведеніе: самому-де на отдыхъ пора. А дочь-то его, несмотря на то, что ей было не болѣе 18 или 19 лѣтъ, была похожа не на человѣка, а на нѣсколько животвъ, неправильно сложенныхъ, такъ что она напоминала образъ и подобіе аладій. Такимъ образомъ поскучивъ въ Порѣчѣ до вечера, я вышелъ на берегъ рѣки,—откуда ни возьмись Левка тутъ: и онъ бѣдняга приходилъ на праздникъ, самъ не зная зачѣмъ. Стоитъ лодочка, причаленная на берегу и покачивается; давно я не катался—смерть захотѣлось мнѣ ѣхать домой по водѣ. На берегу нѣсколько мужичковъ лежали въ синихъ кафтанахъ, въ новыхъ поярковыхъ шляпахъ съ лентами; выпивши, они лихо пѣли пѣсни во все молодецкое горло (по счастью въ селѣ Порѣчѣ не было слабонервной барыни).

— Позвольте, молъ, православные, лодочку взять прокатиться до Раздеришина? сказалъ я имъ.—“Съ нашимъ удовольствіемъ, мы-де вашего батюшку знаемъ, извольте взять“. И двое парней бросились съ величайшей готовностію отвязывать лодку. Я сѣлъ править, а Левка грестъ, и поѣхали мы по Окѣ рѣкѣ, чудо какъ весело. Между тѣмъ смерклося и мѣсяцъ взомель, съ одной стороны было такъ свѣтло, а съ другой черныя тѣни береговъ бѣжали на лодку. Подымавшаяся роса, какъ дымъ огромнаго пожара бѣжала на лунномъ свѣтѣ и колебалась по водѣ, будто отдираясь отъ нее. Пѣсни празднующихъ Порѣчанъ раздавались, носимыя вѣтромъ, то тише, то громче. Левка былъ доволенъ, мочилъ безпрестанно свою голову водою и страхивалъ мокрые волосы, падав-

ніе въ глаза. „Сенька, хорошо?“ говорилъ онъ спрашивая, и когда я отвѣчалъ ему:—очень, очень хорошо,—онъ былъ въ неопи- санномъ восторгѣ. Левка умѣлъ мастерски грести; онъ отдавался въ какомъ-то опьяненіи ритму разсѣваемыхъ волнъ и вдругъ подымалъ оба весла и лодка тихо, тихо скользила по волнамъ, и ти- шина, заступавшая мѣрные удары, клонила къ какому-то полусну. Мы приѣхали поздно ночью. Левка отправился съ лодкой назадъ, а я домой. Только что я легъ спать, слышу—подъѣзжаетъ телега къ нашему дому; матушка (она не ѣздила на праздникъ, ей что- то не здоровилось) матушка послушала, да и говоритъ: „это не нашей телеги скрипъ“; стучать въ ворота „треба, молъ, вѣрно ка- кая нибудь. Не вставайте, матушка, я схожу посмотрѣть“, да и вышелъ; отворяя калитку, порѣчинскій голова стоитъ, немножко хмѣльной.—Что ты, Макарь Лукичъ?—Да что, говоритъ, дѣло-то неладно, вотъ что.—„Какое дѣло?“ спросилъ я, а самъ дрожу всѣмъ тѣломъ, какъ въ лихорадкѣ.—Вѣстимо на счетъ отца діа- кона.—Я бросился къ телегѣ: на ней лежалъ батюшка безъ дви- женія. „Что съ нимъ такое?“—А Богъ его вѣдаетъ, все было здо- ровъ, да вдругъ что ни есть прилучилось.—Мы внесли батюшку въ комнату; лицо его посинѣло, я теръ его руки, спрыскивалъ во- дой; мнѣ показалось, что онъ хрипитъ; я за нѣянымъ портнымъ,— на этотъ разъ онъ еще былъ довольно трезвъ; схватилъ ланцетъ, бинтъ и побѣждалъ со мною. Раза три просѣкъ руку, кровь не идетъ; я стоялъ ни живой, ни мертвый. Портной вынулъ табакерку, понюхалъ, потомъ началъ грязнымъ платкомъ обтирать инстру- ментъ.—Что? спросилъ я какимъ-то не своимъ голосомъ.—Не на- шего ума дѣло-съ. Кондрашка-то сильно хватилъ вашего батюшку, отвѣчалъ онъ. Матушка упала безъ чувствъ, у меня сдѣлался оз- нобъ, а ноги такъ и подкашивались.

Послѣ смерти отца, матушка не препятствовала, и я выхлопо- талъ себѣ наконецъ увольненіе изъ семинаріи и вступилъ въ ме- дико-хирургическую академію студентомъ. Читая печатную прог- рамму лекцій, я увидѣлъ, что адъюнктъ, если останется время, будетъ читать студентамъ, оканчивающимъ курсъ, *общую психіат- рію*. Что такое психіатрія? товарищи объяснили мнѣ, что это на- ука о душевныхъ болѣзняхъ. Я съ нетерпѣніемъ ждалъ конца года

и хотя мнѣ еще не приходилось слушать психіатрію—явился на первую лекцію адъюкта. Но я тогда такъ мало былъ образованъ по медицинской части, что почти ничего не понималъ, хотя и слушалъ съ такимъ вниманіемъ, что до сихъ поръ помню краснорѣчивое вступленіе адъюкта. „Психіатрія“, говорилъ онъ:—„бесспорно самая трудная часть врачебной науки, самая необъясненная, самая необъяснимая, но за то нравственное вліяніе ея самое благотворное. Ни метафизика, ни философія не могутъ такъ ясно доказать независимость души отъ тѣла какъ психіатрія. Она учитъ, что всѣ душевныя болѣзни—разстройства тѣлесныя, она учитъ слѣдовательно, что безъ тѣла, безъ этой скудельной оболочки, духъ былъ бы вѣчно здравъ“, и проч. Я уже въ семинаріи зналъ Вольфіеву философію, но совершенно ясно изложенія адъюкта не понималъ, хотя и радовался, что самая медицина служить доказательствомъ высшихъ метафизическихъ соображеній.

Когда я порядкомъ изучилъ пріуготовительныя части, я сталъ мало по малу дѣлать собственныя наблюденія надъ одержимыми душевными болѣзнями, тщательно записывая все видѣнное въ особую книгу. Воскресные и праздничные дни проводить я почти всегда въ домѣ умалишенныхъ. И всѣ наблюденія мои вели постоянно къ мысли, поразившей меня при созерцаніи сиящаго Левки, т. е. что официальные, патентованные сумасшедшіе въ сущности и не глупѣе и не поврежденнѣе всѣхъ остальныхъ, но только самобытнѣе, сосредоточеннѣе, независимѣе, оригинальнѣе, даже можно сказать, гениальнѣе. Странные поступки безумныхъ, ихъ раздражительную злобу объяснялъ я себѣ тѣмъ, что все окружающее нарочно сердить ихъ и ожесточаетъ безпрерывнымъ противорѣчіемъ, жесткимъ отрицаніемъ ихъ *idée fixe*. Замѣчательно, что люди дѣлаютъ все это только въ домахъ умалишенныхъ; внѣ ихъ существуетъ между больными какое-то тайное соглашеніе, какая-то патологическая деликатность, по которой безумные взаимно признаютъ пункты помѣшательства другъ въ другѣ. Да, все несчастіе явно-безумныхъ—ихъ гордая самобытность и упрямая неуступчивость, за которую повально-поврежденные мстятъ имъ со всею злобою слабыхъ характеровъ, запираютъ въ кѣлки отклонившихся отъ общаго безумія и поливаютъ ихъ холодной водой.—Объясню при-

мѣрами. Главный докторъ въ заведеніи добрыйшій нѣмецъ въ мірѣ, безъ сомнѣнія болѣе поврежденный, чѣмъ половина больныхъ его.

Больные не любили его оттого, что онъ самъ, стоя на одной почвѣ съ ними, вступалъ всегда въ соревнованіе.

— Я китайскій богдыханъ! кричалъ ему одинъ больной, привязанный на толстой веревкѣ, которая, по необходимости, ограничивала богдыханскую власть его. — Ну, когда же китайскій императоръ сидитъ на веревкѣ? отвѣчалъ добрыйшій нѣмецъ съ пресерьезнымъ видомъ, какъ-будто онъ самъ сомнѣвался, не дѣйствительно ли китайскій богдыханъ передъ нимъ. Больной выходилъ изъ себя, слыша возраженіе, скрежеталъ зубами, кричалъ, что это Вольтеръ и иезуиты посадили его на цѣпь и долго не могъ потомъ успокоиться. Я совсѣмъ напротивъ подходилъ къ нему съ видомъ величайшаго подобострастія. „Лазурь неба, прозрачнѣйшій братъ солнца“, говорилъ я ему: — „позволь мнѣ, презрѣнному червю, грязи, отставшей отъ безсравненныхъ подошвъ твоихъ, покапать холодной воды на свѣтлое чело твое, да возрадуется океанъ, что вода имѣетъ счастье освѣжить почтенную шкуру, покрывающую бѣлую кость твоего черепа....“ и больной улыбался и позволялъ съ собою все, что я хотѣлъ. Обращаю особенное вниманіе на то, что я для этого больного не дѣлалъ ничего особеннаго, а поступалъ съ нимъ такъ, какъ всѣ добрые люди поступаютъ другъ съ другомъ вездѣ, на улицѣ, въ гостиной и проч. — Надобно замѣтить, что въ заведеніе вѣздилъ одинъ тупорожденный старикъ — воображавшій, что онъ гораздо лучше докторовъ и смотрителей знаетъ, какъ надобно за больными ходить, — и всякой разъ приказывалъ такой вздоръ, что за него дѣлалось стыдно; однако главный докторъ слушалъ его до конца и не говорилъ ему, что все это вздоръ, не дразнилъ его — а китайскаго богдыхана дразнилъ. Гдѣ жетутъ справедливость?

Продолжая мои наблюденія я открылъ, что между собой черѣдко сумасшедшіе признаютъ другъ друга. Такъ на примѣръ въ V палатѣ жили восемь человѣкъ легко помѣшанныхъ въ большой меж-

ду собою дружбѣ. Одинъ изъ нихъ сошелъ съ ума на томъ, что онъ сверхъ своей порціи имѣетъ призваніе ѣсть по полупорціи у всѣхъ товарищей, основывая (пресмѣшно) свои права на томъ, что его отецъ умеръ отъ объѣденія, а дѣдъ опился. Онъ такъ увѣрилъ своихъ товарищей, что ни одинъ изъ нихъ не смѣлъ ѣсть своей порціи, не отдавъ ему лучшую часть, не смѣлъ украдкой сѣсть, боясь угрызенія совѣсти. Когда изрѣдка кто-либо изъ дерзкихъ скептиковъ утаивалъ кусокъ, онъ гордо уличалъ преступнаго и шесть остальные готовы были оттащить злодѣя; они называли его воромъ, стяжателемъ; а глава общины до того добродушно вѣрилъ въ свое право, что, не имѣя возможности сѣдять все набранное, съ величавой важностью награждалъ избранныхъ ихъ же ѣдою. Нельзя же отказать въ *esprit d'ordre* этимъ безумнымъ, такъ точно какъ нельзя отказать въ безуміи людямъ, не только считающимъ себя здоровыми (самые бѣшеные собою совершенно довольны), но признаваемымъ за такихъ другими. Для убѣдительнаго доказательства присовокупляю отрывокъ моего журнала, пославъ оному слѣдующую краткую діагностику безумія.—Главные признаки разстройства умственныхъ способностей состоятъ: а) въ неправильномъ, но и не произвольномъ сознаніи окружающихъ предметовъ; б) въ болѣзненной упорности, стремящейся сохранить его хотя бы съ явнымъ вредомъ самому больному и отсюда в) тупое и постоянное стремленіе къ цѣлямъ несущественнымъ и упущеніе цѣлей дѣйствительныхъ.

Этого достаточно для того, чтобъ убѣдиться въ истинѣ моихъ выводовъ.

Выписка изъ журнала.

Субъектъ 29-й. Мѣщанка Матрена Бучкина, сложеніе сангвиническое, наклонность къ толщинѣ, лѣтъ тридцати, замужемъ.

Субъектъ этотъ находится у меня въ услуженіи, въ должности кухарки, а потому я изучалъ его довольно внимательно въ главныхъ психическихъ и многихъ фізіологическихъ отправленияхъ.—*Alienatio mentule*, неподлежащее никакому сомнѣнію, при хорошихъ врожденныхъ способностяхъ (что доказывается сохранив-

пейся ловкостью обсчитывать при покупках и утаивать половину провизии), всѣ умственные отправленія искажены. Какъ женщина, Матрена живетъ болѣе сердцемъ, нежели умомъ, но всѣ ея чувства такъ ниспровергнуты болѣзненнымъ отклоненіемъ дѣятельности мозга отъ нормальнаго отправленія, что они не токмо не человѣческія, но и не животныя.

А) *Чувство любви*. — Не видать, чтобъ у нее была особенная нѣжность къ мужу, но отношенія ихъ въ высшей степени замѣчательны и драгоцѣнны какъ патологическій фактъ. Мужъ ея сапожникъ и живетъ въ другомъ домѣ; онъ приходитъ къ ней обыкновенно утромъ въ воскресенье. Матрена покупаетъ на послѣднія деньги простого вина и печетъ пирогъ или блины; часу въ десятомъ мужъ ея напивается пьянъ и тотчасъ начинается ее продолжительно и больно бить, потомъ онъ впадаетъ въ летаргическій сонъ до понедѣльника; — проснувшись отправляется съ страшной головной болью за свою работу, питаясь пріятной надеждой черезъ шесть дней снова отпраздновать такъ семейно и кротко воскресный день. Я полагаю, что у Матрены живо выдѣлялась кожа; это очень любопытно для изученія общихъ покрововъ. Такъ какъ она приходила всякій разъ съ горькими жалобами ко мнѣ на своего мужа, я совѣтовалъ ей не покупать ему вина, основываясь на томъ, что оно имѣетъ на него дурное вліяніе. Но больная весьма оскорблялась моими совѣтами и возражала, что она не безчестная какая-нибудь и не нищая, чтобъ своему законному мужу не поднести стакана вина — святъ день до обѣда, что сверхъ того она покупаетъ вино на свои деньги, а не на мои, и что если мужъ ее и колотить, такъ все же онъ Богомъ данный мужъ. Отвѣтъ этотъ, много разъ повторяемый, очень замѣчателенъ; можно добратъсь по немъ до странныхъ законовъ мышленія мозга пораженнаго болѣзнію: нѣтъ ни одного слова въ ея отвѣтъ, которое бы шло къ моему замѣчанію, а при болѣзни мозга, ей кажется, что она вполнѣ опровергла меня. Но до какой степени и это поверхностно; доказывается тѣмъ, что стояло мнѣ, продолжая мои наблюденія, сказать ей: а ты зачѣмъ съ нимъ споришь, ты бы смолчала, вѣдь онъ твой мужъ и глава? Тогда больная приходила въ состояніе близкое маіи и съ сердцемъ говорила: онъ злодѣй мнѣ, а не мужъ; и

ему не дура досталась молчать, когда онъ несетъ всякой вздоръ!.. И тутъ она начинала бранить не только его, но и барыню свою, которая въ истинно материнскихъ попеченіяхъ о своихъ подданныхъ сама приняла трудъ избрать ей мужа. Выборъ палъ на сапожника не случайно, а потому, что онъ хмѣлемъ зашибалъ, такъ барыня думала, что остепенится женившись, — конечно не ея вина, что она ошиблась: *errare humanum est!*

В) *Отношеніе къ дѣтямъ* любопытно до высшей степени и имѣетъ двойной интересъ. Тутъ я имѣлъ случай видѣть, какъ съ самого дня рожденія прививаютъ безуміе. Сначала чисто механически, крѣпкимъ пеленаніемъ, при чемъ сдавливаютъ *ossa parietalia* черепа такъ, чтобъ помѣшать мозговому развитію — это съ своей стороны очень дѣйствительно. Потомъ употребляются органическія средства; они состоятъ преимущественно въ чрезмѣрномъ развитіи прожорливости и въ дурномъ обращеніи съ малюткой. Когда организмъ ребенка не изловчился еще претворять всю дрянь, которая ему давалась, отъ грязной соски до жирныхъ лепешекъ, дитя иногда страдало; мать лечила сама и въ медицинскихъ сужденіяхъ своихъ далеко расходилась со всѣми врачами отъ Иппократа до Гуфланда; или она откачивала его такъ, какъ спасаютъ утопленниковъ (средство совершенно безвредное, если утопленникъ умеръ, и во всякомъ случаѣ способное показать усердіе присутствующихъ), и ребенокъ впадалъ въ морскую болѣзнь отъ качки, что его дѣйствительно облегчало; или мать начинала, на извѣстномъ основаніи гомеопатіи, клинъ клиномъ выбивать, кормить его селедкой, капустой; если же ребенокъ не выздоравливалъ, мать принималась его бить, толкать, дергать, приговаривая всякія грубости: если же и отъ этого дитя не выздоравливало, мать давала ему или настойки, или макового молока, — и радовалась очевидной пользѣ отъ лекарства, когда ребенокъ впадалъ въ тяжелое опьяненіе или въ летаргическій сонъ. Въ дополненіе слѣдуетъ замѣтить, что Матрена на свой манеръ чрезвычайно любила ребенка. Любовь ея къ дитяти была совершенно въ родѣ любви къ мужу: она покупала на скудные деньги свои какой-нибудь тафтицы на одѣяльцо и потомъ нещадно била ребенка за то, что онъ ненарочно капалъ на него молоко, и пр. — Мнѣ очень жаль, что я скоро разстался съ Матре-

ной и не могъ доучить этотъ интересный субъектъ; къ тому же я въ послѣдствіи услышалъ, что ея ребенокъ не выдержалъ оригинальнаго воспитанія и умеръ.

С) *Отношенія гражданскія и общественныя.* — Но я полагаю, сказаннаго достаточно, чтобы убѣдиться, что жизнь этого субъекта проходила въ чадѣ безумія. А посему снова обращаюсь къ прерванной нити моего жизнеописанія, которое съ тѣмъ вмѣстѣ есть и описаніе развитія моей теоріи....

По окончаніи курса меня отравили лекаремъ въ одинъ пѣхотный полкъ. Я не нахожу нужнымъ въ предварительной части говорить о наблюденіяхъ, сдѣланныхъ мною на семъ спеціальному поприщѣ. Я имъ посвятилъ особый отдѣлъ въ большомъ сочиненіи моемъ. Перехожу къ болѣе разнообразному театру. Черезъ нѣсколько лѣтъ, по распоряженію высшаго начальства, которому, пользуясь симъ случаемъ, свидѣтельствую искреннѣйшую благодарность за начальственное вниманіе, получилъ я мѣсто по гражданскому вѣдомству; тутъ съ большимъ досугомъ предался я сравнительной психіатріи.

Я началъ наблюдать разныхъ жителей города, и въ скоромъ времени не осталось ни малѣйшаго сомнѣнія, что всѣ они поврежденные. Предоставляю тѣмъ, которые долго трудились надъ какимъ-нибудь открытіемъ оцѣнить то чувство радости, которымъ исполнилось сердце мое, когда я убѣдился въ этомъ драгоценномъ фактѣ. Городакъ нашъ вообще оригиналенъ; это губернское правленіе, обросшее разными домами и жителями, собравшимися около присутственныхъ мѣстъ. Онъ тѣмъ отличается отъ другихъ городовъ, что онъ возникъ собственно для удовольствія и пользы начальства. Начальство составляло сущность, корень, цвѣтъ и плодъ города. Остальные жители, купцы, мѣщане, больше находились для порядка, потому что нельзя же быть городу безъ купцовъ и мѣщанъ. И всѣ они получали смыслъ только въ отношеніи къ началству (и къ отступу впрочемъ). Мастеровые, напр. портные, сапожники, содержатели увеселительныхъ мѣстъ (у насъ шесть трактировъ) шили фраки, сапоги, заводили бильярды, все для чинов-

никовъ; остальные же не служащіе въ городѣ занимались исключительно произведеніемъ тѣхъ средствъ, на которыя чиновники заказывали фраки, сапоги и увеселялись на бильярдѣ. Въ нашемъ городѣ Малиновѣ по календарю считалось около 5000 жителей; изъ нихъ человекъ двадцать были повергнуты въ томительнѣйшую скуку отъ отсутствія всякаго занятія, и 4900 человекъ повергнуты въ томительную дѣятельность отъ отсутствія всякаго отдыха. — Но оставимъ эту всеобщую статистику помѣшательства и перейдемъ къ частнымъ случаямъ. Въ качествѣ врача я былъ часто призываемъ лечить тѣло тамъ, гдѣ слѣдовало лечить душу; невѣроятно, въ какомъ чадѣ нечестностей, въ какомъ рѣзкомъ безуміи находились всѣ мои пациенты обоихъ половъ.

— Пожалуйте сейчасъ къ Аннѣ Оедоровнѣ, — Аннѣ Оедоровнѣ очень дурно. — Сію минуту ѣду. — Анна Оедоровна лѣтъ тридцати женщина, любившая и любящая многихъ мужчинъ за исключеніемъ своего мужа, богатаго помѣщика, точно также расположеннаго ко всѣмъ женщинамъ, кромѣ Анны Оедоровны. У нихъ отъ розовыхъ брачныхъ цѣпей осталась одна, которая обыкновенно бываетъ покрѣпче прочихъ, — ревность, и ею неустомимо преслѣдовали они другъ друга десятый годъ. — Приѣзжаю. Анна Оедоровна лежитъ на постелѣ съ вспухшими глазами, у ней жаръ, у ней боль въ груди — все показываетъ, что было семейное Бородино, дѣло горячее и продолжительное. Люди ходятъ испуганные, мебель въ беспорядкѣ, въ дребезги разбитая трубка (явнымъ образомъ не случайно) лежитъ въ углу и переломленный чубукъ въ другомъ.

— У васъ, Анна Оедоровна, нервы разстроены: я вамъ пропишу немного лавровишневой воды. На свѣтъ не ставьте — она портится; такъ принимайте.... сколько вамъ лѣтъ, лѣтъ 20? — такъ и капелъ 20 или 22. Больная становится веселѣе и кусаетъ губы.

— Да знаете ли что, Анна Оедоровна, вамъ бы надо ѣхать куда-нибудь, ну хоть въ деревню; жизнь, которую вы ведете, васъ разстроить окончательно.

— Мы ѣдемъ въ маѣ мѣсяцѣ въ деревню съ Никаноромъ Ивановичемъ.

— А, превосходно! Такъ вы останьтесь здѣсь. Это будетъ еще лучше.

— Что вы хотите этимъ сказать?

— Вамъ надобенъ покой безусловный, тишина — иначе я не от-
вѣчаю за то, что наконецъ изъ всего этого выдуть серьезныя по-
слѣдствія.

— Я несчастнѣйшая женщина, Семень Ивановичъ; у меня будетъ
чахотка, я должна умереть. И все виноватъ этотъ извергъ.... Ахъ,
Семень Ивановичъ, спасите меня!

— Извольте. Только мое лекарство будетъ не изъ аптеки; вотъ
рецептъ: возьми небольшой, чистенькій домикъ, въ самомъ даль-
немъ разстояніи отъ Никанора Ивановича. Прибавь: мебель, цвѣты
и книги. Жить, какъ сказано, тихо, спокойно. — Этотъ рецептъ
вамъ поможетъ.

— Легко вамъ говорить; вы не знаете, что такое бракъ.

— Не знаю, но догадываюсь: для многихъ бракъ — святое от-
ношеніе, для другихъ: полюбовное насиліе жить вмѣстѣ, когда хо-
чется жить врозь, и совершеннѣйшая роскошь, когда хочется и
можно жить вмѣстѣ. Не такъ ли?

— О, вы извѣстный вольнодумъ! Какъ я покину мужа, хотъ онъ
и извергъ.

Я вспомнилъ Матрену Бучкину субъектъ № 29.

— Анна Ѳедоровна, вы меня простите; одна долгая практика
въ вашемъ домѣ позволяетъ мнѣ идти до такой откровенности. Я
осмѣлюсь сдѣлать вамъ нескромный вопросъ.

— Что угодно, Семень Ивановичъ, вы другъ дома, вы....

— Любите ли вы сколько-нибудь вашего мужа?

— Ахъ, нѣтъ. Я готова это сказать передъ всѣмъ городомъ.
Безумная тетушка моя сварганила этотъ несчастный бракъ.

— Ну, а онъ васъ?

— Искры любви нѣтъ въ немъ. Теперь почти въ открытой ин-
тригѣ съ Полиной, съ дочерью нашей сосѣдки, — вы знаете; да мнѣ
Богъ съ нимъ совѣмъ; но вѣдь денегъ что ему стоитъ.

— Очень хорошо-съ. Вы другъ друга не любите, мучите; вы
оба богаты, — что васъ держитъ вмѣстѣ?

— Да помилуйте, Семень Ивановичъ, за кого же вы меня счи-
таете? Моя репутація дороже мнѣ жизни; что обо мнѣ скажутъ?

— Это другое дѣло, конечно.... Ахъ, Боже мой, половина пер-
ваго, что это какъ время-то.... Да-съ, такъ по двадцати по двѣ
капли лавровишневой воды, хоть три раза до ночи, а я забуду
какъ-нибудь завтра взглянуть.

Я только въ залу, а ужъ Никаноръ Ивановичъ, небритый, съ ис-
каженнымъ отъ спирту и гнѣва лицомъ, меня ждетъ. — Семенъ
Иванычъ, Семенъ Ивановичъ, ко мнѣ въ кабинетъ.

— Чрезвычайно радъ, что прикажете?

— Вы честный человѣкъ, я васъ всю жизнь зналъ за честнаго
человѣка, вы благородный человѣкъ — вы поймете, что такое честь.
Вы меня по гробъ обяжете, ежели скажете истину.

— Сдѣлайте одолженіе, что вамъ угодно?

— Да какъ вы считаете положеніе жены?

— Оно не опасно, успокойтесь, это пройдетъ; я прописалъ ка-
пельки.... Только нужно бы душевное спокойствіе, а то знаете,
первы....

— Да чортъ съ ней, не объ этомъ дѣло, по мнѣ хоть сегодня
ногами впередъ, да и со двора; это змѣя, а не женщина, вы ее
не знаете: лучшія лѣта жизни отняла у меня.... не объ этомъ рѣчь.

— Я васъ не понимаю.

— Что это, ей Богу, съ вами. Ну, то есть, болѣзнь ея подо-
зрительна, или нѣтъ?

— Да-съ, вы желаете, знать насчетъ того, нѣтъ ли какихъ на-
деждъ на наслѣдничка?

— Наслѣдничка.... я ей покажу наслѣдничка. Что это за жен-
щина; знаете, для меня ужъ коли женщина въ эту сторону — все
кончено; нѣтъ, не могу; мнѣ чортъ съ ней совсѣмъ, да вѣдь за-
конная жена, Семенъ Ивановичъ, она мое имя носить, она мое имя
питаетъ.

— Я ничего не замѣтилъ. А впрочемъ, знаете, Никаноръ Ива-
нычъ, жили бы вы въ разныхъ домахъ, а еще лучше въ разныхъ
городахъ — для обоихъ было бы спокойнѣе.

— Да-съ, такъ ей и позволить ха, ха, ха, — выдумали ловко....
ха, ха, ха! какъ же, позволю.... нѣтъ, вѣдь я не французъ какой-
нибудь; нѣтъ-съ, вѣдь я знаю законъ и приличія; о, еслибъ моя

матушка была жива — да она изъ своихъ рукъ ее на столъ бы положила.... Я знаю ея продѣлки, мнѣ только бы раскрыть.

— Прощайте, почтеннѣйшій Никаноръ Ивановичъ, мнѣ еще къ вашей сосѣдкѣ надобно.

— Что у нея? спросилъ врасплохъ взятый супругъ, и что-то сконфузился.

— Не знаю. Присылали горничную; дочь что-то все нездорова, — дѣвка не умѣла рассказать порядкомъ.

— Ахъ, Боже мой, да какъ же это? Я на дняхъ видѣлъ Полину Игнатьевну.

— Да-съ, бываютъ и быстрыя болѣзни. Прощайте.

— Семень Ивановичъ, я давно хотѣлъ.... вы меня извините; вѣдь ужъ это такъ заведено: чиновникъ живетъ отъ просителей. Я такъ много доволенъ вами: позвольте вамъ предложить эту золотую табакерку, примите ее въ знакъ искренней дружбы.... только, Семень Ивановичъ, я надѣюсь, что во всякомъ случаѣ — молчаніе ваше.... то есть, на счетъ чести благородной дѣвушки.

— Есть вещи, на которыя докторъ имѣетъ уши и глаза, норта не имѣетъ.

Никаноръ Ивановичъ обнялъ меня, и своими мокрыми губами и потнымъ лицомъ произвелъ довольно непріятное впечатлѣніе на щеки.

И кто-нибудь скажетъ, что это неповрежденные?...

Позвольте, еще примѣръ. Рядомъ со мною живетъ богатый помѣщикъ, гордый своимъ имѣніемъ, скряга и прочее. Онъ держитъ домъ на заперти, никого не пускаетъ къ себѣ, рѣдко самъ выѣзжаетъ, и что дѣлаетъ въ городѣ — понять нельзя; не служить, процессовъ не имѣетъ, деревня въ 50 верстахъ, а живетъ въ городѣ. Главное занятіе его — стяжаніе и накопленіе денегъ; но это дѣлается за кулисами; я вамъ хочу показать его въ торжественныя минуты жизни. Въ гостинницѣ и на почтѣ онъ закупилъ слугъ, чтобъ они извѣщали его, когда по городу проѣзжаетъ какой-нибудь сановникъ, то есть ревизующій чиновникъ. Сосѣдъ мой, получивши такую вѣсть, тотчасъ надѣвалъ дворянскій мундиръ и отправлялся къ его превосходительству; тотъ, разумѣется, съ дороги спалъ, сосѣда не пускали, онъ давалъ на водку, упорствовалъ, дождался часы цѣлые, — наконецъ о немъ докладывали. Сановникъ

(ибо въ эти минуты и чиновникъ VI класса чувствовалъ себя сановникомъ), разсерженный, принималъ просителя, не скрывая ярости и не давая вѣсу и мѣры словамъ своимъ. Проситель, послѣ долгихъ околичностей, докладывалъ, что вся его просьба, отъ которой зависитъ его счастье, счастье его дѣтей и жены въ томъ, чтобы его превосходительство изволило откушать у него завтра, или отужинать сегодня. Онъ такъ трогательно просилъ, что ни одинъ высокій сановникъ не могъ противустоять и давалъ слово сосѣду. Тутъ наставали поэтическія минуты его жизни. Онъ бросался въ рыбные ряды, онъ покупалъ стерлядь ростомъ съ извѣстнаго тамбуръ-мажора, и ее живую перевозили въ подвижномъ озерѣ къ нему на дворъ; выгружалось старинное серебро, вынималось старинное вино. Онъ бѣгалъ изъ комнаты въ комнату, бранился съ женою, дѣлалъ отеческія исправленія дворецкому, грозился на всю жизнь сдѣлать уродомъ и несчастнымъ повара (для ободренія), звалъ человѣкъ двадцать гостей, бѣгалъ съ курильницей по комнатамъ; встрѣчалъ въ сѣняхъ сановника, цаловалъ его въ шовъ, идущій подъ руку. Шампанское лилось у скряги за здравіе высокаго проѣзжаго. Забудьте, и все это дѣлалось изъ помѣшательства, совершенно безкорыстно. И что еще важнѣе для психіатріи, его безуміе всякой разъ переносилось съ обратными признаками (полярно) на гостя. Гость вѣрилъ, что онъ по гробъ одолжаетъ хозяина—тѣмъ, что прекрасно обѣдаетъ. Когда-нибудь сообщу еще примѣровъ пять-шесть, на первый разъ довольно.

Успокоившись на счетъ жителей нашего города, я пошелъ далѣе. Выписалъ себѣ знаменитѣйшія путешествія, древнія и новыя историческія творенія и подписался на „Гамбургскій Безпристрастный Кореспондентъ“. — Отовсюду текли доказательства очевидныя, неподлежащія сомнѣнію, моей основной мысли; слезы умиленія не разъ наполняли глаза мои при чтеніи. Я не говорю ужъ о гамбургской газетѣ; на нее я съ самого начала смотрѣлъ не какъ на суетный дневникъ всякой всячины, а какъ на всеобщій бюллетень разныхъ богоугодныхъ заведеній для несчастныхъ, страждущихъ душевными болѣзнями. Все равно, что бы историческое я ни начиналъ читать, вездѣ, во всѣ времена открывалъ я разныя безумія, которыя соединялись въ одно всемірное помѣшательство. Тита Ли-

вія или Муратори я бралъ, Тацита или Гиббона, — никакой разницы; всё они доказываютъ одно, что исторія не что иное, какъ связной разсказъ родового, хроническаго безумія и его медленнаго излеченія (этотъ разсказъ даетъ намъ по наведенію полное право надѣяться, что черезъ тысячу лѣтъ двумя-тремя безуміями будетъ меньше). Истинно не считаю нужнымъ приводить примѣры: ихъ миллионы. Разверните какую хотите исторію, вездѣ васъ поразитъ, что вмѣсто дѣйствительныхъ интересовъ всѣмъ заправляютъ мнимые, фантастическіе интересы; вглядитесь изъ-за чего льется кровь, изъ-за чего несутъ крайность, что восхваляютъ, что порицаютъ, — и вы ясно убѣдитесь въ несчастной на первый взглядъ истинѣ, и истинѣ, полной утѣшенія на второй взглядъ, что все это слѣдствіе разстройства умственныхъ способностей. Куда ни взглянешь въ древнемъ мірѣ, вездѣ безуміе почти такъ же очевидно, какъ и въ новомъ. Тамъ отецъ приносить дочь на жертву, чтобъ былъ попутный вѣтеръ, и нашелся старый дуракъ, который прирѣзалъ бѣдную дѣвушку, — и этого бѣшеннаго не посадили на цѣпь, не свезли въ желтый домъ, а признали за жреца. Въ другомъ мѣстѣ персидскій царь гоняетъ море сквозь строй, такъ же мало понимая нелѣпость поступка, какъ и его враги Аѳиняне, которые цыкутой хотятъ лечить отъ разума и сознанія (тогда впрочемъ не было извѣстно, что солено-кислый барить гораздо дѣйствительнѣе). А что это за бѣлая горячка, вслѣдствіе которой римскіе императоры гнали христіанство; развѣ трудно было разсудить, что эти средства палачества, тюремъ, крови, истязаній ничего не могли сдѣлать противъ святыхъ убѣжденій, а удовлетворяли только животной свирѣпости гонителей?

Кто не увидитъ ясные признаки безумія въ среднихъ вѣкахъ, тотъ вовсе незнакомъ съ психіатріей. Въ среднихъ вѣкахъ все безумно. Если и выходитъ что-нибудь путное, то совершенно противоположно желанію, независимо отъ цѣлей. Ни одного здороваго понятія не осталось въ средне-вѣковыхъ головахъ, все перепуталось. Проповѣдывали любовь — и жили въ непавасти, проповѣдывали миръ — и лили рѣками кровь. Къ тому же цѣлыя сословія подвергались эпидемической дури — каждое на свой ладъ. Напримѣръ, виланы считали одного человѣка въ латахъ сильнѣе тысячи

человѣкъ, вооруженныхъ дубьемъ; а рыцари сошли съ ума на томъ, что они дикіе звѣри, и сами себя содержали, по тюремному порядку, новыхъ тюремъ, въ укрѣпленныхъ сумасшедшихъ домахъ, по скаламъ, лѣсамъ и прочее.

Исторія доселѣ остается непонятною отъ ошибочной точки зрѣнія: историки, будучи болѣею частию не врачами, не знаютъ, на что обращать вниманіе; они стремятся вездѣ выставить придуманную послѣ разумность и необходимость всѣхъ народовъ и событий; совсѣмъ напротивъ, надобно на исторію взглянуть съ точки зрѣнія патологіи, психіатріи, надобно взглянуть на историческія лица съ точки зрѣнія безумія, на событія съ точки зрѣнія недѣльности и непужности. Исторія — горячка, производимая благодѣтельной натурой, посредствомъ которой челоѣчество отдѣляется отъ животности; но какъ бы противодѣйствіе ни было полезно, все же она болѣзнь, все же она горячка. Впрочемъ въ нашъ образованный вѣкъ стыдно доказывать простую мысль, что исторія-аутобіографія сумасшедшаго. Интересъ лѣтописей и путешествій тотъ же самый, который мы находимъ въ анатомико-патологическомъ кабинетѣ. Кстати о путешествіяхъ. Они не менѣе исторіи принесли мнѣ подтвержденій, и тѣмъ пріятнѣйшихъ, что всѣ описываемыя въ нихъ безумія дѣлались не за тысячу лѣтъ, а совершаются теперь, сейчасъ, въ ту минуту, какъ я пишу, и будутъ совершаться въ ту минуту, какъ вы, любезный читатель, займетесь чтеніемъ моего отрывка. Доказательства и здѣсь совершеннѣйшая роскошь; разверните Магеллана, разверните Дюмонъ-Дюрвиля и читайте первое, что раскроется — будетъ хорошо, — вамъ попадется или индѣецъ, который во славу Вишны сидитъ двадцать лѣтъ съ поднятой рукой и не утираетъ носу для пріобрѣтенія безконечной потери своего Я на томъ свѣтѣ; или женщина, которая изъ учтивости и приличія бросается на костеръ, на которомъ жгутъ трупъ мужа. Востокъ классическая страна безумія; но впрочемъ и въ Европѣ очень удовлетворительные симптомы. Но объ этомъ въ самомъ курсѣ.

Объяснительное прибавленіе отъ автора.

Но не могу положить пера, не сказавъ еще нѣсколько объяснительныхъ и такъ сказать предупредительныхъ замѣчаній. Я знаю,

что неблагонамѣренность обвинить меня въ желаніи блеснуть новизною, въ гордости и пренебреженіи къ больнымъ,—за то, что я не считаю ихъ здоровыми.—Совѣсть моя чиста! Не гордость и пренебреженіе, а любовь привела меня къ моей теоріи, и когда я совершенно убѣдился въ истинности ея, весь нравственный бытъ мой перемѣнился, мнѣ стало легко, упованія и надежды расцвѣли какъ въ молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицанія и осужденія замѣнились теплымъ чувствомъ состраданія къ больнымъ, и вмѣсто желанія отвратительной мести за дѣйствія, яснымъ образомъ сдѣланныя подъ вліяніемъ болѣзни, явилось кроткое снисхожденіе и сильное желаніе помочь больному. (Я даже въ домѣ умалишенныхъ вывелъ наказанія, не желая вступать въ соревнованіе съ безумными, ни побуждать ихъ въ нелѣпости). Что же касается до предполагаемаго мною обвиненія въ желаніи блеснуть новизною, то я обязанъ замѣтить, что въ разныхъ формахъ мысль медицинская, мною проведенная, являлась многимъ въ голову. Аристотель называлъ Анаксагора *единымъ трезвымъ во сонмѣ пьяныхъ*. Спиноза видѣлъ безсиліе разума въ человѣкѣ безнравственномъ, видѣлъ болѣзненную необходимость его опьяненія страстями. Бентамъ, англійскій докторъ, изъ котораго я взялъ эпиграфъ, не сомнѣвался въ болѣзни мозга, а искалъ причину оной въ испугѣ и потрясеніи, бывшемъ во время потопя. Бентамъ, наконецъ, прямо сказалъ, что „всякій преступникъ прежде всего дурной счетчикъ“. Бентамъ совершенно правъ: но онъ одного не понималъ, что преступникъ дѣлаетъ ариметическія ошибки слишкомъ грубыя, и всѣ остальные тоже дурные счетчики, но дѣлаютъ маленькія ошибочки. Мы окружены пѣлой атмосферой, призрачной и одуряющей; всякой человѣкъ болѣе или менѣе, какъ матренина дочь (зри выше), съ малыхъ лѣтъ приобщается къ эпидемическому сумасшествію окружающей среды (нѣмецкіе врачи называютъ эту болѣзнь *der historische Standpunct*); вся жизнь наша, всѣ дѣйствія такъ и рассчитаны по этой атмосферѣ въ томъ родѣ, какъ нелѣпыя формы ихіосауровъ, мастодонтовъ были рассчитаны и сообразны первобытной атмосферѣ земнаго шара. Мѣстами воздухъ становится чище, болѣзни душевныя укрощаются. Но не легко переработывать въ душѣ человѣческой родовое безуміе; страшныя

усилія надобно употреблять для малѣйшаго шага. Вспомните романтизмъ—эту духовную золотуху; вспомните торизмъ—эту застарѣлую подагру нравственнаго міра; вспомните славянофильство—эту іудейскую проказу исключительной національности и тысячу другихъ.

Предвижу еще одинъ вопросъ. Что же ты, занимавшійся столько лѣтъ исторической психіатріей,—открылъ ли какія-нибудь средства леченія? Что же плодъ твоихъ трудовъ?—Во-первыхъ истина: во-вторыхъ точка зрѣнія; въ-третьихъ я далеко не все сказалъ, а намекнулъ, означилъ, слегка указалъ.—Средствъ я нашелъ мало но средства есть. При дальнѣйшемъ развитіи органической химіи, послѣ хорошихъ разложеній церебрика, мозговаго протеина, послѣ химическаго анализа дѣйствія страстей и прочее, мы найдемъ средства отлично, при благодѣтельной помощи натуры, выдѣлывать и поправлять вещество мозга.—Мы имѣемъ драгоцѣнныя практическія наблюденія касательно возможности химически поправлять и видоизмѣнять духовную сторону, хотя она и совершенно независима. Такъ напримѣръ прилично употребленное леченіе *шампанскимъ* располагаетъ человѣка къ дружбѣ, къ доблести, къ чувствамъ радостнымъ и объятіямъ разверзтымъ. Дѣйствуя же *буртонскимъ* точно такимъ же образомъ, то есть, отправляя его чрезъ желудокъ въ вены, а оттуда въ голову, выходитъ результатъ совсѣмъ иной: человѣкъ дѣлается мраченъ, несообщителенъ, болѣе склоненъ къ ревности, нежели къ любви, къ раскаянію, нежели къ наслажденію, къ плачу о грѣхахъ міра сего, нежели къ снисхожденію.... для меня тутъ ключъ къ психо-терапии, и вотъ я десятый годъ, не щадя ни издержекъ, ни здоровья, занимаюсь постоянно изученіемъ дѣйствія на умственныя способности вышеозначенныхъ медикаментовъ и разныхъ другихъ. Чего не сдѣлаетъ человѣкъ изъ любви къ наукѣ!

10-го февраля 1846 года.

VII.

НОВЫЯ ВАРІАЦІІ НА СТАРЫЯ ТЕМЫ.

VII.

HOBBIS BAPLAIN HA CTAPPIA TEMPI

НОВЫЯ ВАРІАЦІІ НА СТАРЫЯ ТЕМЫ.

Нѣкогда школа остановилась въ грустномъ недоумѣніи, пораженная страшными и повидимому безвыходными противорѣчіями, которыми Кантъ завершилъ свое ученіе и изъ-за которыхъ вдали видѣлись улыбающіяся черты его учителя, Юма. Казалось, послѣдняя опора человѣка—разумъ подкосился, достовѣрность вѣдѣнія исчезла; робкіе умы, всегда предпочитающіе бѣгство труду и лѣнливый покой утомительному изслѣдованію, стали отступать въ свои всегдашнія зимнія квартиры—въ мистицизмъ; эмпирики иронически улыбались; а въ сущности антиноміи Канта были основаны на одномъ формальномъ противорѣчії и на насильственномъ раздвоеніи истины; вскорѣ наука обличила это.

Но если мы сравнимъ противорѣчія, поставленныя Кантомъ, съ противорѣчіями, встрѣчающимися въ сознаніи современнаго человѣка, то увидимъ, что отъ послѣднихъ не такъ легко отдѣлаться: онѣ прокрались во всѣ наши убѣжденія, исказили весь нравственный бытъ. Онѣ упорны, какъ всѣ явленія полусознательныя и, слѣдовательно, полусостоящія въ волѣ человѣка (человѣкъ дѣйствительно свободенъ только въ томъ, что вполне понимаетъ); онѣ трудно-уловимы, безпрестанно мѣняють платье, форму, языкъ, по временамъ до того притихаютъ, что становятся незамѣтными; но преупорно остаются при своей задней или, лучше, дряхлой мысли. Тѣмъ опаснѣе эти противорѣчія, что онѣ почти всегда скрыты за туманомъ внутреннихъ чувствъ, что онѣ избѣгаютъ рѣзко высказаннаго имени, что, наконецъ, зная, выставляемое ими съ величайшей добросовѣстностью, прикрываетъ совѣмъ иное содержаніе. Рядомъ такихъ противорѣчій, утомительныхъ, ироническихъ, оскорбительныхъ, проходитъ озабоченное человѣчество передъ нашими глазами, льетъ свои слезы, льетъ свою кровь, мучится, спо-

рять, становится съ той или другой стороны, думаетъ примирить, думаетъ побѣдить—не можетъ, и вмѣсто того, чтобъ наслаждаться жизнію, склоняетъ усталую голову подъ то или другое ярмо предразсудковъ. Но кто же ставитъ, кто поддерживаетъ это ярмо? Его никто не ставитъ и никто не поддерживаетъ. Заблужденія развиваются сами собою и въ основѣ ихъ лежитъ всегда что-нибудь истинное, обросшее слоями ошибочнаго пониманья; какая-нибудь простая житейская правда—она мало по малу утрачивается, между прочимъ, потому, что выражена въ формѣ, несвойственной ей; а вѣками скопившаяся ложь, сѣдая отъ старости, опираясь на воспоминанія, переходитъ изъ рода въ родъ. Баратынскій превосходно назвалъ предразсудокъ обломкомъ древней правды. Эти обломки составляютъ одно начало для противорѣчій, о которыхъ мы говоримъ, по другую сторону ихъ—отрицаніе, протестъ разума. Развалины эти поддерживаются привычкою, лѣнью, робостью и, наконецъ, младенчествомъ мысли, неумѣющей быть послѣдовательною и уже развращенной принятіемъ въ себя разныхъ понятій безъ корня, и безъ оправданья рассказанныхъ добрыми людьми и принятыхъ на честное слово. Это совершенно противно духу мышленія, но оно очень легко: вмѣсто труда и пота—органъ слуха, вмѣсто логической наготы—готовое богатство, вмѣсто нравственной отвѣтственности передъ самимъ собою—младенческая зависимость отъ внѣшняго суда.

Но не должно забывать, что и сознаніе, что и трудъ мысли имѣетъ свою сильно-увлекательную прелесть; а потому, кромѣ несчастной, отстраненной нуждою и работою толпы, да кромѣ пресытившейся и утонувшей въ нѣгѣ другой толпы, почти никто не остается спокойно при готовыхъ понятіяхъ; это просто неестественно человѣку, у котораго мысль сколько-нибудь возбуждена; но хотѣть мыслить, но любить и желать истины—еще не все; тутъ и открываются трагико-логическія столкновенія, скорбныя и мучительныя противорѣчія. Всмотритесь въ нравственный бытъ современнаго человѣка, вы будете поражены противорѣчіями, глубоко и до поры до времени мирно лежащими въ основѣ всѣхъ его дѣлъ, мыслей, чувствъ: это одна изъ самыхъ рѣзкихъ, отличительныхъ чертъ нашего образованія. Отсюда желаніе сохранить разомъ на-

уку со всѣми ея правами, съ ея притязаніемъ на самозаконность разума, на дѣйствительность вѣдѣній, и всѣ романтическія выходы противъ разума, основанныя на неопредѣленномъ чувствѣ, на темномъ голосѣ; отсюда желаніе воспользоваться всѣми благами современнаго и будущаго, не утрачивая ни одного блага прошедшаго, не смотря на то, что сознаніе несправедливости послѣднихъ—единственное условіе водворенія первыхъ. Слѣдствія этой шаткости, этого колебанія—тѣ, которыхъ надобно было ожидать—поразительная смѣлость въ посылкахъ и поразительная робость въ силлогизмѣ, удалъ въ отвлеченіяхъ и несостоятельность въ приложеніяхъ. Наконецъ, отсюда же истекаетъ потребность возстать всѣми силами противъ этого немужественнаго, ложнаго, стертаго направленія.

Наука, выросшая вдали отъ жизни, за стѣнами аудиторій, держалась большею частію въ отвлеченіяхъ, говорила свысока, языкомъ труднымъ и въ то же время неопредѣленнымъ, которымъ она столько же высказывалась, сколько скрывалась; въ ея распущенные, незамкнутыя категоріи вносили все, что хотѣли, придавая грубому матеріалу, захваченному съ улицы, современный лоскъ и отливая его въ логическія формы. Такое неустройство продолжаться не можетъ; время такихъ себяобольщеній прошло; теперь труднѣе безнаказанно и шутя плавать по поверхности науки, играть съ истинами; ея основы глубоки; а глубь тянетъ въ себя; надобно опуститься съ головою или выходить по добру по здорову на берегъ и оставить науку и себя въ покоѣ; оно можетъ быть и лучше, кому это возможно.

Блаженъ, говорятъ Пушкинъ,

Кто хладный умъ уgomонивъ,
Покоится въ сердечной нѣгѣ,
Какъ пьяный путникъ на ночлегѣ.

Отойти еще легко; но дѣйствительно трудно становится долго продержаться колоссомъ родосскимъ—одна нога на берегу, другая на другомъ: берега все болѣе и болѣе раздвигаются. Да изачѣмъ эта двойственность? „Будь то и другое“ какъ говорилъ Іоаннъ. Въ этомъ отношеніи скажемъ смѣло: хвала дерзкому языку, кото-

рыхъ съ нѣкотораго времени заговорила наука нашего времени. Это кончить поскорѣе всѣ недоразумѣнія. Ей не нужно скрываться, у ней совѣсть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, на сколько это возможно. Половина поклонниковъ современной мысли непремѣнно отойдетъ — что за бѣда? Кто отойдетъ, тотъ былъ чужой, тотъ былъ обманутъ. Оставлять что-либо недоговореннымъ, значить оставлять возможность ложнаго пониманья; надобно, напротивъ, предупреждать всякое двусмысленное выраженіе, — этого требуетъ честность въ наукѣ. Таковъ языкъ Спинозы. Можно съ нимъ ни въ чемъ не соглашаться, но нельзя не остановиться съ уваженіемъ передъ этой мужественной и открытой рѣчью, и вотъ разгадка, почему его въдесятеро болѣе ненавидѣли, нежели другихъ мыслителей, говорившихъ то же, что и онъ.

Говорить языкомъ откровеннымъ можетъ всякій благородный человѣкъ, имѣющій право говорить; но говорить языкомъ совершенно простымъ бываетъ, не скажу — невозможно, но трудно при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Современное слагающееся воззрѣніе на жизнь сложно; взятое съ боя, выработанное въ мучительной борьбѣ, въ отрицаніяхъ и лишеніяхъ, неконченное, наконецъ, оно трудно уловляется въ какой-нибудь маленькій кодексъ, въ нѣсколько общихъ мѣстъ, громкихъ словами и скудныхъ содержаніемъ; можетъ быть, оно трудно уловляется отъ того, что его требованія и выше и многостороннѣе требованій прежнихъ моралистовъ и юристовъ. Несмотря на это, новое воззрѣніе имѣетъ не только свою опредѣленность, но и свой инстинктъ, который никогда не обманетъ того, кто совѣстливо выработалъ себѣ смыслъ его, и кто понятое оставилъ не въ отвлеченіи, а принялъ въ мозгъ и кровь. При всемъ этомъ, можно бы было просто передавать многое, еслибы просто понимали; но главное препятствіе въ томъ, что каждый является съ готовыми убѣжденіями, воспитавши въ себѣ возможность спокойно укладывать въ головѣ самыя крупныя противорѣчія; что дѣлать съ такими умами? Задача тутъ измѣняется, вопросъ становится не педагогическій, а патологическій. Кто не все исторгнулъ изъ груди неоправданное разумомъ, тотъ не свободенъ и можетъ дойти до того, что отвергнетъ весь разумъ. Беранже говорить, что его муза прекапризная: за малѣйшій кончикъ га-

луна начинается бѣситься и кричать. Его муза права: дѣло не въ вершкѣ галуновъ, а въ галунахъ вообще.

Обернитесь, куда хотите, въ психическомъ быту нашемъ, вы вездѣ найдете эту борьбу сознанія съ привычкой, мысли съ разсказомъ, логики съ преданіемъ, ума съ дѣломъ, философіи съ исторіей. За примѣрами далеко ходить нечего:

I.

Люди испоконъ вѣка, или, по крайней мѣрѣ, съ троянской войны, толкуютъ о нравственной независимости, о стремленіи къ ней, о ея достоинствахъ и прелестяхъ, однако, не вкушаютъ этихъ прелестей, потому-что они несравненно болѣе привязаны (хоть и не хвастаются этимъ) къ авторитетамъ, къ внѣшнимъ вѣлѣніямъ, къ указаніямъ, нежели къ нравственной свободѣ. Любовь къ нравственной свободѣ — чисто платоническая, идеальная; по ней вздыхаютъ, о ней говорятъ въ ученыхъ предисловіяхъ и въ академическихъ рѣчахъ, ей поклоняются пламенные души, но на благородной дистанціи. Людямъ страшна отвѣтственность самобытности: любовь ихъ къ нравственной независимости удовлетворяется вѣчнымъ ожиданіемъ, вѣчнымъ стремленіемъ, они скромно рвутся, воздержно стремятся къ предмету желаній и чувствительно вѣрятъ, что ихъ желанія осуществляются, если не въ настоящемъ, то въ будущемъ; такая вѣра утѣшаетъ и миритъ ихъ съ настоящимъ, — чего же лучше? Вспомнимъ при этотъ грубыхъ и дикихъ средневѣковыхъ рыцарей, съ своимъ гордымъ и воинственнымъ видомъ слушающихъ благочестиваго капеллана и его поученія о смиреніи, о нищетѣ. Они слушаютъ и глубоко горюютъ о томъ, что все это не исполняется... а еслибъ... не такъ бы пришлось горевать имъ. Милая, наивная логика!

Съ своей стороны, любовь къ умственному авторитету, вовсе не платоническая, а обыкновенная, супружеская *d'un mariage de raison*, такая любовь, въ которой мечтами и поэзіей пожертвовано для домашнихъ удобствъ, для экономіи, для порядка, для лѣни. Лѣнь и привычка — два несокрушимые столба, на которыхъ покоится авторитетъ. Авторитетъ представляетъ собственно опеку надъ недорослемъ; лѣнь у людей такъ велика, что они охотно со-

знають себя несовершеннѣйшими или безумными, лишь бы ихъ взяли подѣ опеку и дали бы имъ досугъ ѣсть или умирать съ голоду, а главное—не думать и заниматься вздоромъ. Правда, люди боятся умственной неволи, особенно, когда пилюля не позолочена, когда она груба, нагла; но они вдвое больше боятся отсутствія авторитета, т. е. простора, шири, которая тогда дѣлается; они знаютъ, что человѣкъ слабъ, того и смотри—избалуетъся.

Внѣшній авторитетъ несравненно-удобнѣе: человѣкъ сдѣлалъ скверный поступокъ—его пожурили, наказали, и онъ квити, будто и не дѣлалъ своего поступка; онъ бросился на колѣни, онъ попросилъ прощенья, его, можетъ, и простятъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда человѣкъ оставленъ на самого себя: его мучить униженіе, что онъ отрекся отъ разума, что онъ сталъ ниже своего сознанія, ему предстоитъ трудъ примириться съ собою, не слезливымъ раскаяніемъ, а мужественною побѣдою надъ слабостью. Но побѣды эти не легки. — Первое дѣло, за которое принимаются люди, отбросивъ одинъ умственный авторитетъ, — принятіе другого, положимъ лучшаго, но столько же притѣснительнаго, а если забыть его содержаніе, то и не лучшаго, по очень простой причинѣ, потому-что и люди сдѣлались лучше, слѣдовательно, отношеніе осталось то же. Китаецъ, которому дадутъ пять сотъ бамбуковъ [за нарушеніе какой-нибудь изъ десяти тысячъ церемоній, столько же ими огорчится, сколько Французъ, котораго драму запретятъ играть самымъ учтивѣйшимъ образомъ. Даже такіе привилегированные эманципаторы, какъ Вольтеръ, умѣя кощунствовать надъ религіей, оставались просто идолопоклонниками своихъ вымысловъ и призраковъ.

Моралисты часто умилительно говорятъ о гибельномъ пороѣкѣ властолюбія; властолюбіе, какъ и всѣ прочія страсти, доведенное до крайности, можетъ быть смѣшнымъ, печальнымъ, вреднымъ, смотря по кругу дѣйствій; но властолюбіе само по себѣ вытекаетъ изъ хорошаго источника, изъ сознанія своего личнаго достоинства; основываясь на немъ, человѣкъ такъ бодро, такъ смѣло вступалъ вездѣ въ борьбу съ природою и развилъ въ себѣ ту гордую несгибаемость, которая насъ поражаетъ въ англичанинѣ. Къ тому же, въ нѣсколько устроенномъ обществѣ, властолюбіе, какъ дикая

страсть, является такъ рѣдко, что едва ли стоитъ о немъ говорить. Совсѣмъ иное дѣло умалчиваемая моралистами любовь къ умственной подвластности, къ авторитетамъ, основанная на самопрезрѣніи, на уничтоженіи своего достоинства,—она такъ обща, такъ эпидемически поражаетъ цѣлыя поколѣнія и цѣлыя народы, что о ней стоило бы поговорить; но они молчатъ! Считать себя глупымъ, неспособнымъ понять истины, слабымъ, презрѣннымъ, наконецъ, и получающимъ все свое значеніе отъ-чего нибудь внѣшняго — неужели это добродѣтель?—„Да, я теперь остался круглымъ сиротой, нѣтъ ни отца, ни матери“, говорилъ мнѣ одинъ чиновникъ лѣтъ пятидесяти; онъ въ эти лѣта и совершивъ уже общественную тягу, понимаетъ себя безъ отца и матери *сиротой*, а не самобытнымъ, на своихъ ногахъ стоящимъ человѣкомъ. Не смѣйтесь надъ нимъ: также не самобытна большая часть самыхъ развитыхъ людей; вы у каждаго найдете какое-нибудь карманное идолопоклонство, какое-нибудь дикое понятіе, унаслѣдованное отъ няньки и спокойно прожившее лѣтъ тридцать съ возрѣніемъ, вовсе несвойственнымъ нянькамъ, и, наконецъ, какой-нибудь авторитетъ, безъ котораго онъ пропалъ, безъ котораго онъ круглая сирота.—Вотъ такъ трепещутъ передъ палкой, къ которой привязана козлиная борода—это ихъ шайтанъ. Нѣмцы трепещутъ передъ страшными призраками своей науки. Конечно, отъ грубаго вотяцкаго майтана до шайтана нѣмецкой философіи большой шагъ; но родственныя черты не мудрено раскрыть между ними.—„Я вижу на твоемъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ тебя почитать царемъ“—сказалъ Кентъ безумному Лиру. А мы можемъ сказать многимъ, вичающимся своею умственною независимостію: я вижу на твоемъ челѣ нѣчто такое, что меня заставляетъ назвать тебя рабомъ.

II.

Нѣтъ той всеобщей, истинной мысли, изъ которой бы, вмѣсто расширенія круга дѣйствій, человѣкъ не сплелъ веревку для того, чтобъ ею же потомъ перевязать себѣ ноги, а если можно, то и другимъ, такъ-что свободное произведеніе его творчества дѣлается карательною властью надъ нимъ; нѣтъ того истиннаго, простаго отношенія между людьми, которое бы мы не превратили

во взаимное порабощеніе: любовь, дружба, братство, соплеменность, наконецъ, самая любовь къ водѣ послужили неизсякаемыми источниками нравственныхъ притѣсненій и неволи. Мы здѣсь вовсе не говоримъ о внѣшнихъ стѣсненіяхъ, а о боязливой, теоретической совѣсти людей, о стѣсненіяхъ внутреннихъ, добровольныхъ, отогрѣваемыхъ въ собственной груди, о трепетѣ передъ послѣдствіемъ, о боязни передъ правдой. Человѣкъ стоитъ безпрестанно на колѣняхъ передъ тѣмъ или другимъ,—передъ золотымъ тельцомъ или передъ внѣшнимъ долгомъ; всего чаще, онъ, какъ извѣстный своей разсѣянностью графъ Остерманъ, склоняется передъ своимъ собственнымъ изображеніемъ въ зеркалѣ, передъ фатой—морганой, отражающей ему его самого. Потребность чтить, уважать такъ сильна у людей, что они безпрестанно что нибудь уважаютъ внѣ себя—отца и мать, повѣрья своей семьи, нравы своей страны, науку и идеи, передъ которыми они совершенно стираются. Все это, допустимъ, и хорошо и необходимо, но дурно то, что имъ въ голову не приходитъ, что и внутри ихъ есть достойное уваженія, что они, не краснѣя, вынесутъ сравненіе со всѣмъ уважаемымъ; они не понимаютъ, что человѣкъ, презирающій себя, если уважаетъ что-либо, то ужъ онъ въ прахѣ передъ уважаемымъ, его рабъ, что онъ уже преступилъ святую заповѣдь: „не сотвори себѣ кумира“.

И между тѣмъ дѣйствительно все превращается въ кумиръ, даже логическую истину, даже самую свойственную человѣку форму жизни превращаетъ онъ себѣ въ тяжкій долгъ, онъ заставляетъ себя насильственно повиноваться своему собственному побужденію,—такъ въ немъ искажены всѣ понятія. Если долгъ мною созданъ, то онъ столько же силлогизмъ, выводъ, мысль, которая меня не тѣснитъ, какъ всякая истина, и котораго исполненіе мнѣ не жертва, не самоотверженіе, а мой естественный образъ дѣйствія; мнѣ никто не запрещалъ говорить, что $2 \times 2 = 5$, но я противъ себя не могу этого сказать. Дѣло все состоитъ въ томъ, что моралисты главнымъ основаніемъ своего ученія кладутъ глубокую истину, что человѣкъ отъ природы злодѣй и извергъ, изъ чего и выводятъ, что онъ долженъ быть добродѣтеленъ. Отчего же ни одинъ звѣрь не имѣетъ отъ природы развратныхъ побужденій, т.

е: такихъ, которыя были бы несвойственны и вредны его формѣ бытія? Странная была бы исключительная привилегія чловѣка (*homo sapiens*. Linn.) быть въ противорѣчій съ своими опредѣленіями, съ своимъ родовымъ значеніемъ и притягиваться къ нему на арканѣ. Еслибъ это было въ самомъ дѣлѣ такъ, то надлежало бы заключить, что или чловѣкъ нелѣпы, или что долгъ нелѣпы, т. е. не выражаетъ его назначенія. Быть *чловѣкомъ* въ чловѣческомъ обществѣ вовсе не тяжкая обязанность, а простое развитіе внутренней потребности; никто не говоритъ, что на пчелѣ лежитъ священный долгъ дѣлать медъ: она его дѣлаетъ потому, что она пчела. Чловѣкъ, дошедшій до сознанія своего достоинства, поступаетъ чловѣчески потому, что ему такъ поступать естественнѣе, легче, свойственнѣе, пріятнѣе, разумнѣе; я его не похваляю даже за это, онъ дѣлаетъ свое дѣло, онъ не можетъ иначе поступать, такъ какъ роза не можетъ иначе пахнуть. „Поэтому всѣ сознательные люди будутъ героями добродѣтели, самоотверженія и проч.“ Нисколько. Дѣлать героическіе подвиги принадлежать натурѣ героической, такъ какъ творить художественныя произведенія принадлежитъ поэту. Но не дѣлать ничего противочловѣческаго принадлежитъ всякой чловѣческой натурѣ, для этого не требуется даже много ума; никому не даю я права требовать отъ меня героизма, лирическихъ поэмъ и проч., но всякому принадлежитъ право требовать, чтобъ я его не оскорбилъ, и чтобъ я не оскорблялъ его—оскорбленіемъ другаго. Чловѣкъ, не дошедшій до сознанія—дитя, больной, не полный чловѣкъ, недоросль; онъ виѣ закона нравственнаго, потому-что онъ его не понимаетъ своимъ закономъ; за это, хотя онъ и вѣренъ своей стѣпени развитія, покоряясь страстямъ больше разума,—его должно силою заставить покориться, на томъ основаніи, на которомъ приказываютъ дѣтямъ безусловно исполнять волю старшихъ, или, если хотите, изъ тѣхъ началъ, по которымъ сажаютъ сумасшедшаго на цѣпь. Сомнительно, чтобъ виѣшнія мѣры исправили кого-нибудь, но онъ держать въ страхѣ—и цѣль достигнута. Уголовные законы составляются въ пользу общества, а не въ пользу преступника. Здѣсь дѣло въ томъ, чтобъ заставить лицо исполнить общую волю, и въ большей части случаевъ развитый чловѣкъ ей уступить; если не

по охотѣ, то по расчету онъ долженъ покориться, потому-что онъ слабѣйшій; имѣи онъ достаточно силы, онъ вышелъ бы на борьбу съ ложнымъ въ его глазахъ началомъ, такъ какъ Сократъ. Лицо можетъ столько же забѣжать противъ общества, сколько отстать, въ обоихъ случаяхъ можно обуздать, понудить лицо, по мѣрѣ его дѣяній и ихъ несоответственности съ общепринятымъ, но это все не выгода и прелесть общественной жизни, а необходимость ея, невыгода, жертва, которую лицо приносить ей, а жертва никогда не бываетъ наслажденіемъ; я, по крайней мѣрѣ, не знаю радостныхъ жертвъ; тутъ есть *contradictio in adjecto*, потому-что радостная жертва вовсе не жертва. Но моралисты вздумали придать какой-то абсолютно-высокій характеръ обыкновеннымъ полицейскимъ мѣрамъ, которыя не болѣе какъ справедливы въ юридическомъ смыслѣ, и необходимы для столкновений въ обществѣ. Представляя себѣ слишкомъ отвлеченно и односторонне идею долга, они захотѣли, чтобы и въ политическомъ мірѣ человѣкъ предупредительно, добровольно жертвовалъ собою и всѣмъ своимъ....

III.

Ничто въ свѣтѣ не поддерживаетъ такъ сильно людей въ искаженномъ пониманіи, какъ нашъ условный и до крайности невѣрный языкъ; мы нехотя безпрестанно лжемъ, мы говоримъ готовыми типами, и типы эти беремъ изъ двухъ совершенно прошедшихъ міросозерцаній — римскаго и феодальнаго; мы словами своими мѣшаемъ понимать просто и ясно свою же мысль. Это и грустно, и досадно, и смѣшно! Что такое эгоизмъ? Сознаніе моей личности, ея замкнутости, ея правъ, что ли? Или что нибудь другое? Гдѣ оканчивается эгоизмъ и гдѣ начинается любовь? Да и дѣйствительно ли эгоизмъ и любовь противоположны; могутъ ли они быть другъ безъ друга? Могу ли я любить кого нибудь не для себя; могу ли я любить, если это не доставляетъ *мнѣ*, именно *мнѣ* удовольствія? Не есть ли эгоизмъ одно и то же съ индивидуализаціей, съ этимъ сосредоточиваніемъ и обособленіемъ, къ которому стремится все сущее, какъ къ послѣдней цѣли. Всего меньше эгоизма въ камнѣ; у звѣря эгоизмъ сверкаетъ въ глазахъ; онъ дикъ и исключителенъ у дикаго человѣка, не сливается ли онъ

съ высшей гуманностью у образованнаго? Вы думаете, что моралисты разрѣшили эти вопросы; нѣтъ, они отдѣляются доблестнымъ негодованіемъ противъ всего эгоистическаго; они знаютъ, что эгоизмъ значительный порокъ; имъ этого довольно; ихъ безпорочная натура мечетъ громы на него и не унижается до пониманія. Странные люди! Въмѣсто того, чтобъ именно на эгоизмъ, на этомъ въ глаза бросающемся грунтѣ всего человѣческаго, создать житейскую мудрость и разумныя отношенія людей, они стараются всѣми силами уничтожить, замарать эгоизмъ т. е. срыть *die feste Burg* человѣческаго достоинства и сдѣлать изъ человѣка слезливаго, сентиментальнаго, прѣснаго добряка, напрашивающагося на добровольное рабство. Слово *эгоизмъ*, какъ слово *любовь*, слишкомъ общи: можетъ быть гнусная любовь, можетъ быть высокій эгоизмъ, и обратно. Эгоизмъ развитаго, мыслящаго человѣка благороденъ, онъ-то и есть его любовь къ наукѣ, къ искусству, къ ближнему, къ широкой жизни, къ неприкосновенности и проч.: любовь ограниченнаго дикаря, даже любовь Отелло—высшій эгоизмъ. Вырвать у человѣка изъ груди его эгоизмъ, значить вырвать живое начало его, закваску, соль его личности; по счастью, это невозможно и напоминаетъ только того почтеннаго моралиста, который отучилъ свою лошадь отъ эгоистической привычки ѣсть, и очень сердился, что она умерла, какъ только стала отвыкать отъ пищи...

Что мы сказали объ эгоизмѣ, тоже должно сказать о своеволіи. Мининъ началъ *своевольно* великое дѣло возстанія противъ чужеземнаго порабощенія. Неужели его своеволіе похоже на своеволіе пьяницы, придирающагося къ прохожимъ? Я полагаю, что разумное признаніе своеволія есть высшее нравственное признаніе человѣческаго достоинства, что до него и домогаются всѣ. Отчего эти недоразумѣнія, этотъ смутный хаосъ понятій? — Отъ дурной привычки брать и понятія и слова безъ анализа; а унаслѣдовали ихъ отъ схоластики. Жизнію люди стали выше этой унижающей точки зрѣнія, но изъ учтивости и по скверной привычкѣ остаются при старомъ языкѣ; и таково странное право словъ: мы чувствуемъ, что неладно, что не такъ выражаемся, но не языкъ отбрасываемъ, а принимаемъ превратный образъ. Мы перетащили изъ

средневѣковаго міра натянутую, романтико-мистическую обстановку всѣхъ наипростѣйшихъ истинъ и затемнили ихъ. Обстановка эта всему придаетъ, какъ освѣщеніе бенгальскимъ огнемъ, странный и изуродованный видъ. Мораль наша еще въ феодальной одеждѣ, но уже въ полинялой и истасканной; ея оружія заржавѣли и притупились, утратили свою рѣзкость и сдѣлались площе. Слагающаяся новая жизнь, непризнанная въ сферѣ морали, почва совершенно неудобная для такихъ сѣмянъ. Она и не пустила корней. Возьмите обыкновенную свѣтскую мораль — все это до такой степени не истинно, перемѣшано изъ разныхъ началъ, такъ нелѣпо, шатко, бѣдно, что жалъ видѣть добросовѣстную преданность проповѣдующихъ ее. Когда для морали былъ одинъ источникъ — религія, тогда она послѣдовательна; она стройно шла изъ одного начала. Новый человѣкъ, этотъ Криспинъ, слуга двухъ господъ, хотѣлъ сохранить выводы прежней морали, но источникомъ ей поставилъ отвлеченный долгъ; можете себѣ представить плоды такой логики! Отшатнувшись отъ твердаго берега, люди испугались; имъ, привыкшимъ къ мрачнымъ сводамъ, къ освѣщенію свѣчами, къ сырому воздуху каменныхъ стѣнъ, сдѣлалось невыносимо тяжело на чистомъ полѣ, отъ воздуха, отъ солнца, отъ отсутствія стѣнъ, отъ безграничной дали и возможности идти во всѣ стороны. Со страху они построили на скорую руку досчатый балаганъ нашей морали и подумали, что это новый храмъ, въ то время, какъ въ сущности этотъ балаганъ не что другое, какъ временной лазаретъ.

Желаніе выйти изъ романтизма ощутительно, но робко покидаемъ мы его; насъ гнететъ вліяніе пугающихъ мечтаній и привычныхъ грезъ, и мы равно не имѣемъ геройства ни воротиться къ средневѣковымъ воззрѣніямъ, ни пожертвовать ими; мы краснѣемъ еще при мысли, что у насъ есть тѣло, и не вѣримъ, что мы духи; у насъ въ памяти глубоко вкоренились клеветы, подъ вліяніемъ которыхъ мы думаемъ нашу думу, и готовые образы, отъ которыхъ мысль наша отстать не можетъ. Съ грустью говорилъ ужъ объ этомъ Гегель; вотъ слова его: „Мы всѣмъ нашимъ образованіемъ погружены въ фантастическія представленія, которыя трудно переступить. Древніе мыслители были совѣмъ не въ томъ положеніи;

обычныя къ чувственному созерцанію, они не имѣли ничего впереди идущаго, кромѣ небесъ сверху и земли внизу. Мысль вольно мирилась и сосредоточивалась въ этомъ мірѣ, и сосредоточивалась свободная отъ всякаго даннаго содержанія: то было вольное выплываніе въ ширь, гдѣ ничего нѣтъ ни подъ нами, ни надъ нами, гдѣ мы остаемся наединѣ съ собою....“

Encyclop. Tom. I.

С. Соколово. Іюль, 1846 г.

обязаны къ удовлетворенному сообщению, они не могли пригласить
на выставку, а потому и не могли выиграть. Между тем
выставка и конкурсы были въ этом году, и конкурсы были
выставлены для всенароднаго ознакомления, то было сделано въ
интересахъ науки, а потому и не могло не быть на выставку.

Печатно Том I.

VIII.

НѢСКОЛЬКО ЗАМѢЧАНІЙ

ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІИ ЧЕСТИ.

III

ИСКОВОГО ЗАМКА И

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ

НѢСКОЛЬКО ЗАМѢЧАНІЙ

ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІИ ЧЕСТИ.

Noblesse oblige!

Западная поговорка.

Il me serait bien difficile de te faire sentir
ce que c'est (*le point d'honneur*), car nous
n'en avons point précisément l'idée.

Usbeck à Ibben.

(Восточныя письма Монтескьё.)

Часто споры бываютъ поводомъ къ поединку; недавно случился противоположное: какой-то поединокъ подалъ поводъ къ безконечнымъ спорамъ. Одни горячо защищали поединки, другіе предавали ихъ проклятію. „Дерзкое самоубійство“—говорили одни. „Но кто же лучше меня самого управится въ собственномъ дѣлѣ?“—отвѣчали другіе. „Убійство“—говорили одни. „Война“—отвѣчали другіе. Между этими противоположными воззрѣніями образовалась благоразумная середина, которая находила, что теоретически оправдать дуэль также невозможно, какъ практически избѣжать ея, основываясь на премудромъ правилѣ, что „такъ должно быть“ противоположно съ „тѣмъ, что есть на самомъ дѣлѣ.“—Разумѣется, что всѣ эти споры кончились, какъ всегда, совершеннымъ затемнѣніемъ вопроса и ожесточенной упорностью каждаго въ своихъ мнѣніяхъ. Главный порицатель дуэлей до того разгорячился, что чуть не вызвалъ рыцарственного защитника ихъ.

Возвратившись домой послѣ горячаго пренія и вспоминая на досугъ все слышанное и говоренное, я увидѣлъ, что вопросъ этотъ

несравненно глубже и сложнѣе, и что его не разрѣшишь ни па-негирикомъ, ни порицаньемъ.

Новое законодательство всѣхъ европейскихъ государствъ осудило поединки, поставило ихъ почти рядомъ съ убійствомъ, но поединки не искоренились. Несмотря на запрещеніе Густава Адольфа, дрались подъ висѣлицей; несмотря на мѣры Рипшелье, дрались передъ плахой. Судьи твердые и нелицепріятные во всѣхъ случаяхъ бываютъ снисходительны къ дуэлистамъ; общественное мнѣніе за нихъ; человѣкъ, защищавшій честь свою поединкомъ, уважается. Всѣ мслящіе люди отказываютъ не только отдѣльному лицу, но и цѣлому обществу въ правѣ убійства, и большая часть утверждаетъ въ тоже время, что дуэль—неизбѣжное зло, единое возможное огражденіе неприкосновенности лица отъ оскорбленія. Такое противорѣчіе законодательства съ общественнымъ мнѣніемъ, практическаго приложенія съ теоретическимъ понятіемъ прямо ведетъ къ вопросу: „на какомъ основаніи держится поединокъ въ образованнѣйшихъ странахъ Европы?“

Много было писано о поединкахъ, начиная съ Брантома; но ихъ разсматривали такъ, какъ наши милые спорщики, съ произвольныхъ точекъ зрѣнія и подъ вліяніемъ незыблемыхъ предразсудковъ или готовыхъ понятій. Бранили поединки на основаніи неприлагаемой, мечтательной морали и, вмѣсто обсуживанія дѣла, высказывали холодныя реторическія фразы о смиренномъ прощеніи; бранили ихъ на основаніи юридическомъ, которое требуетъ, чтобъ дѣло обиды было рѣшено не обиженнымъ, а судьей; осуждали ихъ съ точки зрѣнія римскаго права, не отстранивъ предварительно феодальнаго понятія о личности, твердо стоящей за свои права. Вопросъ о томъ, почему римское понятіе о государствѣ единственно истинно, и почему феодальное понятіе о личности, о ея наслѣдственныхъ, семейныхъ и политическихъ правахъ, развитое средними вѣками, неизмѣнно, не былъ рѣшаемъ даже въ такое время, которое, повидимому, отрекалось отъ всего феодальнаго, во время переломовъ. Лучшее доказательство, что человѣкъ остался при своемъ прежнемъ понятіи о себѣ и о государствѣ. Современный человѣкъ думаетъ, что средніе вѣка далеко отъ него, а они въ немъ: онъ тотъ же рыцарь, но переложенный на другіе нравы.

Не имѣя возможности, по многимъ причинамъ, представить историческую монографію о поединкахъ, я хотѣлъ сколько-нибудь способствовать къ уясненію вопроса, занимавшаго спорившихъ пріятелей, и съ этой цѣлью написалъ сжатый историческій очеркъ развитія чести, представляя имъ вывести послѣдствія какія угодно. Я нигдѣ не защищаю дуэли и нигдѣ не браню ея.

Бранить или хвалить какой-нибудь всеобщій историческій фактъ дѣло совершенно праздное, извиняемое только благороднымъ увлеченіемъ, въ силу котораго вырываются рѣчи негодованія или восторга. Довѣріе къ роду человѣческому требуетъ на столько уваженія къ вѣковымъ явленіямъ, чтобъ и отрѣшался отъ нихъ, не порицать ихъ: въ этомъ много суетности и легкомыслія; дикіе съ честью хоронятъ умершихъ, а не ругаются надъ трупами. Кто бранится, тотъ не выше бранимаго; бранятся тамъ, гдѣ не достаеъ доказательствъ. И какая цѣль подобныхъ разглагольствованій? Исправленіе нравовъ развѣ? Я думаю, выросшаго человѣка мудрено исправить педагогическими средствами и благороднымъ негодованіемъ, когда онъ плохо исправляется уголовными средствами и негодованіемъ палача. Достигайте, чтобъ онъ понималъ истину: это будетъ вѣрнѣе; итти далѣе, хвалить или порицать показываетъ неуваженіе къ его смыслу. Сказать, что поединокъ зло, нелѣпность, преступленіе, легко и справедливо, но недостаточно; неужели же нѣтъ причинъ, почему это зло, эта нелѣпность сохранилась до сихъ поръ? Если же вмѣсто порицанія и односторонняго сужденія, мы разберемъ и внутреннюю сторону предмета, тогда мы узнаемъ общія основанія, на которыхъ опирался поединокъ, и легко можетъ быть найдемъ связь его съ другими явленіями, ихъ круговую поруку; такой разборъ можетъ насъ привести въ свою очередь какъ бы въ вознагражденіе за то, что мы узнали историческое основаніе факта, отвергаемаго нами, къ раскрытію неразумности фактовъ, незыблемо признаваемыхъ нами; *et c'est autant de pris sur le diable*, какъ говорятъ французы. Рѣзкость одностороннихъ сужденій на первую минуту ослѣпляетъ въ нихъ больше характернаго, опредѣленнаго; но если вглядѣться имъ прямо въ глаза, тощестъ ихъ тотчасъ открывается. „Всего рѣзче ви-

дять одну сторону—сказалъ Аристотель—тѣ, которые видятъ мало сторонъ“.

I.

У человѣка, вмѣстѣ съ сознаніемъ, развивается потребность *ничто свое* спасти изъ вихря случайностей, поставить неприкосновеннымъ и святымъ, почтить себя уваженіемъ его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь въ длинный рядъ превращеній чтиваго, мы увидимъ, что основа ему ничто иное, какъ чувство собственнаго достоинства и стремленіе сохранить нравственную самобытность своей личности, и то и другое сначала въ формахъ дѣтскихъ, потомъ отроческихъ, какъ во всякомъ человѣческомъ развитіи. Сначала это чувство выражается въ семейныхъ отношеніяхъ, въ фанатической привязанности къ роду, племени, обычаю, преданію, къ *своимъ* богамъ въ противоположность сосѣдскимъ. Потомъ она является свято-уважаемымъ *общимъ дѣломъ* (*res publica*); государство, городъ поглощаетъ еще человѣка, но уже онъ силенъ своимъ гражданскимъ значеніемъ. Неудовлетворенный однакожъ общимъ дѣломъ, человѣкъ ищетъ свое дѣло, обращается внутрь себя, въ груди своей начинаетъ открывать нѣчто твердое и неизблемое, въ себѣ находитъ мѣрило своего достоинства и хладнокровно смотритъ на племя, на городъ, на государство: тогда быстро развивается въ немъ понятіе *чести и собственного достоинства*. Но это еще не все. Переносъ въ грудь свою свое чтимое, человѣкъ переноситъ его на истинную почву; но какова эта грудь? Можетъ быть онъ понимаетъ себя не такимъ, какимъ онъ дѣйствительно есть—ниже и выше, духовнѣе и животнѣе, затеряннымъ въ общинѣ и одинокимъ въ себѣ самомъ; наконецъ, можетъ быть его грудь, въ которую онъ переноситъ кивотъ свой, не его грудь, можетъ быть, свободный отъ прежнихъ узъ, онъ перевязанъ новыми; а какимъ онъ себя понимаетъ, такъ пойметъ онъ и свою честь. „Основа чести можетъ быть нравственна и необходима, можетъ быть случайна и безсмысленна“, но всегда и вѣчно она есть „отраженіе человѣкомъ своей самобытности“, (*) сообразно тому, какъ онъ ее понимаетъ, или, вѣрнѣе, какъ ее понимаетъ его эпоха.

*) Hegel, Aesthetik T. II. Romantische Kunst-Ehre.

Три великія эпохи жизни человѣчества представляютъ намъ тѣ три разныя пониманья человѣческаго достоинства, до которыхъ мы коснулись. Востокъ представляетъ низшую ступень древняго понятія о личности; она почти затеряна въ племенахъ, въ царствѣ. Греко-римскій міръ съ своими гражданами — высшее его развитіе. Основа человѣческаго достоинства обоими была понята внѣ человѣка. Наконецъ средніе вѣка обернули вопросъ: существеннымъ сдѣлалась личность, несущественнымъ — *res publica*. Самая эта исключительность указываетъ на необходимую односторонность послѣдствій. Жизнь общественная — такое естественное опредѣленіе человѣка, какъ достоинство его личности. Безъ сомнѣнія, личность дѣйствительная вершина историческаго міра: къ ней все примыкаетъ, ею все живетъ; всеобщее безъ личности — пустое отвлеченіе: но личность только и имѣетъ полную дѣйствительность по той мѣрѣ, по которой она въ обществѣ. Аристотель превосходно называлъ человѣка — „*зоонъ политиконъ*“. Истинное понятіе о личности равно не можетъ опредѣлиться ни въ томъ случаѣ, когда личность будетъ пожертвована государству, какъ въ Римѣ, ни когда государство будетъ пожертвовано личности, какъ въ средніе вѣка. Одно разумное, сознательное сочетаніе личности и государства приведетъ къ истинному понятію о лицѣ вообще, а съ тѣмъ вмѣстѣ къ истинному понятію о чести. Сочетаніе это — труднѣйшая задача, поставленная современнымъ мышленіемъ; передъ нею остановились, пораженные несостоятельностью разрѣшеній, самые смѣлые умы, самые отважные пересоздатели общественнаго порядка, грустно задумались и почти ничего не сказали. Мы не беремся дотрогиваться до нея, но думаемъ однако, что она не разрѣшена механическими опытами сочетать феодальную личность съ римскимъ понятіемъ государства; это одно перемирье, т. е. такое соединеніе враждебныхъ началъ, при которомъ каждый остается при своей неприязни, но, уступая внѣшнимъ обстоятельствамъ, не дерется, а протягиваетъ руку врагу. Конечно жизнь, несмотря на всѣ ученія о политикѣ и о правѣ, дѣлаетъ свое дѣло, роется кротомъ и вездѣ прорывается къ свѣту; въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, иначе мы не дошли бы не только до рѣшеній, но и до положенія вопросовъ, а это дѣло важное; правильно понятый вопросъ — поль-

отвѣта. Однако нельзя не сознаться, что въ самой философіи права, въ самихъ утопіяхъ разныхъ толковъ господствуютъ одни отжившія или отживающія понятія о государствѣ и о личности. Впрочемъ намъ не нужно разрѣшенія этой задачи, цѣль наша ограниченная: мы имѣемъ только въ предметъ указать круговую поруку поединка съ пониманьемъ правъ личности, отъ восточной непосредственности до щепетильнаго *point d'honneur* французскаго дворянина.

II.

Людямъ надобно было все дѣтское довѣріе и всю беззаботность животнаго, всю настойчивость и упорность естественнаго побужденія, чтобы своими разрастающимися семьями обжить землю. Жизнь семьями обусловила возможность всего человѣческаго развитія. Конечно, семьи не оттого не расходились, что была при этомъ какая-нибудь мысль; разумъ еще дремалъ тогда у человѣка, и ему достаточно было той низшей степени разсудка,¹ которая совпадаетъ съ самымъ органическимъ процессомъ, въ силу которой, на примѣръ, новорожденный ищетъ пищу ртомъ въ первый день своего рожденія. Люди жили семьями, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, которымъ руководствуются животныя породы, скитающіяся стадами, собирающіяся въ рои. Забытый и неизвѣстный трудъ дикаго человѣка былъ тягостенъ, онъ облегчался одною грубостью обреченнаго на этотъ трудъ. Вѣками, и вѣками усилій приладился человѣкъ къ грозной, беспощадной средѣ и ее приладилъ къ себѣ: казалось, стихіи ежеминутно могутъ, съ мощнымъ безстрастіемъ своимъ, съ непреодолимой силой уничтожить безслѣдно это слабое существо, и, вѣроятно, не одна тысяча легла, подавленная невнимательной природой, строго исполнявшей законы свои возлѣ нихъ; но это слабое существо имѣло передъ окружавшей его природою большое преимущество—преимущество хитрости, уловокъ, которыми развитое животное достигаетъ своихъ цѣлей, а среда не имѣла ничего враждебнаго противъ его работы. Тысячи темныхъ и неизвѣстныхъ намъ поколѣній удобрили костями своими землю, прежде нежели сознаніе на столько развилось, что стало поминать свое бывшее, что это *бывшее* сдѣлалось достойно памяти, и тутъ, черезъ эти

тысячелѣтія, какимъ мы встрѣчаемъ человѣка? Онъ еще не можетъ притти въ себя, опомниться; онъ побѣдиль, но съ робостью въ душѣ, но съ сознаніемъ силы природы и своего безсилія; онъ еще съ ужасомъ смотрѣлъ на стихіи, подкладывая имъ злобныя мысли, повергался въ прахъ передъ ихъ грозной и враждебной мощью и просилъ пощады; дикая молитва его была воплемъ страха, въ которомъ еще не звучали титановскія ноты Прометея.

Одинъ оплотъ, одинъ отдыхъ, одна надежда для человѣка была семья, племя, эта кучка, сросшаяся отъ единства интересовъ и единства опасностей, отстоявшая себя противъ стихій, звѣрей и враговъ, начавшая хранить свое преданіе и свой обычай. Далекій отъ сознанія своей самобытности, человѣкъ поглощался племенемъ, семьею; все чтимое имъ было внѣ его. То были невѣдомыя силы природы, которымъ онъ началъ придавать человѣческія свойства въ уродливыхъ размѣрахъ, и патріархальныя отношенія къ семьѣ, въ которой личность была ничтожна, а родъ неприкосновененъ, святъ. На этихъ-то началахъ развились колоссальныя азійскія монархіи. Въ самомъ высшемъ гражданскомъ развитіи своемъ азіятецъ считалъ себя несовершеннolѣтнимъ сыномъ, рабомъ; понятіе раба его не унижало, скорѣе его унизило бы названіе вольнаго человѣка: ему бы показалось, что это слово значить — бродяга, бездомовникъ, изгнанный измаилъ, непринятый ни въ какое племя; а что же онъ значить одинъ? Но какъ бы то ни было, признавая себя рабомъ, несовершеннolѣтнимъ сыномъ, онъ не могъ развитъ въ себѣ понятія о человѣческой личности; рабъ—вещь; истинная личность его въ господинѣ, котораго онъ членъ, органъ. Рабу трудно нанести оскорбленіе: онъ или не доросъ до того, чтобъ понять его, или перенесъ уже безусловное оскорбленіе утратою всѣхъ человѣческихъ правъ и примиреніемъ съ этой утратой. Однако, могъ ли восточный человѣкъ оставаться безъ всякаго понятія о чести? Ни подъ какимъ видомъ. Это также невозможно для человѣка, живущаго въ гражданскомъ обществѣ, какъ невозможно бы было себѣ представить дѣйствительное понятіе о достоинствѣ человѣка у азіятца. Такъ на Востокѣ не могли развиться поединки въ нашемъ смыслѣ; но тѣмъ страшнѣе и злобнѣе развилась месть, всего чаще не за собственную обиду, а за обиду семьи, обычая;

въ Японіи оскорбленный разрываетъ свой животъ—новое доказательство, что у нихъ не развито ни тѣни истиннаго понятія о безконечномъ достоинствѣ человѣческомъ; японецъ не находитъ въ себѣ средства очищенія, онъ не находитъ того мѣста, которое выше обиды, которое примирится уничтоженіемъ оскорбителя; онъ можетъ смыть обиду только самоубійствомъ. Притомъ азіятцы мелочно раздражительны, у нихъ казуистика чести развилась не хуже средневѣкового, но все это одинъ пустой формализмъ, что-то условное; такъ въ азіятскихъ царствахъ до смѣшного развились внѣшніе знаки, почести, учтивости, т. е. все негодное или по крайней-мѣрѣ пустое, сопровождающее понятіе о личномъ достоинствѣ, безъ истиннаго смысла его.

Личность азіятскихъ властелиновъ была единая человѣческая личность на Востокѣ, и дѣйствительно одни они въ Азіи понимали честь и вступались за нее. Высоко поставленную личность ихъ было трудно оскорбить; рабами она обидѣться не могла; обида существуетъ собственно между личностями, признающими взаимныя права; цари могли оскорблять другъ друга, и въ этихъ рѣдкихъ случаяхъ царства дрались, опустошались: вотъ поединокъ востока. Отсутствіе сознанія личнаго достоинства, неотрѣшенность отъ физическихъ опредѣленій, несчастья, неразрывныя съ дѣтствомъ, погубили Азію. Взгляните на эти чудовищныя царства, возникающія съ притязаніемъ на покореніе вселенной и удивляющія сперва страшной силой, потомъ страшной слабостью: они сходятъ съ поприща исторіи, дряхлыя въ юности, или остаются въ жалкой дремотѣ: безъ нравственной личности нѣтъ движенія, прочности, развитія. Смутное понятіе чести выражалась у азіятца слѣдой преданности семьѣ, племени, кастѣ. Помните ли вы, какъ Ксерксъ подвергался опасности на морѣ, и кормчій объявилъ, что корабль грузенъ; царедворцы не задумались погибнуть для спасенія Ксеркса: медленно выходилъ каждый изъ рядовъ, приближался къ царю, склонялся передъ нимъ, потомъ твердыми шагами шелъ къ борту и кидался въ море. Это восточныя термонилы; царедворцы поступили совершенно послѣдовательно. Любимецъ Дарія-Истаспа, видя, что онъ хочетъ снять осаду Вавилона, обрубилъ себѣ уши и носъ и въ этомъ жалкомъ видѣ передался вавилонянамъ, прося отмще-

нія и говоря, что его изуродовалъ Дарій. Вавилоняне сдѣлали его военачальникомъ, и онъ предательски отдалъ ихъ городъ Дарію-Истаспу. Сколько тутъ самоотверженія! Это восточный Баярдъ.

Понятіе о личности является сознаннымъ въ отношеніи къ государству въ мірѣ греко-римскомъ. Личность неразрывна съ понятіемъ гражданина, она не свободна еще въ отношеніи къ себѣ: восточное поглощеніе всѣхъ личностей одною повторяется и здѣсь, но мѣсто случайнаго лица занимаетъ нравственное, міеическое лицо города. Каждый гражданинъ сознавалъ въ самомъ себѣ долю идеальной, царящей личности города или отечества, и эта доля была неприкосновенная, святая святыхъ его души. Патріотизмъ грека и римлянина былъ раздражителенъ и не выносилъ никакой обиды; въ немъ заключался древній *point d'honneur*.Themistoklēs, сказавшій: „бей, но дай высказать,“ тѣмъ ярче выражаетъ греческое понятіе чести, что оно въ этомъ случаѣ прямо противоположно средневѣковому понятію. Но *общее*, чтимое, святое было понято опять подъ опредѣленіемъ непосредственности и внѣшности; личность человѣка и его достоинство поглощались достоинствомъ гражданина, а значеніе гражданина было основано на случайности мѣсторожденія, его права были права монополіи; свободы въ древнемъ мірѣ не было; свободенъ былъ Римъ, Аѣины, а не люди. Граждане древняго міра—сказалъ не помню какой-то историкъ—потому считали себя свободными, что всѣ участвовали въ правленіи, лишившемъ ихъ свободы. Уваженіе къ себѣ, какъ къ гражданину, было недостаточно; оно не помѣшало ни кліентизму, ни обоготворенію цезарей. Римскій гражданинъ, глубоко развращенный невольничествомъ, привычкой считать, сверхъ невольниковъ, всѣхъ иностранцевъ полулюдьми, врагами, варварами, не нашелъ въ душѣ своей никакой нравственной опоры, когда Римъ сталъ падать, да и Римъ, съ своей стороны, не нашелъ опоры въ своихъ гражданахъ. Катонъ и множество другихъ республиканцевъ, консерваторовъ, увидавши, что Римъ падаетъ, лишили себя жизни и поступили совершенно послѣдовательно римскому понятію о чести. Чтѣ оставалось въ ихъ жизни? Развѣ она имѣла значеніе, независимое отъ Рима? Значеніе не національное, а человѣческое? Нѣтъ. Правда, Сецека сталъ поговаривать о неотъемлемомъ достоинствѣ

человѣка, присущемъ ему потому, что онъ человѣкъ, но Сенека родился послѣ смерти республики и въ то время, какъ иной духъ началъ вѣять въ самомъ Римѣ. — Такъ какъ истинныя личности были въ греко-римскомъ мірѣ—города, то и поединки могли быть, въ нѣкоторомъ смыслѣ, только между городами или республиками; Аѳины и Спарта всю жизнь провели въ дуэляхъ. Между частными людьми въ Римѣ поединка не могло быть потому, что дѣла чести рѣшались цензурой. Государство имѣло право отнять все нравственное значеніе гражданина. Если и случалось что-нибудь въ родѣ поединковъ, то основа ихъ была непременно патріотическая: такова дуэль между Гораціями и Куріаціями. Греческая философія и римская цивилизація приготовили переходъ къ тѣмъ понятіямъ о личности, которая возвыстилась людямъ Евангеліемъ, и если Аристотель былъ на столько грекъ, что дѣлилъ натуру человѣческую на свободную и рабскую, то Юлій Цезарь былъ на столько человѣкъ новаго міра, что жалѣлъ рабовъ и гладіаторовъ; очень понятно, почему первый примѣръ гуманности представляетъ именно тотъ человѣкъ, который нанесъ смертельный ударъ республикѣ. Неблагопристойныя ругательства Цицерона, въ полномъ засѣданіи Сената, противъ Антонія, котораго онъ обвиняетъ, между прочимъ, въ томъ, что онъ пьяный бѣгалъ безъ всякой одежды по улицамъ, вызвали отвѣтъ одного сенатора, который также обругалъ Цицерона и заключилъ, что если Цицеронъ носить длинную тогу, то это для прикрытія своихъ отвратительныхъ ногъ. Примѣръ этотъ показываетъ, что уваженіе къ личности мало было развито въ Римѣ, что всего ярче выразилось въ отвратительномъ отношеніи патрона и кліентизма.

III.

Личность христіянина отрѣшается отъ древняго гражданскаго опредѣленія. Спаситель зоветъ мытарей и женщинъ, отворяетъ царство Божіе разбойнику, безщадно казненному закономъ гражданскимъ. Слово: невольникъ, рабъ, становится богохульствомъ, нищета—достоинствомъ, національность теряетъ смыслъ въ отношеніи къ единственной паствѣ, къ единой церкви; любовь къ отечеству уступаетъ первенство любви къ ближнему. Личность хрис-

тіанина не только освобождалась отъ своего гражданскаго и исключительно національнаго опредѣленія: она стремилась освободиться и отъ всего земнаго; она совлекла съ себя стараго Адама, т. е. всю сторону непосредственную, тѣлесную, земную любовь, земное семейство, земныя страсти, земную мудрость, земное богатство, даже земное тѣло. Но братственная община, о которой говоритъ Евангелистъ Лука въ Дѣянїяхъ, незнавшая права собственности, имѣвшая одну душу и одно сердце, распространяясь, встрѣтилась съ государствомъ. Ничего не могло быть противоположнѣе христїанскимъ началамъ, какъ понятіе о государствѣ, развившееся въ римской имперїи того времени. Діоклеціанъ, первый восточный царь римскій замѣтилъ противорѣчіе азїятско-римскаго понятія о государствѣ съ христїанскимъ, онъ съ свирѣпостью челоуѣка, непонимающаго духъ времени, гналъ огнемъ и мечемъ юную церковь. Но дѣлать было нечего; имъ надобно было помириться. Государство было необходимо для христїанъ: эта была доля кесаря, которую надобно было предоставить кесарю. При такомъ противорѣчїи совѣсти съ гражданскимъ порядкомъ, частнаго съ общимъ, нельзя было развиваться,—можно было остановиться, потерять всякую силу и строеніе и держаться потому только, что еще паденіе не совершилось. Это доказываетъ та часть римской имперїи, которая осталась вѣрною древнему государству и которая разлагалась до XV столѣтія. Дѣйствительное примиреніе вышло нндѣ.

Съ своей стороны, ничего не можетъ быть противоположнѣе не только восточному рабу, теряющемуся въ племени, но и римскому гражданину, поглощенному своимъ государственнымъ значеніемъ, какъ германецъ, боящійся всякой централизаціи и предпочитающій дикую независимость удобствамъ гражданской жизни. Германцы жили кучками, общинами, знаменами или дружинами; они почти не принадлежали землѣ, на которой родились, носили родину съ собой и вездѣ были дома. Когда хаотическое броженіе переселеній, завоеваній, перваго устройства, успокоилось, когда германцы приняли христїанство, когда весь этотъ новый міръ началъ слататься, принимая въ себя и остатки древней цивилизаціи и новую религію, для того, чтобъ ими развивать свою собственную

сущность, тогда первымъ полнымъ и органическимъ слѣдствіемъ взаимнаго проникновенія этихъ элементовъ является *рыцарство*. Рыцарствомъ вооруженная ватага кондотьеровъ, наѣздниковъ, необузданныхъ воиновъ поднялась изъ міра грабежей и насилія въ феодальное благоустройство. Ключемъ свода этого готическаго братства, этихъ военныхъ гражданъ, единственныхъ правовѣрныхъ людей того времени, была безпредѣльная самоувѣренность въ достоинствѣ своей личности и личности ближняго, разумѣется, признаннаго равнымъ по феодальнымъ понятіямъ. Это было нѣчто совершенно новое. Не только каждый клочокъ земли захотѣлъ са-мобытности—послѣ того, какъ весь міръ жилъ однимъ Римомъ—но каждый непобѣжденный человѣкъ понималъ себя независимымъ, своевольнымъ. Феодализмъ—апотеоза личности воина, монадологія въ гражданскомъ ризвитіи; въ немъ нѣтъ дѣйствительнаго центра. Понятіе о государствѣ, о городѣ, какъ о единомъ дѣйствительномъ, къ которому отнесенъ человѣкъ, пало; человѣкъ какъ воинъ-защитникъ, какъ рыцарь, началъ понимать себя собственнымъ средоточіемъ; понявши это, онъ долженъ былъ высоко поставить свою честь, свою самобытность—гордую и независимую. Не массы сознали эту мысль о достоинствѣ личности: массы были побѣжденные, массы были отсталые горожане, люди римскихъ понятій, массы были несчастные земледѣльцы, для которыхъ часъ сознанія еще не настаивалъ; ее поняли доблестнѣйшіе изъ воиновъ, ее поняли духовные. Ничего не можетъ быть пагубнѣе для исторіи, какъ вносить современные вопросы, симпатіи и антипатіи въ разборъ былыхъ событій; если въ нѣкоторыхъ странахъ позволяютъ людямъ судиться пѣрами, то какое же право мы имѣемъ судить прошедшее не по его понятіямъ, а по понятіямъ иного времени. Мы привыкли сопрягать съ словомъ: рыцарство, понятіе угнетенія, несправедливости, касты; но съ тѣмъ самымъ словомъ мы вправѣ сопрягать смыслъ совершенно противоположный. Мы теперь смотримъ на рыцарство, какъ на прошедшій институтъ; его слабыя стороны для насъ раскрыты, насъ оскорбляетъ его гордое чувство безконечнаго достоинства, основанное на безконечномъ униженіи привязаннаго къ землѣ, оно пало отъ своей односторонности, оно

наказано; оно до того умерло наконецъ, что пора ему отдать полную справедливость.

Взгляните на рыцарство, отступивши въ VII, VIII столѣтія — и оно представится передовой фалангой человѣчества; оцѣните внутреннюю мысль его о достоинствѣ человѣческой личности, о святой неприкосновенности ея, о строгой чистотѣ — и вы поймете великое начало, внесенное имъ въ исторію. Оттого мы рыцарей можемъ принять за высшихъ представителей среднихъ вѣковъ; истинные представители эпохи — не ариѳметическое большинство, не золотая посредственность, а тѣ, которые достигли полного развитія, энергическіе и сильные дѣятельностью; другіе были въ ребячествѣ или въ дряхлости. *Человѣкъ научился уважать человѣка* въ рыцарѣ: этого мы имъ не забудемъ. Гордое требованіе признанія рыцарскихъ правъ было почвою, на которой выросло сознаніе права и достоинства человѣка вообще. Рыцарь далеко не былъ ниже римскаго гражданина. Римскій гражданинъ имѣетъ передъ нимъ то преимущество, что онъ развилъ свое понятіе; но то, чего домогался рыцарь, было выше того, чего достигнулъ римлянинъ. Сущность гражданина — внѣ его, случайность рожденія опредѣляетъ права его; сущность рыцаря — въ немъ самомъ, и онъ становится рыцаремъ, а не родится. Его право не принадлежитъ его личности, какъ случайной, а принадлежитъ ему по развитіи въ случайной личности ея родового значенія (разумѣется такъ, какъ оно понималось въ тѣ времена). Никто не былъ признаваемъ христіаниномъ по одному физическому рожденію; никто не родился рыцаремъ; для перваго надобно было духовное рожденіе крещеніемъ, для втораго искусъ и торжественное признаніе посвященіемъ. Рыцари были единственные свободные люди въ среднихъ вѣкахъ; они составляли между собой братство, разсѣянное по всему католическому міру и сочувствовавшее между собою; ихъ соединяло единство обычаевъ, единство понятій о своемъ достоинствѣ, единство предразсудковъ; каждый рыцарь сознавалъ неприкосновенное величіе своей личности и готовъ былъ доказывать его мечомъ. Но можно ли назвать братствомъ учрежденіе, при которомъ массы были угнетены? А какъ же древнія республики называются республиками, когда въ нихъ одни граждане имѣли права? Низшіе классы въ среднихъ вѣкахъ

не только не были признаны высшими, но и собою не были признаны; ихъ признавала одна церковь и передъ алтаремъ они были равны; человекъ признается человекомъ на столько, на сколько онъ самъ себя признаетъ человекомъ. Кровавыя событія времени Жакри выразили инныя потребности со стороны народа и обнаружили иное сознаніе, и рыцари всѣми ужасами и свирѣпостями того времени не могли ничего сдѣлать. Тоже въ городахъ: по мѣрѣ того, какъ коммуны начинали сознать свои права, рыцари со скрежетомъ зубовъ должны были уступать; сознаніе это росло, а рыцарство дряхлѣло. Въ 1614 году оно еще протестовало противъ смѣлости средняго состоянія, дерзнувшаго назваться братомъ рыцарства, а въ 1787 году Сіясъ издалъ свою брошюру *du tiers-état* и увѣрялъ, что среднее состояніе *все*,—миѣніе, въ которое теперь никто не вѣритъ. *Sunt cuique!*

Права личности у рыцарей доказывались и поддерживались оружіемъ; міръ феодальный былъ дикъ и грубъ; кромѣ оружія и матеріальной силы, человекъ не находилъ себѣ другого оплота. Рыцарь былъ прежде всего воинъ, побѣдитель; подозрѣніе въ трусости и неумѣнны владѣть мечомъ—было высшимъ оскорбленіемъ. Рыцарство и тутъ въ міръ вѣчной войны ирѣзни внесло свое благотворное вліяніе: свирѣпое и необузданное насиліе облагораживается; враги не бросаются другъ на друга какъ звѣри, а выходятъ торжественно на поединокъ, благородно, открыто, съ равнымъ оружіемъ. Поединокъ былъ совершенно на мѣстѣ у этого военного братства. Кто судья надъ рыцаремъ, какъ не онъ самъ, какъ не равный ему противникъ? Для горожанина, для простолюдина существуетъ судебное мѣсто; но развѣ рыцарь подсудимъ кому-нибудь въ дѣлѣ чести, и что государство и его законъ за мѣрило, за возмездникъ его оскорбленію? Онъ самъ себѣ достанетъ право—копьемъ, мечомъ. Онъ признавалъ *самоуправство* естественнымъ, неотъемлемымъ правомъ. Зачѣмъ онъ, оскорбленный, пойдетъ искать юридической расправы, когда онъ не вѣритъ въ ея возможность возстановить честь; онъ ищетъ собственной опасностью, смертью свой судъ и въ немъ оправданіе себя въ чужихъ глазахъ и своихъ, казнъ виновнаго согласно съ рѣшеніемъ небеснымъ. Конечно храбрость и ловкость въ управленіи оружіемъ самый жалкій

критеріумъ истины, хотя, замѣтимъ мимоходомъ, трусость—вѣчный ошейникъ рабства. Въ наше время странно было бы доказывать истину тѣмъ, чтобъ проткнуть копьемъ того, кто вздумаетъ возражать или кто несогласенъ съ нами въ мнѣніи. Самое требованіе признанія моей личности такъ, какъ *я хочу*, не справедливо; но во время рыцарства, когда чувство чести и самобытности было такъ ново и одушевляло грубыя и съ тѣмъ вмѣстѣ полудѣтскія природы, понятно и деспотическое требованіе признанія и готовность оружіемъ дать вѣсь своему требованію. Не надобно забывать сверхъ того, что тогда человѣкъ дѣтски вѣровалъ, что небо поможетъ правому, самые судьи не находили тогда лучшаго средства къ раскрытію истины, какъ Судъ Божій, какъ поединокъ. Поединокъ имѣлъ религіозную основу и нравственную. Нравственный принципъ поединка состоитъ въ томъ, что *истина дороже жизни*, что за истину, мною сознannую, я готовъ умереть, и не признаю правъ на жизнь отвергающаго ее. Мало сознавать достоинство своей личности: надобно, сверхъ того, понимать, что съ утратою его, бытіе становится ничтожно; надобно быть готовымъ испустить духъ за свою истину, — тогда ее уважать, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Человѣкъ, всегда готовый принести себя на жертву за свое убѣжденіе, человѣкъ, который не можетъ жить, если до его нравственной основы коснулись оскорбительно, найдетъ признаніе. Гражданинъ древняго міра имѣлъ всю святую святыхъ въ объективномъ понятіи своего отечества, онъ трепеталъ за его честь. Рыцарь, безпрестанно сосредоточенный на самомъ себѣ, при всякомъ событіи, думалъ прежде всего о своемъ достоинствѣ; его ни во снѣ, ни на яву не оставляла мысль о его неприкосновенности; ревнивое и раздражительное чувство чести было непрерывно, лихорадочно возбуждено. Жизнь, имѣющая такую основу, должна была принять характеръ угрюмый, восторженный, пренебрегающій суетами и въ тоже время страстный, необузданный. Съ одной стороны католицизмъ освобождалъ человѣка на томъ условіи, чтобъ онъ отрекся отъ всего человѣческаго; съ другой рыцарство давало ему копье и ставило его вѣчнымъ стражемъ своей чести. И онъ былъ величественъ — этотъ стражъ! Да, этотъ человѣкъ съ поднятымъ челомъ, опертый на копье, величаво и гордо встрѣчающій

всякаго, увѣренный въ своей самостоятельности по силѣ, которую ощущаютъ въ груди, ничего не боящійся, потому-что презираетъ жизнь, былъ высокъ и полонъ поэзіи. Вся самобытность рыцаря въ немъ самомъ; это бедуинъ, окруженный степью; онъ едва принадлежитъ какой-нибудь странѣ, онъ воинъ всего міра католическаго, онъ почти чуждъ патріотизма; гдѣ его отечество? Это монада, сознающая себя самобытнымъ средоточіемъ, сознающая все царственное величіе своей личности; онъ безпредѣльно вѣренъ своей присягѣ, его честь — залогъ его вѣрности, его вѣрность — свободный даръ; онъ не можетъ измѣнить, потому-что не могъ отдаваться; онъ не понимаетъ восточнаго хвастливаго самоуниженія; греки смѣялись надъ невѣжествомъ крестоносцевъ; быть человекомъ казалось грубостью для византійцевъ. Необразованные воины эти, покрытые желѣзомъ, готовы были за тѣнь оскорбленія лечь костями; греки считали это предразсудкомъ, они, въ случаѣ нужды, подмѣшивали яду, дѣлали доносы.... ихъ воспитанія были совершенно разны.

Но какъ ни было сильно развитіе рыцарства, какъ оно—ни было ярко и поэтично,—оно носило въ себѣ причину быстрой дряхлости: она очевидна.

Мы упомянули, что христіане первыхъ вѣковъ приняли, какъ неотразимое событіе, римское государство; истиннаго сочувствія между древнимъ порядкомъ вообще и новой религіей не могло быть. Монастыри показывали разомъ внутреннюю соціальную мысль христіанъ того времени и ихъ отвращеніе отъ языческаго устройства. Мы видѣли такую же несвойственность германскаго характера съ римскимъ понятіемъ государства. Тацитъ въ свое время уже замѣтилъ, что германцы любятъ жизнь въ разбивку. Шлегель думалъ уколоть германцевъ, говоря: *der Deutschen wahre Verfassung ist Anarchie*, и высказалъ невзначай мысль, которой глубины не предвидѣлъ. Рыцарь—германецъ и христіанинъ вмѣстѣ. Онъ осуществилъ этотъ протестъ личности противъ поглощающаго государственнаго единства, тахъ какъ другой протестъ, смиренный и безоружный, являлся въ католическомъ монахѣ, отвергавшемъ гражданскія опредѣленія. Мечта Карла Великаго о сильной имперіи не могла осуществиться: папа, рыцарство и монашескіе орде-

на составляли оппозицію. Церковь признавала одно единство — единство паствы подъ жезломъ одного пастыря; феодализмъ хотѣлъ жить на каждой точкѣ земли; высасываніе всѣхъ соковъ однимъ городомъ было для него противно; онъ былъ слишкомъ завистливъ, чтобъ помогать централизаціи, у него вездѣ былъ свой центръ; кто же бы его понудилъ уступить монополъ одному городу? Польза, происходящая отъ сосредоточенія, отъ единства управленія, мало согласовалась съ его понятіемъ самобытности каждаго мѣстечка и уваженія ко всѣмъ федеральнымъ обычаямъ его. Эту независимую личность германскую рыцарство выразило энергически. — Но во имя чего же былъ этотъ протестъ? во имя чего освобождалась личность рыцаря? Зачѣмъ она такъ ревниво отстаивала себя противъ государства? — По странному сочетанію противоположностей, составляющему чуть ли не отличительную черту всего средневѣковаго, рыцарь, человѣкъ, развившій въ себѣ чувство самобытности до высшей степени, оставался нравственнымъ рабомъ; этотъ храбрый и непреклонный воинъ, отважный завоеватель, гордый защитникъ своей личности, былъ съ тѣмъ вмѣстѣ трусъ, и если короли и горожане боялись его, то онъ самъ боялся очень многого. Великій шагъ противъ древняго міра былъ тѣмъ сдѣланъ, что чтимое, неприкосновенное, святое поняли внутри своей груди, а не въ городѣ; но для полного развитія личности человѣческой недоставало нравственной самобытности: она была совершенно неизвѣстна въ среднихъ вѣкахъ. Тогда все было несвободно; даже *point d'honneur*, хранитель личныхъ правъ, былъ часто самымъ тяжкимъ игомъ; такъ феодализмъ отстаивалъ самобытность частей государства для того, чтобъ доставить торжество своимъ провинціальнымъ обычаямъ, нерѣдко подавлявшимъ личную волю вдвое болѣе.

Логика событій неумолима: Рыцарь, свободная личность въ отношеніи къ государству и рабъ внутри, развилъ односторонность свою до нелѣпости; онъ съ каждымъ днемъ дѣлался болѣе и болѣе Донъ-Кихотомъ; не имѣя дѣйствительнаго критериума чести, онъ весь зависѣлъ отъ обычая и мнѣнія; онъ, вмѣсто живого и широкаго понятія человѣческаго достоинства, разработалъ жалкую и мелочную казуистику оскорбленій и поединковъ. Рыцарство па-

ло жертвою своей односторонности, оно пало жертвою противорѣчія, только формально примиреннаго въ его умѣ. Но наслѣдіе, имъ завѣщанное, было велико; оно искупаетъ и его односторонность и весь временной вредъ, нанесенный ими; лучшаго наслѣдія никто не завѣщалъ людямъ, ни Аѳины, ни Римъ—понятіе о неприкосновенности личности, о ея достоинствѣ,—словомъ, о чести. Честь скоро сдѣлалась неписанной хартіей германо-романскихъ народовъ „Возлѣ гражданского суда учреждается свой трибуналъ, трибуналъ чести“ (*), восполняющій недостатокъ юридической расправы. Съ человѣкомъ, который ставитъ свою честь выше жизни, съ человѣкомъ, идущимъ добровольно на смерть, нечего дѣлать: онъ *неисправимо человекъ*. Уваженіе къ личности, унаслѣдованное отъ рыцарей, мало-по-малу распространившееся по всеѣмъ сословіямъ, трепетъ за ея чистоту, спасли Европу во время революціоннаго противодѣйствія феодализму со стороны ожившей идеи государства и централизаціи; они помѣшали, по превосходному выраженію Монтескье, „чиновнику сдѣлаться лакеемъ и солдату палачомъ“. Людовигъ XI, Генрихъ VIII и самъ Филиппъ II знали очень хорошо, что снѣтаемость лица простирается до извѣстной степени, что его можно ограбить, убить, запутать въ сѣти, сжечь на *auto da fe*, подавить общими мѣрами, но трудно и опасно оскорбить, нанести личную обиду; они знали, что горе дотрогивающемуся до чести; и тоже самое вѣрованіе чести сдѣлалось опорой престола—европейскихъ монархій. Ея нѣтъ во всеѣхъ богдыханствахъ, деспотіяхъ и султанатахъ востока (**).

По мѣрѣ паденія рыцарства и самого католицизма, возникаютъ въ Западной Европѣ и укрѣпляются монархіи съ своими горожанами, постоянными войсками, съ своими судами и придворными, съ своей религіей—протестантизмомъ, англиканской и галликан-

(*) *Montesq. Espr. des Lois.*

(**) Придется исключить одинъ Багдадскій Халифатъ во время его цвѣтенія и мавровъ вообще. Это составляетъ исключеніе, какое то *pisso-terme* между Востокомъ и Европой. Затѣмъ Монтескье отдѣлилъ честь отъ добродѣтели?—Онѣ расходятся только въ крайностяхъ; напр. добродѣтель, доводящая смиреніе до позволенія бить себя палкой, распадается съ честью, такъ какъ *казуистика бретера* или *d'un raffiné* распадается съ добродѣтелью.

ской церквями. Римская идея государства является снова, но уже не какъ *общее дѣло*, а какъ дѣло правительства, какъ общественная польза, какъ поземельная неприкосновенность. Непреклонная, независимая личность феодала приносится на жертву государству; напрасно прячется она въ своихъ замкахъ и лѣсахъ—новый порядокъ бьетъ ее вездѣ. Понятіе политической государственной самобытности развивается въ этомъ мірѣ....но на какой-то холодной основѣ мелкаго эгоизма, личность жертвуется не отечеству, не государству, а спокойствію и матеріальнымъ удобствамъ. Настойчивый въ своихъ правахъ горожанинъ, хитрый легистъ не развили въ себѣ того благороднаго и открытаго характера, какъ рыцарь; гордость, съ которой феодалы смотрѣли на нихъ, понятна. Поле брани, привычка къ оружію, къ опасности удивительно воспитываетъ человѣка; онъ привыкаетъ пренебрегать мелочами, къ которымъ привязываетъ осѣдлая и спокойная жизнь; у него складывается какой-то односторонній, но энергическій взглядъ на вещи, и въ тоже время взглядъ наивно дѣтскій; онъ будетъ грабить, но не будетъ хитрить; онъ будетъ насиловать, но не будетъ подыскиваться; онъ свирѣпо убьетъ, но не изъ-за угла. Совѣмъ не такъ былъ воспитанъ горожанинъ: онъ былъ умнѣе, дѣльнѣе, ученѣе рыцаря; но онъ былъ робокъ, привыкъ къ скрытности, къ проискамъ, къ уклончивости; онъ силенъ въ корпораціи—и ничтоженъ одинъ; онъ силенъ, опираясь на положительный законъ; опереться на себя ему и въ голову не приходило; словомъ, въ немъ не было той откровенности, которая присуща дѣйствительному сознанію личности. Этой откровенности вообще не было во всемъ переворотѣ противъ феодализма. Онъ сдѣлался исподволь; союзники, соединившіеся противъ феодализма, были заклятые враги (Людовигъ XI и чернь). Главнѣйшіе дѣятели его скрывали свои противоборствующія идеи, не только идучи на бой, но и послѣ побѣды (напримѣръ Ришельё). Наружно они сохраняли старыя формы, наружно они выдавали себя не только за консерваторовъ, но и за историческую всегдашность, призывали лжесвидѣтельствовать въ свою пользу исторію, обманывали, коварствомъ побѣждали врага и только наружно хранили видъ чести и доблести.

IV.

С. Соколово. Сентябрь 1847.

IX.

ПИСЬМА ИЗЪ „AVENUE MARIGNY“.

— 888 —

PAGE 17

UNCLAS N33 AVENUE MARIGNY

ПИСЬМА ИЗЪ „AVENUE MARIGNY“.

„Aus der Ferne...“

Музыка Шуберта.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Кажется четыре мѣсяца не Богъ знаетъ что, а сколько верстъ, миль и льё проѣхалъ я съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ вами на бѣломъ снѣгу въ Черной грязи... да что версты! сколько впечатлѣній, станцій, готическихъ соборовъ, свѣженькихъ личикъ, новыхъ мыслей, старыхъ картинъ, дебаркадеровъ, историческихъ воспоминаній, гостинницъ, чувствъ и трингельдовъ!—просто удивляешься, какъ это все можетъ помѣститься въ душѣ. Надобно признаться, для празднаго человѣка нѣтъ лучше жизни, какъ жизнь туриста: занятій тѣма, все надобно видѣть, всюду успѣть, — подумаешь, что дѣло дѣлаешь: бездна заботъ, бездна хлопотъ.... Я наконецъ до того разѣздили, до того обжился въ вагонахъ, что бывало такъ и тянешь, и поѣдешь куда-нибудь безъ всякой нужды, въ Брюжжъ, въ Остендъ, въ Антверпенъ; я даже, какъ Гизо, побывалъ въ Гентѣ и оттуда, какъ Людовикъ XVIII, прямо попалъ въ Парижъ. Ничего не можетъ быть печальнѣе для путника, вошедшаго во вкусъ, какъ пріѣздъ въ Парижъ: ему становится неловко и страшно, онъ чувствуетъ, что пріѣхалъ, что далѣе ѣхать нѣкуда, и не бѣжить онъ на другой день съ комиссіонеромъ изъ галлерей въ галерею, усталый и озабоченный, и не осматриваетъ рѣдкостей и не лазить на колонны, а скромно идетъ къ Юману заказывать платье.... „Dans une semaine, Monsieur, dans une se-

maine....“ и онъ не удивляется этому отвѣту, пройти не одна и не двѣ недѣли.... Очень грустно!...

Парижъ столичный городъ Франціи, на Сень.... Сдѣлайте одолженіе, не бойтесь: мнѣ хотѣлось только испугать васъ; не стану описывать видѣннаго мною: я слишкомъ порядочный человѣкъ, слишкомъ учтивый человѣкъ, чтобы не знать, что Европу всѣ знаютъ, что всякой образованный человѣкъ по-крайней мѣрѣ состоитъ въ подозрѣніи знанія Европы, а если ее не знаетъ, то невѣжливо ему напоминать это. Да и что сказать о предметѣ битомъ и перебитомъ—о Европѣ? Съ легкой руки Фонъ-Визина и особенно съ карамзинскихъ писемъ русскаго путешественника у насъ все рассказали о Европѣ въ замѣчательныхъ и достопримѣчательныхъ письмахъ русскаго офицера, сухопутнаго офицера, морскаго офицера, оберъ-офицера и унтеръ-офицера; наконецъ гражданскія дѣловыя письма его превосходительства Н. И. Греча и прихода-расходный дневникъ г. Погодина договорили послѣднее слово. Для того, чтобы описывать путешествія, надобно, по-крайней мѣрѣ, съѣздить въ пампы южной Америки, какъ Гумбольдтъ, или въ Вологодскую губернію, какъ Блазіусъ, спуститься осенью по Ніагарскому водопаду или весною проѣхать по костромской дорогѣ. Впрочемъ судьба путешественниковъ по Европѣ, имѣющихъ слабость писать, скоро улучшится. Теперь уже трудно и почти невозможно видѣть Европу, но черезъ нѣсколько лѣтъ она совсѣмъ изгладится изъ памяти людской: для этого собственно и учреждаются желѣзныя дороги; Европа для путешественника превратится въ нѣсколько точекъ, освѣщенныхъ фонарями, въ нѣсколько буфетовъ, украшенныхъ рюмками. Тогда новые Куки и Дюмонъ-Дюрвилъ выйдутъ изъ вагоновъ (еслибъ и прежній Дюмонъ-Дюрвилъ вышелъ изъ вагона, онъ не сторѣлъ бы на версальской дорогѣ) и пойдутъ во внутренность Европы и расскажутъ намъ о нравахъ и жизни людей, не на желѣзной дорогѣ живущихъ. Сколько разъ я мечталъ о томъ, когда сдѣлаютъ минденскую и кенигсберскую дорогу, — какъ славно и полезно будетъ путешествовать! Допелся до Кенигсберга, сѣлъ въ вагонъ—и не выходи пожалуй; машина свистнула и пошла постукивать: Берлинъ—4 минуты для наливки воды; Кельнъ—3 минуты для смазки колесъ; Брюссель—5 минутъ для

завоеванія буттерброда съ ветчиной; Балансьень—4 минуты, для того, чтобъ доказать французскому правительству, что оно не умѣетъ отыскивать спрятанныхъ сигаръ; Парижъ—15 минутъ для переѣзда въ омнибусъ изъ одного дебаркадера въ другой; Гавръ—3 минуты для перегрузки на пароходъ.... а тамъ въ Нью-Йоркъ и, словомъ,—дни черезъ два въ Ситхѣ, въ Сибири, т. е. опять дома. А впрочемъ бѣды большой нѣтъ, если до Рейна ничего не увидишь. Комфортабельная обитаемость Европы начинается съ Рейна; это знали давно; двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ Римляне проживали себѣ въ Майнцѣ, да Кёльнѣ, а въ ГанOVERъ и Берлинъ не ѣздили. Въ Германіи нечего смотрѣть; Германію надобно читать, обдумывать, играть на фортепіанахъ—и проѣзжать въ вагонахъ однимъ днемъ съ конца на конецъ. Вы помните, какъ Василій Ивановичъ съ негодованіемъ возражалъ Ивану Васильичу, что онъ не путешествуетъ, а просто ѣдетъ къ себѣ въ село Мордасы. Василій Ивановичъ тутъ, какъ вездѣ, побѣдилъ близорукаго Ивана Васильича; кто же поѣдетъ для путешествія въ село Мордасы? Германія также не годится „au jour d'aujourd'hui“ (будущее завѣсою покрыто!) для путешествія; туристу жить въ Германіи значитъ отклонять ее отъ естественнаго назначенія, такъ какъ,—ну я не знаю,—такъ какъ ѣсть напимѣръ картину; можетъ попадется и вкусная, въ которой масло еще свѣжо, все же это натяжка, и кто не предпочтетъ всякой салатъ лучшей картинѣ дюссельдорфской школы, разумѣется, если этотъ салатъ приготавлила не нѣмка!

Не могу не приостановиться здѣсь и не вступить по поводу салата въ нѣкоторыя подробности. Лейбницъ и Гейне, Погодинъ и Шевыревъ, Гёте и Гегель и многіе другіе великіе люди попарно и въ разбивку согласны, что германскій умъ при всей теоретической силѣ имѣетъ какую-то практическую несостоятельность,—что Нѣмцы велики въ наукѣ и являются самыми тяжелыми, и, что еще хуже, самыми тупыми, и, что всего хуже, самыми смѣшными филистерами. Должна же быть на это какая-нибудь общая причина. Отчего нѣмецъ всегда наклоненъ къ золотухѣ, слезамъ и романтизму, къ платонической любви и мѣщанскому довольству? отчего нѣмки не умѣютъ одѣваться и могутъ только жить въ двухъ средахъ — въ надзвѣздномъ эфирѣ или въ кухонномъ чаду? Отчего

нѣмцы умѣютъ слушать Генгстенберга, Гёреса?... оттого и тысячу разъ оттого, что у нихъ фибринъ плохъ, рыхлъ, дряблъ.... Томы писали объ этомъ, но истинная причина ускользнула отъ вниманія; она такъ близка, такъ подъ носомъ, что ее и неразглядѣли; толковали о реформаціи, о тридцатилѣтней войнѣ, о бефреюнгскригѣ, въ которомъ мы ихъ освободили отъ французовъ, освободившихъ ихъ въ свою очередь кой-отъ-чего; все это причины второстепенныя,—общая главная причина одна: нѣмецкая кухня. Вамъ смѣшно, вы еще на столько идеалисты, что вамъ все нужны причины безтѣлесныя, невѣщественныя,—а не то, что варенныя и жаренныя. Полноте презирать тѣло, полноте шутить съ нимъ! оно мозолѣю придавить весь вашъ бодрый умъ и на смѣхъ гордому вашему духу докажетъ его зависимость отъ узкаго сапога. Знаете ли вы, чтó такое питаніе? какъ оно важно? Грантъ въ началѣ своей сравнительной анатоміи опредѣляетъ животное удобопереносимымъ мѣшкомъ, назначеннымъ для претворенія пищи. Изъ этого вы видите, а еще болѣе изъ того, что человѣкъ безъ ума все человѣкъ, а безъ желудка не проживетъ двухъ дней,—что всѣ органы роскоши желудка, вишнія украшенія его, его орудія. Пора возстать противъ аристократическихъ частей тѣла, питающихся на счетъ желудка и кипящихъ на его счетъ. Есть они—хорошо, нѣтъ—недурно; устрица живетъ себѣ безъ головы и безъ ногъ, а вкусна; безъ желудка же никто не живетъ, даже у растеній есть желудокъ, несовсѣмъ на мѣстѣ, т. е. въ землѣ; вѣрный своему антиромантическому призванію, желудокъ у растеній уцѣпился за землю, чтобъ растеніе не ушло къ солнцу. Чтó выработаетъ желудокъ, то и будетъ въ головѣ и сердцѣ. Теперь позвольте васъ спросить при всемъ германскомъ усердіи и преданности, что можетъ выработать желудокъ нѣмца изъ прѣсно-пряно-мучнисто-сладко-травяной массы съ корицей, гвоздикой и шафраномъ, которую ѣстъ нѣмецъ? Еслибъ вы знали весь трудъ пищеваренія, вы увидѣли бы, что за отчаянную борьбу съ мукой и картофелемъ, за мужественное противодѣйствіе душами изъ баварскаго пива, почти каждый нѣмецкій желудокъ давно заслужилъ медаль для ношенія на дуоденумѣ съ надписью: *pour la digestion*. Гдѣ тутъ выработывать какойнибудь упругій, самобытный англійскій, или дѣятельный, безпокойный французскій фибринъ! тутъ

не до силы воли, не до расторопности, а чтобъ человѣкъ на ногахъ держался, да несовсѣмъ бы отсырѣлъ; — переимѣните нѣмецкую кухню, и вы увидите, что Арминій не даромъ спасъ въ „Тейтобургской грязи“ германскую народность. Такіе перевороты, разумѣется, не дѣлаются разомъ, но я вѣрю въ прогрессъ, вѣрю въ Германію... Трудно будетъ — это правда. Когда Гегель жилъ въ Парижѣ у Кузени, то писалъ къ Гегельшѣ: „Здѣсь обѣдаютъ въ 6 часовъ (это его такъ поразило, какъ если бы Французы ушами читали); въ 6 часовъ, говоритъ онъ; я не могъ къ этому привыкнуть и мнѣ готовить обѣдъ особо въ два часа“, — что прикажете дѣлать противъ такой упорной натуры? Но — *tempora mutantur* — „Гегель, Гёте — все это послѣдніе могики“. А когда совсѣмъ вымретъ старая „юная Германія“, вы увидите, кухня не устоитъ. Разумѣется, еслибъ германская діѣта занялась діѣтой Германіи и приказала бы, пока можно, отвести, ну, хоть въ Техасъ, благо онъ еще въ модѣ, всѣхъ нѣмецкихъ кухарокъ и замѣнить ихъ парижскими *cordons bleu*, успѣхъ былъ бы невѣроятный. Шутить нечего этимъ: органическая химія гораздо важнѣе въ политическомъ отношеніи, нежели думаютъ. Собственно вопросъ о пролетаріатѣ — вопросъ кухонный, вопросъ социализма — вопросъ пищеваренія. Понимая такимъ образомъ важность питанія, скажемъ смѣло, скажемъ со всей высоты сильнаго убѣжденія: проклятіе вамъ, густые супы, какъ наша весенняя грязь; прѣсные соусы, какъ драмы Бирхъ-Цфейферъ; проклятіе пяти тарелочкамъ, на которыхъ подаютъ (между вторымъ и третьимъ блюдомъ!) селедку съ вареньемъ, ветчину съ черносливомъ, колбасы съ апельсинами! проклятіе курамъ, варенымъ съ шафраномъ, дамфнуделямъ, шарлотамъ, пудингамъ переложеннымъ на нѣмецкіе нравы, картофелю, являющемуся во всѣхъ видахъ! проклятіе наконецъ корицѣ, гвоздикѣ и лавровому листу, который такъ не присталъ къ челу этихъ москательныхъ кушаній!... Вы, Мартинъ Лютеръ и филологія, сдѣлали много вреда Германіи.

Недаромъ я сказалъ, что комфортабельная обитаемость Европы пачинается съ Рейна: именно тамъ нѣмецкая кухня приближается къ единой кухнѣ, въ великой кухнѣ; нѣтъ худа безъ добра; въ печальное время отъ 1793 до 1814 г. рейнская кухня подвергалась

сильному вліянню французских поваровъ, ниспровергнувшихъ во многомъ нравственно-безвкусный и семейно-прѣсный характеръ германскихъ яствъ. Двадцать одинъ годъ не шутка, много французскихъ блюдъ приняла нѣмецкая кухня на свои рейнскіе очаги и плиты, и они остались на нихъ вмѣстѣ съ наполеоновскимъ кодексомъ. Я въ Кёльнѣ пообѣдалъ первый разъ послѣ Москвы, и за это его полюбилъ,—вотъ какъ потребность любви развивается, когда человѣкъ сытъ. Славная рѣка! глядя на нее, забываешь, что она была несчастнымъ поводомъ конечно прекрасной по чувствамъ и трогательной по патріотизму, но скучной и нѣсколько насмѣшливой пѣсни:

Sie sollen ihn nicht haben....

Оно конечно Рейнъ жалъ отдать хоть кому,—посторонніе люди не умѣли никогда пройти неостановившись передъ нимъ, представители всѣхъ эпохъ европейской жизни приходили на рейнскіе берега и осѣдали на нихъ; слѣды этихъ людей, этихъ эпохъ такъ и наслонились по теченію рѣки. Пройдитесь по одному Кёльну, чего тутъ нѣтъ: несокрушимыя стѣны, тяжелыя романскія церкви, колоссальный образчикъ готическаго собора, домъ тамплиеровъ—мрачныхъ воиновъ-монаховъ, угрюмо стоящихъ на предѣлахъ феодализма и централизаціи; коллегіумъ іезуитовъ, мрачныхъ монаховъ-воиновъ, угрюмо стоящихъ на предѣлахъ папизма и реформаціи; церкви временъ возрожденія; присутственные мѣста, устроенныя во время владычества единой и нераздѣльной республики; новыя фортификаціи, напоминающія наполеоновскую эру, и наконецъ лѣса ококо собора, свидѣтельствующія о теперешней Германіи медленнымъ производствомъ средневѣковой работы современными руками. Вездѣ воспоминанія, вездѣ легенды,—взгляните на верхъ: изъ четвертаго этажа выглядываютъ двѣ лошадиныя головы изъ бѣлаго мрамора,—тутъ было чудо; взгляните внизъ: вотъ мѣсто, гдѣ Христосъ явился нѣсколько столѣтій тому назадъ молившемуся отроку и взялъ у него яблоко.

Много жилъ этотъ край! много жила вообще Европа. Десятки столѣтій выглядываютъ изъ-за каждаго обтесаннаго камня, изъ-за каждаго сужденія; за плечами европейца виднѣя длинный преемст-

венный рядъ величавыхъ лицъ, въ родѣ процессіи царственныхъ тѣней въ Макбетѣ. Чего и чего не было здѣсь между тѣмъ временемъ, когда Карлъ Великій на закатѣ своихъ дней сиживалъ на извѣстномъ ахенскомъ стулѣ, и тѣмъ, когда на томъ же стулѣ ѣдѣла послѣ прогулки женщина съ огненными глазами, смуглая креолка—императрица Французовъ? А прежде? а съ тѣхъ поръ? Подъ часъ тяготять въ Европѣ сѣдые, почернѣлые памятники; они даютъ ей слишкомъ аристократическую физіономію, оскорбительную для того, кто не имѣетъ столько блестящихъ предковъ и столько великихъ преданій. Иногда какъ-то не по себѣ нашему брату, сиюю, среди этихъ завѣщанныхъ богатствъ и завѣщанныхъ развалинъ; странно положеніе чужого въ семейной залѣ, гдѣ каждый портретъ, каждая вещь дороги потомкамъ, но чужды ему; онъ смотритъ съ любопытствомъ тамъ, гдѣ свои вспоминаютъ съ любовью; ему надобно рассказать то, что тѣ знаютъ съ колыбели.

А съ другой стороны, развѣ родина нашей мысли, нашего образованія не здѣсь? развѣ, привѣнчивая насъ къ Европѣ, Петръ I не упрочилъ намъ права наслѣдія? развѣ мы не взяли ихъ сами, усвоивъ ея вопросы, ея скорби, ея страданія вмѣстѣ съ нажитымъ опытомъ и съ нажитой мудростью? Мы не съ пергаментомъ въ рукѣ являемся доказывать наши права.... да мы ихъ и не доказываемъ, потому-что они неотъемлемы; завоеванное сознаніемъ прочно завоевано: его не исторгнешъ никакимъ безуміемъ. Былое наше бѣдно; мы не хотимъ выдумывать геральдическихъ сказокъ, у насъ меньше своихъ воспоминаній,—что за бѣда, когда воспоминанія Европы, ея былое сдѣлались нашимъ былымъ и нашимъ прошедшимъ. Да сверхъ того Европеецъ подъ вліяніемъ своего прошедшаго не можетъ отъ него отдѣлаться; для него современность—крыша многоэтажнаго дома. Для насъ, да для сѣверной Америки его высокая терраса—фундаментъ, его чердакъ—нашъ rez de chaussée. Мы съ этого конца начинаемъ. Какъ не вспомнить опять:

Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

И вотъ уже у меня въ головѣ не Кѣльнъ, не его соборъ, а длинный рядъ избъ да хрустящій снѣгъ.... Мы выѣзжали изъ Россіи зимою, зимою снѣжной, холодной, съ коротенькими днями и со всѣми неудобствами зимняго ухабистаго пути, который выдаютъ за дарованную намъ природой желѣзную дорогу; небольшой почтовый трактъ, по которому мы ѣхали, соединяетъ два шоссе и идетъ частію по Псковской губерніи, частію по Лифляндской; этотъ путь сообщенія бѣденъ; двѣ сосѣдственныя полосы не пришли черезъ него къ одному уровню и каждая осталась при всѣхъ особенностяхъ,—какъ-будто между ними тысячи верстъ. Ни по одной дорогѣ нельзя встрѣтить такую рѣзкую перемену, какъ переѣзжая отъ псковитянъ къ остзейцамъ. Псковскій крестьянинъ дичѣе подмосковныхъ; онъ кажется не попалъ ни правой, ни лѣвой ногой на тотъ путь, который ведетъ отъ патріархальности къ гражданскому развитію,—путь, который называютъ прогрессомъ, воспитаніемъ, разсказъ о которомъ называютъ исторіей; онъ живетъ возлѣ полуразвалившихся бойницъ и ничего не знаетъ о нихъ.... Сомнѣваюсь, слыхалъ ли онъ объ осадѣ Пскова.... Событія послѣднихъ полутора вѣковъ прошли надъ его головою, не возбудивши даже любопытства. Поколѣнья черезъ два-три мужечекъ перестраиваетъ свои бревенчатыя избы, безслѣдно гніющія, старѣетъ въ нихъ, передаетъ свой лугъ въ руки сына, внука, полежать годъ, два, три на теплой печи, потомъ незамѣтно переходитъ въ мерзлую землю; иногда вспомнятъ его дѣти или внучата грѣчневыми блинками въ родительскую субботу, при новой ревизіи его имя исключать изъ числа живыхъ, потомъ и внуки посѣдѣютъ, и не буди рекрутской повинности, они бы также, какъ предки, ничего не знали о томъ, что дѣлается въ Питерѣ, въ Россіи. — „А развѣ жизнь привязанныхъ къ землѣ крестьянъ во всей Европѣ не такъ же проходила и исчезала, изнуренная работой, безслѣдно и не весело? развѣ они не выработывали матеріальныхъ условій для исторической жизни другихъ сословій?“. Оно несомнѣно такъ, но если и такъ, то не забудемъ, что другія-то сословія жили; когда вы въ Гентѣ останавливаетесь передъ ратушей, когда смотрите на этотъ *бефруа*, сзывавшій такъ часто своими колоколами гражданъ, вы понимаете, вы чувствуете, что за муниципальная жизнь кнѣжа

тутъ, и понимаете, что ей были необходимы—и этотъ домъ, поражающій величіемъ и поэзіей постройки, и эта башня, и эти соборы, и эти рынки съ фронтонами, и что даже домъ, гдѣ приставали рыбаки, по праву украсился барельефами: такіа декорации шли къ внутреннему содержанію. Таковы рыцарскіе замки, эти соколиныя гнѣзда на скалахъ и горахъ. Рыцарская жизнь—жизнь вампира внизъ, была пышна, страстна, благородна вверхъ. Но кому выработывалъ нашъ мужичокъ? гдѣ же у насъ память другой жизни? Какъ жили помѣщики до-петровскаго времени—кто ихъ знаетъ? для этого надобно рыться въ архивахъ, это вопросъ археологическій, антикварскій. Господскіе дома сгнили, какъ избы, и исчезли вмѣстѣ съ памятью строителей, имѣнья переходили изъ рукъ въ руки, дробились, составлялись случайно, ненужно; помѣщики пили, ѣли, спали послѣ обѣда, парились, держали дворню и исарню.... Городская жизнь не восходитъ далѣе Петра, она вовсе не продолженіе прежней: отъ былого остались только имена. Жизнь современнаго Новгорода, Владиміра, Твери началась съ утвержденія провинцій, введенія коллегіальнаго порядка и опредѣленія штата чиновниковъ. Если что-нибудь осталось прежняго, такъ это у купцовъ: они по праву могутъ назваться представителями городской жизни до-петровскихъ временъ; пока они сохраняютъ хоть блѣдную тѣнь прежнихъ нравовъ, реформа Петра будетъ оправдана; лучшаго обвинителя старому быту ненужно. Воспоминанія помѣщиковъ, ихъ легенды примыкаютъ къ царствованію Екатерины II, къ великимъ событіямъ 1812 года; о прежней жизни они ничего не знаютъ; ихъ настоящая жизнь однообразна, скучна, они какъ-будто краснѣютъ ее и хранятъ въ памяти и любятъ рассказывать свои поѣздки въ Москву и Петербургъ и военную службу въ молодыхъ лѣтахъ.

Жизнь, которая не оставляетъ прочныхъ слѣдовъ, стирается при всякомъ шагѣ впередъ и упорно пребываетъ въ одномъ и томъ же положеніи при стоячести. На Востокѣ, напримѣръ, мѣняются только лица, поколѣнья; настоящій бытъ—сотое повтореніе одной и той же темы съ маленькими варіаціями, приносимыми случайностію—урожаемъ, голодомъ, моромъ, падежомъ, характеромъ шаха и его сатраповъ. У такой жизни нѣтъ выжитого, *keine Erlebnisse*,—быть

азіятскихъ народовъ можетъ быть очень занимателенъ, но исторія—скучна. Мы имѣли противъ Азіи великій шагъ впередъ: возможность, понявши свое положеніе, отречься отъ него; невозможность влечить скучную жизнь кошихинскихъ временъ—и кто, гдѣ такъ отрекался, какъ мы? Въ неполнотѣ, въ бѣдности, въ неудовлетворительности прошедшаго и въ темномъ сознаніи силъ, которыхъ нѣкуда было дѣвать, — вотъ гдѣ надобно искать легкости, съ которой, по великой командѣ Петра I: „На европейскую дорогу, маршъ!“—Русь пошла своими подвижными частями и такъ рѣзко отдѣлилась въ пятьдесятъ лѣтъ отъ прежняго быта, что ей несравненно было бы труднѣе при Екатеринѣ II возвращаться къ оставленнымъ правамъ, нежели догонять европейскіе. Сколько ни декламировали о подражательности, она вся сводится на готовность принять и усвоить формы, вовсе не теряя своего характера, усвоить ихъ потому, что въ нихъ шире, лучше, удобнѣе можетъ развиваться все то, что бродитъ въ умѣ и въ душѣ, что толчется тамъ и требуетъ выхода, обнаруженія. Еслибъ хотѣли хорошенъко всматриваться въ событія, то скорѣе могли бы обвинить Русь петровскую въ нашемъ *себѣ на умѣ*, которое готово обречься, переодѣться,—но выдержать себя и въ этой перемѣнѣ. Развѣ вельможи Екатерины оттого, что они приобрѣли все изящество, всю утонченность версальскихъ формъ (до чего никогда не могли дойти нѣмецкіе *гранды*) не остались по всему русскими барамъ, со всею удалью національнаго характера, съ его недостатками и съ его разметистостью? въ нихъ иностраннаго ничего не было, кромѣ выработанной формы, и они овладѣли этой формой—*en maitre*. Развѣ дѣти ихъ, герои 1812, не были русскіе, вполне русскіе? Кто осмѣлится возражать—тому я пальцемъ покажу черезъ улицу *Elysée Bourbon*, гдѣ жилъ Императоръ Александръ. А вѣдь все это и екатерининская эпоха, о которой вспоминали покачивая головой дѣды наши, и время Александра, о которомъ вспоминаютъ, покачивая головой, отцы, принадлежитъ „къ иностранному періоду“, какъ говорятъ наши добрые славянофилы, считающіе все общечеловѣческое иностраннымъ, все образованное чужеземнымъ. Они не понимаютъ, что новая Русь—была Русь же, они не понимаютъ, что съ петровскаго разрыва на двѣ Руси начинается наша настоящая

исторія; при многомъ скорбномъ этого разъединенія, отсюда все что у насъ есть:—смѣлое государственное развитіе, выступленіе на сцену Руси какъ политической личности и выступленіе личности въ народѣ; русская мысль пріучается высказываться, является литература, является разномысліе, тревожатъ вопросы, народная поэзія вырастаетъ изъ пѣсни Кириши Данилова въ Пушкина... Наконецъ самое сознаніе разрыва идетъ изъ той же возбужденности мысли, близость съ Европой ободряетъ, развиваетъ вѣру въ нашу національность, вѣру въ то, что народъ отставшій, за котораго мы отбываемъ теперь историческую тягу и котораго миновали и наша скорбь и наше выработанное благо, что онъ не только выступитъ изъ своего древняго быта, но встрѣтится съ нами, перешагнувши петровскій періодъ. Исторія этого народа въ будущемъ; онъ доказалъ свою способность тѣмъ меньшинствомъ, которое истинно пошло по указаніямъ Петра,—онъ нами это доказалъ!...

И одного часа ѣзды достаточно, чтобъ очутиться совсѣмъ въ другомъ мірѣ, въ мірѣ прошедшаго, въ мірѣ утратъ, воспоминаній, вдовства. Все перемѣняется, какъ декорация въ театрѣ. Мѣста становятся гористы, дорога извилиста, не тѣ виды, не тѣ ландшафты, къ которымъ мы привыкли, съ луговою далью, съ степными полями, съ синей полосой у небосклона, которая провожаетъ васъ десять верстъ, пока наконецъ все небо почернѣетъ. Къ станціонному дому трудно подъѣхать отъ крутизны, на которой онъ стоитъ. *Passagierstube* вымыта, вычищена, столъ покрытъ толстой, но чрезвычайно бѣлой скатертью; въ яркомъ, какъ солдатская пуговица, мѣдномъ шандалѣ стоитъ сальная свѣча, на окнахъ тощія цвѣты, полъ посыпанъ пескомъ. Чистота и опрятность свидѣтельствуютъ о длинной цивилизаціи: человѣку надобно долго и много жить, чтобъ любить чистое бѣлье и свѣтлую комнату. Черезъ минуту вошелъ старичокъ нѣмецъ, съ добродушнымъ видомъ, исключительно свойственнымъ нѣмцамъ, и въ сѣромъ фракѣ со свѣтлыми пуговицами, называя меня при каждомъ словѣ то *Herr Baron*, то *Herr Freiherr*, то *Hochwohlgeboren*; онъ очень учтиво посоветовалъ подождать разсвѣта, основываясь на начинающейся ятели и на опасныхъ обвалахъ, возлѣ которыхъ надобно было

ѣхать. Я вышелъ въ сѣни; страшный вѣтеръ свистѣлъ между голыми сучьями деревьевъ, изрѣдка немного и на минуту выглядывалъ мѣсяцъ и освѣщалъ полуразвалившуюся башню совсѣмъ развалившагося замка; на крошечныхъ санкахъ бѣлокурый нѣмецъ съ длинными усами и бичомъ въ рукѣ, въ венгеркѣ, опушойной мѣхомъ, съ ружьемъ за плечами, промелькнулъ и исчезъ на узенькой дорогѣ; лошадь его была безъ дуги и звѣнѣла десяткомъ маленькихъ колокольчиковъ; лягавая собака бѣжала за нимъ, обнюхивая мерзлыя кочки. На воротахъ сарая былъ прибитъ орелъ съ развернутыми крыльями. Все это дышало чѣмъ-то средневѣковымъ. Въ Лифляндіи нѣтъ нашихъ деревень, а есть хутора у подножія замковъ; въ хуторахъ этихъ живетъ племя жалкое, запибенное, бѣдное средствами, бѣдное способностями и чуждое ритерамъ, разбросавшимъ нѣкогда ихъ лачуги и не позволившимъ имъ селиться деревнями. Остзейцы сложились, замкнулись, остались при выработанномъ и впередъ не идутъ. У насъ во всемъ неопредѣленность. — у нихъ мѣра; мы не установились, мы ищемъ, — они установились, они утратили; мы внутри смѣемся надъ внѣшними формами и безъ угрызенія совѣсти переступаемъ ихъ, — у нихъ форма прежде всего, выше всего; мы грудью рвемся къ новому, — они грудью стоятъ за старое. Мы имѣемъ передъ ними преимущество свѣжихъ силъ и упованій, — они имѣютъ преимущество выработанныхъ и прочныхъ правилъ; мы способны, они воспитаны; первоначальный гражданскій катехизисъ, знакомый, впрочемъ, всякому европейцу, у насъ *tabula rasa* въ этомъ отношеніи. Намъ съ ними скука смертная, потому-что мы не можемъ войти въ ихъ мѣстные интересы.... У нихъ человѣкъ, проживающій двѣ трети дохода — мотъ, мы называемъ скушимъ того, который не проживаетъ вдвое болѣе своего дохода... Но вспомнимъ однако, что какъ псковскіе мужики неполные представители Руси, такъ и Лифляндія неполная представительница Европы. Лифляндія представляетъ одинъ элементъ европейской жизни — и только одинъ. Европу въ первый разъ встрѣчаетъ русскій путникъ въ Кенигсбергѣ: это не только памятникъ прошлой жизни, около котораго развивался букетъ огородныхъ овощей, но жилой домъ для современности: здѣсь памятники и воспоминанія идутъ, обнявшись съ южной жизнью.

Славный городокъ Кенигсбергъ! онъ оставилъ въ моей памяти самое милое, свѣтлое впечатлѣніе.

Я пріѣхалъ въ Кенигсбергъ усталый отъ дороги, отъ заботъ, отъ многого; выспавшись въ пуховой пропасти, я на другой день пошелъ посмотрѣть городъ; на дворѣ былъ теплый зимній день, солнце свѣтило, съ крышъ капалъ талый снѣгъ, и я вдругъ помолодѣлъ, точно нѣсколько лѣтъ съ костей долой; мнѣ показалось, всѣ встрѣчные смотрятъ весело и прямо въ глаза, и я сталъ смотрѣть весело и прямо въ глаза, потомъ отправился за *table d'hôte* и за бутылкой рассказывалъ, какъ изъ Тильзита скверно везли и какая дорога гадкая. И кельнеръ тутъ и нѣмцы слушаютъ... пускай себѣ, мнѣ что за дѣло! зачѣмъ дурно возить!... развѣ я не могу имѣть своего мнѣнія? *Noch eine Flasche!*...

До того заболтался, что не помню, на чемъ мы остановились и къ чему слѣдуетъ теперь возвратиться.... да, къ другому берегу Рейна. Ну, что же, по ту сторону Рейна какъ-то привольнѣе, красивѣе; но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ тамъ было хорошо. Вездѣ скучно, будьте увѣрены. А если вамъ будетъ нескучно гдѣ-нибудь, такъ я васъ поздравляю отъ души: вы полны мудрости, которой недостаетъ во мнѣ и во многихъ другихъ. Странное дѣло, отъ испареній подземныхъ что ли, или отъ вліянія планетъ, но какая-то давящая тоска провожаетъ современнаго человѣка отъ Чукотскаго Носа до Финистерре, даже такого человѣка, который всегда смѣется. Эта болѣзнь особенно развилась во время трехъ іюльскихъ дней и трехмѣсячной холеры. Разумѣется разныя скуки въ разныхъ мѣстахъ; но основа, по которой снуетъ челнокъ нашей жизни (это выраженіе я счелъ бы самъ натянутымъ, еслибъ не зналъ навѣрное, что оно краденое, именно у Гёте), скучна, тягостна на разные лады. Въ Парижѣ—весело-скучно, въ Лондонѣ—безопасно-скучно, въ Римѣ—величаво скучно, въ Мадридѣ—душная скука, въ Вѣнѣ—скука душная. Что тутъ прикажете дѣлать! Видно, образованный человѣкъ можетъ только не скучать между дикими людьми и ручными звѣрями, въ Африкѣ и въ *Jardin des Plantes*; тамъ люди похожи на обезьянъ, здѣсь обезьяны похожи на людей. Вотъ время какое пришло!

Дѣйствительно странное время. Возьмите Парижъ, этотъ го-

родъ городовъ: онъ только и держится Рашелью и Гизо, да и та ѣдетъ на дняхъ въ Лондонъ, да и тотъ, говорить, идетъ на покой.

Кстати о театрахъ въ Парижѣ; но это будетъ еще болѣе кстати въ слѣдующемъ письмѣ.

1/12 мая 1847.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Въ прошломъ письмѣ мы говорили о томъ, что въ нашъ вѣкъ скука страшная, и что Рашель ѣдетъ въ Лондонъ; нынче я прибавлю къ обвиненію нашего вѣка, во-первыхъ, что Рашель уѣхала, а во-вторыхъ, что не только въ нашъ вѣкъ скучно, но что ни о чемъ, ни о скучномъ, ни о веселомъ, говорить нельзя: Богъ знаетъ куда утянетъ. Всѣ понятія перепутались, сплелись, зацѣпили другъ друга, связались круговой порукой безъ всякаго уваженія къ полицейскимъ и схоластическимъ раздѣленіямъ, къ пограничнымъ правиламъ школьно-таможенного благоустройства. Слѣдствія этой запутанности самыя плачевныя: все, что прежде знали хорошо и ясно, знаютъ скверно и смутно; людскія званія и сословія, звѣринные признаки и отличія царства природы и распредѣленіе искусствъ,—все перемѣшали, потеряли предѣлы между животными и растеніями, между обезьянами и людьми. Прежде могло ли это быть? Все было легко. „Есть междучелюстная кость“? — Есть. — „Скотъ“. — Нѣтъ. — „Человѣкъ“. — „Есть душа?“ — Есть. — Человѣкъ. — „Нѣтъ“ — Скотъ. Были признаки нѣсколько щекотливые, но вѣрные въ отношеніи къ прекрасному полу животныхъ и людей. Все ниспровергнули вмѣстѣ съ неизбѣжными авторитетами, благочестивымъ послушаніемъ и послушнымъ благочестіемъ! Какое кажется дѣло было Гёте, поэту и консерватору, найти междучелюстную кость у человѣка — нашелъ; другіе ученые, жившіе въ большой близости съ орангъ-утангами и жоко, нашли у нихъ лишь признаки отрицаемые наукой — и разболтали Весь этотъ безпорядокъ произошелъ отъ нѣмецкихъ теорій и французскихъ практикъ; онъ подняли всѣ дрожжи со дна общественнаго быта и со дна сознанія человѣческаго; все и пошло бродить, и міръ очутился *hors des*

gonds. Возьмемъ предметъ и не знаемъ потомъ, откуда и какъ начать. Вотъ напримѣръ: Рашель ѣдетъ въ Лондонъ, поводъ, по которому захотѣлось сказать нѣсколько словъ о здѣшнихъ театрахъ. Кажется дѣло простое. Въ прежнее время, не говоря худого слова, я началъ бы съ того, что въ Парижѣ театровъ двадцать три, что Терпсихора цвѣтетъ тамъ-то, но что истинные поклонники Талии тамъ-то, хотя великая жрица Мельпомены увлекаетъ тамъ-то — и всѣмъ сестрамъ по серьгамъ. А теперь, чтобъ сказать со смысломъ пять словъ о Фредерикѣ Леметрѣ и Левассерѣ, мнѣ нужно начать чуть не съ Фредерика Барбароссы, и по-крайней-мѣрѣ съ того Левассера, который сидѣлъ въ конвентѣ. — Увѣрю васъ, что нельзя понять парижскихъ театровъ, не пустившись въ глубокомысленныя разсужденія *à la Ciesъ* о томъ, *ce que c'est que le tiers-état?* Вы идете сегодня въ одинъ театръ — спектакль неудачный (то есть, неудачный выборъ пьесы, играютъ здѣсь вездѣ хорошо); вы идете на другой день въ другой театръ — тоже бѣда, тоже въ десятый день, въ двадцатый; только изрѣдка мелькнетъ изящный водевиль, милая шутка или старикъ Корнель со старикомъ Расиномъ величаво пройдутъ, опираясь на молодую Рашель и свидѣтельствуя въ пользу своего времени. Что же это такое? — Театры полны, длинные *quienes* тянутся съ пяти часовъ у входа? Ясное дѣло: парижане поглупѣли, потеряли вкусъ и образованіе; заключеніе основательное, пріятное и которое, я увѣренъ, многимъ очень понравится; остается узнать, такъ ли на самомъ дѣлѣ. Остается узнать, весь ли Парижъ выражаютъ театры, или какой Парижъ — Парижъ стоящій за *ценсъ* или Парижъ стоящій за *менсомъ*; это различіе первой важности.

— Какъ вы думаете, что всего болѣе меня удивило въ Парижѣ? — „Иподромъ, Гизо?“ — Нѣтъ! — „Елисейскія поля, депутаты?“ — Нѣтъ! — „Тюльери, канканъ?“ — Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Работники, *консьержи, garçon de café*, швей, слуги, даже солдаты, — всѣ эти люди толпы до такой степени въ Парижѣ избаловались, что не были бы ни-на-что похожи, еслибъ дѣйствительно непоходили на порядочныхъ людей. — Здѣсь трудно найти слугу, который бы вѣровалъ въ свое призваніе, слугу безотвѣтнаго и безвыходнаго, для котораго высшая роскошь сонъ и высшая нравственность ваши

капризы, слугу, который бы „не разсуждать.“ Если вы желаете имѣть слугу иностранца, берите нѣмца: нѣмцы охотники служить; берите пожалуй англичанина: англичане привыкли къ службѣ, давайте имъ денегъ, и будете довольны; но француза несовѣтую брать. Французъ тоже любитъ деньги до лихорадочнаго, судорожнаго стремленія ихъ пріобрѣсти; и онъ совершенно правъ: безъ денегъ въ Парижѣ можно меньше жить нежели гдѣ-нибудь, безъ денегъ нѣтъ свободного человѣка, развѣ въ Австраліи; пора бы перестать разглагольствовать о корыстолюбіи бѣдныхъ, пора просить, что голоднымъ хочется ѣсть, что бѣднякъ работаетъ изъ-за денегъ, изъ-за презрѣннаго металла.... вы не любите денегъ однакожъ — сознайтесь немножко — деньги хорошая вещь; я ихъ очень люблю. Дѣло совсѣмъ не въ ненависти къ деньгамъ, а въ томъ, что порядочный человѣкъ неподчиняетъ всего деньгамъ, что у него въ груди не все продажное. Французъ слуга будетъ не-утомимъ, станетъ работать за троихъ, но онъ не продастъ ни всѣхъ удовольствій своихъ, ни нѣкотораго комфорта въ жизни, ни права, разсуждать, ни своего *point d'honneur*; дѣлайте требованія, онъ будетъ исполнять; но не дѣлайте грубости; впрочемъ здѣсь никто негрубитъ съ прислугой. — *Madame, voulez vous bien me dire si Mr. N. est à la maison?* спрашиваетъ гость у жены консьержа. — *Voulez vous bien m'annoncer*, говоритъ онъ слугѣ въ передней; портѣе не потянетъ шнурка по грубому крику *Cordon!* ему не-премѣнно надобно *s'il vous plait*; до полиціи доходили подобныя дѣла и полиція, вѣрнувъ въ обязанность дворникамъ отпирать цѣлую ночь дверь, присовокупила совѣтъ: шнурокъ требовать учтиво. О суетные Галлы! Французъ-слуга, милый въ своемъ отсутствіи логики, хочетъ служить, какъ человѣкъ (т. е. въ прямомъ значеніи; у насъ въ словѣ человѣкъ заключается каламбуръ, но я говорю серьезно), онъ необманиваетъ васъ своею привязанностію, а съ беззаботной откровенностью говоритъ, что онъ служить только изъ денегъ, и что будь у него другія средства, онъ бы васъ покинулъ завтра; у него до того душа суха и полна эгоизма, что онъ не можетъ предаться съ любовью незнакомому человѣку франковъ за пятьдесятъ въ мѣсяцъ. Здѣшніе слуги расторопны до невѣроятности и учтивы, какъ маркизы; эта самая учтивость можетъ

показаться оскорбительною: ей тонъ ставить васъ на одну доску съ нимъ; они вѣжливы, но не любятъ ни стоять на вытяжкѣ, ни вскочить съ испугомъ, когда вы идете мимо, а вѣдь это своего рода грубость. Иногда они бываютъ очень забавны; поваръ, занимающійся у меня, смотритъ за буфетомъ, подаетъ кушанье, убираетъ комнаты, чиститъ платье, — стало не лѣнливъ, какъ видите, но по вечерамъ отъ 8 часовъ и до 10 читаетъ журналы въ ближнемъ café, и это *conditio sine qua non*. — Поваръ-политикъ? да это юмор! Журналы составляютъ необходимость парижанина. Сколько разъ я съ улыбкой смотрѣлъ на оторопѣлый взглядъ иностранца, когда *garçon*, подавши ему блюдо, торопливо хваталъ листъ журнала и садился читать въ той же залѣ. Слуги впрочемъ еще не составляютъ типа парижскаго пролетарія—типъ *ouvrier*, работникъ, — въ слуги идетъ бездарнѣйшая, худшая часть населенія. Порядочный работникъ, если не имѣетъ внѣшнихъ формъ слуги, то по развитію и выше и нравственнѣе. Эта „избалованность“ или какъ вамъ тамъ угодно назвать, одно изъ послѣдствій прошлаго переворота; на него мало обращали вниманія, потому-что оно вертится около кухни и передней, а оно не лишено важности. Большая часть парижскихъ слугъ, дѣти и внучата солдатъ „великой арміи“, дѣти и внучата утомившихся крикуновъ предмѣстій св. Антонія и Марсо, состарившихся трибуновъ *des sections*. Не смотря на отеческія старанія іезуитовъ и вообще духовныхъ во время реставраціи воспитать юное поколѣніе въ духѣ ложнаго смиренія и глубокаго невѣдѣнія своего прошедшаго, это было невозможно; напрасно издавали они для школъ книжки, въ которыхъ говорили о фельдмаршалѣ войскъ Людовика XVIII Буонапарте и о кроткомъ царствованіи Людовика XVII, перенесшаго столицу и дворъ въ Кобленцъ по случаю чуть ли не передѣлки половъ въ Тюльери. Дѣды, отцы и матери — матери всемогущія въ дѣлѣ воспитанія во Франціи: мать величайшая святыня для француза — совращали постоянно юное поколѣніе съ скромной тропинки, по которой вели его признанные учителя т. е. *les frères ignorantins*, своими умѣренными правилами, почерпнутыми изъ скромнаго „друга народа“, почтеннаго „отца Дюшена“ и смиреннаго „старога Корделье“; вмѣсто доказательствъ присовокуплялись рассказы, показывались рубцы и

текли слезы по щекамъ, опустившимся отъ лѣни, бѣдности и утраченныхъ надеждъ. Такіе рассказы, такое воспитаніе должны были сдѣлать новое поколѣніе состарившихся *gamins de Paris* грубыми, дерзкими, наглыми, — неправда ли? А вышло совсѣмъ наоборотъ: молодое поколѣніе гуманно, вѣжливо, даже нѣжно, вообще мягко — до тѣхъ поръ, пока незатронуто. Чтѣ за уваженіе къ женщинѣ, чтѣ за милое, трогательное вниманіе къ дѣтямъ! Какъ жаль, что народъ, развившій въ себѣ такія прекрасныя свойства, долженъ погибнуть, а дѣлать нечего, я это знаю изъ вѣрныхъ рукъ, мнѣ это рассказывали мудрецы „Вшивой Горки“ и „Плющихи“... Есть бѣдные, маленькіе балы, куда по воскресеньямъ ходятъ за десять су работники, ихъ жены, прачки, служанки; нѣсколько фонарей освѣщаютъ небольшую залу и садикъ; тамъ танцуютъ подъ звуки двухъ, трехъ скрипокъ. Это не знаменитый *Mabile*, не *Ranelagh*, не канканной памяти „хижина“, гдѣ освѣщеніе, деревья, трава — все пропитано сладострастіемъ, гдѣ пульсъ бьется какъ-то не людски, и гдѣ шалость иногда бы зашла далеко, еслибъ... не угрызения совѣсти, думаете вы?... нѣтъ, еслибъ не рука муниципала, готовая ежеминутно схватить за воротъ... Нѣтъ, на этихъ бѣдныхъ балахъ все идетъ благопристойно; поношенные блузы, полинялыя платья изъ холстинки почувствовали, что тутъ канканъ не на мѣстѣ, что онъ оскорбитъ бѣдность, отдастъ ее на позоръ, отниметъ послѣднее уваженіе, и они танцуютъ весело, но скромно, и правительство не поставило муниципала, въ надеждѣ на деликатность учениковъ слесарей и сапожниковъ. Чтѣ, смѣшно? — Очень смѣшно! — Въ праздникъ на Елисейскихъ поляхъ ребенокъ тянется увидѣть комедію на открытомъ воздухѣ, но какъ же ему видѣть изъ-за толпы?... не безпокойтесь, какой-нибудь блузникъ посадить его на плечо, устанетъ — передать другому, тотъ третьему, и малютка, переходя съ плеча на плечо, преспокойно досмотритъ удивительное представленіе взятія Константины съ пальбой и пожаромъ, съ какимъ-то алжирскимъ деємъ, котораго тамбуръ-мажоръ водить на веревкѣ. — Дѣти играютъ на тротуарѣ, и сотни прохожихъ обойдутъ ихъ, чтобъ имъ не помѣшать. На дняхъ мальчикъ лѣтъ девяти несъ по улицѣ *Helder* мѣшокъ размѣняной серебряной монеты; мѣшокъ прорвался и деньги рассыпались; мальчикъ

разрѣвѣлся, но въ одну минуту блузники составили около денегъ кругъ, другіе бросились подбирать, подобрали, сосчитали (деньги были всѣ на лицо), завернули и отдали мальчику.

Это все Парижъ, за ценою стоящій.

Но не-таковъ *буржуа, пропріетеръ, лавочникъ, рантье* и весь Парижъ за ценою стоящій. А этотъ-то Парижъ и выражаетъ театръ и въ этомъ онъ дѣлать судьбу своего товарища *du Palais Bourbon*—камеры. Театры держатся тѣми, кто платитъ наибольше; расходы на двадцать три театра страшные; кто же покрываетъ ихъ да еще съ избыткомъ (министръ внутреннихъ дѣлъ въ прошедшемъ году продалъ въ пользу „Эпохи“ привилегію на театръ за 100,000 франковъ). Конечно все это выкупается и окупается не блузниками, не дюжиною способностей, не дюжиною иностранцевъ: богатая буржуази платитъ за все, и театръ всего болѣе выражаетъ потребности, интересы мѣщанства. А развѣ прежде это было не-такъ? т. е. когда прежде? Нѣкогда театръ былъ аристократиченъ, потомъ безцвѣтенъ и официаленъ, какъ все литературное, до чего касался Наполеонъ. Во время реставраціи онъ сталъ склоняться къ буржуази, но буржуази была тогда національнѣе, она была зла, остра, умна, считала себя обиженною и невыступала такъ толсто и тупо-рельефно на первый планъ, какъ теперь. Буржуази явилась на сценѣ самымъ блестящимъ образомъ въ лицѣ хитраго, увертливаго, шипучаго, какъ шампанское, цирюльника и дворецкаго, словомъ въ лицѣ Фигаро; а теперь она на сценѣ въ видѣ чувствительнаго фабриканта, покровителя бѣдныхъ и защитника притѣсненныхъ. Во время Бомарше, Фигаро былъ *вне закона*, въ наше время Фигаро *законодатель*, тогда онъ былъ бѣденъ, униженъ, стягивалъ по немногу съ барскаго стола и оттого сочувствовалъ голоду и въ смѣхъ его скрывалось много злобы; теперь его Богъ благословилъ всѣми дарами земными, онъ обрюзгъ, отяжелѣлъ, ненавидитъ голодныхъ и невѣритъ въ бѣдность, называя ее лѣнью и бродяжничествомъ. У обоихъ Фигаро общее собственно одно лакейство, но изъ-подъ ливрея Фигаро стараго видѣнъ человѣкъ, а изъ-подъ чернаго фрака Фигаро новаго проглядываетъ ливрея, и что хуже всего, онъ ее не можетъ сбросить, какъ его предшественникъ: она приросла къ нему такъ, что

ее нельзя снять безъ его кожи. У насъ это сословіе не такъ на виду, въ Германіи оно одно и есть съ прибавкою теологовъ и ученыхъ, но какъ-то смиренно, мелко и изъ рукъ вонъ смѣшно; здѣсь оно дерзко и высокоумно, корчитъ аристократовъ, филантроповъ и людей правительственныхъ.

Вспомните всѣхъ Бриколеней, Галюше и др. въ романахъ Ж. Санда:—вотъ буржуа. Впрочемъ, позвольте, справедливость прежде всего: Ж. Сандъ выставляетъ дурную сторону буржуази; добрые буржуа читаютъ ея романы со скрежетомъ зубовъ и запрещаютъ ихъ брать въ руки своимъ мѣщаночкамъ... въ сторону ее! Я рекомендую лучший источникъ, патентованный, *breveté de par la bourgeoisie*—Скриба. Скрибъ—геній, писатель буржуази, онъ ее любитъ, онъ любимъ ею, онъ подлачился къ ея понятіямъ и ея вкусамъ такъ, что самъ потерялъ всѣ другіе; Скрибъ царедворецъ, ласкатель, проповѣдникъ, гаеръ, учитель, шутъ и поэтъ буржуази. Буржуа плачутъ въ театрѣ, тронутые собственной добродѣтелью, живописанной Скрибомъ, тронутые конторскимъ героизмомъ и поэзіей прилавка. Они узнаютъ себя и свои идеалы въ скрибовскихъ герояхъ, они улыбаются себѣ въ нихъ, перемигиваются съ ними, —словомъ, признаютъ ихъ столько, сколько отвергаютъ портреты Ж. Сандъ. Ну, если послѣ этого скрибовскіе герои отвратительнѣе, тупѣе, мелче всѣхъ Бриколеней и Галюше вмѣстѣ, то нельзя неосознаться, что для буржуази не на мѣстѣ быть казовымъ концомъ Франціи, особенно потому, что вездѣ есть толпа пошлыхъ людей, которые далѣе и непойдутъ, которымъ въ глаза бросится сыпь, изъ-за которой нестыдуются разглядѣть прекраснаго лица.

Буржуази не имѣетъ великаго прошедшаго и никакой будущности. Оно было минутно хорошо, какъ отрицаніе, какъ переходъ, какъ противоположность, какъ отстаиваніе себя. Его сила стало на борьбу и на побѣду; но сладить съ побѣдою оно немогло: не такъ воспитано. Дворянство имѣло свою общественную религію; правилами политической экономіи нельзя замѣнить догматы патриотизма, преданія мужества, святыню чести; есть правда религія противоположная феодализму, но буржуа поставленъ между этими двумя религіями. Наслѣдникъ блестящаго дворянства и грубаго плебейзма, буржуа соединилъ въ себѣ самыя рѣзкіе недостатки

обоихъ, утративъ всѣ достоинства ихъ. Онъ богатъ какъ вельможа, но скуенъ какъ лавочникъ. Французское дворянство погибло величественно и прекрасно; оно, какъ могучій гладиаторъ, видя неминуемую смерть, хотѣло пасть со славою; памятникъ этого героизма—4 августа 1789 года; что ни толкуй, а въ добровольномъ отреченіи отъ феодальныхъ правъ есть много величественнаго. Въ то время вы уже встрѣчаете во Франціи классъ людей, который при общей потерѣ пріобрѣтаетъ; дворянство лишается правъ, они усугубляютъ свои; народъ умираетъ съ голоду, они сыты; республика безъ денегъ, продаетъ земли, они ихъ скупаютъ; народъ вооружается и идетъ громить враговъ, они поставляютъ сукна, провіантъ. Народъ завоевываетъ всю Европу, по всей Европѣ течетъ рѣками его кровь,—они пользуются континентальной системой. Во время ужасовъ втораго террора, *terreur blanche*, какъ говорятъ Французы, буржуа дѣлаютъ избирателемъ и депутатомъ, и тутъ, какъ мы сказали, начинается его вторая *lune de miel*, лучшее время его жизни послѣ *jeu de rommes*; но осторожныхъ правилъ своихъ Фигаро не оставилъ: его начали обижать, — онъ подбилъ чернь вступиться за себя и ждалъ за угломъ, чѣмъ все это кончится; чернь побѣдила—и Фигаро выгналъ ее въ три шен съ негодованіемъ и поставилъ національную гвардію съ полиціей у дверей, что бѣ не пускать сволочь. Добыча досталась ему и Фигаро сталъ аристократомъ—графъ Фигаро Альмавива, канцлеръ Фигаро, герцогъ Фигаро, перъ Фигаро. А религіи общественной все нѣтъ; она была, если хотите, у ихъ пращуровъ, у непремѣнныхъ и настойчивыхъ горожанъ и легистовъ, но она потухла, когда миновала въ ней историческая необходимость. Буржуа это знаютъ очень хорошо: чтобъ помочь горю, они выдумали себѣ нравственность, основанную на арифметикѣ, на силѣ денегъ, на любви къ порядку. Одинъ пресмѣшнейшій лавочникъ рассказывалъ, что онъ во время барбесовскаго дѣла лишь только слышалъ, что что-то есть, взялъ свое ружье и цѣлый день ходилъ возлѣ дома. “Да съ которой же стороны вы были?“, спросилъ его одинъ молодой человѣкъ.—„О, я не мѣшаюсь въ политику, отвѣчалъ онъ:—мнѣ все равно, лишь бы общественный порядокъ былъ сохраненъ; я защищалъ *порядокъ*“. Недаромъ Ж. П. Рихтеръ смѣется надъ тѣми людьми, которые изъ любви

къ порядку десять разъ кладутъ вещь на одно и тоже мѣсто, ни разу не давши себѣ отчета, почему эта вещь должна лежать именно на этомъ мѣстѣ. Любовь къ порядку и самосохраненіе много способствовали къ тому, чтобъ буржуази изъ класса неопредѣленнаго перешла въ зумкнутое сословіе, которому границы—электоральный ценсъ внизъ и баронъ Ротшильдъ вверхъ. Малѣйшіе изгибы этого сословія изучилъ Скрибъ и на все далъ отвѣтъ. Онъ наругался надъ мечтами юноши, чувствующаго художественное призваніе, и окружилъ его уваженіемъ и счастіемъ, когда онъ сдѣлался честнымъ конторщикомъ; онъ къ землѣ преклонилъ голову бѣднаго и отдалъ его во власть хозяина, котораго воспѣлъ за то, что онъ любитъ, чтобъ работникъ повеселился въ воскресный день. Онъ даже вора умѣлъ поднять за то, что онъ разбогатѣвши даетъ кусокъ хлѣба сыну того, котораго ограбилъ,—и такъ это ловко представилъ, что хочется пожурить сына за то, что его отецъ былъ неостороженъ и плохо деньги берегъ. Казалось бы воровство—страшнѣйшее изъ всѣхъ преступленій въ глазахъ буржуази.... Но Скрибъ и тутъ зналъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло: воръ уже негодянтъ, умѣнье нажиться и хорошо вести свой домъ смываетъ всѣ пятна. А какъ позорно всякой разъ наказывается у Скриба женщина за капризъ, за минуту увлеченья, даже за шалость, какъ она всякой разъ одурачена, осмѣяна, и какъ мужъ торжествуетъ, исправляетъ, прощаетъ! Буржуа—деспотъ въ семьѣ, тиранъ дѣтей, тиранъ жены. Несудите о положеніи *порядочной* женщины по *bal Mabille*, по амазонкамъ Булонскаго лѣса, по гризеткамъ, играющимъ на бильярдѣ въ Люксембургскомъ саду, по милымъ существамъ, порхающимъ по бульварамъ, по жительницамъ квартала *Notre Dame de Lorette* или лучше судите по этимъ живымъ, беззаботнымъ, веселымъ, полькующимъ, смѣющимся образцамъ. Какая потребность веселья, игры, шутки, блеску, наслажденій, жизни въ Французскѣ! Но ей надобно проститься со всѣмъ этимъ, идучи къ меру съ своимъ женихомъ. Для того, чтобъ принимать участіе въ веселостяхъ, ей надобно отказаться быть женой. Въ Парижѣ, какъ нѣкогда въ Аѳинахъ, а потомъ въ Италіи, почти нѣтъ выбора между двумя крайностями—или быть куртизанкой, или скучать и гибнуть въ пошлости и безвыходныхъ хлопотахъ. Вы помните, что

рѣчь идетъ о буржуази; сказанное мною не будетъ вѣрно относительно аристократіи, но вѣдь ее почти нѣтъ. Кто наряжается, веселится, танцуетъ? — *la femme entretenue*, двусмысленная репутація, актриса, возлюбленная студента.... Я не говорю о несчастныхъ жертвахъ „общественнаго темперамента“, какъ ихъ называлъ Прудонъ; тѣ мало наслаждаются: имъ недосугъ. вмѣстѣ съ бракомъ Француженка средняго состоянія лишается всей этой атмосферы, окружающей женщину любовью, улыбкой, вниманіемъ; мужъ свозитъ ее въ дребезжащей *ситадинъ* на тощей клячѣ въ *Père Lachaise* или, пользуясь дешевизной, отѣдетъ по желѣзной дорогѣ станцію, свозитъ въ Версаль, когда „бьютъ фонтаны“, да раза два, три въ театръ,—вотъ ей на годъ и довольно. За эту жизнь современную буржуази прославили семейно счастливой, нравственной. Но такой почетной репутаціи мало для буржуази: она имѣетъ сильное поползновеніе аристократничать, хотя терпѣть не можетъ аристократовъ, потому-что боится ихъ превосходства въ формахъ, въ легкости рѣчи; слону смерть хочется иной разъ пробѣжать газелью,—да гдѣ же научиться? А Скрибъ на-что? Скрибъ надѣваетъ на себя ливрею швейцара и отворяетъ двери въ аристократическія залы временъ регентства и Людовика XV; но хитрый паредворецъ умѣетъ вездѣ выказать суетность обитателей этихъ залъ рококо передъ *вальяжностью* зрителей: „вы лучше — говорить онъ имъ — этихъ пустыхъ людей, у нихъ была только маера, *ce quelque chose*.“ Отчего же и намъ не имѣть *quelque chose*? думаетъ слонъ-газель и весело тащитъ изъ ложи свой животъ и улыбаясь ложится спать.

Страсть къ шуткѣ, къ веселости, къ каламбурѣ составляетъ одинъ изъ существенныхъ и прекрасныхъ элементовъ французскаго характера; ей отвѣчаетъ на сценѣ водевиль. Водевиль такое же народное произведеніе Французовъ, какъ трансцендентальный идеализмъ Нѣмцевъ. Но вы знаете пристрастіе людей несовсѣмъ воспитанныхъ ко всему неприличному; для нихъ все сальное остро, все циническое смѣшно. Буржуа, строгій блюститель нравовъ у себя въ домѣ, любитъ отпустить полновѣсную шутку, заставить покраснѣть двусмысленнымъ намекомъ дѣвушку; онъ и дальше идетъ—онъ любитъ и поволочиться и вообще любить развратикъ

втихомолку, такой развратикъ, который не можетъ никогда его поставить лицомъ къ лицу съ его обличенной совѣстью въ трехугольной шляпѣ, называемой полицейскимъ комиссаромъ, — онъ развратенъ включительно до статей кодекса о дурномъ поведеніи гражданъ. На сценѣ все это отразилось, какъ слѣдовало ожидать; водевиль (изъ десяти девять) принялъ въ основу не легкую веселость, не искрающую остротами шутку, а сальные намеки. Такъ какъ въ классическихъ трагедіяхъ, боясь потрясти нервы, убивали за сценой, такъ во многихъ пьесахъ новой школы васъ заставляютъ предполагать за кулисами... убійство, вы думаете? — о, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ! Терпѣть немогу пуританской строгости, люблю подъ часъ смотрѣть и на свирѣпый канканъ и на отчаянную польку; но, воля ваша, есть нѣчто грустное и скорбное въ зрѣлищѣ двадцати залъ, въ которыхъ набились биткомъ люди съ шести часовъ вечера, для того, чтобъ до двѣнадцати восхищаться глупыми пьесами и сальными фарсами, и это всякій день. Присрастіе къ двусмысленностямъ и непристойностямъ испортило великія сценическія дарованія; художники увлекаемые громомъ рукоплесканій (на которыя здѣсь очень скупы) такъ избаловались, что они каждому слову, каждому движенію умѣютъ придать нѣчто... нѣчто кантаридное. Сама мадмоазель Дежазе далеко неиззята этого недостатка

Было время, когда острая и сметливая публика умѣла ловко поднять всякій политическій намекъ, всякую смѣлую мысль; это было во время беранжеровскихъ пѣсень и памфлетовъ Курье; нынче она охладѣла къ идеямъ, къ „словамъ“, нынче все акціи, фонды, дороги (*), да и еѣ тому же хорошо было фрондерствовать во время реставраціи, а теперь мы сами стали консерваторами и боимся слишкомъ зацѣплять политику. Зато, что касается до героизма, до высокой отваги — буржуа безпримѣренъ; недаромъ онъ съ себя снялъ историческій мундиръ той національной гвардіи — первой. Людовику Филиппу стало жаль мундиръ, который онъ на-

(*) До чего можетъ пасть вкусъ публики и даже всякой смыслъ всего лучше доказываетъ возможность давать гнусности въ родѣ *Chevalier de Maison Rouge* А. Дюма; я ничего не знаю ни отвратительнѣе, ни скучнѣе, ни безталантнѣе, — а идетъ!

шиваль въ грозную годину, ему нехотѣлось замѣнить его уродливымъ чакѣ и туникой. Нѣтъ, умоляютъ: „дай чакѣ, да и только!“ Король разрѣшилъ имъ носить тунику и чакѣ, а самъ остался по прежнему въ старомъ мундирѣ. Зато, посмотрите, когда въ оперѣ поютъ: „*L'Anglais ne régnera*,“ дѣлается вопль, шумъ, трескъ, — буржуа, внѣ себя отъ патріотизма, кричитъ: „*ne régnera! ne régnera!*“ и смотритъ съ гордымъ видомъ на какого-нибудь секретаря лорда Норманби, который, недвигаясь ни однимъ мускуломъ, какъ гibraltarская скала, сидитъ въ ложѣ, въ бѣломъ галстухѣ изъ крашеной стали и съ одной венозной кровью въ лицѣ. Пріѣзжій изъ-далека могъ бы подумать, что война между Англіей и Франціей во всемъ разгарѣ, что англійскій флотъ сталъ на якорѣ въ Будонскомъ лѣсу и что Маѳусаилъ-Веллингтонъ дерется съ Маѳусиломъ-Сультомъ въ Батиньолахъ — а это еще *entente cordiale*.

Послѣ этого введенія можно бы поговорить о театрѣ, но отчего же неоговорить о немъ въ слѣдующемъ письмѣ?...

3 Іюня (22 мая).

Р. S. Перечитывая письмо, мнѣ захотѣлось прибавить еще нѣсколько словъ о прислугѣ. О тягости, несправедливости, взаимномъ стѣсненіи и взаимномъ развратѣ, происходящемъ отъ лакейства говорятъ давно; но, не будучи дикимъ или Жанъ Жакомъ, какъ же обойтись безъ частной прислуги? Въ Парижѣ частная прислуга со всякимъ днемъ становится менѣе нужною. Люди ограниченнаго состоянія не имѣютъ своихъ слугъ — и живутъ очень удобно. Необходимость дѣлаетъ въ этомъ отношеніи, какъ и во всѣхъ, то, о чемъ убѣжденіе краснорѣчиво разглагольствуетъ. Всѣ мы страшные теоретики, а на приложенія смотримъ свысока; мы носимся на воздушномъ шарѣ по воскресеньямъ — а въ будни наша жизнь течетъ себѣ и утекаетъ по грязной, глинистой почвѣ. Приложеніе вовсе нелегко, оно-то и трудно. Въ теоріи можно понять всякую истину, всякую мысль, а на практикѣ не устроишь свой домашній бытъ. Нравственные перевороты тогда совершаются дѣйствительно, когда они дѣлаются истиной около очага, когда они становятся поведеніемъ, образомъ дѣйствія, привычкой, если хо-

тите. Вотъ почему я придаю чрезвычайную важность тому, что здѣсь устроилась, осуществилась возможность до нѣкоторой степени обходиться безъ частной прислуги.... Но какъ же и чѣмъ замѣняется эта третья рука, этотъ соподчиненный членъ, дѣлающій для васъ все, что вамъ не хочется для себя дѣлать? Я вамъ сейчасъ расскажу.

Парижскія квартиры чрезвычайно удобны, въ какую цѣну ни возьмите—отъ 700 фр. въ мѣсяцъ до 700 фр. въ годъ. Вездѣ зеркала, занавѣски, мебель, посуда, мраморный каминъ, столовые часы, кровати съ пологомъ, ковры, туалеты, — вездѣ завоеваны у самаго небольшого пространства всѣ его возможности, и на все наброшено это нѣчто, *ce fion*, придающее маленькимъ комнатамъ свѣтлый, веселый видъ; въ каждой комнатѣ виситъ непременно шнурокъ. До него-то я и добираюсь. Шнурокъ идетъ въ ложу консьержа или портѣе. Портѣе и вся семья его вѣчно готовы къ услугамъ постояльцевъ: въ большихъ домахъ у нихъ есть помощники. Портѣе чиститъ вамъ платье и сапоги, портѣе натираетъ парке, обтираетъ пыль, моетъ окна, портѣе ходитъ за табакомъ, за виномъ, за бифстекомъ и котлетами; портѣе получаетъ ваши письма, въ его ложу бросаютъ ваши журналы, ему отдаютъ визитныя карточки; портѣе освѣщаетъ лѣстницу въ началѣ вечера и запираетъ наружную дверь, портѣе отпираетъ ее въ какое бы время вы ни пришли, у него горитъ свѣча, вы берете свой ключъ, зажигаете ночникъ и идете спокойно, зная что васъ не ждутъ. Какъ портѣе успѣваетъ?—это труднѣе сказать нежели какъ Цинети дѣлалъ изъ мыши пятакъ и изъ пятака птицу—я не знаю какъ; но гдѣ онъ спитъ, когда отдыхаетъ—это тайна; дѣло въ томъ, что онъ съ своей семьей или съ помощникомъ такъ ловко улаживаетъ свою службу, что онъ вездѣ, и притомъ ложа никогда пуста не бываетъ. Но неопасно ли ему отдать ключъ, можно ли положиться на него?—Какъ на каменную стѣну!—Да отчего же это? Причины есть. Во-первыхъ, пропріетеръ или общій наемщикъ съ большой осторожностью нанимаетъ портѣе, а во-вторыхъ, онъ въ средней величины домѣ, въ центрѣ Парижа получить въ годъ отъ двухъ до двухъ съ половиною тысячъ франковъ (*). На него мож-

(*) Полагая въ домѣ средней величины 25 наемщиковъ, мы можемъ считать 5.

но положиться, потому-что онъ не нищій; само собою разумѣется, онъ имѣетъ свои счета и съ винопродавцемъ, и съ мелочнымъ торговцемъ, имѣетъ свои *revenant bon*, какъ Тестъ имѣлъ свой. Говорятъ, они шпіоны, я этому несовѣмъ вѣрю: старая полицейская уловка застрачивать вездѣ шпіонами; что онъ будетъ доносить о воровствѣ, убійствѣ—это его обязанность; болѣе: онъ обязанъ сержанту дать объ васъ справку; ну, а если онъ начнетъ подслушивать ваши слова, вамъ до этого дѣла нѣтъ: такіе доносы совершенно бесполезны или лучше безвредны, развѣ могутъ служить для украшенія памяти и сердца полицейскихъ чиновниковъ. Что доносить дворникамъ, гдѣ *National, Réforme, etc., etc.*, доносятъ и полиціе и краснорѣчивѣе? Портые любятъ своихъ постояльцевъ, печется объ ихъ дѣлахъ, оказываетъ всякія любезности имъ. Утромъ, прежде нежели вы проснулись (я предполагаю, что вы нормальный человѣкъ и слѣдственно просыпаетесь во-время, т. е. никакъ не ранѣе 8 часовъ), платье ваше готово, вода принесена (особымъ водоносомъ); стоитъ одѣться и итти въ *Café*, который въ двухъ шагахъ, читать журналы. Но вы не любите можете быть (такъ какъ я) рано выходить изъ дому, это отъ васъ зависитъ, только за лѣнь съ васъ надобно взять 20 фран. въ мѣсяцъ лишняго, и въ назначенный часъ *garçon de Café* принесетъ вамъ кофейникъ и дѣвочка изъ ближняго литературнаго бюро десятокъ журналовъ. Теперь къ обѣду. Дома готовить кушанье дорого, гораздо дороже нежели ходить въ лучший ресторанъ; за три франка вы будете сыты вездѣ, прибавьте франкъ—и васъ жажда томить не будетъ, вамъ дадутъ цѣлую бутылку медака (возможнаго). Прибавьте еще франкъ—все это принесутъ на домъ. Шутка, 5 франковъ! Ну, а денегъ нѣтъ, такъ ходите за общій столъ и обѣдайте за 3 франка и даже за 2 ф. 50 сан. съ виномъ. Держать своихъ лошадей нелѣпо: превосходные *voiture de remise* и прескромные *ситадини* и кабріолеты къ вашимъ услугамъ; цѣна назначена. Приѣхали на балъ, въ театр—мальчикъ отворяетъ карету и кладетъ подъ ноги доску—если грязь—за одинъ су. Шинель ваша или пальто отдается при входѣ за пять су; на-что же вамъ лакей? А которые ему платятъ по 15 фр. въ мѣсяцъ, 5 по 10, 5 по 5, 5 по 2 ф. 50 с.—сверхъ того онъ получаетъ что-нибудь отъ пропріетера.

кто же приведетъ карету? здѣсь нѣтъ жандармовъ, громко взывающихъ и повторяющихъ вашу фамилью; такой же мальчикъ въ блузѣ за су отыщеть карету. Когда же крайность въ частной прислугѣ? Среди дня? Вы всегда можете за дѣломъ позвать портѣе, каменнаго ли угля принести, затопить ли каминъ, бросить ли письмо въ ящикъ; но разумѣется онъ померъ бы со смѣху или разразился бы ругательствами, еслибъ вы его позвали на пятой этажъ за тѣмъ, чтобъ онъ набилъ вамъ трубку или подаль платокъ изъ другой комнаты; да въ этомъ-то и состоитъ нравственная выгода образованной жизни, что она отъучаетъ отъ дикихъ привычекъ. Женатому горничная также ненужна: жена портѣе, его дочь, сестра будутъ и одѣвать, и раздѣвать, и шнуровать, и сплетничать, словомъ, дѣлать все необходимое. Дѣти требуютъ кухарку или повара, за ними нужна нянька; но нѣтъ необходимости ихъ неотдавать въ пансіонъ; для большинства дѣтей разумѣется лучше, чтобъ они были въ пансіонахъ, нежели свидѣтелями всего, что дѣлается подъ родительскимъ кровомъ.

Изъ этого вы видите, что безъ частной прислуги обойтись можно... Вообразите теперь спокойствіе такой жизни; она становится мужественнѣе, чище; вообразите удовольствіе, приносимое отсутствіемъ лишняго человѣка — чуждаго, посторонняго вамъ, безстрастнаго свидѣтеля всѣхъ вашихъ дѣлъ. Постскриптумъ мой я бы посвятилъ М. П. Погодину: такъ много въ немъ франковъ и сантимовъ; но вѣдь я со стороны дороговизны, я радъ ей, я со стороны *payez M-rs, si vous êtes assez riches*, а утопія М. П. жизнь безсеребренная, т. е. не тратающая серебра; онъ ненавидитъ алчность *ближнему* къ деньгамъ, онъ и дальнему Лондону загнулъ: „Марѳа, Марѳа, печешеся о мнозе!“

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Если я васъ огорчилъ въ прошломъ письмѣ моими замѣчаніями о парижскихъ театрахъ, то постараюсь нѣсколько утѣшить теперь; на дворѣ идетъ мелкій дождь, мокрый солдатъ, въ красныхъ панталонахъ, съ прекистой рожей, прижался къ будочкѣ у стѣны *Elizée*

Bourbon, и на сердце что-то тяжело,—самыя счастливыя условія для критики доброй, все видящей въ розовомъ свѣтѣ.

Само собою разумѣется, что не все же пошло на парижскихъ сценахъ, какъ васъ увѣряетъ второе письмо; я рѣшительно несогласенъ со вторымъ письмомъ. Въ семьѣ не безъ уroda, говаривалъ часто одинъ добрый чиновникъ, рассказывая, что его племянникъ до того пристрастился къ наукамъ, что вышелъ въ отставку. Вотъ для примѣра хоть бы и „Парижскій Вѣтошникъ“ г. Піа, котораго даютъ безпрестанно и все-таки желающихъ больше, нежели мѣста въ театрѣ *Porte-St.-Martin*. Конечно многіе ходятъ для Фредерика Леметра, но въ пошлой пьесѣ Фредерикъ не могъ бы такъ играть. Онъ безпощаденъ въ роляхъ „вѣтошника“; иначе я не умѣю выразить его игры; онъ вырываетъ изъ груди какой-то стонъ; какой-то упрекъ, похожій на угрызеніе совѣсти.— Королева Викторія спросила Леметра, послѣ нѣсколькихъ сценъ, сыгранныхъ имъ изъ драмы Піа на Вестминстерскомъ театрѣ, глубоко тронутая и со слезами на глазахъ: „неужели въ Парижѣ много такихъ бѣдняковъ?“—„Много, В. В.“, отвѣчалъ Леметръ со вздохомъ:—„это парижскіе Ирландцы.“

Пьеса Піа богата хорошими мѣстами, но растянута и преглупо развязана. Пожалуй я васъ познакомлю съ ней маленькимъ очеркомъ.

Съ перваго явленія пьеса настраиваетъ васъ особенно пріятно. Зимняя ночь, съ боку Аустерлицкій мостъ, каменная набережная Сены тянется передъ глазами, два фонаря слабо освѣщаютъ берегъ, за рѣкой видны дома, лѣсъ, трубы, которыя придаютъ Парижу его оригинальный видъ, кой-гдѣ мелькаютъ огоньки. На скамьѣ сидитъ оборванный человѣкъ; изъ его словъ видно, что онъ совершенно раззорился, принялся было за промыселъ вѣтошника, но и это неидетъ. Непривычный къ нищетѣ, онъ рѣшается броситься въ Сену. Но является другой вѣтошникъ съ своимъ фонаремъ и сильно выпивши (Леметръ); этотъ въ нищетѣ, какъ рыба въ водѣ, поетъ пѣсни, покачивается и уговариваетъ своего товарища не бросаться въ воду. „Въ газетахъ напечатать объ этомъ, и имя напечатать, съ разными непріятными разсужденіями“; то ли дѣло съ горя придерживаться синяго и горькаго *trois six, fil-en-quatre* и *Paul-Niquet*. По несчастію тотъ не восхищается *Paul-*

Niquet и предпочитаетъ смерть водою смерти спиртомъ. Пьяница сердится и уходитъ, говоря ему, что если очень хочется, пусть себя топится. Тотъ бы и утопился безъ этой встрѣчи, но развлеченный ею, онъ подумалъ, подумалъ—да и остался. Но что же онъ будетъ дѣлать, съ мрачной злобой, съ отчаяньемъ, съ недостаткомъ мужества? онъ самъ не знаетъ; но вотъ идетъ *commis de bureau*, съ портфелемъ.... Чего тутъ думать.... хватъ его дубиной по головѣ, тотъ растянулся, бѣднякъ его докончилъ, взялъ деньги и давай Богъ ноги. Тишина. Фонари также горятъ, трупъ валяется на тротуарѣ; черезъ минуту идетъ молча, мѣрными шагами рундъ, видитъ мертвое тѣло и останавливается.—Вотъ торжественный входъ, вотъ канибальскій прологъ, которымъ авторъ вводитъ васъ въ мѣръ голода и нищеты, роющійся подъ ногами, копошащійся надъ головой, мѣръ подваловъ и чердаковъ, мѣръ грустнаго самоотверженія и свирѣпыхъ преступленій. Проходитъ нѣсколько лѣтъ. Сцена представляетъ верхній этажъ, нѣчто въ родѣ чердака, съ одной стороны каморка, въ которой при тоненькой свѣчѣ шьетъ бѣдно одѣтая дѣвушка платье; съ другой надъ лѣстницею догадливый пропріетеръ выгадалъ нѣчто въ родѣ палатей, въ родѣ балкона, клѣтки, большого коробка,—старикъ вѣтошникъ спитъ совсѣмъ одѣтый на койкѣ; это его комната. Дѣвушка грустно и тяжело, бѣдность ее гнететъ, она сирота.... работа, работа и вѣчная работа изъ-за куска хлѣба, никакой радости, никакого утѣшенія! Она кончила платье, платье пышное, богатое; счастливица какая-то будетъ его носить, побѣдетъ въ немъ въ театрѣ, въ оперу, а она будетъ шить что-нибудь другое въ той же каморкѣ, въ печальномъ уголку своемъ,—и будто можно такъ жить въ 18 лѣтъ и съ французской кровью въ жилахъ! Марія примѣриваетъ платье, чтобъ узнать, нѣтъ ли складокъ.... Дитя, она хитритъ съ собою: ей просто хочется увидѣть на себѣ такой нарядъ; одѣлась—къ лицу ей платье, и она чуть не плачетъ; вдругъ раздается карнавальная музыка, шумъ, хохотъ, маски идутъ мимо, потомъ шумъ на лѣстницѣ и нѣсколько швей одѣтыхъ дебардерами и гусарами врываются въ ея комнату. Марія въ прекрасномъ платьѣ.... вотъ чудо, вотъ прелесть, въ оперу, въ оперу!.... Она не хочетъ, то есть, она хочетъ, но что-то страшно, она

никогда небывала; тѣ шумятъ, уговариваютъ, шьютъ маску. Да какъ же неѣхать! онѣ будутъ потомъ ужинать, ихъ звали, будутъ ѣсть „омара и мороженое“;—она ѣдетъ. А вѣтошникъ въ это время встаетъ, зажигаетъ свой фонарь и идетъ кряхтя на работу—подбирать остатки, обглодки жизни, пронесшейся наканунѣ; ночь его юбилейный день. Сцена мѣняется—«знакомыя все лица»: одинъ изъ кабинетовъ *Maison-d'or*, откуда... увы! я такъ часто выходилъ *рано утромъ*—послѣ обѣда, безъ васъ, любезные друзья. Каминъ горитъ, лампы, свѣчи, зеркала—блескъ такой, посѣтителей много; кто воротился изъ оперы еще въ маскарадномъ платьѣ безъ маски, кто сидѣлъ тутъ цѣлый вечеръ, одни заказываютъ ужинъ, спорятъ о блюдахъ, другіе требуютъ вина; какой-то молодой человѣкъ, развалясь съ гитарой на креслѣ, философствуетъ, всѣ ждутъ дебардеровъ; вотъ и онѣ—веселы, живы, кто садится на столъ, кто полькируетъ, кто пьетъ; ихъ обнимаютъ, ихъ угощаютъ, съ ними любезничаютъ, такъ какъ вы, *mio caro*, знаете очень хорошо, и такъ какъ вы, *cara mia*, никогда не узнаете. (*) Но наша бѣдная дѣвушка, въ первый разъ попавшаяся въ такую компанію, перепуганная, не знаетъ что дѣлать; она инстинктомъ поняла оскорбленіе, поняла что-то неловкое, дурное во всемъ этомъ, она взволнована. Сначала ее не замѣчаютъ, потомъ добрались и до нея, начинаютъ преслѣдовать, интриговать, требуютъ, чтобъ она сняла маску; она не снимаетъ; срываютъ маску; робкая и пугливая она не знаетъ, что дѣлать. По счастью философъ съ сигарой защитилъ ее отъ дикихъ выходокъ своихъ товарищей; его поразили невинный и страждущій видъ дѣвушки, онъ даже взялся проводить ее до дому. И вотъ опять ея комната на сценѣ; она еще не возвращалась, какая-то женщина въ салонѣ приходила тайкомъ, пошныряла въ комнатѣ, потомъ ушла. Является и Марія, расплаканная и огорченная; сверхъ всего остального, платье залито, изодрано. Ну, вотъ ей и опера, и этотъ шумъ свѣта, о которомъ она мечтала; раскаяніе, стыдъ и горе,—вотъ что осталось отъ всего.

(*) Живость, ловкость подобнаго рода сценъ на парижскихъ театрахъ превосходить всякое описаніе. Вообще добросовѣстность изученія ролей здѣсь доведена до невѣроятности.

Въ порывахъ негодованія и досады она рѣшается лишить себя жизни: у ней никого нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ, кромѣ стараго вѣтошника, друга-сосѣда, сосѣда-отца. Она пишетъ къ нему записку, кладетъ ее ему на столъ и приготовляетъ все нужное для уга-ра, но вдругъ раздается крикъ новорожденнаго.... она смотритъ: на ея кровати подброшенное дитя. Вы знаете великую физиологическую симпатію между ребенкомъ и женщиной. Марія рѣшается жить, потому-что ей нѣкуда дѣтъ ребенка.... не покинуть же его безпомощнаго, слабаго такъ. Между тѣмъ и старикъ вскарабкался въ свою кѣтку, съ корзинкой всякой дряни, съ костями, которыя перешли отъ барина къ слугѣ, отъ слуги собакѣ, отъ собаки достались вѣтошнику; но на этотъ разъ находка была лучше: *Père Jean* нашелъ десять тысячъ франковъ банковыми ассигнаціями; старикъ мечтаетъ о наградѣ, которую дадутъ ему когда онъ возвратитъ деньги,—вдругъ ему попадается записка Маріи, онъ бѣжитъ къ ней, и что же? находитъ ее съ новорожденнымъ. „Такъ вотъ оно что!“—Онъ, какъ громомъ пораженный, падаетъ на стулъ.

Да что у него за отношенія къ Маріи, что онъ на старости лѣтъ влюбленъ въ нее, или что за странная дружба сѣдого старика съ восемнадцатилѣтней дѣвушкой? Онъ влюбленъ въ нее, онъ любитъ ее, какъ отецъ, онъ любитъ ее, какъ другъ; безпредѣльно нѣжное чувство его къ Маріи совершенно понятно, особенно понятно во Франціи, всего понятнѣе въ Парижѣ. Бѣдные люди въ Парижѣ иногда впадаютъ въ какую-то одичалость, въ кретинизмъ даже, особенно приходящіе въ Парижъ искать работы—всѣ эти савояры, овернѣты; но это исключеніе, исключеніе, къ которому принадлежать уличные нищіе; собственно парижскіе бѣдняки имѣютъ сверхъ затаеннаго негодованія голову поднятую вверхъ, они психически развиты гораздо болѣе, нежели вы предполагаете; въ этихъ организаціяхъ, блѣдныхъ отъ дурнаго воздуха, отъ гнетущей нужды, отъ непрерывныхъ лишеній, отъ зависти.... да, отъ зависти!... („Ну, ужъ это скверно!“ Разумѣется, любезный моралистъ; что же вы покраснѣли?)—въ душѣ ихъ есть что-то вѣрно чувствующее, мѣтко понимающее и притомъ безпредѣльно грустное и нѣжное. Чистота и нравственность далеко не чужды имъ; развратъ имѣетъ свои предѣлы: опускайтесь по лѣст-

ницѣ общественныхъ положеній, вы будете съ каждымъ шагомъ находить болѣе и болѣе пороковъ и гадостей; но опуститесь на самое дно, вы найдете столько же добра и нравственности, сколько паденія и преступнаго; развратъ самый гнусный принадлежитъ низшаго слоя буржуази, а не народа, не работника. Знаете ли, что народъ, что бѣдняки берегутъ свою репутацію, что они рѣдко протянутъ руку прохожему, а если и протянутъ, то не унижаясь, что они не всегда возьмутъ на водку, и почти никогда не попросятъ. Это не Англичане, не Итальянцы, не Нѣмцы,—это парижане. Парижскій воздухъ великое дѣло: онъ во всѣ шесть или семь этажей, въ чердаки и подвалы, въ антресоли и первые этажи, въ трубы и щели дуетъ однимъ и тѣмъ же; буржуази закрываетъ ставни, конопатитъ дыры отъ него, но бѣднякъ не прячется и онъ ему навѣваетъ идеи, мысли, и вѣтошникъ, найдя минуту покоя, вытаскиваетъ вчерашнюю газету и читаетъ, закусывая чорствымъ хлѣбомъ. Масса стремленій, понятій и мыслей, проникнувшая въ низшіе классы и поддерживающая лихорадочное и болѣзненное расположеніе духа, чрезвычайно велика; она-то и есть главная хранилища ихъ нравственности; теряя ее, бѣдняки впадаютъ въ страшную жизнь „парижскихъ тайнъ“, съ нею они типы героевъ Ж. Сандъ. Такова Марія. Но вѣдь и *père Jean* таковъ, вѣдь и это чисто парижскій продуктъ,—„грибъ, выросшій на парижскомъ новозѣ“, его колыбель, родина, училище—улица, на которую его выбросили тотчасъ послѣ рожденія; добрые люди не дали умереть съ голоду, и онъ остался въ живыхъ, по насмѣшливой прочности и упорности жизни тамъ, гдѣ жить невозможно. Онъ и росъ кой-какъ на улицѣ, разумѣется ремеслу никакому не научили, кому до него дѣло, выросъ наконецъ, сдѣлался вѣтошникомъ, пропивалъ все вырученное, потомъ бросилъ *trois six* и такъ вжился въ свою долю, что и не рошщеть, что ему кажется совершенно въ порядкѣ зажечь ночью фонарь и итти подбирать тряпки и лоскутья. Онъ отъ роду не видалъ поля, зелени, онъ жилъ какъ мокрица на сырыхъ каменныхъ стѣнахъ и ползалъ по ночамъ по узкимъ, темнымъ переулкамъ. Семьи у него не было: онъ слишкомъ бѣденъ, чтобъ имѣть семью; любить ему состояніе не позволяло. Недаромъ однако же *Père Jean* лѣтъ шестдесятъ та-

скался по улицамъ и смотрѣлъ на это многообразіе движущейся жизни: онъ философъ, онъ мудрецъ, а главное, онъ характеръ. Встрѣтившись на томъ же краю бѣдности, на которомъ самъ стоялъ, съ Маріей, онъ тотчасъ понималъ, какого закалу эта дѣвушка, и онъ полюбилъ ее всею той любовью и всѣми тѣми любовью, которыхъ не было у него въ жизни: у него явились дочь, другъ; Марія—его семья, его отдыхъ, единственное человѣческое утѣшеніе, она его поэзія, его *trois six*, его примѣненіе съ жизнью,—отвѣтъ на все то, на что обстоятельства не дали отвѣта, а парижскій воздухъ далъ вопросъ. Онъ сталъ ея сторожемъ, ея хранителемъ; разумѣется, новорожденный поразилъ старика, такъ вполне вѣровавшаго въ ея чистоту, въ ея откровенность.—Дѣло объяснилось; но ребенокъ увлекаетъ опять въ траты, ему надобно молоко, средствъ нѣтъ, десять тысячъ лежатъ неприкосновенными, о нихъ и думать не смѣютъ. Марія рѣшается просить дочь барона, на которую она работаетъ, чтобы она простила ей и не заставляла бы зарабатывать испорченнаго платья. Въ пышной гостиной сидитъ баронъ съ дочерью; онъ что-то не въ мѣру безпокоенъ, она не въ мѣру грустна, а тутъ эта дѣвчонка съ вздорными требованіями, да еще сама говоритъ, что ей деньги нужны для ребенка. „Какого ребенка?“—Мнѣ подкинули.—„Когда?“—12 февраля. Баронъ, знающій жизнь, начинаетъ журить дѣвушку, безъ обиняковъ говорить, что это ея ребенокъ, что онъ ей ничего не дастъ, что онъ не поощряетъ безпорядковъ и распутства, наконецъ бранить ее, что она смѣла его дочери говорить о такихъ непристойностяхъ. Марія уходитъ, взволнованная и удивленная. Отецъ въ бѣшенствѣ, дочь смущена; дѣло становится ясно: 12 февраля родила она; отецъ, чтобы спрятать концы въ воду, далъ десять тысячъ франковъ доброй и услужливой повивальной бабкѣ г-жѣ Потаръ, чтобы она уничтожила, *супримиrowала* ребенка; у г-жи Потаръ сердце нѣжное, нервы слабые до того, что она не могла подняться на высоту задачи, которою ее почтило довѣріе барона, она не убила ребенка, а подбросила его бѣдной дѣвушкѣ. Въ торопяхъ деньги были потеряны и *père Jean* ихъ нашелъ. Баронъ дѣлаетъ строжайшій выговоръ г-жѣ Потаръ и даетъ еще 10 т. франковъ, чтобы радикальнѣе сбыть съ рукъ ребенка.... Ребенокъ пропалъ, и пока

Марія въ отчаяніи не можетъ понять, что съ нимъ сдѣлалось, является полиція:—Марія Дидье, васъ обвиняють въ дѣтубійствѣ. „Меня?“ спрашиваетъ испуганная дѣвушка.—Вашего ребенка нашли утопленнымъ въ канавѣ. Дикій крикъ вырывается изъ устъ Маріи въ отвѣтъ на страшную вѣсть и на гнусное обвиненіе.—Первы г-жи Потаръ оказались на этотъ разъ исправнѣе.

Марія любима, любима нѣжно, страстно молодымъ человѣкомъ, который проводилъ ее тогда; онъ (какъ непременно воображаютъ нужнымъ писатели французскихъ пьесъ) женихъ бароновой дочери. Но что ему до нея со всѣмъ ея богатствомъ? Онъ нашелъ ту дѣву, о которой мечталъ, онъ узналъ Марію, изучилъ ее, онъ хочетъ жениться на ней. — Погодите, молодой человѣкъ, ваша неземная дѣва въ толпѣ колодниковъ, развратницъ, въ тюрьмѣ; ее судятъ за дѣтубійство, ея имя попало уже въ *Gazette des Tribunaux* и разнеслось отъ кафе до дворцовъ, и послужило темой моральныхъ разсужденій для толстыхъ мѣщанъ и жирныхъ мѣщанокъ.

Вѣтошникъ не спитъ. Объявлено въ афишахъ, что 12 февраля потеряны 10 т. фр. билетами, ночью, въ кварталѣ *Saint-Lazare*, и что нашедшій можетъ явиться къ г-жѣ Потаръ, повивальной бабкѣ, за приличнымъ награжденіемъ. Это не-сироста, подумалъ *père Jean*, надѣлъ на себя лучшее платье, старый фракъ, который ему не впору, купленный гдѣ-нибудь на толкунѣ, панталоны съ заплатами и отправился къ г-жѣ Потаръ. Тутъ вы видите другую сторону бѣдняка—хитрость, умѣнье владѣть собою, непреклонную и неуступчивую волю, свойства столько же необходимыя бѣдняку, какъ казаку на кавказской границѣ: тотъ и другой непрерывно лицомъ къ лицу съ хитрымъ и злымъ врагомъ.—Леметръ въ этой сценѣ удивителенъ.—*Père Jean* успѣлъ выманить у Потаръ доказательство, что ребенокъ родился отъ бароновой дочери. Теперь онъ явился во весь ростъ обвинителемъ. Но знаете ли, кто баронъ? баронъ—человѣкъ совершившій убійство на аустерлицкой набережной. Онъ богатый и сильный, не соперникъ вѣтошнику: вѣтошникъ обмануть (сцена неловкая, трудная для актера и скучная для зрителя) и мало того отданъ подъ-судъ, какъ находящійся въ сильномъ подозрѣніи убійства: у него нашли портфель съ именемъ убитаго. Все въ порядкѣ, какъ надобно было ожидать, но

тутъ нелѣпая сцена въ тюрьмѣ, украденная изъ шиллеровой пьесы „Коварство и Любовь“, гдѣ Вурмъ заставляетъ писать Луизу; баронъ уговариваетъ Марію для спасенія молодого человѣка, за котораго онъ хотѣлъ выдать свою дочь, принять на себя преступленіе, обѣщаясь спасти ее послѣ сентенціи; молодой человѣкъ остался вѣренъ, остался убѣжденъ въ ея невинности, непоколебимъ въ своей любви.... вдругъ сознаніе! Марія присуждена къ ссылкѣ. На сценѣ судебное мѣсто, у дверей сидитъ между двумя солдатами вѣтошникъ, онъ успѣлъ одичать — что-то похожъ на звѣря. На улицѣ разнощикъ кричитъ: „*Marie Didier, infanticide, avec des détails intéressants. Pour un sou!*“ Старика начинаютъ допрашивать, но онъ о себѣ и говорить нехочетъ: онъ умоляетъ разобрать дѣло Маріи, его неслушаютъ, ему велятъ молчать, онъ плачетъ, онъ рветъ свои волосы, онъ, никогда нестановившійся на колѣни, валяется передъ судьями, судья приказываетъ муниципалу выбросить его за дверь — *la toile, la toile!*.... Чего еще?... Но Пиа прибавилъ мелодраматическую развязку. Пьесу онъ этимъ сгубилъ и растянулъ, Леметру доставилъ еще удивительную сцену съ г-жей Потаръ, а публикѣ примиряющій, улаждающій финалъ въ буржуазномъ духѣ (*).

Если вамъ однакожъ столько же надобно слушать о вѣтошникѣ, сколько мнѣ говорить, то я увижу причины, отчего и некончить, т. е. не начать чего-нибудь другаго. Да и что такое *Porte-St-Martin!* пойдемте въ *Palais Royal*, но.... увы! *Palais Royal* пересталъ быть сердцемъ Парижа съ тѣхъ поръ, какъ изъ него извели (какъ изъ Берлина впоследствии) лучшее населеніе его. Онъ сталъ слишкомъ нравственъ, слишкомъ добродѣтеленъ. Парижъ переѣхалъ изъ него. Парижъ начинается, по словамъ Шаривари, съ бульвара *des Capucines* и оканчивается *Maison-d'or*, т. е. Парижъ — итальянскій бульваръ. „Есть — прибавляетъ ученый издатель — баснословные слухи о какомъ-то бульварѣ Пуасоньеръ; но кто же знаетъ о его существованіи? Что же касается до буль-

(*) Съ какою тщательностію Французы ставятъ пьесы, можетъ служить примѣромъ появленіе на одну минуту шпиона къ г-жѣ Потаръ; онъ является сказать два слова, и что это за верхъ прелести! разодѣтъ, изукрашенъ цѣпочками, отличнѣйшіе боберъ, бакенбарты, тросточка въ рукѣ, а такъ и видишь, что это шпионъ, въ каждомъ движеніи шпионъ! и гдѣ они изучили этотъ типъ?

вара Бомарше, это просто полицейская выдумка, нарочно распушенный слухъ." Но дѣлать нечего, пойдѣмте въ *Palais Royal* и именно въ *Théâtre-Français*.

„Сей кубокъ мы минувшимъ днямъ!“...

Théâtre-Français познакомилъ меня съ однимъ драматическимъ авторомъ, котораго я незналъ.... вы думаете съ Гюго, Дюма, Сүлье?... Нѣтъ всѣ эти господа если не такъ противно пишутъ, какъ Скрибъ, то въ своемъ родѣ скучнѣе и неестественнѣе. У Скриба крайней мѣрѣ жизнь изъ-за прилавка да и на сцену; а у этихъ все какіе-то сумасшедшіе разныхъ вѣковъ ходятъ растрепанные по сценѣ, машутъ руками, кричатъ и всѣ помѣшались на одномъ пунктѣ—на риторикѣ. „Съ кѣмъ же вы познакомились въ *Théâtre-Français*?“—Съ Расиномъ. „Неужели вы его прежде не читали?“—спрашиваете вы, краснѣя за меня. — За кого же вы меня принимаете —

A peine nous sortions des portes de Trézène

Il était sur son char...

Я его твердилъ на память лѣтъ девяти, а потомъ читалъ лѣтъ пятнадцати; но это было уже поздно. Имѣвъ счастіе завершить начальное образованіе подъ маханье Московскаго Телеграфа и подъ теорію російскаго романтизма, я посматривалъ свысока на человѣка трехъ аристотелевскихъ единствъ, человѣка, говорящаго *Vous* и *Madame* устами гомеровскихъ богатырей; нѣмецкая эстетика убѣдила меня, что во Франціи искусства никогда не было, что собственно искусство можетъ цвѣсти въ Баваріи, въ Веймарѣ, — словомъ, отъ Франкфурта на Одерѣ до Франкфурта на Майнѣ. А потому и Расина читалъ я больше для того, чтобъ вполне понять красоту трагедій Гувальда и Мюльнера. Наконецъ я увидѣлъ Расина дома, увидѣлъ Расина съ Рашелью — и научился понимать его. Это очень важно, болѣе важно, нежели кажется съ перваго взгляда: это оправданіе двухъ вѣковъ, т. е. уразумѣніе ихъ вкуса. Расинъ встрѣчается на каждомъ шагу съ 1665 года и до реставраціи; на немъ были воспитаны всѣ эти сильные люди XVIII вѣка. Неужели всѣ они ошибались, Франція ошиба-

лась, міръ ошибался? Людовикъ XVI въ томномъ и мрачномъ заточеніи читаль ежедневно Расина съ своимъ сыномъ и заставлялъ твердить его на память.... И дѣйствительно есть нѣчто поразительно-величавое въ стройной, спокойно развивающейся рѣчи расиновскихъ героевъ; діалогъ часто убиваетъ дѣйствіе, но онъ изыщенъ, но онъ самъ дѣйствіе; чтобъ это понять, надобно видѣть Расина на сценѣ французскаго театра: тамъ сохранились преданія стараго времени, преданія о томъ, какъ созданы такіа-то роли Тальмой, другіе Офреномъ, Жоржъ.... Актеры съ нѣкоторой робостью выступаютъ въ расиновскихъ трагедіяхъ: это ихъ пробный камень; тутъ невозможно ни одно нехудожественное движеніе, ни одинъ мелодраматическій эффектъ, тутъ нѣтъ надежды ни на группу, ни на декорации, тутъ два, три актера, какъ статуи на пьедесталѣ: все устремлено на нихъ. Сначала дикція ихъ, чрезвычайно благородная и выработанная, можетъ показаться изысканной, но это несовѣмъ такъ; торжественность эта, величавость, рельефность каждаго стиха идетъ духу расиновскихъ трагедій. Пожалуй, нѣкоторыя позы на пареенонскихъ барельефахъ можно назвать изысканными и именно потому, что ваятели исключили все случайное и оставили вѣчныя спокойныя формы; жизнь, поднимаясь въ эту сферу, отрѣшается отъ всего возмущающаго красоту ея проявленія, принимаетъ пластическій и музыкальный строй, тутъ движеніе должно быть граціей, слово—стихомъ, чувство—пѣснью. Но вы болѣе любите иной міръ, міръ, воспроизводящій жизнь во всей ея истинѣ, въ ея глубинѣ, во всѣхъ изгибахъ свѣта и тьмы, словомъ міръ Шекспира,—любите его, но развѣ это мѣшаетъ вамъ остановиться, надолго остановиться передъ Апполлономъ, передъ Венерой? что-за католическая исключительность! Пониманке Бетховена развѣ отняло у васъ возможность увлекаться полькой, таять отъ наслажденія, когда Тальони, бывало, танцуетъ качучу (ахъ, какъ жаль, что она потолстѣла и состарѣлась и въ сорокъ пять лѣтъ ненажила истиннаго друга, который бы ее не пускалъ на сцену!)? Входя въ театръ, когда даютъ Расина, вы должны знать, что съ тѣмъ вмѣстѣ входите въ *иной* міръ, имѣющій свои предѣлы, свою ограниченность, но имѣющій и свою силу, свою энергію и высокое изящество въ своихъ предѣлахъ. Какое право имѣте

вы судить художественное произведение внѣ его собственной почвы, даже внѣ исторической, національной почвы? Вы пришли смотрѣть Расина — отрѣшиться же отъ фламандскаго элемента: это отрасль итальянской школы; берите его такимъ, каковъ онъ есть, берите его на своей почвѣ, требуйте, чтобъ онъ далъ то, что онъ хочетъ дать, и онъ дастъ много прекраснаго. Конечно онъ неудовлетворить всему, чего жаждетъ ваша душа, но позвольте же еще разъ спросить: а весь греческій Олимпъ, а всѣ греческіе типы, статуи, герои трагедій удовлетворяютъ васъ? нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Я это испыталъ на себѣ. Въ греческихъ статуяхъ вездѣ выражается спокойное наслажденіе, торжество мѣры, торжество равновѣсія, торжество красоты, но съ тѣмъ вмѣстѣ вы видите, что покой достигнутъ, потому-что требованіе было бѣдно, потому-что эти олимпійцы удовлетворялись немногимъ. Одно изъ величайшихъ достоинствъ греческаго ваянія — полнѣйшее отрѣшеніе чувственной формы отъ всего чувственнаго, Венера медицейская также мало говоритъ чувственности, какъ Магдалина Мурильо, на за то не ищите въ греческомъ искусствѣ того знойнаго сладострастія, которое пышетъ изъ каменныхъ чертъ египетскихъ барельефовъ, — вспомните эти страстные, отравляющіе, опьяняющіе глаза, особо разсѣченные и стуженные къ вискамъ. Съ другой стороны, въ греческомъ искусствѣ нѣтъ и немогло быть элемента, развитаго міромъ христіанскимъ, элемента романтическаго, того сосредоточеннаго въ духѣ, того глубоко-страдальческаго, неудовлетвореннаго, жаждущаго, стремящагося, который вы можете изучить въ комнатахъ Катерины Медичи, гдѣ разставлены испанскія картины. Для Грековъ мы сдѣлали почетное исключеніе, мы ихъ судили какъ Грековъ въ ихъ сферѣ, будемте также судить Расина, Корнеля — обогатимте себя и ими! Я не стану болѣе говорить о Расинѣ, потому-что ни вы вѣроятно нерасположены слушать о немъ, ни я не чувствую лагарповскаго призванія, но не могу забыть минуты истиннаго наслажденія, доставленныя мнѣ его трагедіями, особенно Британникомъ. — Неронъ выдержанъ, замышленъ, исполненъ удивительно, и что за смѣлая мысль представить медовый мѣсяцъ тиранства въ зародышѣ, тирана будущаго, слагающагося, и притомъ еще представить его слабохарактернымъ, такъ что становится по-

нятно, что и свирѣлость его и отсутствіе въ немъ всего человѣческаго—частію основаны на слабой, дрянной натурѣ его (*). Рашель играла Агриппину; это шалость гениальной актрисы, шалость, основанная на глубокомъ знаніи собственной силы, такая же натяжка, какую Марсъ дѣлала въ послѣдніе годы, играя молодыхъ дѣвочекъ. Она вышла торжествующей; но имѣй фантазію Шведенборга, и то не представилъ бы себя, чтобы Бовале (Неронъ) былъ сыномъ Рашели. Что же вамъ сказать о ней?—фельетоны всѣхъ газетъ давно все рассказали. Она нехороша собой, невысока ростомъ, худая, истомлена; но куда ей ростъ, на что ей красота съ этими чертами рѣзкими, выразительными, проникнутыми страстью? Игра ея удивительна; пока она на сценѣ, чтобы ни дѣлалось, вы не можете оторваться отъ нея: это слабое, хрупкое существо подавляетъ васъ; я не могъ бы уважать человѣка, который не находился бы подъ ея вліяніемъ во время представленія. Какъ теперь вижу эти гордо надутыя губы, этотъ сжигающій, быстрый взглядъ, этотъ трепетъ страсти и негодованья, который пробѣгаетъ по ея тѣлу! а голосъ,—удивительный голосъ!—онъ умѣетъ приголубить ребенка, шептать слова любви, и задушить врага, и исполниться злобы, гнѣва, суровости; голосъ, который походитъ на воркованье горлицы и на крикъ уязвленной львицы. Я на сценѣ ничего не видалъ выше свиданія ея съ Елизаветой въ Маріи Стюартъ. Рашель составляетъ средоточіе трагической труппы, она идеаль, которому подражаетъ старый и малый, мужчины и женщины—до смѣшного; вся труппа французскаго театра оттопыриваетъ губы, какъ она, всѣ басы и дишканты стараются говорить ея голосомъ. Жоржъ неиграетъ больше, она заводитъ драматическіе вечера, но они еще не начинались. Я ее не видалъ.

Разставаясь съ *Théâtre-Français*, какъ же не сказать чего-нибудь о Юдифи? а впрочемъ, что сказать не знаю: игру ея трудно видѣть, потому-что все смотришь на ея прекрасные глаза, на ея милое, исполненное граціи лицо. Она не красавица; во Франціи во-

*) Очень жаль, что Бовале дурно понялъ Нерона: онъ ни на минуту не забываетъ, что Неронъ тиранъ, и ни разу не вспомнить, что онъ Неронъ, а еще самъ сочиняетъ трагедіи, да вѣдь какіе!...

обще нѣтъ красавиць, но ея *gentillesse* совершенно французская, несмотря на то, что ея фамилія напоминаетъ почтеннаго фельд-маршала Олоферна и невѣжливый поступокъ съ нимъ одной дамы. Да какая же это исключительно французская красота? Она чрезвычайно легко уловима: она состоитъ въ необыкновенно граціозномъ сочетаніи выразительности, легкости, ума, чувства, жизни, раскрытости, которое для меня увлекательнѣе одной пластической красоты, всепоглощающаго изящества породы, формъ античныхъ статуй, итальянокъ и вообще красавиць. Быть красавицей несчастье: красавица—жертва своей наружности, на нее смотрять какъ на художественное произведеніе, въ ней ничего неищутъ далѣе наружности. Французская красота чрезвычайно человѣчественна, социальна, она далека отъ германо-англійской надтѣльности, заставляющей проливать слезы о грѣхахъ міра сего, о слабостяхъ его толико сладкихъ, она далека и отъ андалузской чувственности, отъ которой сердце замираетъ и захватываетъ духъ; она не въ одной наружности, не въ одной внутренней жизни, а въ ихъ созвучномъ примиреніи; такая красота результатъ жизни, жизни поколѣній, дѣлаго длиннаго ряда вліяній органическихъ, психическихъ и социальныхъ, такая красота воспитывается вѣками, вырабатывается преемственнымъ устройствомъ быта, нравовъ, достается въ наслѣдіе, развивается средою, внутренней работой, дѣятельностію мозга, —такая красота фактъ цивилизаціи и народнаго характера. Изрѣдка встрѣчаешь подобную красоту между польскими и русскими аристократическими дамами, и это помоему высокое свидѣтельство въ пользу славянской крови. Вы не обижайтесь моимъ „изрѣдка“; мы потому *изрѣдка* находимъ такую красоту у насъ, что число женщинъ, призванныхъ къ развитію, гораздо ограниченнѣе. Кто незамѣчалъ, на сколько женщины въ нашемъ народѣ хуже мужчинъ? Женщина въ крестьянствѣ слишкомъ задавлена, слишкомъ работница, слишкомъ *безлична*, слишкомъ „баба“, чтобъ быть красивой. Какъ только переѣдешь границу, бросается въ глаза некрасивость нѣмецкихъ крестьянъ и улучшеніе женщинъ, особенно по городамъ; этому много способствуетъ между прочимъ умѣнье держаться; самая бѣднѣйшая горничная не выйдетъ на улицу непригладивши волосъ и неоправившись; я невидаль растрепанныхъ

головъ, растегнутыхъ платьевъ, всего цинизма женской нечистоплотности съ тѣхъ поръ, какъ разстался съ псковскою гостинницею и съ жидовскими станціями въ Ковенской губерніи. Эта любовь къ опрятности показываетъ, какъ ужъ намъ случилось замѣтить, старую цивилизацію и уваженіе къ себѣ, чувство собственнаго достоинства и слѣдственно понятіе о личности,—я разумѣется говорю не объ отвлеченномъ понятіи личности и ея гражданскихъ правахъ, а о томъ инстинктуальномъ понятіи, которое такъ очевидно въ самыхъ низшихъ классахъ европейскихъ государствъ, совершенно независимо отъ ихъ политическаго устройства, въ Испаніи, въ Англіи, въ Италіи и во Франціи.

Но воротимся къ театрамъ; въ томъ же *Palais Royal*, гдѣ во французскомъ театрѣ Рашель потрясаетъ сердце, Левассёръ потрясаетъ въ театрѣ Пале-Рояля всю грудь хохотомъ безъ конца, хохотомъ до слезъ, до истерики. Левассёръ — полнѣйшее выраженіе французской веселости, беззаботности, простодушной дерзости, остраго ума, шалости, *gaminerie*. Чтѣ-за быстрота, чтѣ-за неувимость, чтѣ-за богатство средствъ! Левассёръ также принадлежитъ, также необходимъ Парижу, какъ Шеллингъ Берлину; все, чтѣ вы видѣли съ неудержимымъ смѣхомъ въ картинахъ Гаварни, все, что заставляетъ хохотать въ „Шаривари“ и „Корсерѣ“, все это перенесено въ дѣйствіе, оживлено Левассёромъ. И въ этомъ отношеніи онъ меня приводитъ въ восторгъ больше Буффе, больше старика Верне, больше талантливаго Арналя: тѣ превосходные актеры, актеры всякой сцены, и этимъ можетъ быть выше Левассёра, но тѣмъ Левассёръ и лучше ихъ, что онъ актеръ французскій, да и то нѣтъ, а парижскій, актеръ Пале-Рояля: дерзость, наивность, непристойность, грація, канканъ, феерверкъ! И какимъ лицомъ судьба наградила этого человѣка: худой, съ острыми маленькими чертами, за которыми спрятано втрое больше мускуловъ, нежели извѣстно въ анатоміи Бона, и всѣ они двигаются во всѣ четыре стороны; отъ этого онъ дѣлаетъ изъ лица все, что хочетъ, такъ какъ фокусники изъ складной бумаги, — то сдѣлаетъ сапогъ, то паромъ, то жабо. Рассказывать его игру невозможно: ее надобно видѣть, и мало того, надобно войти во вкусъ, т. е. привыкнуть, чтобъ ло-

вить несущіяся на всѣхъ парахъ *trains de plaisir* остротъ и шалости языка, глазъ, голоса, ногъ.

Отъ Рашели мы перешагнули въ Левассёру, отъ слезъ участія къ смѣху до слезъ, теперь перейдемъ отъ этого веселаго смѣха къ смѣху презрѣнія и негодованія, отъ милыхъ шутокъ и потока каламбуровъ Левассёра къ пошлымъ и тяжелымъ фарсамъ, въ которыхъ актеры старой школы другъ друга ругаютъ, другъ друга надываютъ, другъ другу даютъ пощечины, для общественнаго удовольствія. Тутъ на первомъ планѣ модная комедія: „Эмиль Жирарденъ и Продажное Перство“. Только вспомню, какъ я на бенефисѣ Жирардена сидѣлъ на трибунѣ съ 12 часовъ до половины седьмого, поддерживая двухъ французовъ, одного англичанина, свою собственную шляпу и бороду сосѣда съ правой стороны, опираясь на почтеннаго посѣтителя, сидѣвшаго передо мною, въ половинѣ іюня, градусовъ въ пятьдесятъ жару, такъ и захочется опять выйти на чистый воздухъ...—Прощайте.

Avenue Marigny. Іюня 20—8.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Мнѣ на роду написано — никогда не писать о томъ, о чемъ предполагаю. Даже „письма объ изученіи природы“ остановились именно тамъ, гдѣ слѣдовало начать о природѣ. Судьба, или, какъ любилъ выражаться одинъ древній писатель (Викторъ Гюго) — *Ананки*! Вы знаете очень хорошо, что можетъ сдѣлать слабый человекъ противъ Ананки, хотя бы онъ являлись не съ козой, не съ фанданго, не съ маленькими ножками и огненными глазками цыганки, какъ случилось съ нотрдамскимъ архидіакономъ. У меня было твердое намѣреніе рассказать вамъ о благородномъ турнирѣ, на которомъ рыцарь газеты „*Presse*“ такъ отважно напалъ на Кастора и Полукса министерскихъ лавокъ, о турнирѣ, доставившемъ меленькое разсѣяніе добрымъ буржуа, скучающимъ въ пользу отечества въ *Palais Bourbon*. Но пока я собирался съ славянской медленностью, здѣсь случилось столько турнировъ, кулачныхъ боевъ, травль, чрезвычайныхъ случаевъ и случайныхъ чрезвычайностей, что вспоминать о маленькихъ обвиненіяхъ, взводи-

мыхъ Жиарденомъ на своихъ противниковъ, столько же своевременно, какъ поминать исторію Картуша, Ваньки Каина, Стеньки Разина.... хотя сіи послѣдніе съ отвагою и смѣлостью послѣдовательности нѣмецкихъ идеалистовъ дошли до конца того поприща, которое начинается „злоупотребленіемъ вліянія,“ маленькой торговлей, прозектами крошечныхъ законовъ, привиллегіями на театры и рудокопни, а оканчивается самими рудокопнями, морскими прогулками на галерахъ, трудолюбивымъ вколачиваніемъ свай въ портовыхъ городахъ, а иногда и воздушными прогулками всѣмъ тѣломъ или отчасти... смотря по тому, на которой сторонѣ Падекале случится. Картушъ и театральная привиллегія, Жиарденъ и продажное перство,—все это забыто, задвинуто, затерто новыми происшествіями. Никто не говоритъ здѣсь о Жиарденѣ:

а) Послѣ дѣла Теста, въ которомъ такъ справедливо наказали генерала Кюббера за то, что онъ плута не считалъ честнымъ человекомъ, и такъ невинно разстрѣляли фуфайку и рубашку бывшего министра.

б) Послѣ ученыхъ изысканій Варнера, который открылъ въ Алжирѣ видимо невидимо маленькихъ Абдель-Кадеровъ министерскаго происхожденія,—фавну, составленную на мѣстахъ, онъ привезъ въ Парижъ; всѣ ее видѣли, всѣ убѣдились въ возможности его открытія, кромѣ одного поэта изъ художественной школы Фукье-Тенвиля, патентованнаго изобрѣтателя *de la complicité morale*. Онъ какъ поэтъ презираетъ доказательства, у него сердце вѣщунъ, оно молчитъ,—онъ не вѣритъ.

с) Послѣ размовки Буа-ле-Конта съ швейцарской собакой, размовки, доходившей до „діеты“ вмѣстѣ съ дѣломъ объ іезуитахъ,—собака вполне оправдалась, доказала невинность своихъ намѣреній, чистоту образа мыслей и выиграла процессъ. Вы вѣрно помните эту исторію; она была въ то же время, какъ въ Бернѣ намылили такъ жестоко голову тому же Буа-ле-Конту за то, что мѣшается въ семейныя дѣла, заводитъ всякія шашни, якшается съ подозрительными людьми, совѣтуетъ, когда его не спрашиваютъ, и распоряжается съ своей нон-интервенціей вездѣ какъ дома; или, еще хуже, точно, куда не обернешься, все Португалія.

д) Послѣ семейной сцены герцога Пралена съ женой, отъ ко-

торой герцога приобрѣлъ такую силу, что, искрошивши свою жену, онъ отужиналъ мышьякомъ, приготовленнымъ на опиумѣ, и прожилъ не хуже Митридата съ недѣлю, — потомъ вспомнилъ, что порядочный человѣкъ долженъ умереть отравившись — и умеръ, какъ истинный маркизь, изъ учтивости, чтобъ не поставить въ непрятную необходимость гг. перовъ казнить товарища и однокорытника, послѣ того, какъ маститый Пакье въ нынѣшнемъ году уже сгубилъ двухъ перовъ — министровъ. Жаль Праленшу! а вѣдь страшная женщина была! это обличилось послѣ ея смерти; она всякой день писала мужу письма въ нѣсколько листовъ. Все вѣдь это къ нему писалось; ему бывало надобно къ M-lle Лузу, вдругъ несутъ книгу in-folio.... что такое? — Утренняя записочка отъ герцогини....

e, f, g.... p, q, r, s, t.... y....z) Послѣ того, какъ исторія Жирардена была напечатана въ „Современникѣ“.... Вы думаете здѣсь не читаютъ „Современника“? — Извините, чрезвычайно, невѣроятно! въ café только и слышишь, — le Sowremennik s'il vous plait.... Impossible отвѣчаетъ garçon, on se l'arrache le Sowremennik, и подаетъ апельсинный гранитъ, какъ слабую и холодную замѣну „Современника“....

А право жаль, что время прошло говорить о жирарденовской исторіи: такая милая и забавная исторія! Жирарденъ баловень, горячая голова, Алкивиадъ буржуази; онъ далеко оставилъ за собой тяжелаго и плюгаваго Гранье де-Кассаньяка, который нашелъ утѣшительную пристань отъ тревоженій жизни въ объятіяхъ дружбы, нѣжной и постоянной, съ Гизо. Жирарденъ, не боясь мифическаго воздуха, взболталъ послѣ семилѣтняго застоя болото бюрократической грязи, и оно стало бродить съ тѣхъ поръ. Онъ въ этой борьбѣ явился во всемъ блескѣ, онъ въ ней дома, какъ эти бѣлые вѣнчики нимфеи въ болотахъ, которые такъ изящно плаваютъ по поверхности воды, и у которыхъ корень глубоко въ илу и глинѣ. Оттого-то обличаемые имъ и перепугались: одинъ осунулся и сдѣлался цвѣту потертыхъ мундировъ, у другого щека стала дрожать независимо отъ его воли; я до сихъ поръ не видалъ ни у одного человѣка такой самобытности щокъ. Чѣмъ ближе стоялъ Жирарденъ къ коммерческимъ домамъ, гдѣ продавались привиллегіи, проекты, *lesjeon d'onёry* и мѣста, тѣмъ съ бѣльшимъ душевнымъ волне-

ніемъ слушали обвиняемые негоціанты. У нихъ была одна надежда, что онъ пощадитъ себя, многого не скажетъ; но Жирарденъ ничего не пожалѣлъ. Бывали случаи, что Черемисъ Вятской губерніи до того разсердится на своего врага, что, не зная чѣмъ донять его, придетъ ночью, да и повѣсится у него на дворѣ, умирая такимъ образомъ съ сладкой надеждой, что месть обезпечена, что слѣдствіе будетъ. Такую вендету обыкновенно приписываютъ дикости; но съ нѣкоторыми измѣненіями въ формахъ она встрѣчается не въ совершенно дикихъ обществахъ и даже совершенно не въ дикихъ. Одинъ самоотверженный газетчикъ, чтобъ окончательно уличить одного изъ извѣстныхъ писателей нашихъ, воспользовался неосторожной исповѣдью его, чтобъ довести до свѣдѣнія читателей, что между имъ и авторомъ величайшая симпатія; газетчикъ очень хорошо зналъ, что послѣ этого авторъ потерялъ всякое уваженіе порядочныхъ людей. Таковъ въ своемъ родѣ Жирарденъ: онъ не пощадилъ своей чести, лишь бы посыпать на старости лѣтъ главы семилѣтнихъ министровъ всевозможными обвиненіями. Къ фоблазовскому окончанію поприща Мартень-дю-Нора только и не доставало каталога подкуповъ, продажъ, взятокъ, сдѣлокъ, продѣлокъ, etc., оглашенныхъ „Прессой,“ изъ ея семейныхъ бумагъ.

Камера депутатовъ оправдала министровъ.

Камера перовъ оправдала Жирардена.

Общественное мнѣніе было удивлено. Журналы требовали слѣдствій, суда.—Поэтъ Эберъ имъ лукаво улыбался, грозилъ пальцемъ и увѣрялъ, закрывши глаза, что ничего не видитъ.

Тогда посыпался градъ доносовъ, документовъ, доказательствъ.... Я вамъ рассказывалъ какъ-то, что одинъ поврежденный докторъ принималъ журналы за бюллетени сумасшедшихъ домовъ: это былъ человѣкъ отсталой: теперь журналы, по-крайней-мѣрѣ здѣсь—бюллетени смиренныхъ домовъ и галерныхъ выходокъ....

О журналы, журналы!

Какъ спокойно и весело жить гдѣ-нибудь въ Неаполѣ, напримеръ, куда не проникаетъ всякое утро сѣрая стая журналовъ всѣхъ величинъ, всѣхъ цвѣтовъ, съ отравляющимъ запахомъ голландской сажи и гнилой бумаги, съ грознымъ premier Paris въ

началъ и съ крупными объявленіями въ концѣ, стая влажная, мокрая, какъ будто кровь событій, высосанная ею, не обсохла еще на губахъ,—саранча, поѣдающая происшествія прежде, нежели они успѣютъ созрѣть, ветошники и мародеры, идущіе шагъ за шагомъ по слѣдамъ большой арміи историческаго движенія.... Тамъ журналы ясны и прозрачны, какъ вѣчно—голубое небо Италіи; они на своихъ чуть не розовыхъ листикахъ приносятъ новости успокоительныя, улыбающіяся: вѣсть о прекрасномъ урожаѣ, объ удивительномъ праздникѣ въ такой-то виллѣ у прелестной дукеццы, на которой мѣсяцъ свѣтилъ сверху, а волны средиземнаго моря плескали съ боку. Хорошо, кого судьба избавила отъ страшныхъ, ежедневныхъ доносовъ и обличительныхъ актовъ безумія, низости и разврата; не лучше ли въ миломъ невѣдѣніи сердца вѣрить въ аркадскіе нравы на землѣ, въ кроткое счастье лаццарони, въ праздничную, официальную нравственность и въ людское безкорыстіе? Не лучше-ли, когда много прекраснаго въ Божіемъ мірѣ, не знать, что въ немъ есть бѣшенныя собаки, крапива, холера, тифусъ, поддѣльное шампанское, горькое масло,—и наслаждаться запахомъ розы и пѣніемъ соловья?

Да какая же обязанность читать журналы? Вотъ подите, никакой обязанности нѣтъ, да и выбору нѣтъ; страсть къ новостямъ—это парижское сирокко, какая-то болѣзнь въ родѣ запою. Проснешься утромъ, такъ и тянетъ, ну хоть маленькую газетку, ну „Шаривари“, пока кофей подаютъ; дотронулся до одной—и пошло, и пошло и перечитаешь десятокъ, а самъ очень хорошо знаешь, что такой мракъ падетъ на душу, такая тоска, что съ горя бросишься въ вагонъ, да и уѣдешь на цѣлый день куда—нибудь въ Медонскій лѣсъ.... Хороши журналы, да каковы же однако и быть, вѣсти о которомъ всякой день исполняютъ горечью и негодованіемъ душу порядочнаго человѣка?

Знаете ли, что мнѣ пришло въ голову васъ спросить? вы такъ и ждете, что я, увлеченный Жиранденомъ и Варнери, спрошу васъ: „что ваши часы краденые или купленные?“ совсѣмъ напротивъ, я хочу васъ спросить, случилось ли вамъ послѣ долгой разлуки встрѣтить женщину, которую вы любили издали, которая для васъ была недосыгаема, о которой свѣтлое воспоминаніе согрѣвало вашу

грудь? Вы ее увидѣли наконецъ. Она за-мужемъ, и мужъ ее—пошлый, тупой, мелкій, ничтожный негодяй. Какъ уважать жену пошлаго человѣка! она лишилась пьедестала, и вмѣсто трепетной и робкой рѣчи уваженія на вашихъ губахъ колкій намекъ, и вмѣсто восторженнаго идолопоклонства вамъ хочется за нею поволочиться. Съ кѣмъ этого не случилось? Не случилось ли вамъ потомъ разсмотрѣть въ той женщинѣ другія, новыя черты, скрываемыя, за-таенныя, но выступающія наружу, какъ обличительный румянецъ? Случалось ли подслушать инныя рѣчи; свидѣтельствующія, что въ душѣ ея ничего не утрачено, что напротивъ, она окрѣпла въ невзгодѣ, въ перенесенномъ опытѣ, что она возмужала въ сердечныхъ утратахъ? Если случилось, будьте осторожны: не давайте воли поспѣшному суду и оскорбительной насмѣшкѣ, говоря не о женщинѣ, а о цѣломъ народѣ, чтобъ не краснѣть потомъ отъ стыда и раскаянья!

Ничего нѣтъ легче въ мірѣ, какъ указать больное мѣсто Франціи, Англіи, преимущественно Франціи. Самъ Парижъ своими журналами и укажетъ и покажетъ все зло и всю мѣру его съ ожесточеніемъ духа партій, съ ловкостью ихъ острой и ѣдкой полемики, со всѣми средствами гласности. Стало быть достаточно знать грамоту, чтобъ безъ особаго труда и умственнаго напряженія въ одно утро, проведенное въ сафѣ, узнать черную и грязную сторону Франціи: отрицать ее была бы величайшая недобросовѣстность или полнѣйшее тупоуміе. Но—правъ ли будетъ тотъ, кто удушливый и вонючій воздухъ тѣсныхъ переулковъ приметъ за атмосферу цѣлой націи? испорченный воздухъ вовсе не есть ея обычная среда; она доказываетъ это своимъ повсемѣстнымъ негодованиемъ, а негодовать попусту она не-привыкла. Журналисты втянуты въ омутъ дѣлъ,—представители борьбы, органы и орудія партіи дѣлаютъ свое дѣло. Но много ли путнаго сдѣлаетъ посторонній свидѣтель, который остановится на перечисленіи этой массы зла, безнравственности и обмановъ, на бесплодномъ подтвержденіи, что все это *есть*, на возгласахъ, на проклятіяхъ? Надобно дать себѣ нѣсколько труда взглядѣться въ историческое происхожденіе, въ логику событій, въ смыслъ того, что есть. Только въ связи съ прошедшимъ и притомъ съ прошедшимъ, освѣщеннымъ всѣмъ свѣ-

томъ современной, возмужалой мысли, можно уяснить настоящее положеніе Франціи; тогда вы увидите много запутаннаго, много труднаго, много отрицательнаго, но съ тѣмъ вмѣстѣ увидите, что безнадежнаго, отчаяннаго ничего нѣтъ, и что Франція еще изворотится безъ радикальныхъ средствъ землетрясенія, небеснаго огня, потопа, мора, которыми такъ богата искаженная Франція вновь изобрѣтеннаго Востока, говорящаго съ дикой радостью о всемъ дурномъ на Западѣ, воображая, что ненависть къ сосѣду—истинная любовь къ своей семьѣ, что чужое несчастіе—лучшее утѣшеніе въ своемъ горѣ. Я не берусь писать въ этихъ письмахъ цѣлыхъ диссертаций, но скажу нѣсколько намековъ, нѣсколько бѣглыхъ мыслей въ подтвержденіе моихъ словъ.

Настоящимъ положеніемъ Франціи—всѣ недовольны, кромѣ записной буржуазии и ажіатёровъ „во всѣхъ родахъ различныхъ;“ чѣмъ недовольны—знають многіе, чѣмъ поправить и какъ поправить—почти никто; всего менѣе существующіе социалисты и коммунисты, люди какого-то дальняго идеала, едва виднѣющагося въ будущемъ. Почти въ томъ же положеніи и существующая оппозиція, парламентская и журнальная: она основана или на не большихъ паллятивныхъ средствахъ, которыя могутъ принести улучшенія, или на воспоминаніи былаго, на стремленіи снова призвать къ жизни идеаль, удаляющійся въ прошедшее. Они не-знають истиннаго смысла недуга, они не знають дѣйствительныхъ лекарствъ и оттого становятся въ постоянномъ меньшинствѣ; у нихъ истинно только живое чувство негодованія, и въ этомъ они правы, ибо болѣзнь все болѣзнь, хотя бы она была къ росту; чувствовать присутствіе зла необходимо, для того, чтобъ отдѣлаться отъ него тому равнодушному, ко-сному квіетисту, котораго не мучитъ настоящее зло изъ-за будущаго блага. Обратимся теперь къ обвиненіямъ.

Обвиненіе, всего чаще повторяемое и совѣриенно вѣрное, состоитъ въ томъ, что съ нѣкотораго времени грубые матеріальные интересы овладѣли всѣми сословіями и подавили собою всѣ другіе интересы, что великія идеи, слова, потрясавшія такъ недавно душу людей и массъ, заставлявшія покидать домъ, семью, исчезли и повторяются теперь, какъ призваніе Олимпа и Музъ у поэтовъ,

какъ слово „верховное существо“ у деиствовъ—по привычкѣ, изъ учтивости. Вмѣсто ихъ, рычагъ—приводящій все въ движеніе—деньги, матеріальныя удобства; тамъ, гдѣ были пренія о государственныхъ интересахъ, исключительно занялись одними вопросами политической экономіи.

Тотъ, кто не видитъ, что вопросъ о матеріальномъ благосостояніи составляетъ великую половину всѣхъ вопросовъ современности, тотъ вовсе не знаетъ, чтó дѣлается на свѣтѣ.

Да, это важнѣйшій общественный вопросъ нашего вѣка. И бѣда не въ этомъ, а большею частію въ образѣ разрѣшенія. Какъ же наконецъ не поставить на первый планъ тотъ вопросъ, отъ разрѣшенія котораго зависитъ не только насущный хлѣбъ большинства, но и ихъ цивилизація. Нѣтъ образованія при голодѣ, чернь будетъ чернью до тѣхъ поръ, пока не выработаетъ себѣ досуга, необходимаго для развитія. Страны, которыя уже перешли миѳическія, патріархальныя и героическія эпохи, которыя довольно сложились, довольно приобрѣли, которыя пережили юношескій періодъ абстрактныхъ увлеченій, изучили азбуку гражданственности, естественно обратились къ тому вопросу, отъ котораго зависитъ вся будущность народовъ; но онъ труденъ, его не рѣшишь громкимъ словомъ, пестрымъ знаменемъ, энергическимъ кликомъ; это самый внутренній и существенный вопросъ общественнаго устройства. Вы его встрѣчаете въ сѣверной Америкѣ, въ Англіи, во Франціи; въ Америкѣ и въ Англіи онъ сдѣлалъ болѣе практическихъ шаговъ, во Франціи болѣе шуму. Все это понятно: жизнь Франціи во-первыхъ богаче, полнѣе, и поэтому сложнѣе, смутнѣе, запутаннѣе, во-вторыхъ экспансивнѣе;—въ ней все гласно, все громко, все для всѣхъ. Оттого на Францію обращено болѣе вниманія; все худое и хорошее, что дѣлается здѣсь, точно дѣлается на сценѣ, а въ партерѣ сидитъ все человѣчество; подѣ часъ кажется, что именно все происходящее здѣсь дѣлается, какъ въ театрѣ—только для публики: ей польза, ей удовольствіе, ей поученіе, актеры играютъ не для себя и возвращаются со сцены къ домашнимъ неприятностямъ и мелочамъ. Въ этомъ одна изъ лучшихъ національныхъ сторонъ французовъ, но они иногда остаются за это съ пустыми руками. Гегель говоритъ, что Индія походила на родильницу,

которая, произведя на свѣтъ дитя, радовалась имъ и сама для себя ничего больше не хотѣла. Франція—хочетъ всего, но ея силы истощились при тяжкихъ родахъ, она не можетъ оправиться. Ею выработанное принято другими на свѣжія плечи; этого не надобно забывать. Но воротимся къ экономическому вопросу. Считать чѣмъ-то подчиненнымъ и грубымъ стремленіе къ развитію повсюднаго довольства, стремленіе вырвать у слѣпой случайности распредѣленіе силъ и орудій, привести трудъ, цѣнность, плату, обладанье къ разумнымъ началамъ, къ неизблемымъ правиламъ, раскрыть дѣйствительные законы общественнаго достоянія—могутъ одни закоснѣлые романтики и идеалисты. По счастью въ наше время выводятся эти высшія натуры, боявшіяся замараться о практическіе вопросы, бѣгавшія въ міръ мечтаній отъ міра дѣйствительности, хотя я еще своими ушами слышалъ слѣдующее замѣчаніе одного изъ лучшихъ представителей стараго романтизма: „Вы предполагаете, что съ развитіемъ довольства“, говорилъ онъ мнѣ: „народъ будетъ лучше,—это ошибка; онъ забудетъ все прекрасное и отдастся грубымъ желаніямъ... Что можетъ быть чище и независимѣе отъ земныхъ благъ, какъ жизнь поселянина, который бросаетъ все свое достояніе въ землю, смиренно ожидая, чѣмъ его благословитъ судьба: бѣдность великая школа для души, она хранитъ ее“.—„И образуетъ воровъ“, добавилъ я. И эту идиллію говорила не пятнадцатилѣтняя дѣвочка, а человѣкъ лѣтъ въ пятьдесятъ. Все несчастіе прошлыхъ переворотовъ состояло именно въ упущеніи экономической стороны, которая тогда еще не была на столько зрѣла, чтобъ занять свое мѣсто: тутъ одна изъ причинъ, почему великія слова и идеи остались словами и идеями и, что хуже всего, страшно выговорить, надобѣли. Романтики, которымъ все это смертельно не по сердцу, съ ироніей возражаютъ, что величайшія историческія событія нисколько не зависятъ отъ большей или меньшей степени сытости и матеріальнаго благостоянія, что крестоносцы не думали о пріобрѣтеніяхъ, что голодная и босая армія побѣдила подъ Жемапомъ, Флерюсомъ и проч. Да оттого-то, между прочимъ, и не много вышло изъ всѣхъ этихъ войнъ и передрагъ. Оттого-то Европа послѣ трехъ столѣтій правильнаго гражданскаго и всяческаго развитія дошла только до того, что въ

ней лучше нежели тамъ, гдѣ этого развитія не было, и что она послѣ столькихъ переворотовъ и опустошеній стоитъ при началѣ своего дѣла. Поэтическіе интересы, увлеченія теперь не поднимутъ народа совершеннолѣтняго. Это просто результатъ лѣтъ, возраста; нельзя же всегда быть юношей. Революція (я говорю о настоящей, а не о послѣдней), со всей обстановкой ея, отъ страшной *introduzione* до героической симфоніи Наполеона, заключаетъ собой романтическую часть исторіи гражданскихъ обществъ. Финалъ громадный, грозный, достойный завершитель ряда событій, начавшихся съ похода Аргонавтовъ и со взятія Трои, — финалъ, начавшійся провозглашеніемъ правъ человѣка и окончившійся провозглашеніемъ маленькаго капрала императоромъ французовъ. Сколько событій, сколько крови, и послѣ этого разгрома, когда улеглась пыль и разъяснилось небо, вырѣзались наконецъ страшныя даниловскія слова, написанныя перстомъ самой буржуазіи: *Rien, rien, rien!*

Но вы однако не вовсе довѣряйтесь этому *rien*. Это — негодованіе, это ненависть любви, ревность. Результаты не исчезли: они взошли внутрь.

Люди, проливавшіе кровь и потъ, страдавшіе и измученные, приобрѣли право іереміевского плача. Мы не имѣемъ никакого права ни на слезы, ни на увлеченіе: наше дѣло сторона, и потому мы можемъ иначе оцѣнить совершающееся. По-видимому Франція всего менѣе занята продолженіемъ своего былого, она дѣйствительно будто унаслѣдовала только это „ничего“ — и замѣтивши ринулась въ другую сторону, ударила въ противоположную крайность, — въ матеріализмъ финансовыхъ вопросовъ. Люди мыслящіе первые вдались въ эти вопросы и увлекли съ собою, какъ всегда бываетъ, пошлую толпу, которая всякій принципъ доводитъ до нелѣпости, цинизма, особенно такой родственный, такой близкій и соразмѣримый принципъ, какъ матеріальное благосостояніе. Медаль перевернулась.

Прежде слова безъ яснаго пониманья, безъ опредѣленнаго содержанія, но полныя фанатизма, увлеченія, вели людей, основываясь на высокомъ предчувствіи, на глубоко-человѣческой симпатіи ко всему широкому и благородному, и люди охотно жертвовали

имъ всѣми матеріальными благами; теперь увидѣли всю важность этихъ благъ, отвернулись *par dépit* отъ всего прочаго и прилѣпились къ одному вопросу политической экономіи; но вопросъ этотъ очень немногіе умѣли поднять въ ту высокую сферу общечеловѣческихъ интересовъ, на которую онъ имѣетъ право и внѣ которой онъ не имѣетъ дѣйствительнаго значенія. Печальное недоразумѣніе состояло въ томъ, что не поняли круговой поруки, взаимной необходимости обѣихъ сторонъ жизни. Политическая экономія, именно вслѣдствіе своей исключительности, при всей видимой практичности, явилась отвлеченной наукой богатства и развитія средствъ; она разсматривала людей какъ производительную живую силу, какъ органическую машину для нея; общество—фабрика, государство—рынокъ, мѣсто сбыта; она въ качествѣ механика старалась объ улучшеніи машинъ, объ употребленіи наименьшей силы для наибольшаго результата, о раскрытіи законовъ движенія, богатства. Она шла отъ принятыхъ данныхъ, она брала патологическій фактъ за физиологическій, отправлялась отъ того распредѣленія богатства и орудій, на которомъ захватила общество. До человѣка собственно ей не было дѣла. Занимаясь имъ по мѣрѣ его производительности, она равно должна была за предѣлами своими оставить того, который не производитъ за недостаткомъ орудій, и того, который имѣетъ мертвый капиталъ. Въ такой формѣ наука о богатствѣ, основанная на правилѣ—„имущему дается“, должна была сдѣлать великій успѣхъ въ мірѣ торговли, купечества, буржуазии. Но для неимущихъ такая наука не представляла большихъ прелестей. Для нихъ вопросъ о матеріальномъ благосостояніи былъ неразрывенъ съ критикой тѣхъ данныхъ, на которыхъ основывалась политическая экономія, и которыя явнымъ образомъ были причиною ихъ бѣдности. Критика удалась вполне. Нѣсколько сильныхъ умовъ, глубоко сочувствуя съ несчастнымъ положеніемъ бѣдныхъ классовъ, поняли невозможность исторгнуть ихъ изъ жалкаго и грубаго состоянія, не обезпечивъ имъ куска насущнаго хлѣба; понявши, они бросились на изученіе экономическихъ вопросовъ. Но какое наставленіе, какое утѣшеніе могли они найти въ холодной наукѣ, которая по несчастію совершенно послѣдовательно говорила неимущему: „не женись, не имѣй дѣтей, поѣзжай въ Аме-

рику, работай 12 часовъ или умирай съ голоду“, прабавляя къ этимъ совѣтамъ поэтическую сентенцію, что не всѣ приглашены жизнию на ея пиръ! и безчеловѣчную иронію, что „вольному воля, что нищій пользуется тѣми же гражданскими правами, какъ Ротшильдъ“. Они видѣли, что сытый голодному не товарищъ и что въ старой наукѣ есть что-то не ладное, тупое и оскорбительное: они ее бросили. Экономическій вопросъ получилъ иные размѣры. Начали съ критики. Критика — сила нашего вѣка, это наше торжество и наше проклятіе. Политическая экономія была разбита, мѣсто расчищено, но что же было поставить вмѣсто ея? благо-родное негодованіе, *pia desideria* и критика не составляютъ положительнаго ученія, особенно для народа; нѣтъ ничего менѣе симпатизирующаго съ критикой, какъ народъ: онъ требуетъ готоваго, доктрины, вѣрованія; ему нужно знамя, ему нужна опредѣленная межа, къ которой итти. Люди, смѣлые на критику — были слабы на созданіе; всѣ фантастическія утопіи двадцати послѣднихъ годовъ проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный тактъ, по которому онъ, слушая, безсознательно качаетъ головой и недоувѣряетъ отвлеченнымъ утопіямъ до тѣхъ поръ, пока онѣ не выработаны, не близки къ дѣлу, не національны, не полны религіей и поэзіей. Народы слишкомъ юны, чтобъ увлекаться одними экономическими теоріями. Они живутъ еще несравненно болѣе сердцемъ и привычкой, нежели умомъ; изъ-за нищеты, бѣдности и работы также трудно ясно видѣть вещи, какъ изъ-за богатства, пресыщенія и лѣни. Попытки новой экономической науки одна за другой вѣходили на свѣтъ и разбивались о чугунную крѣпость привычекъ, истинъ и фактическихъ преданій. Онѣ были сами по себѣ полны желаніемъ общаго блага, полны любви и вѣры, никогда не достигали до безчеловѣчной плоскости старой науки, но зато держались во всеобщностяхъ, представляли больше стремленіе, нежели достигнутый результатъ. Всего страннѣе, что человекъ и въ новую науку вошелъ все же не человекомъ, а какимъ-то жалкимъ существомъ, котораго освобождали отъ нищеты или отъ несправедливаго стяжанія для того, чтобъ затерять его въ общинѣ... Понять личность человека, понять всю святость, всю ширину дѣйствительныхъ правъ лица — самая трудная задача, и кро-

мѣ частности и исключеній она никогда не была разрѣшена никакими прошлыми историческими формами; для нея нужно большее совершеннѣе, до котораго не доросла челоуѣкъ.

Старая наука, вовлеченная въ злую полемику, не была въ авантажѣ, новая отличалась на этомъ журнальномъ и литературномъ поприщѣ. Умы, сочувствующіе съ вѣкомъ, оставили прежнюю политическую экономію, одни по убѣжденію въ истинѣ новыхъ теорій, другіе по убѣжденію въ недостаточности и лжи прежнихъ; зато пошлая посредственность прильнула къ ней; въ ея рукахъ наука Адама Смита измелчала, выродилась въ торговую смысленость, въ искусство съ наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведеній и обезпечивать имъ наивыгоднѣйшій сбытъ; наука дала имъ въ руки кистень, который бьетъ обоими концами бѣднаго пстребителя, съ одной стороны уменьшеніемъ платы, съ другой поднятіемъ цѣны на произведенія. Буржуази бросилась на экономическіе вопросы хотя не изъ крайности, но тѣмъ не менѣе они поглотили все ея вниманіе; она пожертвовала имъ всѣми интересами; въ этомъ сверхѣ не-расчета была черная неблагодарность, ибо всѣ перевороты, всѣ несчастія Франціи принесли лучшіе плоды свои среднему сословію. А оно какъ только стало на ту высоту, которую ему приготовила революція 1830 года и обезпечили сентябрьскіе законы, забыла свое прошедшее, забыла даже національную честь и свои права, о которыхъ столько разглагольствовала во время реставраціи. — Будущности для буржуази, повторяю, нѣтъ. Она теперь уже чувствуетъ въ своей груди начало и тоску смертельной болѣзни, которая непременно сведетъ ее въ могилу, и, что всего печальнѣе, польза, которую она приноситъ, останется, но не пріобрѣтетъ ей даже спасибо, не заставитъ пролить ни одной слезы на ея могилѣ, слезы, такъ легко проливаемой по всему умершему. Буржуази сама отучила отъ любви и симпатіи, она сама проповѣдывала холодъ и бездушье, — чего же ожидать? Еще во время реставраціи буржуа не все продали внутри дунни своей, тогда ихъ еще уважали; но съ тѣхъ поръ, какъ всѣ интересы ихъ можно размѣнять на звонкую монету, съ тѣхъ поръ, какъ жизнь превратилась для нихъ въ средство чеканить

деньги, народъ возненавидѣлъ ихъ, тѣмъ болѣе, чѣмъ ближе къ нимъ стоять. Въ народѣ бездна раздражительности, *susceptibilité*, онъ оскорблялся развратомъ Людовика XV и его царедворцевъ, онъ оскорбляется теперь продажною голосовъ, подкупной администраціей, онъ теперь принялъ вмѣсто политическаго крика: *À bas les voleurs*. Крикъ этотъ по справедливости относится не къ одной администраціи; не она развратила буржуази, а буржуази дала изъ среды своей такихъ администраторовъ, а тѣ, воспитанные ею, въ свою очередь подстрекнули, ободрили ея алчность къ деньгамъ. Не въ самомъ же дѣлѣ нѣсколько бюрократовъ увлекли огромный классъ народа. Что это за сильные люди были бы, изъта сѣдая пискливая куколка—Тьеръ, и этотъ рыцарь печальнаго образа, клакеръ de l'Hôtel des Capucines; и... эти неизвѣстности и ничтожности, которыя ихъ окружаютъ, если мы имъ припишемъ возможность развратить такую страну. Лица, обвиняемыя журналами и общественнымъ мнѣніемъ, не болѣе какъ скиръ, скиръ — обнаруженное послѣдствіе худосочія; оттого умные медики и не вырѣзываютъ его, а стараются поправить всѣ жизненные отправленія. Зло не только глубже, нежели въ администраціи, по имѣетъ свое историческое оправданье, свою необходимость. Буржуази — казнь за прошлую односторонность. Слѣдомъ за мистицизмомъ и изувѣрствомъ идутъ кощунство и сомнѣніе, слѣдомъ за идеализмомъ — матеріализмъ, за терроромъ — Наполеонъ. *Corsi u ricorsi* Вико, *lex tulionis* исторіи, вознагражденіе въ родѣ тѣхъ нелѣпыхъ наказаній, которыя стремятся сдѣлать преступнику столько же зла, сколько онъ самъ сдѣлалъ. Пренебреженіе экономическими вопросами за прошлую эпоху и исключительное занятіе политическими вопросами вызвали пренебреженіе къ политикѣ и возвеличили государственную экономію. Аристократы и народъ были — юноши, дѣти, поэты; революціонеры — были идеалисты. Буржуази явилась представить прозу жизни, практическую сторону домохозяина, строящаго фабрики вмѣсто храмовъ, замѣняющаго колоссальными работами инженера — колоссальныя постройки зодчаго; это своего рода освященіе жизни, реабилитація занятій, работъ. Толковали о самоотверженіи — и презирали (по крайней мѣрѣ на словахъ) матеріальную выгоду, — буржуази открыто ищетъ пользу и смѣется

надъ самоотверженіемъ: приносили людей на жертву идеямъ, — буржуази принесла идеи на жертву себѣ. Разумѣется все это несколько не составляетъ нравственнаго оправданія, и буржуази еще не за что любить за то, что она послѣдовательна реакціи своей до нелѣпости и шутовства (*). Самая же непростительная сторона въ буржуази—это ея полное сознаніе; она очень хорошо знаетъ, что уронила Францію въ глазахъ Европы, въ глазахъ народа, что нѣтъ защиты ей въ продажѣ голосовъ, вотированіи...

Самые отчаянные консерваторы камеры, какой нибудь Морни и дѣсти человѣкъ, которые передъ лицомъ всего Парижа, т. е. всего міра, не постыдились вотировать, что обвиняемые Жиранденомъ оправдались, въ то время, какъ Жиранденъ ихъ уличилъ. Всѣ эти господа на столько знаютъ важность законности и справедливости, что не могутъ невольно попасть въ такую грубую ошибку; имъ просто нуженъ покой, внѣшній порядокъ и министерская поддержка для ихъ коммерческихъ дѣлъ; вотъ откуда эта возможность, вовсе не свойственная французскому характеру. При потерѣ всякихъ убѣжденій, при эластической готовности поддерживать все существующее, худое также, какъ хорошее, и останавливать всякій успѣхъ, они опасны, потому-что сильны, въ ихъ рукахъ средства страшныя; единственное сословіе, имѣющее политическія права, сословіе, изъ котораго выбираются законодатели, сословіе, обладающее всѣми богатствами, опирающееся, въ качествѣ охранительной партіи, на правительственные средства, на національную гвардію, на войско и полицію, и на людскую лѣнь, составляющую опору отрицательную, но чрезвычайно важную. Чему же

(*) „Да какъ же это—величайшіе люди, художники, таланты, ученые... съ восьмидесятихъ годовъ почти всѣ принадлежатъ къ буржуази? „—Это ничего не значитъ: во-первыхъ, въ наше время есть множество людей не принадлежавшихъ ни къ какой кастѣ, ни къ какому сословію, всего менѣе къ тому, въ которомъ родились; они просто люди; что было въ Пушкинѣ чиновничьяго, — а вѣдь онъ былъ титулярный совѣтникъ. Буржуази не индѣйская каста. *Bourgeoisie n'oblige* раз, можно сказать въ противоположность извѣстной пословицѣ; для того, чтобъ быть буржуа, недостаточно родиться; надобно имъ сдѣлаться или по крайней мѣрѣ не сдѣлаться ничѣмъ другимъ; буржуа тотъ, кто сознаетъ себя такимъ, кто ненавидитъ аристократію въ одну сторону и презираетъ народъ въ другую....

дивиться, что буржуази всѣмъ овладѣла, особенно въ такое время, какъ политическій вопросъ сдѣлался труднѣе и неразрѣшимѣе отъ вопросовъ соціальныхъ. Буржуа смѣются, когда ихъ упрекаешь; они съ презрительной улыбкой практическихъ дѣльцовъ посматриваютъ на пустыхъ людей, толкующихъ объ убѣжденіяхъ и объ оскорбленномъ чувствѣ справедливости. Пора перестать бояться такой улыбки, пословица не даромъ говоритъ: что хорошо будетъ хохотать тотъ, кто послѣдній будетъ хохотать; она не новость, она очень извѣстна въ исторіи, за нею всегда скрывается страхъ, нечистая совѣсть, недостатокъ разумныхъ доводовъ, въ ней выражается собственная несостоятельность, признаніе силы въ томъ, надъ чѣмъ смѣемся; а иногда, гораздо проще, она выражаетъ радость ограниченности и посредственности, когда она можетъ бросить грязью во все то, что выше ея. Это улыбка римскихъ патриціевъ надъ Назареими, римскихъ кардиналовъ надъ протестантами, Наполеона надъ идеалами, и тѣхъ чернорабочихъ рода человѣческаго, которые, утопая въ грязной жизни, не сочувствуютъ ни съ какими религіозными вопросами, ничего не знаютъ внѣ ограниченаго круга своей ежедневной дѣятельности, вслѣдствіе чего они превосходно знаютъ этотъ ограниченный кругъ и знаніе свое выдаютъ за великую практическую науку и житейскую мудрость, передъ которой всѣ другія науки и мудрости — мыльные пузыри; имъ часто удается своими рутинными замѣтками подавить на нѣкоторое время неопытныхъ юношей, которые, красѣя, удивляются ихъ основательной положительности и наторѣлому бездушію. Эту роль знающихъ, совѣтующихъ свысока — буржуази очень любятъ, и именно въ этомъ доктринерскомъ характерѣ всего яснѣе ея различіе съ гоуэсъ временъ Людовика XV и регентства. Тѣ были легкомысленные развратники, блудныя дѣти выродившейся аристократіи; у нихъ страсть къ деньгамъ сопровождалась страстью ихъ бросать; это вивѣры, беззаботные gamins до шестидесяти лѣтъ; у нихъ не было никакихъ теорій, они ни о чемъ не думали всю жизнь. Тяжелые гоуэсъ XIX вѣка, люди пресерьезные, они говорятъ такъ основательно, они слушали Росси, они читали Мальтуса, они дѣльцы, депутаты, министры, журналисты; у нихъ свои теоріи, свое ученье, у нихъ продѣлки приведены въ систему; они

даже филантропы, хотя не до того, чтобъ замѣнить недостатокъ хлѣба чѣмъ-нибудь болѣе съѣстнымъ, нежели штыки.....

.... Недавно здѣсь снова разыгралось старое дѣло о дуэли Бовалона съ Дюжарье. Дѣло это нечистое; всѣ актеры его, какъ актеры Иліады, болѣею частью *треки*. Самъ Агамемнонъ—Гранье де Кассаньякъ замѣшанъ въ немъ, Жирарденъ и А. Дюмà хотя не замѣшаны, но помянуты были въ ассизахъ. Когда судили секунданта Эквилье за ложное показаніе, судьи и адвокаты, какъ слѣдуетъ, были въ маскарадныхъ платьяхъ, королевскій прокуроръ, какъ еще болѣе слѣдуетъ, свирѣпствовалъ дурнымъ слогомъ противъ обвиненнаго. Прокуроры здѣсь вообще злобы невѣроятной, ихъ особо дрессируютъ для этого. Мнѣ часто приходило въ голову, не отдають ли ихъ, какъ Ромула и Рема, en pourice въ Jardin des Plantes къ волчицамъ и медвѣдицамъ; но я не успѣлъ справиться. Злоба эта имъ необходима, это ихъ point d'honneur; оправданье подсудимаго—личная обида прокурору;—онъ не умѣлъ стало ни доказать вины, ни понять невинности, а потому, для поддержки своей репутаціи, прокуроръ нападаетъ безчеловѣчно. Прокуроръ свирѣпствовалъ, наказывая себя тѣлесно въ грудь кулакомъ, поднимая глаза вверхъ и придавая голосу то грустный и заунывный тонъ оторопѣлой невинности, то густой звукъ человѣка правдиваго, но гнѣвнаго,—то переходя къ воплю негодованья, къ крику ярости, то опять понижая голосъ и сокращая подъ умоляющую просьбу къ присяжнымъ, чтобъ они ему подали ради имени Христова обвинительный вердиктъ; къ нимъ онъ обращался безпрестанно, стараясь ихъ раздражить и увѣрить, что преступленіе Эквилье личная обида имъ. Въ пространной рѣчи своей, однажды только прерванной человѣческой слабостью одного присяжнаго, который попросился у президента отлучиться не надолго, при чемъ президентъ объявилъ: Messieurs la séance est levée, и снялъ съ себя шапку съ золотой оторочкой. Присяжный воротился вскорѣ, тогда президентъ объявилъ: Messieurs la séance est ouverte, накрылся, опять снялъ шляпу, и прокуроръ продолжалъ. Въ пространной рѣчи своей прокуроръ краснорѣчиво удивлялся распутной жизни нынѣшней молодежи, которая ужинаетъ у „провансальскихъ братьевъ“, „проводитъ ночи за картами, посѣщаетъ актрисъ, имѣетъ

связи съ женщинами, и въ этомъ числѣ есть даже имена молодыхъ литераторовъ, которые вмѣсто того, чтобы брать примѣръ съ Вольтера и Руссо, тоже ужинаютъ и играютъ въ карты.... Онъ цѣпенѣлъ отъ ужаса, вспоминая эту жизнь, онъ просилъ присяжныхъ посмотрѣть, если только ужасъ и негодованіе, если слезы сожалѣнія и справедливое отвращеніе позволяютъ имъ ближе взглянуть въ эти нравы, вопіющіе и развращенные, взглянуть, куда все это привело.... Холодный трупъ одного лежитъ въ землѣ, онъ убитъ на дуэли, другой убійца его, третій — на скамѣ обвиненныхъ. — О еслибъ — говорилъ онъ — эти молодые люди проводили свою жизнь.... (слѣдуетъ идеалъ жизни по понятіямъ г. прокурора) тогда бы.... (слѣдуетъ награда по понятіямъ г. прокурора) но вмѣсто этого, сколько ему ни жаль, по состраданію свойственному всякому отъ женщины рожденному, но онъ увѣренъ, но онъ не смѣетъ сомнѣваться, но его душа не имѣетъ мѣста, которымъ бы онъ дерзнулъ предположить, что присяжные не покажутъ спасительнаго примѣра строгости законовъ. Вы, можетъ быть, подумаете, что прокуроры здѣсь выписываются изъ женскихъ монастырей. Совсѣмъ нѣтъ: они сами обѣдаютъ и ужинаютъ у „провансальскихъ братій“, играютъ въ карты, имѣютъ интрижки (да еще какія, если вспомнить Мартень дю-Нора, прокурора прокуроровъ), а если не ѣздить къ актрисамъ, такъ это потому, что къ непорядочнымъ надобно ѣздить съ деньгами (онъ здѣсь въ цѣнѣ), а прокуроры скупы; а къ порядочнымъ ихъ не пускаютъ потому что они скучны. „Но гдѣ же было общество безъ лицемѣрія? Да, гдѣ? покажите-ка?“ Чтó дѣлать! надобно сознаться, правда....

И прежде плакалъ человѣкъ,

И прежде кровь лилась рѣкою....

Да еще надобно сознаться, что женщины коварны.... что мужчины какъ мухи къ нимъ льнутъ, что нѣтъ правила безъ исключенія, что пока будутъ люди, будутъ злоупотребленія, а пока будетъ буржуази, у нея будетъ кодексъ глубокомысленныхъ сентенцій въ китайскомъ вкусѣ....

Все это такъ; но вотъ чтó меня сбиваетъ. Какъ же это по желѣзнымъ дорогамъ люди никогда прежде не ѣздили, а мы ѣздимъ?

А если раздумаемся, въ самомъ дѣлѣ трудно рѣшить, слѣдуетъ ли защищать лицемѣріе, т. е. ложь, или нападать. Вотъ хоть бы сказать о дѣлѣ Эквиле.

Эквиле за ложь и за то, что онъ не подражалъ въ жизни Вольтеру и Руссо, ужиналъ у „провансальцевъ“, игралъ ночью въ карты, имѣлъ связи съ женщинами и ѣздилъ къ актрисамъ, посадили на *десять лѣтъ* въ тюрьму (*reclusion* — это хуже простой тюрьмы). А Гранье де-Кассаньякъ, солгавшій въ томъ же дѣлѣ, уличенный во лжи, да еще въ дополненіе подбивавшій свидѣтелей, даже не отданъ подъ судъ. Можетъ быть онъ подражалъ въ жизни Вольтеру и Руссо, ужиналъ въ *Rocher de Cancale*, игралъ днемъ на бильярдѣ, имѣлъ связи не съ женщинами и только ссорился съ актрисами, можетъ быть.... незнаю. Чтѣ же надобно лгать или ненадобно? Это, какъ вамъ угодно.

.... Другъ жи, поѣхалъ въ Италію; климать, антики, картины, альты и сопраны — и онъ подъ голубымъ небомъ Италіи будетъ думать, „какъ хорошо лгать“.

Другъ Бовалона, другъ актрисъ въ тоже время ѣдетъ въ тюремной каретѣ обдумывать на полномъ досугѣ въ какомъ нибудь мерзкомъ центральномъ острогѣ, „какъ дурно лгать.“ Ну, а какъ вамъ нравится выходка прокурора противъ пѣлаго сословія драматическихъ артистовъ? Я не могъ вамъ передать съ стенографической точностью рѣчь прокурора, но слова подчеркнутыя съ подлиннымъ вѣрны. Что у васъ нѣтъ сестры, жены, друга на сценѣ, и прекрасно, если нѣтъ, а то ежели знакомство увеличиваетъ вину, то родство, я думаю, само по себѣ преступленіе. А какъ кричали буржуа, когда не хотѣли хоронить Тальму? Это другое дѣло; а подобная диффамация нравится имъ, они ей аплодируютъ грязными руками своими; буржуази не терпятъ все, что не тонетъ съ нею въ болотѣ посредственности и пошлой жизни; какъ не ненавидѣть имъ женщинъ, получающихъ большія деньги, женщинъ, на которыхъ ходятъ смотрѣть съ восторгомъ, женщинъ, о паденіи которыхъ они слышали блѣднѣя отъ зависти, потому-что онѣ падали не въ ихъ объятія, — а тамъ что имъ за дѣло, что благородныя женщины, матери семейства, великіе таланты — Віардо, Рашель,

Линдъ, Гризи оскорблены рядомъ съ какой-нибудь развращенной! — Грязные люди, мелкіе люди!

Однако довольно съ нихъ на этотъ разъ. — Я съ ними расстаюсь, посмотрю на нихъ издали, съ апеннинскихъ высотъ и съ итальянскаго берега.... есть художественныя произведенія, которыя надобно смотрѣть отступя. — Прощайте до слѣдующаго письма.

15 Сентября 1847 года.

Р. S. Приѣхала Карлота Гризи.... ни слова не скажу о ней: во первыхъ, боюсь: прокуроръ разсердится, что я въ одномъ письмѣ упоминалъ о немъ и о танцовщицѣ; во-вторыхъ.... даже говорить объ этой вьющейся, гибкой, неуловимой ящерицѣ съ изумрудными глазами опасно, очень опасно, а видѣть и не приведи Богъ. Вы не-видали, ну, вамъ и ничего, а у меня вотъ теперь передъ глазами, какъ живая.... вотъ.... вотъ.... исчезла! Ахъ, зачѣмъ я не Аполлонъ Савромахъ.

Х.

ГОФМАНЪ.

74

100 MAR 1

ГОФМАНЪ.

Родился 24 января 1776 г.

Умеръ 28 июня 1822 г.

I.

Всякій божій день являлся поздно вечеромъ какой-то человѣкъ въ одинъ винный погребъ въ Берлинѣ; пилъ одну бутылку за другой и сидѣлъ до разсвѣта. Но не воображайте обыкновеннаго пьяницу; нѣтъ! чѣмъ болѣе онъ пилъ, тѣмъ выше парила его фантазія, тѣмъ ярче, тѣмъ пламеннѣе изливался юморъ на все окружающее, тѣмъ обильнѣе вспыхивали остроты. Его странности, постоянство посѣщеній, его литературная и музыкальная слава привлекали цѣлый кругъ обожателей въ питейный домъ, и когда иностранецъ пріѣзжалъ въ Берлинъ, его вели къ Лютеру и Регнеру, показывали непремѣннаго члена, и говорили: вотъ нашъ сумасбродный Гофманъ. Посмотримъ на эту жизнь, оканчивающуюся питейнымъ домомъ. Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий къ его сочиненіямъ, но не жизнь германскаго автора; для нихъ злой Гейне выдумалъ алгебраическую формулу: „родился отъ бѣдныхъ родителей, учился теологін, но почувствовалъ другое призваніе, тщательно занимался древними языками, писалъ, былъ бѣденъ, жилъ уроками и передъ смертью получилъ мѣсто въ такой-то гимназіи или въ такомъ-то университетѣ“. Но „есть люди, подобные деньгамъ, на которыхъ чеканится одно и тоже изображеніе; другіе похожи на медали выбиваемыя для частнаго случая“; и къ послѣднимъ-то принадлежалъ сказавшій эти слова Гофманъ. Его жизнь нисколько не была похожа на прозябаніе, она самая стран-

ная, самая разнообразная изъ всѣхъ его повѣстей; или лучше, въ ней-то зародышъ всѣхъ его фантастическихъ сочиненій.

Одинокѣ воспитывался Гофманъ въ чинномъ чопорномъ домѣ своего дяди. Странное вліяніе на душу младенческую дѣлаетъ одиночество; оно навсегда кладетъ зародышъ какой-то робости и самонадѣянности, дикости и любви, и болѣе всего мечтательности. Посмотрите на такого ребенка: блѣдный, тонкій, едва живой, онъ такъ похожъ на растеніе выросшее въ парникѣ, такъ нѣжно, такъ застѣнчиво, такъ близко жметъ къ отцу, такъ краснѣетъ отъ каждаго слова и при каждомъ словѣ, такъ сосредоточенъ самъ въ себѣ, что если онъ только не лишенъ способностей, то изъ него необходимо выйдетъ человѣкъ не принадлежащій толпѣ; ибо онъ не въ ней воспитанъ, ибо онъ не былъ въ передѣлкѣ у толпы какого-нибудь пансіона, которая бы научила его завидовать чужимъ успѣхамъ, унизила бы его чувства, развратила бы его воображеніе. Вотъ такое-то дитя былъ Гофманъ. Главная отличительная черта подобнымъ образомъ воспитанныхъ дѣтей состоитъ въ томъ, что они, будучи окружены взрослыми людьми, рано зрѣютъ чувствами и умомъ для того, чтобъ никогда не созрѣть вполне; теряютъ прежде времени почти все дѣтское для того, чтобъ послѣ на всю жизнь остаться дѣтьми. Ребенокъ Гофманъ, большой человѣкъ, мечтатель, страстный другъ Гитцига и рѣшительный музыкантъ; но онъ скверно учится, и это слѣдствіе воспитанія, въ которомъ человѣкъ долженъ развиваться самъ изъ себя: надо непременно побывать въ публичномъ заведеніи, чтобъ получить утиную способность пожирать равнымъ образомъ десять разныхъ наукъ, не любя никакой, изъ одного благороднаго соревнованія. Гофманъ находилъ скучнымъ Цицерона и не читалъ его; призваніе его было чисто художническое; не форумъ, — консерваторія была ему нужна. Въ томъ же домѣ, гдѣ воспитывался Гофманъ, жила сумасшедшая женщина, пророчившая въ изступленіи высокую судьбу своему сыну, Захаріи Вернеру! Какія странныя впечатлѣнія должна была она сдѣлать на младенческую душу сосѣда!

Гофмана юношу отправили въ университетъ *um die Rechte zu studiren*, назначивъ его на юридическое поприще. Но для него тягостенъ университетъ съ своими Пандектами и Брандербургскимъ

правомъ, съ своей латинью и профессорами; его пламенная душа начинаетъ развиваться, его фантазія жаждетъ восторговъ, жизни; а что можетъ быть наиболѣе удалено отъ всего фантастическаго, всего живаго, какъ не школьныя занятія!

Da wird der Geist noch wohl dressirt,
In Spanische Stiefeln eingeschnürt.

Goëthe. Faust. 1. Th.

Онъ становится мраченъ, ибо начинаетъ разглядывать дѣйствительный міръ во всей его прозѣ, во всѣхъ его мелочахъ; это протуда отъ міра реального, это холодъ и ужасъ навѣваемый дыханіемъ людей на грудь чистаго юноши. И тутъ-то рождается въ немъ потребность сорваться съ пути битаго, обыкновеннаго, пыльнаго, которую мы равно видимъ во всѣхъ истинныхъ художникахъ. Онъ все что вамъ угодно, живописецъ, музыкантъ, поэтъ..., только ради бога не юристъ—не будничный, всеневный человѣкъ. И эта борьба между симпатією и необходимостію заставляетъ его дѣлать пресмѣшныя вещи. Получивъ хорошее мѣсто въ Позенѣ, знаете ли чѣмъ онъ дебютировалъ? карриатурами на всѣхъ своихъ начальниковъ; тѣ отвѣчали на нихъ доносомъ, и Гофманъ не успѣлъ привыкнуть къ Позену, какъ его отставили. Спустя нѣсколько времени, мы видимъ его важнымъ совѣтникомъ правленія въ Варшавѣ. Но онъ не перемѣнился; это все тотъ же музыкантъ: хлопочетъ, трудится, собираетъ деньги, чтобъ завести филармоническую залу; успѣлъ, и *Regierungs-Rath Hoffmann*, въ засаленной курткѣ, цѣлые дни на строилахъ разрисовываетъ плафонъ залы; окончивъ, онъ же является капельмейстеромъ, бьетъ тактъ, дирижируетъ, сочиняетъ такъ усердно, что нисколько не замѣчаетъ, что вся Европа въ крови и огнѣ. Между тѣмъ война, видя его невнимательность, рѣшается сама посѣтить его въ Варшавѣ; онъ бы и тутъ ее не замѣтилъ, но надо было на время прекратить концерты. Гофманъ въ горѣ; но черезъ нѣсколько дней пишетъ къ Гитцигу, что концерты снова продолжаются, что онъ побранился съ наполеоновымъ капельмейстеромъ; „что-жъ касается до политическихъ обстоятельствъ, онѣ меня не очень занимаютъ... искусство,—вотъ моя покровительница, моя защитница, моя свя-

тая, которой я весь преданъ!¹⁴... Должно-ли послѣ того удивляться, что Шлегель и Вильменъ разнo понимаютъ литературу, что одинъ далъ ей самобытный полетъ, чтобъ не заставить ее дѣлать скучный покой своей родины, а другой приковалъ ее къ обществу, чтобы ускорить развитіе литературы, сообщивъ ей быстрое движеніе гражданственности. Шлегель и Вильменъ, это Германія и Франція: Германія мирно живущая въ кабинетахъ и библіотекахъ, и Франція толпящаяся въ кофейныхъ и Пале-Ройялѣ; Германія внимательно перечитывающая свои книги, и Франція два раза въ день пожирающая журналы. Гофманъ, занятый до того концертами, что не замѣтилъ приближенія Наполеона, есть типъ прошедшаго, сверхъземнаго направленія литературы Германской. По большей части сочинители жившіе до 1813 года, воображали, что все земное слишкомъ низко для нихъ, и жили въ облакахъ; но это имъ не прошло даромъ. Теперь, когда Германія проснулась при громѣ Лейпцигской битвы, явилось новое поколѣніе, болѣе земное, болѣе національное. Теперь Гейне бичуетъ своимъ ядовитымъ перомъ направо и налево старое поколѣніе, которое разобщило себя съ родиной, прошлую эпоху, которая такъ колоссально, такъ величественно окончилась въ Веймарѣ 22 марта 1832 года. Впрочемъ Тѣме страшно причислять къ этому направленію: Тѣме былъ слишкомъ высокъ, чтобъ имѣть какое-либо направленіе, слишкомъ высокъ чтобъ участвовать въ этихъ гомеопатическихъ переворотахъ... Какъ бы то ни было, Гофманъ самъ очень чувствовалъ и очень хорошо представилъ односторонность германскихъ ученихъ, окопавшихъ себя валомъ отъ всего человѣчества, въ превосходной повѣсти своей „*Datura Fastuosa*“. Но обратимся къ его жизни.

Принужденный оставить Варшаву и свою *собственноручную* залу, онъ отправился въ Берлинъ съ шестью луддорами, которые у него на дорогѣ украли; пристроился какъ то къ Бамбергскому театру: и съ того то времени (1809) собственно начинается литературное его поприще: тогда написалъ онъ дивный разборъ Бетховена и Крейслера. Впрочемъ, это еще не тотъ Крейслеръ, изъ жизни котораго макулатурные листы попались въ когти знаменитому коту Муру, а начальное образованіе, основа этого лица, которому Гофманъ подарилъ всѣ свои свойства, которое нѣсколько разъ является

въ разныхъ его сочиненіяхъ и которое занимало его до самой кончины. Вскорѣ узнала его вся Германія, и Гофманъ является формальнымъ литераторомъ. Этому дивиться нечего: Германія страна писанія и чтенія. „Чтобы мы ни дѣлали одной рукой, зъ другой непременно книга,“ говоритъ Менцель. „Германія нарочно для себя избрѣла книгопечатаніе, и безъ устали все печатаетъ и все читаетъ“. Въ тоже время Гофманъ пишетъ музыкальныя произведенія, даетъ уроки, рисуетъ, снимаетъ портреты, и *par dessus le marché* остритъ, проситъ чтобъ ему платили не только за уроки, но и за пріятное препровожденіе времени; сверхъ всего того онъ при театрѣ компонистъ, декораторъ, архитекторъ и капельмейстеръ. Впрочемъ финансовыя его обстоятельства все не блестящи: 26 Ноября 1810 года въ дневникѣ его написана печальная фраза: „den alten Rock verkauft um nur essen zu können“ (проданъ старый сертукъ, чтобъ ѣсть). Эта пестрая жизнь служить доказательствомъ, что безпорядочная фантазія Гофмана не могла удовлетворяться *нѣмецкой болѣзью*—литературой. Ему надобно было дѣятельности живой, дѣятельности въ самомъ дѣлѣ; и вы можете прочесть въ его журналѣ того времени, какъ онъ страстно былъ влюбленъ въ свою ученицу — „онъ, женатый человѣкъ!“ (Какъ будто женатымъ людямъ отрѣзывается всякая возможность любить!).

Съ 1814 года настаетъ послѣдняя эпоха жизни Гофмана, обильная сочиненіями и дурачествами. Онъ поселился въ Берлинѣ, въ этомъ первомъ городѣ Брандербургскаго курфиршества, который сдѣлался первымъ городомъ Германіи, *sauf le respect que je dois Вѣнѣ* съ ея аристократической улыбкой, готическими нравами и церковью св. Стефана. Берлинъ не Бамбергъ, Берлинъ живетъ жизнію, ежели не полной, то свѣжей, юной; онъ увлекъ, завертѣлъ Гофмана, и Гофманъ попалъ въ аристократическій кругъ, въ черномъ фракѣ, въ башмакахъ, читаетъ статейки, слушаетъ пѣніе, аккомпанируетъ. Но аристократы скучны; сначала ихъ тонъ, ихъ пышность, ихъ освѣщенные залы нравятся; но все одно и тоже надоѣстъ до нельзя. Гофманъ бросилъ аристократовъ, и съ паркета, изъ душныхъ залъ бѣжалъ все внизъ, внизъ и остановился въ питейномъ домѣ. „Отъ восьми до десяти,“ пишетъ онъ, „сiju я съ добрыми людьми и пью чай съ ромомъ; отъ десяти до

двѣнадцати также съ добрыми людьми, 'и пью ромъ съ чаемъ." Но это еще не конецъ: послѣ двѣнадцати онъ отправляется въ винный погребокъ, сохраняя въ питѣи тоже crescendo. Тутъ то страшныя, уродливыя, мрачныя, смѣшныя, ужасныя тѣни наполнили Гофмана, и онъ въ состояніи сильнѣйшаго раздраженія схватывалъ перо и писалъ свои судорожныя, сумасшедшія повѣсти. Въ это время онъ сочинилъ ужасно много, и наконецъ торжественно заключилъ свою карьеру автобіографіей Кота Мура. Въ Котѣ и Крейслерѣ Гофманъ описывалъ самъ себя; но впрочемъ у него въ самомъ дѣлѣ былъ котъ, котораго называли Муромъ и въ котораго онъ имѣлъ какую-то мистическую вѣру. Странно, что Гофманъ совершенно здоровый говаривалъ, что онъ не переживетъ Мура, и дѣйствительно умеръ вскорѣ послѣ смерти кота. Страдая мучительною болѣзнію (*tabes dorsalis*), онъ былъ все тотъ же, фантазія не охладѣла. Линившись ногъ и рукъ, онъ находилъ что это прекрасное состояніе; его сажали противъ угольнаго окна, и онъ нѣсколько часовъ сидѣлъ, смотря на рынокъ и придумывая, зачѣмъ кто идетъ, а когда ему прижигали каленымъ желѣзомъ спину, воображалъ себя товаромъ, который клеймятъ по приказу таможеннаго пристава!

Теперь, доведши его жизнь до похоронъ, обратимся къ его сочиненіямъ.

II.

Въ Англіи скучно жить: вѣчный парламентъ съ своими готическими затѣями, вѣчныя новости изъ Ост-Индіи, вѣчный голодъ въ Ирландіи, вѣчная сырая погода, вѣчный запахъ каменнаго угля, и вѣчныя обвиненія во всемъ этомъ перваго министра. Вотъ, чтобъ этой скукѣ помочь, и вздумалъ одинъ англійскій тори, ужасный болтунъ, рассказывать старыя преданія своей Шотландіи, такъ мило, что слушая его совсѣмъ переносишься въ блаженной памяти феодальныя вѣка. Въ послѣднее время сомнѣвались въ исторической вѣрности его картинъ: въ чемъ не сомнѣвались въ послѣднее время? Не могу рѣшить, справедливо ли это сомнѣніе; но знаю, что одинъ великій историкъ (Thierry) совѣтуетъ изучать исторію Англіи въ романахъ Вальтеръ-Скотта. По моему, въ Валь-

теръ-Скоттъ другой недостатокъ: онъ аристократъ, а общій недостатокъ аристократическихъ росказней есть какая-то апатія. Онъ иногда походить на секретаря уголовной палаты, который съ величайшимъ хладнокровіемъ докладываетъ самыя нехладнокровныя произшествія; вездѣ въ романѣ его видите лорда-тори съ аристократической улыбкой, важно повѣствующаго. Его дѣло описывать; и какъ онъ описывая природу не углубляется въ растительную физиологію и геологическія изслѣдованія, такъ поступаетъ онъ и съ человѣкомъ: его психологія слаба и все вниманіе сосредоточено на той поверхности души, которая столь похожа на поверхность геода, покрытаго земляною корою, по которой нельзя судить о кристаллахъ, въ его внутренности находящихся. Не ищите у Вальтеръ-Скотта поэтическаго провидѣнія характера великаго человѣка, не ищите у него этихъ дивныхъ созданій пламенной фантазіи, этихъ *schwankende Gestalten*, которыя на вѣки остаются въ памяти: Фауста, Гамлета, Миньоны, Клода-Фролло; ищите разсказа, и вы найдете прелестный, изящный. У Вальтеръ-Скотта есть двойникъ, такъ какъ у Гофманова Медардуса: это Куперъ, это его *alter ego*—романистъ Соединенныхъ Штатовъ, этого *alter ego* Англии. Американское повтореніе Вальтеръ-Скотта совершенно ему подобно; иногда оно интереснѣе своего прототипа, ибо иногда Америка интереснѣе Шотландіи. Если романы Вальтеръ-Скотта историческіе, то Куперовы надобно назвать статистическими; ибо Америка страна безъ исторіи, безъ аристократическаго происхожденія, страна равеніе, имѣющая одну статистику. Направленіе Вальтеръ-Скотта было господствующее въ началѣ нашего вѣка; но оно никогда не должно было выходить изъ Англии, ибо оно несообразно съ духомъ другихъ европейскихъ народовъ.

Во Франціи, въ концѣ прошлаго столѣтія, некогда было писать и читать романы; тамъ занимались эпопеею. Но когда она успокоилась въ объятыхъ Бурбоновъ, тогда ей былъ полный досугъ писать всякую всячину. Знаете-ли вы, что за состояніе называется *спохмьля*, это состояніе, когда въ головѣ пусто, въ груди пусто, и между тѣмъ насилу подымается голова и дышать тяжело. Точно въ такомъ положеніи была Франція послѣ 1815 года; это было пробужденіе въ своей горницѣ, послѣ шумной вакханаліи, послѣ

банка и дуэли. Тогда должна была развиваться эта огромная потребность *far niente*, которая нисколько не похожа на квіетизм Востока, квіетизм основанный на мистической вѣрѣ въ себя; ибо на днѣ души было разочарованіе, раскаяніе. Начали было писать романы по подобію Вальтеръ-Скотта: не удались. Юная Франція столь же мало могла симпатизировать съ Вальтеръ-Скоттомъ, сколько съ Веллингтономъ и со всѣмъ торизмомъ. И вотъ французы замѣтили это направленіе другимъ, болѣе глубокимъ; и тутъ-то явились эти анатомическія разъятія души человѣческой, тутъ-то стали раскрывать всѣ раны тѣла общественнаго, и романы сдѣлались психологическими разсужденіями (Бальзакъ, Сю, Ж. Жаненъ, А. де-Виньи). Но не воображайте, чтобъ этотъ родъ родился во Франціи; нѣтъ! психологія дома въ Германіи: французы перенесли его къ себѣ цѣликомъ, прибавивъ свое разочарованіе и свой слогъ.

Психологическое направленіе романа несравненно прежде явилось въ Германіи; но не въ такой судорожной формѣ, не съ такимъ страшнымъ опытомъ въ задаткъ, какъ у за-рейнскихъ сосѣдей. Нѣмца не скоро разшевелишь: привыкнувшій съ юности къ огню Шяллера, къ глубинѣ Гёте, онъ никогда не могъ высоко цѣнить чутъ теплую прозу Вальтеръ-Скотта; ему надобно бурю и громъ, чтобъ восхищаться природою, ему надобно, чтобъ революція выплеснула Наполеона съ легіонами Республики, для того чтобъ оставить отеческій кровь, закрыть книгу и подумать о себѣ. Сообразно духу народному, на нѣмецкихъ романахъ лежитъ особая печать глубины фантазіи и чувствъ. Однажды романъ и драма приняли было ложное направленіе, затерялись въ скучныхъ подробностяхъ всѣхъ пошлостей частной жизни обыкновенныхъ людей и, будучи еще пошлѣе самой жизни, ввали въ приторную, паточную сентиментальность: это Лафонтенъ, Иффландъ, Коцебу. Ихъ читають теперь *Stubenmädchen* по субботамъ, набирая оттуда цѣлый арсеналъ нѣжностей для воскресенья. Но это отклоненіе романа было обильно вознаграждено прелестными сочиненіями таинственнаго Жанъ-Поля, наивнаго Новалиса, готическаго Тика. Гёте, этотъ Зевсъ искусства, поэтъ—Буонаротти, Наполеонъ литературы, бросилъ Германіи своего „Вертера“, пѣснь чистую, высокую, пламенную, пѣснь любви, начинающуюся съ самаго тихаго *adagio* и кон-

чающуюся бѣшеннымъ крикомъ смерти, раздирающимъ душу *addio!* За „Вертеромъ“ поетъ Гёте другую дивную пѣснь, пѣснь юности, въ которой все дышетъ свѣжимъ дыханьемъ юности, гдѣ всѣ предметы видны сквозь призму юности, эти вырванные сцены, раскоди безъ соотношенія вѣшняго, тѣсно связанныя общей жизнію и поэзіей. И что за созданія наполняютъ его „Вильгельма Мейстера“! Миньона, баядерка, едва умѣющая говорить, мечтающая о странѣ лимонныхъ деревьевъ и померанца, о ея свѣтломъ небѣ, о ея тепломъ дыханіи: Миньона, чистая, непорочная какъ голубь; и съ другой стороны сладострастная, огненная Филена, роскошная какъ страна юга, пламенная, бѣшеная какъ юношеская вакханалія, Филена, ненавидящая дневной свѣтъ и вполне живущая при тайномъ, неопредѣленномъ мерданіи лампы, пылая въ объятіяхъ ея; и тутъ же величественный барельефъ старца, лишеннаго зрѣнія, арфиста, которому хлѣбъ былъ горекъ и котораго слезы струились въ тиши ночной!

III.

Die Kunst ist meine Beschützerin, meine Heilige.
Hoffmann's Brief an Hitzig, 1812.

Въ началѣ нынѣшняго вѣка явился въ нѣмецкой литературѣ писатель самобытный, Теодоръ Амедей Гофманъ: покоренный необузданной фантазіи, съ душою сильной и глубокой, художникъ въ полномъ значеніи слова, онъ смѣлымъ перомъ чертилъ какія-то тѣни, какіе-то призраки, то страшные, то смѣшные, но всегда изящные; и эти-то неопредѣленные, набросанные тѣни—его повѣсти. Обыкновенный, скучный порядокъ вещей слишкомъ тѣснилъ Гофмана; онъ пренебрегъ жалкимъ пластическимъ подобіемъ. Его фантазія предѣловъ не знаетъ; онъ пишетъ въ горячкѣ, блѣдный отъ страха, трепещущій передъ своими вымыслами, со включенными волосами; онъ самъ отъ чистаго сердца вѣрить во все, и въ „песочнаго человѣка“, и въ колдовство, и въ привидѣнія, и этой-то вѣрою подчиняетъ читателя своему авторитету, поражаетъ его воображеніе и на-долго оставляетъ слѣды. Три элемента жизни человѣческой служатъ основою большей части сочиненій Гофмана, и эти-же элементы составляютъ душу самого автора: внутренняя жизнь артиста,

дивныя психологическія явленія, и дѣйствія сверхъестественныя. Все это съ одной стороны погружено въ черныя волны мистицизма, съ другой растворено юморомъ живымъ, острымъ, жгучимъ. Юморъ Гофмана весьма отличенъ и отъ страшнаго, разрушающаго юмора Байрона, подобнаго смѣху ангела, низвергающагося въ преисподнюю, и отъ ядовитой, адской, змѣиной насмѣшки Вольтера, этой улыбки самодовольствія, съ сжатыми губами. У него юморъ артиста, падающаго вдругъ изъ своего Эльдорадо на землю, артиста, который среди мечтаній замѣчаетъ, что его Галатея кусокъ камня, артиста, у котораго, въ минуту восторга, жена проситъ денегъ дѣтямъ на башмаки. Этимъ-то юморомъ растворилъ Гофманъ всѣ свои сочиненія и безпрестанно перебѣгаетъ отъ самаго пылкаго паюса къ самой злой прони. Этотъ юморъ натураленъ Гофману; ибо онъ больше всего художникъ истинный, совершенный. Посмотрите на его статьи о музыкѣ; назову двѣ: „разборъ Бетховена“ и „разборъ Донъ-Жуана“. Тамъ вы увидите, что для него звуки, увидите, какъ они облакаются въ формы, оставаясь безтѣлесными.

„Музыка есть искусство наиболѣе *романтическое*, ибо характеръ ея безконечность. Музыка открываетъ человѣку невѣдомое царство, новый міръ, неимѣющій ничего общаго съ міромъ чувственнымъ, въ которомъ пропадаютъ всѣ опредѣленные чувства, оставляя мѣсто невыразимому страстному увлеченію.

„Въ сочиненіяхъ Гайдна выражается дѣтская, свѣтлая душа. Его симфоніи ведутъ насъ на необозримые, зеленые луга, въ пестрыя толпы счастливыхъ людей. Мелькаютъ юноши и дѣвы; смѣющіеся дѣти прячутся за деревья и за розовые кусты, бросаются цвѣтами. Жизнь исполненная любви, блаженства, жизнь до-грѣхопаденія, вѣчно юная; нѣтъ страданія, нѣтъ мученій, одно томное, сладкое стремленіе къ милому образу несущемуся въ блескѣ вечерней зари; онъ и не приближается и не улетаетъ, и пока не исчезнетъ, не настанетъ ночь.

„Въ глубины царства духовъ ведетъ Моцартъ. Страхъ объемлетъ насъ, но безъ мученія; это предчувствіе безконечнаго. Любовь и нѣга дышатъ въ прелестныхъ голосахъ существъ неземныхъ; ночь настанетъ при яркомъ пурпурномъ свѣтѣ, и съ невы-

разнымъ восторгомъ стремимся мы за призраками, которые зовутъ насъ въ свои ряды, летая въ облакахъ.

„Музыка Бетховена раскрываетъ намъ царство безконечнаго и необъятнаго. Огненные лучи мелькаютъ въ этомъ царствѣ ночи, и мы видимъ тѣни великановъ, которыя все болѣе и болѣе приближаются, окружаютъ насъ, подавляютъ, уничтожаютъ; но не уничтожаютъ безконечной страсти, въ которую переливается всякій восторгъ, въ которомъ сплавлена любовь, надежда, удовольствіе, и въ которой тогда мы только продолжаемъ жить.

„Гайднъ беретъ человѣческое во жизни романтически; онъ соизмѣримѣ, понятимѣ для толпы.

„Моцартъ беретъ сверхъестественное, чудесное, обитающее во внутренности нашего духа.

„Музыка Бетховена дѣйствуетъ страхомъ, ужасомъ, изступленіемъ, болью, и раскрываетъ именно то безконечное влеченіе, которое составляетъ собственно сущность романтизма. Поэтому-то онъ композиторъ чисто романтической; и не оттого-ли происходитъ плохой успѣхъ его въ вокальной музыкѣ, уничтожающей словами этотъ характеръ неопредѣленности и безконечности?....“

Не правда-ли, въ этомъ небольшомъ отрывкѣ видна непомѣрная глубина артистическаго чувства. Какъ полны, многозначущи нѣсколько словъ, мелькомъ брошенныхъ о романтизмѣ!

Хотите ли вы знать, что такое душа художника, на сколько она отдалена отъ души обыкновеннаго человѣка, души съ запахомъ земли, души въ которой запачкано божественное начало? Хотите-ли взойти во внутренность ея, въ этотъ храмъ идеала, къ которому рвется художникъ и котораго никогда во всей чистотѣ не можетъ исторгнуть изъ души своей? Хотите-ли видѣть какъ бурны его страсти, слѣдовать за нимъ въ буйную вакханалію и въ объятія дѣвы? Читайте Гофмановы повѣсти: онѣ вамъ представятъ самое полное развитіе жизни художника во всѣхъ фазахъ ея.

Возьмемъ его Крейсlera, капельмейстера Іогана Крейсlera, котораго нѣмецкій принцъ Ириней называлъ *Mr. Krösel*: этотъ *Mr. Krösel* есть лучшее произведеніе Гофмана, самое стройное, исполненное высокой поэзіи. Тутъ болѣе нежели гдѣ либо Гофманъ высказалъ все, что могъ, чѣмъ душа его была такъ полна о любви.

момъ предметѣ своемъ, о музыкѣ. Крейслеръ, пламенный художникъ, съ дѣтскихъ лѣтъ мучимый внутреннимъ огнемъ творчества, живущій въ звукахъ, дышашій ими, и между-тѣмъ неугомонный, гордый, бросающій направо и налево презрительные взгляды. Ему придавъ Гофманъ свой собственный характеръ, или лучше, въ немъ описаль онъ самого себя, а быстрые, внезапные переливы Крейслера отъ высокихъ ощущеній къ сардоническому смѣху придаютъ ему какую-то неувимую физиономію. И этотъ Крейслеръ поставленъ между двумя существами дивнаго изящества. Одна дочь съ-вера, дочь туманной Германіи, что-то томное, неопредѣленное, таинственное, неразгаданное — Гедвига. Другая дышетъ югомъ, Италіей — пѣснь Россини, пѣснь пламенная, яркая, влюбленная — Юлія. А тутъ для тѣни принцъ Ириней, предобрѣйшій *God save the king*. Но въ Крейслерѣ еще не вся жизнь художника исчерпана. Глубже понимала ее мрачная фантазія Гофмана. Она сошла въ тѣ заповѣдныя изгибы страстей, которыя ведутъ къ преступленіямъ; и вотъ его „*Jesuiten Kirche*“. Художникъ живетъ только идеаломъ, любовью къ нему, онъ не дома на землѣ, не между своими съ людьми; для него вся земля — огромная собачья пещера, въ которой онъ задыхается. Художникъ въ пылу мечтанья создалъ идеаль, хранилъ его, лелѣялъ; его идеаль святъ, чистъ, высокъ, небесенъ; и вдругъ онъ нашелъ его въ женщинѣ, и эта женщина матеріальная, и ѣсть и пьетъ, словомъ женщина изъ костей и мяса, земная жена его! Идеаль затмился, унизился; порывы творчества исчезли; виновата жена, — и онъ убійца ея! Но и тутъ, въ самомъ преступленіи, Гофманъ умѣлъ столько развить изящнаго въ своемъ живописцѣ; и тутъ можно отыскать опять божественное начало художника, такъ что вы не можете ненавидѣть его. Во многихъ другихъ повѣстяхъ представлены прочіе элементы жизни художника; мы не станемъ разбирать ихъ.

Два другіе элемента его повѣстей, явленія психическія и чудесное, по большей части переплетены между собою. Но здѣсь надо сдѣлать яркое раздѣленіе. Однѣ повѣсти дышатъ чѣмъ-то мрачнымъ, глубокимъ, таинственнымъ; другія — шалости необузданной фантазіи, писанныя въ чадѣ вакханалій. Сперва нѣсколько словъ о первыхъ.

Идиосинкрасія судорожно обвивающая всю жизнь человѣка около какой нибудь мысли, сумасшествіе, неспровергающее полюсы умственной жизни, магнетизмъ, чародѣйная сила, мощно подчиняющая одного человѣка волѣ другого, — открываютъ огромное поприще пламенной фантазіи Гофмана. Но тутъ еще не все: есть люди одаренные какой-то невѣдомою силой, заставляющей трепетать передъ ними. Не случилось-ли вамъ когда встрѣчать взоръ незнакомаго, взоръ удушливый и страшный, отъ котораго вы съ ужасомъ должны отворотиться, и досель помните его? Не случилось-ли встрѣтить пѣлаго человѣка, похожаго на этотъ взоръ, человѣка съ блѣднымъ лицомъ, съ тусклыми глазами, съ судорожной улыбкой, который васъ отталкиваетъ, и въ то же время привлекаетъ? Вотъ въ эти-то темныя, недоступныя области психическихъ дѣйствій не побоялся спуститься Гофманъ, и вышелъ—смѣло скажу—торжествующимъ. Это ужъ не Жюль Жанена натянутыя, вытянутыя, раскрашенныя повѣсти—дѣти страннаго соединенія философіи XVIII вѣка съ германскою поэзіею; нѣтъ! это волчья долина „Фрейшюца“ со всѣми ея ужасами, съ заколдованными пулями, съ блѣднымъ мерцающимъ свѣтомъ, съ неистовою музыкой, съ дьявольскимъ аккомпаниментомъ, съ запахомъ ада. Въ этихъ повѣстяхъ вы уже разстаетесь съ обыкновенными людьми, т. е. съ людьми, которые во-время ѣдятъ, во-время спятъ, во-время умираютъ, проводя жизнь въ добромъ здоровьи, съ людьми, которые по донесенію Парижской Академіи имѣютъ столь счастливую комплекцію, что *не могутъ быть магнетизированы*. Нѣтъ, тутъ являются другіе люди, люди съ душою сильной, обманомъ заключенною въ эту тюрьму, съ ея маленькимъ свѣтомъ, съ ея цѣпями, съ ея сырымъ воздухомъ. Такая душа не дома въ тѣлѣ, она безпрестанно ломаетъ его и кончитъ тѣмъ, что ломаетъ самое себя; она-то дѣлается необыкновеннымъ человѣкомъ: великимъ мужемъ, великимъ злодѣемъ, сумасшедшимъ—это все равно. У такихъ людей своя жизнь, свои законы. Это кометы, пренебрегающія однообразнымъ эллипсисомъ планетныхъ орбитъ, не боясь раздробиться на пути своемъ. Для того чтобъ ихъ узнать, разсмотрите у Гофмана ихъ странныя, исковерканныя черты, ихъ огромныя отклоненія отъ обычнаго прозябанія людей. Вообразите

себѣ несчастнаго юношу, котораго разстроенная фантазія облека въ какой-то странный образъ дѣтскую сказку о „песочномъ чело-
вѣкѣ“, и этотъ „песочный челоѣкъ“ преслѣдуетъ его вездѣ, и въ отеческомъ домѣ, и въ университетѣ, и ночью, и днемъ, то въ видѣ алхимика, то въ видѣ итальянскаго кіарлатано. Вообразите послѣднюю минуту его изступленія, когда онъ съ неистовымъ во-
сторгомъ бросаетъ свою невѣсту съ колокольни и съ безумнымъ хохотомъ кричить: „*Feuerurriel dreh dich! Feuerurriel dreh dich!*“ У Гофмана цѣлый рядъ этихъ страшныхъ людей: „*Der unheimliche Gast*“, „*Der Magnetiseur*.“ Наконецъ онъ собралъ всѣ отдѣльные лучи этого направленія и слилъ ихъ въ одинъ адскій, сѣрный огонь: это „*Die elixiers des Teufels*“, монахъ Медардусъ. Гофману мало было одной жизни, онъ взялъ четыре поколѣнія, наслѣ-
довавшія другъ отъ друга злодѣйства, и собралъ ихъ всѣ на гла-
вѣ Медардуса. Гофману мало было одной жизни: онъ представилъ цѣлую семью, рожденную въ гнусныхъ кровосмѣшеніяхъ, и пора-
зилъ ее слѣпымъ мечомъ рока, который вручилъ Медардусу. Этотъ рокъ влечетъ Медардуса отъ преступленія къ преступленію, и ни-
кому нѣтъ пощады; у этого рока чистая кровь Аврелии, въ свою очередь, брызнула на алтарь Божій, какъ кровь невинной жертвы искупленія. Гофману все еще было мало: онъ раздвоилъ, разсѣкъ самаго Медардуса на-двое; и какъ страшень его двойникъ, съ сво-
ей всклокоченой бородою, съ своимъ изодраннымъ рубищемъ, съ своимъ окровавленнымъ лицомъ: верхъ ужаса! Я трепеталъ всѣми членами, читая какъ лже-Медардусъ гнался въ лѣсу за настоя-
щимъ; мнѣ казалось, я слышалъ его пронзительный, скрипящій какъ ржавое желѣзо голосъ, которымъ онъ звалъ его на бой съ безумнымъ хохотомъ. Этотъ двойникъ Медардуса, братъ его, ко-
торога Медардусъ не знаетъ; онъ сошелъ съ ума на мысли, что онъ Медардусъ, и вотъ онъ преслѣдуетъ Медардуса, который, тер-
заясь угрызениями совѣсти, думаетъ, что его существо раздвои-
лось!—Какая смѣлость фантазіи, и посмотрите какъ выдержалъ Гофманъ всѣ сцены ихъ встрѣчъ, какъ онъ переплелъ эти двѣ жизни, такъ что онѣ и въ самомъ дѣлѣ не совсѣмъ рознятся!—Это самое сильное произведеніе его фантазіи!

Перейдемъ теперь къ шалостямъ, дурачествамъ его сильнаго воображенія.

Опомнилась—глядѣть Татьяна....

И что же видѣть... за столомъ

Сидятъ чудовища кругомъ:

Одинъ въ рогахъ, съ собачьей мордой,

Другой съ пѣтушьей головой,

Здѣсь вѣдьма съ козьей бородой,

Тутъ шевелится хоботъ гордый,

Тамъ карла съ хвостикомъ, а вотъ

Полу-журавль и полу-котъ....

Кому не случалось видѣть подобныхъ сновъ? Хотите-ли ихъ видѣть на яву? Вотъ вамъ „*Meister Floh*“, принцесса Брамбилла Цинноберъ, золотой горшокъ.... Это все сны, одинъ безсвязнѣе другого. Тутъ нѣтъ ни мыслей, ни завязокъ, ни развязокъ, но занимательность ужасная. Сны вообще занимательны, а то кто-бы велѣлъ человѣку спать ежедневно? Да и какъ не быть имъ занимательнымъ? живи до ста лѣтъ, никогда не встрѣтится ничего мудренѣе. Тутъ вы познакомитесь съ принцемъ, который сдѣлался изъ шивки; иногда задумается, вспомнить жизнь былую, и вытянется до потолка и съежится въ кулакъ. Тутъ увидите принцессу, которая спитъ въ вѣнчикѣ прекраснаго цвѣтка, мила до крайности; но что проку: *oculis, non manibus*.... и вотъ ее увеличиваютъ въ микроскопъ, и дѣлаютъ изъ нея препорядочную барышню. Но лучше всего прошу васъ ненавидѣть Циннобера: онъ, право, злодѣй, мой личный врагъ, и если бы онъ не утонулъ въ рукомойникѣ, я убилъ-бы его. Вообразите: уродъ въ нѣсколько вершковъ, съ тремя рыжими волосами на головѣ, попалъ въ фавору къ колдунѣ, и что же? Чтò кто ни сдѣлай хорошаго, *klein saches Zinnober genannt* получаетъ похвалу. Однажды кто-то даетъ концертъ на контрбасѣ, а публика апплодируетъ, благодаритъ Циннобера. Взойдите въ это положеніе: вообразите, что вы Даль-Онно, что вы всякій постъ съ 1700 года ѣздите въ Москву съ контрбасомъ, и вдругъ вмѣсто васъ хвалятъ Циннобера, а можетъ быть—я не отвѣчаю за него—что всего хуже, ему отдадутъ и деньги за билеты. О horrible! О horrible! Право, я съ робостью узналъ, что Алоизій

чернокнижникъ вступилъ съ нимъ въ бой. Алоизій человѣкъ хорошій, живетъ аристократомъ, строусь въ ливреѣ швейцаромъ, двѣ лягушки у воротъ дворниками, жукъ ѣздитъ за каретой. Зато рекомендую вамъ Ансельма; онъ женатъ на зеленой змѣѣ съ голубыми глазами, нужды нѣтъ: съ чужими женами не надобно знакомиться; но онъ васъ познакомитъ съ своимъ свекромъ архивариусомъ Линдгорстомъ: чудака преестественный, былъ когда-то саламандромъ, въ юности чапроказилъ, его прямо изъ Индіи, за нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, въ наказаніе и сослалъ архивариусомъ въ Дрезденъ. Гофманъ самъ былъ у него въ гостяхъ: онъ ему далъ санскритскую грамоту и стаканъ ямайскаго рома, да вдругъ снялъ сапоги, раздѣлся, и давай купаться въ стаканѣ. Вѣдь я говорилъ вамъ, что чудака. Словомъ вообразите себѣ отдѣльныя сцены Гётевой „Вальпургиснахтъ“: это вѣрный образъ, типъ Гофмановыхъ сказокъ. Еще къ вамъ просьба—забылъ было совѣтъ—сходите поклониться праху кота Мура. Во-первыхъ, былъ онъ человѣкъ ученый, не смотря на то что не былъ никогда человѣкомъ; но я увѣренъ, что современемъ ясно докажутъ, что прилагательное „ученый“ уничтожаетъ существительное „человѣкъ.“ Далѣе, этотъ котъ самъ Гофманъ, котораго, я надѣюсь, вы любите, хоть par courtoisie ко мнѣ. Сходите же, какъ будете въ той сторонѣ, къ нему на могилу. Теперь, слегка начертавши характеръ Гофмаза, мы окончимъ. Въ заключеніе скажу, что Гофманъ превосходно переведенъ Лева-Веймаромъ на французскій языкъ и былъ принятъ въ Парижѣ съ восторгомъ. *Когда-нибудь* и у насъ его переведутъ съ французскаго.

1834 г. апрѣля 12-го.

ХІ.

ДИЛЕТТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКѢ

и

ДИЛЕТТАНТЫ-РОМАНТИКИ.

ДИЛЕТТАНТИЗМЪ ВЪ НАУКѢ

Мы живемъ на рубежѣ двухъ міровъ: отъ-того особая тягость, затруднительность жизни для мыслящихъ людей. Старыя убѣжденія, все прошедшее міросозерцаніе потрясены — но они дороги сердцу. Новыя убѣжденія, многообъемлющія и великія, не успѣли еще принести плода; первые листы, почки пророчатъ могучіе цвѣты, но этихъ цвѣтовъ нѣтъ, и они чужды сердцу. Множество людей осталось безъ прошедшихъ убѣждений и безъ настоящихъ. Другіе механически спутали долю того и другаго и погрузились въ печальные сумерки. Люди внѣшніе предаются въ такомъ случаѣ ежедневной суетѣ; люди созерцательные—страдаютъ: во чтобъ ни стало ищутъ примиренія, потому что съ внутреннимъ раздоромъ, безъ краеугольнаго камня нравственному бытію, чловѣкъ не можетъ жить. Между тѣмъ, всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія провозгласилось міру наукой. И жаждавшіе примиренія раздвоились: одни не вѣруютъ наукѣ, не хотятъ ею заняться, не хотятъ обслѣдовать почему она такъ говоритъ, не хотятъ идти ея труднымъ путемъ, „наболѣвшія души наши“ говорятъ они „требуютъ утѣшеній, а наука на горячія просьбы о хлѣбѣ подаетъ камни, на вопль и стонъ растерзаннаго сердца, на его плачь, молящій объ участіи—предлагаетъ холодный разумъ и общія формулы; въ логической неприступности своей она равно не удовлетворяетъ ни практическихъ людей, ни мистиковъ. Она намѣренно говоритъ языкомъ неудобопонятнымъ, чтобъ за лѣсомъ схоластики скрыть сухость основныхъ мыслей—elle n'a pas d'entraille“. Другіе совсѣмъ напротивъ, нашли внѣшнее примиреніе и отвѣтъ всему

какимъ то незаконнымъ процессомъ, усвоивая себѣ букву науки и не касаясь до живаго духа ея. Они до того поверхностны, что имъ кажется все ужасно-легкимъ, на всякій вопросъ они знаютъ разрѣшеніе; когда слушаешь ихъ, то кажется, что наукѣ больше ничего не осталось дѣлать. У нихъ свой алькоранъ, они вѣрютъ въ него и цитируютъ мѣста, какъ послѣднее доказательство. Эти мухаммедане въ наукѣ чрезвычайно вредятъ ея успѣхамъ. Генрихъ IV говаривалъ: „лишь бы Провидѣніе меня защитило отъ друзей, а съ врагами я самъ справлюсь;“ такіе друзья науки, смѣшиваемые съ самой наукой, оправдываютъ ненависть враговъ ея;—и наука остается въ маломъ числѣ избранныхъ.

Но хотя бы она была въ одномъ человѣкѣ—она фактъ, великое событіе не въ возможности, а въ дѣйствительности; отрицать событіе нельзя. Такого рода факты никогда не совершаются не въ свое время; время для науки настало, она достигла до истиннаго понятія своего; духу человѣческому, искусившемуся на всѣхъ ступеняхъ лѣстницы самопознанія, начала раскрываться истина въ стройномъ наукообразномъ организмѣ и притомъ въ живомъ организмѣ. За будущность науки нечего бояться. Но жаль поколѣнія, которое, имѣя, если не совершенное освѣщеніе дня, то навѣрное утреннюю зарю — страдаетъ во тмѣ или тѣшится пустяками, отъ того что стоитъ спиною къ востоку. За что изъятъ стремящійся отъ блага обоихъ міровъ: прошедшаго умершаго, вызываемаго ими иногда, но являющагося въ саванѣ, и настоящаго, для нихъ неродившагося?

Массами философія теперь принята быть не можетъ. Философія какъ наука предполагаетъ извѣстную степень развитія самомысленія, безъ котораго нельзя подняться въ ея сферу. Массамъ все недоступны безтѣлесныя умозрѣнія; ими принимается имѣющее плоть. А для того, чтобъ перейти во всеобщее сознаніе, потерявъ свой искусственный языкъ и сдѣлаться достояніемъ площади и семьи, живоначальнымъ источникомъ дѣйствованія и воззрѣнія всѣхъ и каждого — она слишкомъ юна, она не могла еще имѣть такого развитія въ жизни, ей много дѣла дома, въ сферѣ абстрактной; кромѣ философовъ-мухаммеданъ никто не думаетъ, что въ наукѣ все совершенно, не смотря ни на выработанность формы, ни

на полноту развертывающагося въ ней содержанія, ни на діалектическую методу, ясную и прозрачную для самой себя. Но если массамъ недоступна наука, то до нихъ не дошли и страданія душевнаго состоянія пустоты и натянутого бѣснующагося піэтизма. Массы не въѣ истины; онѣ знаютъ ее божественнымъ откровеніемъ. Въ несчастномъ и безотрадномъ положеніи находятся люди, попавшіе въ промежутокъ между *естественною* простотою массъ и *разумной* простотою науки.

На первый случай да будетъ позволено намъ не разрушать на нѣкоторое время спокойствія и квіетизма, въ которомъ почиваютъ формалисты, и заняться исключительно врагами современной науки;—ихъ мы понимаемъ подъ общимъ именемъ дилеттантовъ и романтиковъ. Формалисты не страдаютъ, а эти больны—имъ жить тошно.

Враговъ собственно наука въ Европѣ не имѣетъ, развѣ за исключеніемъ какихъ нибудь кастъ, доживающихъ въ безсмыслии свой вѣкъ, да и тѣ такъ нелѣпы, что съ ними никто не говоритъ. Дилеттанты вообще тоже друзья науки, *nos amis les ennemis* какъ говоритъ Беранже, но непріатели современному состоянію ея. Всѣ они чувствуютъ потребность пофилософствовать, но пофилософствовать между прочимъ, легко и пріятно, въ извѣстныхъ границахъ: сюда принадлежатъ нѣжныя мечтательныя души, оскорбленныя положительностью нашего вѣка, онѣ, жаждавшія вездѣ осуществленія своихъ милыхъ, но несбыточныхъ фантазій, не находятъ ихъ и въ наукѣ, отворачиваются отъ нея, и, сосредоточенныя въ тѣсныхъ сферахъ личныхъ упованій и надеждъ, бесплодно выдыхаются въ какую-то туманную даль. И съ другой стороны, сюда принадлежатъ истые поклонники позитивизма, потерявшіе духъ за подробностями и упорно остающіеся при разсудочныхъ теоріяхъ и аналитическихъ трупоразъятіяхъ. Наконецъ толпа этого направленія составляется изъ людей, вышедшихъ изъ дѣтскаго возраста и вообразившихъ, что наука легка (въ ихъ смыслѣ), что стоить захотѣть знать—и узнаешь, а между-тѣмъ наука имъ не далась, за это они и разсердились на нее; они не вынесли съ собою ни укрѣпленныхъ дарованій, ни постоянного труда, ни желанія чѣмъ бы то ни было пожертвовать для истины. Они

попробовали плодъ древа познанія и грустно повѣдали о кислотѣ и гнилости его, похожіе на тѣхъ добрыхъ людей, которые со слезами рассказываютъ о порокахъ друга—и имъ вѣрятъ добрые люди, потому-что они друзья.

Возлѣ дилеттантовъ доживаютъ свой вѣкъ романтики, запоздалые представители прошедшаго, глубоко скорбящіе объ умершемъ мірѣ, который имъ казался вѣчнымъ; они не хотятъ съ новымъ имѣть дѣла иначе какъ съ копьемъ въ рукѣ; вѣрные преданію среднихъ вѣковъ, они похожи на Донъ-Кихота, и скорбятъ о глубококомъ паденіи людей, завернувшись въ одежды печали и сѣтованія. Они впрочемъ готовы признать науку; но для этого требуютъ, чтобы наука признала за абсолютное, что Дюльцинея Тобозская—первая красавица. Пришло время, въ которое должно безъ увлеченія и предразсудковъ смотрѣть на людей; начинается совершеннолѣтіе, и потому не одно сладкое должно высказываться, но и горькое. Надобно для того начать рѣчь противъ дилеттантовъ науки, что они клеветаютъ на нее и для того, что ихъ жаль; наконецъ, всего болѣе необходимо говорить о нихъ у насъ.

Одно изъ существеннѣйшихъ достоинствъ русскаго характера—чрезвычайная легкость принимать и усваивать себѣ плодъ чужаго труда. И не только легко, но и ловко: въ этомъ состоитъ одна изъ гуманнѣйшихъ сторонъ нашего характера. Но это достоинство вмѣстѣ съ тѣмъ и значительный недостатокъ: мы рѣдко имѣемъ способность выдержаннаго, глубокаго труда. Намъ понравилось загребать жаръ чужими руками, намъ показалось, что это въ порядкѣ вещей, чтобъ Европа кровью и потомъ вырабатывала каждую истину и открытіе: ей всѣ мученія тяжелой беременности, трудныхъ родовъ, изнурительнаго кормленія грудью,—а дитя намъ. Мы проглядѣли, что ребенокъ будетъ у насъ—пріемышъ, что органической связи между нами и имъ нѣтъ.... Все шло хорошо. Но когда мы приблизились къ современной наукѣ, ея упорство должно было удивить насъ. Эта наука вездѣ дома—но только она нигдѣ не даетъ жатвы, гдѣ не посѣяна, она должна не только въ каждомъ принимающемъ народѣ, но въ каждой личности прозябнуть и возрасти. Намъ хотѣлось бы взять результатъ, поймать его какъ ловятъ мухъ, и раскрывая руку, мы или обманываемъ себя,

думая, что абсолютное тутъ, или съ досадой видимъ, что рука пуста. Дѣло въ томъ, что эта наука существуетъ какъ наука, и тогда она имѣетъ великій результатъ; а результатъ отдѣльно вовсе не существуетъ: такъ голова живаго человѣка кипитъ мыслями, пока шеей прикрѣплена къ туловищу, а безъ него она—пустая форма. Все это должно было удивить и оскорбить нашихъ дилеттантовъ гораздо-болѣе, нежели иностранныхъ, ибо у насъ гораздо-менѣе развито понятіе науки и путей ея. Наши дилеттанты съ плачемъ засвидѣтельствовали, что они обманулись въ коварной наукѣ Запада, что ея результаты темны, сбивчивы, хотя и есть порядочныя мысли, принадлежація „такому-то и такому-то.“ Такія рѣчи у насъ вредны, потому-что нѣтъ нелѣпости, обветшалости, которая не высказывалась бы нашими дилеттантами съ увѣренностію, приводящею въ изумленіе; а слушающіе готовы вѣрить, отъ-того, что у насъ не установились самыя общія понятія о наукѣ, есть предварительныя истины, которыя въ Германіи, на примѣръ, вперёдъ идутъ, а у насъ нѣтъ. О нихъ тамъ уже никто не говоритъ, а у насъ никто *еще* не говорилъ о нихъ. На Западѣ, война противъ современной науки представляетъ извѣстные элементы духа народнаго, развившіеся вѣками и окрѣпнувшіе въ упрямой самобытности; имъ вслѣдъ идти не позволяютъ воспоминанія: таковы на примѣръ піетисты въ Германіи, порожденные односторонностію протестантизма. Какъ ни жалко ихъ положеніе — быть изъятыми изъ жизни современной, но нельзя отрицать въ нихъ особый характеръ упругости и послѣдовательности, съ которой они ведутъ отчаянный бой. Наши дилеттанты, если и принимаютъ эти чужеземныя болѣзни, то, не имѣя предшествующихъ фактовъ, они дивятъ поверхностно и неразуміемъ. Имъ не стыдно отступить, потому-что они еще не сдѣлали ни одного шага впередъ. Они были всегда праздношатающимися въ сѣняхъ храма науки—у нихъ нѣтъ своего дома. И еслибъ они могли побѣдить восточную лѣнь и въ самомъ дѣлѣ обратить вниманіе на науку, они помирились бы съ нею. Но тутъ-то и бѣда. Мы сердимся на науку въ совершенныхъ годахъ, такъ, какъ сердились на грамматику, будучи восьми лѣтъ. Трудность, темнота—главное обвиненіе; къ нему присовокупляются, какъ къ существенному, другія возраженія піетистическія, мо-

ральныя, патріотическія; сентиментальныя. Гёте давнымъ-давно сказали: „когда толкуютъ о темнотѣ книги, слѣдуетъ спросить, въ книгѣ ли темнота или въ головѣ.“ Вообще ссылаться вѣчно на трудность—это что-то неблагопристойное, лѣнивое и незаслуживающее возраженія (*). Наука не достается безъ труда—правда; въ наукѣ нѣтъ другого способа пріобрѣтенія, какъ въ потѣ лица; ни порывы, ни фантазіи, ни стремленіе всѣмъ сердцемъ не замѣняютъ труда. Но трудиться не хотятъ, а утѣшаются мыслью, что современная наука есть разработка матеріаловъ, что надобно не человѣчьи усилія для того, чтобъ понять ее, и что скоро упадетъ съ неба или выйдетъ изъ-подъ земли другая *легкая* наука.

„Трудность, непонятность!“ А почему они знаютъ это? развѣ внѣ науки можно знать степень ея трудности? развѣ наука не имѣетъ формальнаго начала, которое легко именно потому, что оно начало, какая-нибудь неразвитая всеобщность? Съ другой стороны, они правы, ссылаясь на непониманье, больше правы, нежели думаютъ. Если мы вникнемъ, почему при всемъ желаніи, стремленіи къ истинѣ, многимъ наука не дается, то увидимъ, что существенная, главная, всеобщая причина одна: всѣ они *не понимаютъ* науки и не понимаютъ чего хотятъ отъ нея. Скажутъ: для кого же наука, если люди, ее любящіе, стремящіеся къ ней, не понимаютъ ея? стало быть, она, какъ алхимія, существуетъ только для адептовъ, имѣющихъ ключъ къ ея іероглифическому языку? Нѣтъ; современная наука можетъ быть понятна всякому, кто имѣетъ живую душу, самоотверженіе, и подходитъ къ ней *просто*. Въ томъ-то и дѣло, что всѣ эти господа подходятъ къ ней *замысловато*, съ „задними мыслями“; испытывая ее, дѣлая ей требованія и ничѣмъ не жертвуя для нея; и она для нихъ остается—хотя бы они были мудры, какъ змѣи-безсмысленнымъ формализмомъ, логическимъ *casse-tête*, незаключающимъ въ себѣ ни какой сущности.

Отреченіе отъ личныхъ убѣжденій значитъ признаніе истины; доколѣ моя личность соперничаетъ съ нею, она ее ограничиваетъ,

(*) У насъ, пожалуй, есть и еще нелѣпѣ обвиненіе науки, зачѣмъ она употребляетъ *незнакомыя слова*.—Кому незнакомы?...

она ее гнетъ, выгибаетъ, подчиняетъ себѣ, повинаясь одному своеволю. Сохраняющимъ личныя убѣжденія дорога не *истина*, а то, что они *называютъ* истиной. Они любятъ не науку, а именно туманное, неопредѣленное стремленіе къ ней, въ которомъ раздолье имъ мечтать и льстить себѣ. Эти искатели премудрости, каждый по своей тропинкѣ, такъ высоко оцѣнили свой подвигъ, такъ полюбили свою умную личность, что не могутъ поступиться ею. Было время, когда многое прощалось за одно стремленіе, за одну любовь къ наукѣ; это время миновало; нынѣшнее одной платонической любви: мы реалисты; намъ надобно, чтобъ любовь становилась дѣйствиель. А что заставляетъ такъ упорно держаться личныхъ убѣждений?—эгоизмъ. Эгоизмъ ненавидитъ всеобщее, онъ отрываетъ человѣка отъ человѣчества, ставитъ его въ исключительное положеніе; для него все чуждо, кромѣ своей личности. Онъ вездѣ носить съ собою свою злокачественную атмосферу, сквозь которую не проринкнетъ свѣтлый лучъ не изуродовавшись. Съ эгоизмомъ объ-руку идетъ гордая надменность; книгу науки развертываютъ съ дерзкимъ легкомысліемъ. Уваженіе къ истинѣ—начало премудрости.

Положеніе философіи въ отношеніи къ ея любованиямъ не лучше положенія Пенелопы безъ Одиссея: ее никто не охраняетъ — ни формулы, ни фигуры, какъ математику, ни частоколы, воздвигаемые специальными науками около своихъ огородовъ. Чрезвычайная всеобъемлемость философіи даетъ ей видъ доступности извнѣ. Чѣмъ всеобъемлемѣе мысль и чѣмъ болѣе она держится во всеобщности, тѣмъ легче она для поверхностнаго разумѣнія, потому-что частности содержанія не развиты въ ней и ихъ не подозреваютъ. Смотри съ берега на зеркальную поверхность моря, можно дивиться робости пловцовъ; спокойствіе волнъ заставляетъ забывать ихъ глубину и жадность, — онѣ кажутся хрусталемъ или льдомъ. Но пловецъ знаетъ, можно ли положиться на эту холодность и покой. Въ философіи, какъ въ морѣ, нѣтъ ни льда, ни хрусталя: все движется, течетъ, живетъ, подъ каждой точкой одинакая глубина; въ ней, какъ въ горнилѣ, расплавляется все твердое, окаменѣлое, попавшееся въ ея безначальный и безконечный круговоротъ, и, какъ въ морѣ, поверхность гладка, спокойна, свѣтла, без-

предѣльна и отражаетъ небо. Благодаря этому оптическому обману, дилеттанты подходятъ храбро, безъ страха истины, безъ уваженія къ преемственному труду человѣчества, работавшаго около трехъ тысячъ лѣтъ, чтобъ дойти до настоящаго развитія. Не спрашиваютъ дороги, скользятъ съ пренебреженіемъ по началу, полагая, что знаютъ его, не спрашиваютъ, чтó такое наука, чтó она должна дать, а требуютъ, чтобъ она дала имъ то, что имъ вздумается спросить. Темное предчувствіе говоритъ, что философія должна разрѣшить все, примирить, успокоить; въ силу этого отъ нея требуютъ доказательствъ на свои убѣжденія, на всякія гипотезы, утѣшенія въ неудачахъ и Богъ-вѣсть чего не требуютъ. Строгий, удаленный отъ паюса и личностей характеръ науки поражаетъ ихъ, они удивлены, обмануты въ ожиданіяхъ, ихъ заставляютъ трудиться тамъ, гдѣ они искали отдыха, и трудиться въ самомъ-дѣлѣ. Наука перестаетъ имъ нравиться; они берутъ отдѣльные результаты, неимѣющіе никакого смысла, въ той формѣ, въ которой они берутъ, привязываютъ ихъ къ позорному столбу и бичуютъ въ нихъ науку. Замѣйте, каждый считаетъ себя состоятельнымъ судьей, потому-что каждый увѣренъ въ своемъ умѣ и въ превосходствѣ его надъ наукою, хотя бы онъ прочелъ одно введеніе. „Нѣтъ въ мірѣ человѣка“, говоритъ одинъ великій мыслитель: „который бы думалъ, что можно не учась башмачному мастерству шить башмаки, хотя у каждаго есть нога—мѣра башмаку. Философія не дѣлитъ даже этого права.“ Личныя убѣжденія — окончательное, безапелляціонное судилище. А они откуда взяты?—отъ родителей, нянекъ, школы, отъ добрыхъ и недобрыхъ людей, и отъ своего посильнаго ума. „У всякаго свой умъ—что за дѣло, какъ думаютъ другіе.“ Чтобъ сказать это, когда рѣчь идетъ не о пустыхъ случайностяхъ ежедневной жизни, а о наукѣ, надобно быть или гениемъ, или безумнымъ. Гениевъ мало, а сентенція эта повторяется часто. Впрочемъ, хотъ я понимаю возможность гениа, предупреждающаго умъ современниковъ (на-пр., Коперникъ) такимъ образомъ, что истина съ его стороны въ противность общепринятому мнѣнію, но я не знаю ни одного великаго человѣка, который сказалъ бы, что у всѣхъ людей умъ самъ-по-себѣ, а у него самъ-по-себѣ. Все дѣло философіи и гражданственности — раскрыть во

всѣхъ головахъ одинъ умъ. На единеніи умовъ зиждется всезданіе человѣчества; только въ низшихъ, мелкихъ и чисто животныхъ желаніяхъ люди распадаются. При этомъ надобно замѣтить, что сентенціи такого рода признаются только, когда рѣчь идетъ о философіи и эстетикѣ. Объективное значеніе другихъ наукъ, даже башмачнаго ремесла, давно признано. У всякаго своя философія, свой вкусъ. Добрымъ людямъ въ голову не приходитъ, что это значить самымъ положительнымъ образомъ отрицать философію и эстетику. Ибо что же за существованіе ихъ, если они записятъ и мѣняются отъ всякаго встрѣчнаго и поперечнаго? Причина одна: предметъ науки и искусства, ни око не видитъ, ни зубъ не ѣмтъ. Духъ—Протей; онъ для человѣка то, что человѣкъ понимаетъ подъ нимъ, и на сколько понимаетъ; совсѣмъ не понимаетъ—его нѣтъ, но нѣтъ для *человѣка*, а не для *человѣчества*, не для себя. Юмъ, съ вѣрностію *suī generis*, своего вѣка, говоритъ, читая какую-то гипотезу Бюффона: „Удивительно, я почти убѣжденъ въ достовѣрности его словъ, а онъ говоритъ о предметахъ, которыхъ глазъ *человѣческой* не видитъ.“ Для Юма, слѣдственно, духъ существовалъ только въ своемъ воплощеніи; критеріумъ истины для него—носъ, уши, глаза и ротъ. Мудрено ли послѣ этого, что онъ отрицалъ каузальность (причинность)?

Другія науки гораздо-счастливіе философіи: у нихъ есть предметъ непроницаемый въ пространствѣ и сущій во времени. Въ естествовѣдѣніи, напр., нельзя такъ играть, какъ въ философіи. Природа—царство видимаго закона; она не даетъ себя насловать; она представляетъ улики и возраженія, которыя отрицать невозможно: ихъ глазъ видитъ и ухо слышитъ. Занимающіеся безусловно покоряются, личность подавлена и является только въ гипотезахъ, обыкновенно неидушихъ къ дѣлу. Въ этомъ отношеніи, матеріалисты стоятъ выше и могутъ служить примѣромъ мечтателямъ-дилеттантамъ: матеріалисты поняли духъ въ природѣ и только какъ природу—но передъ объективностію ея, не смотря на то, что въ ней нѣтъ истиннаго примиренія, склонились; отъ-того между ими являлись такіе мощные люди, какъ Бюффонъ, Кювье, Лапласъ и др. Какую теорію не бросить, какимъ личнымъ убѣжденіемъ не пожертвуетъ химикъ,—если опытъ покажетъ другое, ему

не прійдетъ въ голову, что цинкъ ошибочно дѣйствуетъ, что сернистая кислота—нелѣпость. А между-тѣмъ опытъ—блѣднѣйшее средство познанія. Онъ покоряется физическому факту; фактамъ духа и разума никто не считаетъ себя обязаннымъ покоряться; не даютъ себѣ труда уразумѣть его, не признаютъ фактомъ. Къ философіи приступаютъ съ своей маленькой философіей; въ этой маленькой, домашней, ручной философіи удовлетворены всѣ мечты, всѣ прихоти эгоистическаго воображенія. Какъ же не разсердиться, когда въ философіи-наукѣ всѣ эти мечты блѣднѣютъ передъ разумнымъ реализмомъ ея! Личность исчезаетъ въ царствѣ идеи въ то время, какъ жажда насладиться, упиться себялюбіемъ заставляетъ искать вездѣ себя и себя, какъ единичнаго, какъ этого. Въ наукѣ дилеттанты находятъ одно всеобщее,—разумъ, мысль по превосходству, всеобщее: наука перешагнула за индивидуальности, за случайныя и временныя личности; она далеко оставила ихъ за собою, такъ что они незамѣтны изъ нея. Въ наукѣ царство совершеннѣйшаго и свободы; слабые люди, предчувствуя эту свободу, трепещутъ; они боятся ступить безъ пѣстуна, безъ внѣшняго велѣнія; въ наукѣ нѣ кому оцѣнить ихъ подвига, похвалить, наградить; имъ кажется это ужасной пустотою, голова кружится, и они удаляются. Распадаясь съ наукой, они начинаютъ ссылаться на темное чувство свое, которое хоть и никогда не приходитъ въ ясность, но не можетъ ошибиться. Чувство индивидуально: я чувствую—другой нѣтъ, оба правы; доказательство не нужно, да они и невозможны—еслибы была искра любви къ истинѣ въ-самомъ-дѣлѣ, разумѣется ее не рѣшили бы провести подъ каудинскіе фурукулы чувствъ, фантазій и капризовъ. Не сердце, а разумъ судья истины. А разуму кто судья?—онъ самъ. Это одна изъ непреодолимѣйшихъ трудностей для дилеттантовъ; отъ-того они, приступая къ наукѣ, и ищутъ внѣ науки аршича, на который мѣрить ее; сюда принадлежитъ извѣстное нелѣпое правило: прежде, нежели начать мыслить, изслѣдовать орудія мышленія какимъ-то внѣшнимъ анализомъ.

При первомъ шагѣ, дилеттанты предъявляютъ допросные пункты, труднѣйшіе вопросы науки хотятъ впередъ узнать, чтобъ имѣть залогъ, что такое духъ, абсолютное.... да такъ, чтобъ опредѣленіе

было коротко и ясно, то-есть, дайте содержаніе всей науки въ нѣсколькихъ сентенціяхъ,—это была бы легкая наука! Чтѣ сказали бы о томъ человѣкѣ, который, собираясь заняться математикой, потребовалъ бы впередъ яснаго изложенія дифференцированія и интегрированія, и притомъ на его собственномъ языкѣ? Въ спеціальныхъ наукахъ рѣдко услышите такіе вопросы: страхъ показаться невѣждой держитъ въ уздѣ. Въ философіи дѣло другое: тутъ никто не женируется! Предметы все знакомые—умъ, разумъ, идея и проч. У всякаго есть палата ума, разума и *не одна а мно-го* идей. Я еще здѣсь предположилъ темную наслышку о результатахъ философіи, хотя и нельзя угадать, чтѣ именно допрашивающіе разумѣютъ подѣ абсолютнымъ, духомъ и проч.; но болѣе отважные дилеттанты идутъ дальше; они дѣлаютъ вопросы, на которые рѣшительно нѣчего сказать, потому-что вопросъ заключаетъ въ себѣ нелѣпость. Для того, чтобъ сдѣлать дѣльный вопросъ, надобно непременно быть сколько-нибудь знакому съ предметомъ, надобно обладать своего рода предугадывающею проницательностію. Между-тѣмъ, когда наука молчитъ изъ снисхожденія, или старается, вмѣсто отвѣта, показать невозможность требованія, ее обвиняютъ въ несостоятельности и въ употребленіи уловокъ.

Приведу, для примѣра, одинъ вопросъ, разнымъ образомъ, но чрезвычайно-часто предлагаемый дилеттантами: „какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое, внѣшнее, а чтѣ оно было прежде существованія внѣшняго?“ Наука потому не обязана на это отвѣчать, что она и не говорила, что два момента, существующіе какъ внутреннее и внѣшнее-можно разъять такъ, чтобъ одинъ моментъ имѣлъ дѣйствительность безъ другаго. Въ абстракціи, разумѣется, мы можемъ отдѣлить причину отъ дѣйствія, силу отъ проявленія, субстанцію отъ наружнаго. Но имъ не того хочется: имъ хочется *освободить* сущность, внутреннее—такъ, чтобъ можно было посмотрѣть на него; они хотятъ какого-то предметнаго существованія его, забывая, что предметное существованіе внутренняго есть именно внѣшнее; внутреннее, неимѣющее внѣшняго, просто—безразличное ничто.

Nichts ist drinnen, nichts ist draussen:

Denn was innen, das ist aussen.

(Cöthe.)

Словомъ, виѣшнее есть обнаруженное внутреннее, и внутреннее потому внутреннее, что имѣеть свое виѣшнее. Внутреннее безъ виѣшняго какаѣ-то дурная возможность, потому-что нѣтъ ему проявленія; виѣшнее безъ внутренняго—безсмысленная форма, неимѣющая содержанія. Такимъ объясненіемъ дилеттанты недовольны: у нихъ кроется мысль, что во внутреннемъ спрятана тайна, которая разуму непостижима, а между-тѣмъ вся сущность его въ томъ только и состоитъ, чтобъ *обнаружиться*, — и для чего, для кого была бы эта *тайная тайна*? Безконечное, безначальное отношеніе хдухъ моментовъ, другъ друга опредѣляющихъ, другъ въ друга *утягивающихъ* такъ-сказать, составляютъ жизнь истины; въ этихъ вѣчныхъ переливахъ, въ этомъ вѣчномъ движеніи, въ которое увлечено все сущее, живетъ истина: это ея вдыханіе и выдыханіе, ея систола и діастола. Но истина жива, какъ все органически-живое, только какъ цѣлостность; при разъятіи на части, душа ея отлетаетъ и остаются мертвыя абстракціи съ запахомъ трупа. Но живое движеніе, это всемірное діалектическое біеніе пульса, находитъ чрезвычайное сопротивленіе со стороны дилеттантовъ. Они не могутъ допустить, чтобъ *порядочная* истина, не сдѣлавшись нелѣпостью, могла перейти въ противоположное. Разумѣется, что виѣ науки нельзя передать ясно и отчетливо необходимость вѣчнаго, неуловимаго перехода внутренняго во виѣшнее, такъ что наружное есть внутреннее, а внутреннее наружное. Но причина, почему именно такіе выводы философіи возмущаютъ, — очевидна. Разсудочныя теоріи приучили людей до такой степени къ анатомическому способу, что только неподвижное, мертвое, т. е. неистинное, они считаютъ за истину, заставляютъ мысль оледениться, застыть въ какомъ-нибудь одностороннемъ опредѣленіи, полагая, что въ этомъ омертвѣломъ состояніи легче разобрать ее. Встарь учились фізіологіи въ анатомическомъ театрѣ: отъ-того наука о жизни такъ далеко отстоитъ отъ науки о трупѣ. Какъ только взять одинъ моментъ,—невидимая сила влечетъ въ противоположный; это первое жизненное сотрясеніе мысли: субстанція влечетъ къ проявленію, безконечное къ конечному; они такъ необходимы другъ другу, какъ полюсы магнита. Но недовѣрчивые и осторожные пыталели хотятъ раздѣлить полюсы: безъ полюсовъ

магнита нѣтъ; какъ только они вонзаютъ скальпель, требуя *того или другаго*,—дѣлается разъятіе нераздѣльнаго, и остаются двѣ мертвыя абстракціи, кровь застываетъ, движеніе остановлено. Да пусть бы знали, что то или другое отдѣльно абстракціи, такъ-какъ математикъ, отвлекая линію отъ площади и площадь отъ тѣла, знаетъ, что реально одно тѣло, а линія и площадь абстракціи (*). Нѣтъ, эти люди, непонимающіе объективности разума, отрицающіе ее, именно тутъ требуютъ незаконной объективности, дѣйствительности своимъ отвлеченностямъ.

Здѣсь время напомнить третье условіе пониманія науки, о которомъ было сказано, *живую душу*. Только живой душой понимаются живыя истины; у нея нѣтъ ни пустаго внутри формализма, на который она растягиваетъ истину какъ на прокрустовомъ ложѣ, ни твердыхъ застылыхъ мыслей, отъ которыхъ отступитъ не можетъ. Эти застылыя мысли составляютъ массу аксіомъ и теоремъ, которая впередъ идетъ, когда приступаютъ къ философіи, съ ихъ помощію составляются готовые понятія, опредѣленія Богъ-вѣсть на чемъ основанныя, безъ всякой связи между собою. Начать знаніе надобно съ того, чтобъ забыть всѣ эти сбивчивыя, невѣрныя понятія; они вводятъ въ обманъ: извѣстнымъ полагается именно то, что неизвѣстно; надобно смерти и уничтоженію предоставить мертвыхъ, отказаться отъ всѣхъ неподвижныхъ привидѣній. Живая душа имѣетъ симпатію къ живому, какое-то ясновидѣніе облегчаетъ ей путь, она трепещетъ, вступая въ область родную ей, и скоро знакомится съ нею. Конечно, наука не имѣетъ такихъ торжественныхъ пропелей, какъ религія. Путь достиженія къ наукѣ идетъ повидимому бесплодной степеню; это отталкиваетъ нѣкото-

(*) Вообще, математика, не смотря на то, что предметъ ея по превосходству мертвъ и формаленъ, отдѣлилась отъ сухаго *то или другаго*. Что такое дифференціалъ?—безконечно-малая величина; стало быть или онъ имѣетъ величину, и въ такомъ случаѣ это величина конечная, или не имѣетъ никакой величины: въ такомъ случаѣ онъ нуль. Но Лейбницъ и Нютонъ постигли шире и приняли существованіе бытія и небытія, начальное движеніе возникновенія, переливъ отъ ничего къ чему-нибудь. Результаты теорій безконечно-малыхъ извѣстны. Далѣе, математика не испугалась ни отрицательныхъ величинъ, ни несоизмѣримости, ни безконечно-великаго, ни мнимыхъ корней. А разумеется, все это падаетъ въ прахъ передъ узенькимъ разсудочнымъ „то или другое.“

рыхъ. Потери видны, пріобрѣтеній нѣтъ; поднимаемся въ какую-то изрѣженную среду, въ какой-то міръ безплотныхъ абстракцій, важная торжественность кажется суровою холодною; съ каждымъ шагомъ уносишься болѣе и болѣе въ это воздушное море; становится *страшно-просторно*, тяжело дышать и безотрадно, берега отдаляются, исчезаютъ, — съ ними исчезаютъ всѣ образы навѣянные мечтами, съ которыми сжилось сердце; ужась объемлетъ душу: *Lasciate ogni speranza voi che entrate!* Гдѣ бросить якорь? Все разрѣшается, теряетъ твердость, улетучивается. Но вскорѣ раздается громкій голосъ, говорящій подобно Юлію-Цезарю: „чего боишься? ты *меня* везешь!“ Этотъ Цезарь—безконечный духъ, живущій въ груди человѣка; въ ту минуту, какъ отчаяніе готово вступить въ права свои, онъ вострепнулся; духъ найдетъ въ этомъ мірѣ: это его родина, та, къ которой онъ стремился и звуками, и статуями, и пѣснопѣніями; по которой страдалъ, это *Jenseits*, къ которому онъ рвался изъ тѣсной груди; еще шагъ—и міръ начинается возвращаться; но онъ не чужой уже: наука даетъ на него инвентитуру. Поблекли мечты, основанныя на раздраженной фантазіи, чрезъ посредство которой духъ прорывался къ знанію; но за то дѣйствительность просвѣтлѣла, взоръ проникаетъ глубоко и видитъ, что нѣтъ тайны, которую хранили бы сфинксы и грифы, что внутренняя сущность готова раскрыться дерзающему. Но за мечты именно и держутся всего болѣе дилеттанты. Они не могутъ найти силъ перенести съ самоотверженіемъ начала и дойти до той обратной точки, съ которой боль скептицизма и лишеній замѣняется предчувствіемъ знанія успокоеннаго. Они знаютъ, что боготворямы мечты, всѣ идеалы ихъ какъ-то не истинны, чувствуютъ неловкость, несвязность, и остаются при этой неловкости, *могутъ* остаться. Но человѣкъ, поднявшійся до современности съ живой душой не можетъ удовлетвориться внѣ науки. Глубоко протрадавъ пустоту субъективныхъ убѣжденій, постучавшись во всѣ двери, чтобъ утолить жгучую жажду возбужденнаго духа и нигдѣ не находя истиннаго отвѣта, измученный скептицизмомъ, обманутый жизнью, онъ идетъ нагой, бѣдный, одинокій и бросается въ науку.

„Не-уже-ли онъ страдательно склонится подъ ярмо чужаго авторитета?“ Наука не требуетъ ничего впередъ, не даетъ никакихъ

началь на вѣру, и какія начала у нея, которыя впередъ можно было бы передать? Ея начала, — это конецъ ея, это послѣднее слово, итогъ всего движенія, до нихъ она достигаетъ; самое развитіе ихъ есть неопровержимое доказательство. Если же подъ началомъ разумѣть первую страницу, то въ ней истины науки потому не можетъ быть, что она первая страница, и все развитіе еще впереди. Наука начинается съ какого-нибудь общаго мѣста, а не съ изложенія своего *profession de foi*. Она не говоритъ „допусти то и то“, а „я тебѣ дамъ истину спрятанную у меня, ты можешь получить ее, рабски повинувась“; въ отношеніи къ лицу, она только направляетъ внутренній процессъ развитія, прививаетъ индивидуальности совершенное родомъ, приобщаетъ ее къ современности; она сама есть процессъ углубленія въ себя природы, и развитіе полного сознанія космоса о себѣ; ею вселенная *приходитъ въ себя* послѣ бореній матеріальнаго бытія, жизни, погруженной въ непосредственность. Его фантастичеекое упоеніе *образнаго вѣдѣнія* становится, по выраженію Аристотеля, *трезвымъ знаніемъ*. Но для того, чтобы достигнуть дѣйствительно до трезвости, надобенъ былъ трудъ 3,000 лѣтъ. Сколько прожилъ скорбнаго, страдалъ, унывалъ, лилъ слезъ и крови духъ человѣчества, пока отрѣшилъ мышленіе отъ всего временнаго и односторонняго, и началъ понимать себя сознательной сущностью міра! Величественную и огромную эпопею исторіи надобно было прожить человѣчеству, чтобы великій поэтъ, опередившій свою эпоху и предузнавшій нашу, могъ спросить:

Ist nicht der Kern der Natur
Menschen im Herzen?

О какомъ чужомъ авторитетѣ говорятъ дилеттанты, гдѣ возможность его въ наукѣ? Дѣло въ томъ, что они науку принимаютъ не за послѣдовательное развитіе разума и самопознанія, а за разныя опыты, выдуманные разными особами въ разныя времена, безъ связи и отношенія между собою. Они не могутъ понять, что истина не зависитъ отъ личности трудящихся, что они только органы развивающейся истины; они не могутъ никакъ постигнуть ея высокое объективное достоинство; имъ все кажется, что это субъективные помыслы и капризы. Наука имѣетъ свою автономію и свой генезисъ; свободная, она не зависитъ отъ авторитетовъ; ос-

вобождающая, она не подчиняетъ авторитетамъ. Но въ-самомъ-дѣлѣ она имѣетъ право требовать впередъ на столько довѣрія и уваженія, чтобъ къ ней не приступали съ заготовленными скептическими и мистическими возраженіями, потому-что и они—добровольныя принятія на вѣру. Гдѣ? по какому праву? на чемъ основываясь? заготавливаютъ возраженія на науку внѣ ея. Откуда эта твердая масса, отталкивающая свѣтъ? Въ душѣ чистой отъ предразсудковъ наука можетъ опереться на свидѣтельство духа о своемъ достоинствѣ, о своей возможности развить въ себѣ истину; отъ этого зависитъ смѣлость знать, святая дерзость сорвать завѣсу съ Изиды и впередъ горящій взоръ на обнаженную истину, хотя бы то стоило жизни, лучшихъ упованій.

Но какая эта истина, которую намъ обѣщаютъ за покрываломъ?.. Въ-самомъ-дѣлѣ, *какая?* Тѣ, которые желали ее пламенно, скорбѣли и лили слезы по ней, тайкомъ заглянули, и были поражены—кто страхомъ, кто негодованіемъ. Бѣдная истина! Хорошо, что древніе ваяли покрывало изъ мрамора: его нельзя было поднять; глаза людей недостаточно окрѣпли, чтобъ вынести ея черты. Или *не той* истины хотѣли они? А сколько же истинъ? Люди добрые, разсудочные знаютъ *много*, очень много истинъ, — но *одна* истина имъ не доступна; какой-то оптический обманъ представляетъ имъ истину въ уродливомъ видѣ и притомъ каждому на свой ладъ. Если собрать обвиненія, непрерывно-слышимыя, когда рѣчь идетъ о наукѣ, т. е. о истинѣ, раскрывающейся въ правильномъ организмѣ, то можно, употребляя извѣстное средство астрономіи для полученія истиннаго мѣста свѣтила, наблюдаемаго съ разныхъ точекъ, т. е. вычитая противоположные углы (теорія параллаксъ), вывести справедливое заключеніе. Одни говорятъ—атеизмъ, другіе—пантеизмъ; одни говорятъ—трудность, ужасная трудность, другіе—пустота, просто ничего нѣтъ. Матеріалисты улыбаются надъ мечтательнымъ идеализмомъ науки; идеалисты находятъ въ анализѣ науки хитро-скрытый матеріализмъ. Піэтисты убѣждены, что современная наука безрелигіознаѣ Эразма, Вольтера и Гольбаха съ компаніей, и считаютъ ее вреднаѣ волтеріанизма. Люди нерелигіозные упрекаютъ науку въ ортодоксіи. И, главное, всѣ недовольные—требуютъ опять завѣсы. Кого поразилъ свѣтъ, кого простота, кому

стыдно стало наготы истины, кому черты ея не понравились, потому-что въ нихъ много земнаго. Всѣ обманулись,—а обманулись отъ-того, что хотѣли не истины.

Но дѣло сдѣлано. Событіе вспять не пойдетъ; однажды начавъ разоблачаться и показавъ намъ торсъ поразительной прелести, истина не надѣнетъ снова покрывала изъ ложнаго стыда; она знаетъ силу, славу и красоту наготы своей.

1842, апрѣля 25.

ДИЛЕТТАНТЫ-РОМАНТИКИ.

Оставимъ мертвымъ погребать мертвыхъ.

Есть вопросы, до которыхъ никто болѣе не касается, не потому чтобъ они были рѣшены, а потому-что надоѣли, не сговариваясь соглашаются ихъ считать непонятными, прошедшими, лишенными интереса и молчатъ объ нихъ. Но время-отъ-времени полезно заглядывать въ эти архивы мниморѣшенныхъ дѣлъ: послѣдовательно оглядываясь, мы смотримъ на прошедшее всякій разъ иначе; всякій разъ разглядываемъ въ немъ новую сторону, всякій разъ прибавляемъ къ уразумѣнію его весь опытъ вновь-пройденнаго пути. Полнѣе сознавая прошедшее, мы уясняемъ современное, глубже опускаясь въ смыслъ былаго—раскрываемъ смыслъ будущаго, глядя назадъ—шагаемъ впередъ; наконецъ, и для того полезно перетрясти ветошь, чтобъ узнать, сколько ея истлѣло и сколько осталось на костяхъ.

Одно изъ такихъ дѣлъ, которое, выражаясь судейскимъ слогомъ, зачислено рѣшеннымъ впредь до востребованія, дѣло недавно поступившее въ архивъ—тяжба романтизма и классицизма, такъ волновашая умы и сердца въ первую четверть нашего вѣка (даже и ближе), тяжба этихъ возставшихъ изъ гроба сошла съ ними вмѣстѣ второй разъ въ могилу, и нынче говорятъ всего менѣе о правахъ романтизма и его боѣ съ классиками—хотя и остались въ живыхъ многіе изъ закоснѣлыхъ поклонниковъ и непримиримыхъ враговъ его.

А давно ли этотъ бой, шумно начавшійся, блисталъ во всей красѣ? Много было талантовъ на аренѣ; общественный голосъ участвовалъ живо, дѣятельно; нынче избитыя имена „классикъ, роман-

тихъ “ были многозначительны—и вдругъ все замолкло; интересъ, окружавшій сражавшихся, исчезъ; зрители догадались, что и тѣ и другіе сражаются за мертвыхъ; мертвецы вполне заслужили тризны и мавзолеи—они оставили намъ богатые наслѣдія, которыя стяжали въ кровавомъ потѣ, страданіяхъ, тяжкомъ трудѣ,—но бороться за нихъ безцѣльно. Нѣтъ въ мірѣ неблагодарнѣе занятія, какъ сражаться за покойниковъ: завоевываютъ тронъ, забывая, что нѣкого посадить на него, потому-что царь умеръ. Когда бойцы увидѣли, что они лишлись участія—ихъ жаръ простылъ. Одни упорные и ограниченные люди остались на полѣ битвы въ полномъ вооруженіи, похожіе на теперешнихъ бонапартистовъ, отстаивающихъ права великой тѣни—но все же тѣни.

Борьба эта будто явилась съ того свѣта, чтобъ присутствовать при вступленіи въ отрочество новаго міра, передать ему владычество отъ имени двухъ предшествующихъ, отъ имени отца и дѣда, и увидѣть, что для мертвыхъ нѣтъ больше владѣній въ мірѣ жизни. Фактическое явленіе романтизма и классицизма въ видѣ двухъ исключительныхъ школъ было слѣдствіемъ страннаго состоянія умовъ лѣтъ за тридцать тому назадъ. Когда народы успокоились послѣ пятнадцати первыхъ лѣтъ нашего вѣка и жизнь потекла обычнымъ русломъ, тогда лишь увидѣли, сколько изъ существовавшего порядка вещей, незамѣннаго новымъ, потеряно и сломано. Въ разгромѣ революціи и императорства нѣкогда было прійти въ себя. Сердца и умы наполнились скукой и пустотой, раскаяніемъ и отчаяніемъ, обманутыми надеждами и разочарованіемъ, жадой вѣры и скептицизмомъ. Пѣвецъ этой эпохи,—Байронъ, мрачный, скептический, поэтъ отрицанія и глубокаго разрыва съ современностью, падшій ангелъ, какъ называлъ его Гёте. Франція, главный театръ событій переворота, всего болѣе страдала. Религія была въ упадкѣ, политическія вѣрованія исчезли, всѣ направленія самыя противоположныя были оскорблены эклектизмомъ первыхъ годовъ реставраціи. Спасаясь отъ тягости настоящаго, отыскивая вездѣ выхода, Франція впервые иными глазами взглянула на прошедшее. Воспоминаніе человѣчества—своего рода небесное чистилище—было воскресаеетъ въ немъ просвѣтленнымъ духомъ, отъ котораго отпало все темное, дурное. Когда Франція увидѣла

великую тѣнь преобразенныхъ среднихъ вѣковъ съ ихъ увлека-
тельнымъ характеромъ единства, вѣрованія, рыцарской доблести и
удали, и увидѣла очищенную отъ дерзкаго своеволія и наглої не-
справедливости, отъ всестороннихъ противорѣчій, кое-какъ фор-
мально примиренныхъ тогдашней жизни, она, пренебрегавшая до-
толѣ всѣмъ феодальнымъ—предалась нео-романтизму. Шатобріанъ,
романы Вальтера Скотта, знакомство съ Германіей и съ Англіей
—способствовали къ распространенію готическаго воззрѣнія на
искусство и жизнь. Франція увлеклась готизмомъ, такъ какъ ув-
леклась античнымъ міромъ, по чрезвычайной воспримчивости и
живости, не опускаясь во всю глубь. Однако не все покорилось
романтизму: умы положительные, умы сосавшіе всѣ соки свои изъ
великихъ произведеній Греціи и Рима, прямые наслѣдники лите-
ратуры Лудовика XIV, Вольтера и энциклопедіи, участники рево-
люціи и императорскихъ войнъ, односторонніе и упрямые въ сво-
ихъ началахъ, съ презрѣніемъ смотрѣли на юное поколѣніе, отри-
цающее ихъ въ пользу понятій ими казенныхъ, какъ полагали, на вѣки.
—Романтизмъ, бродившій въ умахъ юнаго поколѣнія Франціи, братски
встрѣтился съ зарейскимъ романтизмомъ, разразившимся тогда же до
высшаго предѣла. Въ характерѣ германскомъ было всегда что-то
мистическое, натянуто-восторженное, склонное къ спекуляціи и не
менѣе-склонное къ кабалистикѣ — это лучшая почва для роман-
тизма, и онъ не замедлилъ явиться въ полнѣйшемъ развитіи въ
Германіи. Реформація, освободивъ преждевременно и односторонно
умы германскіе, двинула ихъ въ поэтико-схоластическомъ, въ раз-
судочно-мистическомъ направленіи. Отклоненіе важное отъ истин-
наго пути. Лейбницъ въ свое время замѣтилъ, что Германіи трудно
будетъ отдѣлаться отъ этого направленія, которое, прибавимъ мы,
оставило слѣды въ твореніяхъ самого Лейбница. Эпоха неестест-
веннаго классицизма и галломаніи, на время прикрывшая націо-
нальные элементы, не могла произвести важнаго вліянія: эта ли-
тература не имѣла отголоска въ народѣ. Богъ-знаетъ для кого
она говорила и чью мысль высказывала. Болѣе истинное, несрав-
ненно глубочайшее вліяніе произвела литературная эпоха, начав-
шаяся съ Лессинга: космо-политическая и совершеннolѣтняя, она
старалась развить національные элементы въ общечеловѣческіе;

это была великая задача и Гердера, и Канта, и Шиллера, и Гёте. Но задача эта разрѣшалась на полѣ искусства и науки, отдѣляя китайскою стѣною общественную и семейную жизнь отъ интеллектуальной. Внутри Германіи была другая Германія—міръ ученыхъ и художниковъ—они не имѣли никакого истиннаго отношенія между собою. Народъ не понималъ своихъ учителей. Онъ побольшей-части остался на томъ мѣстѣ, на которомъ сѣлъ отдыхать послѣ тридцатилѣтней войны. Исторія Германіи отъ вестфальскаго мира до Наполеона имѣетъ одну страницу, именно ту, на которой писаны дѣянія Фридриха II. — Наконецъ, Наполеонъ, тяжело ударяя, добился практическихъ сторонъ духа германскаго, забытаго ея образователями, и тогда только бродившія внутри и усыпленные страсти подняли голову, и раздались какіе-то страшные голоса, полные фанатизма и мрачной любви къ отечеству. Феодалное воззрѣніе среднихъ вѣковъ, приложенное нѣсколько къ нашимъ нравамъ и одѣтое въ рыцарски-театральные костюмы—овладѣло умами. Мистицизмъ снова вошелъ въ моду; дикій огонь преслѣдованія блеснулъ въ глазахъ мирныхъ Германцевъ и фактически-реформаціонный міръ возвратился въ идеѣ къ католическому міросозерцанію. Величайшій романтикъ, Шлегель, потому-что онъ лютеранинъ, перекрестился въ католицизмъ,—тутъ видна логика.

Ватерлоо рѣшило на первый случай, кому владѣть полемъ: Наполеону-классику, или романтикамъ—Велингтону и Блюхеру. Въ лицѣ Наполеона, императора Французовъ и Корсиканца, представителя классической цивилизаціи и романской Европы, Германцы снова побѣдили Римъ и снова провозгласили торжество готическихъ идей. Романтизмъ торжествовалъ; классицизмъ былъ гонимъ: съ классицизмомъ сопрягались воспоминанія, которыя хотѣли забыть, а романтизмъ выкопалъ забытое, которое хотѣли вспомнить. Романтизмъ говорилъ безпрестанно, классицизмъ молчалъ; романтизмъ сражался со всѣмъ на свѣтѣ какъ Донъ-Кихотъ, — классицизмъ сидѣлъ съ спокойною важною римскаго сенатора. Но онъ не былъ мертвъ, какъ тѣ римскіе сенаторы, которыхъ Галлы приняли за мертвецовъ: въ его рядахъ были не дюжинные люди—всѣ эти Бенгамы, Ливингстоны, Тенары, Декандоли, Берцелии, Лапласы, Сэи, не были похожи на побѣжденныхъ, и веселыя пѣсни

Беранже раздавались въ стану классиковъ. Осыпавые проклятіями романтиковъ, они молча отвѣчали громко—то пароходами, то желѣзными дорогами, то цѣлыми отраслями науки, вновь разработанными, какъ геогнозія, политическая экономія, сравнительная анатомія, то рядомъ машинъ, которыми они отрѣшали человѣка отъ тяжкихъ работъ. Романтики смотрѣли съ пренебреженіемъ на эти труды, унижали всѣми средствами всякое практическое занятіе, находили печать проклятія въ матеріальномъ направленіи вѣка и проглядѣли, смотря съ своей колокольни, всю поэзію индустріальной дѣятельности, такъ грандіозно развертывавшейся, напри- мѣръ, въ Сѣверной Америкѣ.

Пока классицизмъ и романтизмъ воевали, одинъ, обращая міръ въ античную форму, другой въ рыцарство, возрастало болѣе и болѣе *нѣчто* сильное, могучее; оно прошло между ними, и они не узнали властителя по царственному виду его; оно оперлось однимъ локтемъ на классиковъ, другимъ на романтиковъ, и стало выше ихъ—какъ „власть имущее“; признало тѣхъ и другихъ и отреклось отъ нихъ обоихъ:—это была внутренняя мысль, живая психея современнаго намъ міра. Ей, рожденной среди молній и громовыхъ ударовъ отчаяннаго боя католицизма и реформаціи, ей, вступившей въ отрочество среди молній и громовыхъ ударовъ другой борьбы—не годились чужія платья: у ней были выработаны свои. Ни классицизмъ, ни романтизмъ долгое время не подозрѣвали существованія этой третьей власти. Сперва и тотъ и другой приняли его за своего сообщника (такъ, напри- мѣръ, романтизмъ мечталъ, не говоря уже о Вальтерѣ-Скоттѣ, что въ его рядахъ Гёте, Шиллеръ, Байронъ). Наконецъ и классицизмъ и романтизмъ признали, что между ними есть что-то другое, далекое отъ того, чтобъ помогать имъ; не миравъ между собой, они опрокинулись на новое направленіе. Тогда была рѣшена ихъ участь.

Мечтательный романтизмъ сталъ *ненавидѣть* новое направленіе за его *реализмъ*!

Щупающій пальцами классицизмъ сталъ *презирать* его за *идеализмъ*!

Классики, вѣрные преданіямъ древняго міра, съ гордой вѣро- терпимостью и съ сардонической улыбкой посматривали на идеа-

логовъ и чрезвычайно заняты опытами, спеціальными предметами, рѣдко являлись на арену. По справедливости, ихъ не должно считать врагами нашего вѣка. Это большею частію люди практическихъ интересовъ жизни, утилитаризма. Новое направленіе такъ недавно стало выступать изъ школы, его занятія казались неприлагаемы, неразвиваемы въ жизнь: они отвергали его, какъ ненужное.—Романтики, столь же вѣрные преданіямъ феодализма, съ дикою нетерпимостью не сходили съ арены; то былъ бой на смерть, отчаянный и злой; они готовы были воздвигнуть костры и завести инквизицію для окончанія спора; горькое сознаніе, что ихъ не слушаютъ, что ихъ игра потеряна, раздувало закоснѣлый духъ преслѣдованія, и доселѣ они не смирились. А при всемъ томъ, каждый день, каждый часъ яснѣе и яснѣе показываетъ, что человѣчество не хочетъ больше ни классиковъ, ни романтиковъ—хочетъ людей, и людей современныхъ, а на другихъ смотритъ, какъ на гостей въ маскарадѣ, зная, что когда пойдутъ ужинать, маски снимутъ, и подъ уродливыми чужими чертами откроются знакомыя, родственныя черты. Хотя и есть люди, которые не ужинаютъ, для того, чтобъ не снимать масокъ, но ужъ нѣтъ больше дѣтей, которыя бы боялись замаскированныхъ.—Возникшій бой былъ гибеленъ для обѣихъ сторонъ; несостоятельность классицизма, невозможность романтизма обличались: по мѣрѣ ближайшаго знакомства съ ними, раскрылось ихъ неестественное, анахронистическое появленіе, и лучшіе умы той эпохи остались не причастны войнѣ оборотней, не смотря на весь шумъ, поднятый ими. А было время когда классицизмъ и романтизмъ были живы, истинны и прекрасны, необходимы и глубоко-человѣчественны. Было.... „Пользу или вредъ принесло папство?“ спросилъ наивный Лас-Казъ у Наполеона. „Я не знаю, что сказать“ отвѣчала отставной императоръ: „оно было полезно и необходимо въ свое время, оно было вредно въ другое.“ Такова судьба всего являющагося во времени. Классицизмъ и романтизмъ принадлежатъ двумъ великимъ прошедшимъ; съ какимъ бы усиленіемъ ихъ ни воскрешали, они останутся тѣнями усопшихъ, которымъ нѣтъ мѣста въ современномъ мірѣ. Классицизмъ принадлежитъ міру древнему, такъ какъ романтизмъ среднимъ вѣкамъ. Исключительнаго владѣнія въ настоящемъ они имѣтъ не

могутъ, потому-что настоящее нисколько не похоже ни на древній міръ, ни на средній. Для доказательства достаточно бросить самый бѣлый взглядъ на нихъ.

Греко-рихскій міръ былъ по превосходству реалистическій; онъ любилъ и уважалъ природу, онъ жилъ съ нею за-одно, онъ считалъ высшимъ благомъ существовать; космосъ былъ для него истина, за предѣлами которой онъ ничего не видалъ, и космосъ ему довлѣлъ именно потому, что требованія были ограниченны. Отъ природы и чрезъ нее достигалъ древній міръ до духа, и отъ-того не достигъ до единого духа. Природа есть именно существованіе въ многообразіи; единство, понятое древними, была необходимость, фатумъ, тайная, міродержавная сила, неотразимая для земли и для Олимпа; такъ природа подчинена законамъ необходимымъ, которыхъ ключъ въ ней, но не для нея. Космогонія Грековъ начинается хаосомъ и развивается въ олимпійскую федерацію боговъ, подъ диктатурою Зевса; не дойдя до единства, они, республиканцы, охотно остановились на этомъ республиканскомъ управленіи вселенной. Антропоморфизмъ поставилъ боговъ очень близко къ людямъ. Грекъ, одаренный высокимъ эстетическимъ чувствомъ, прекрасно постигнулъ *выразительность внѣшняго*, тайну формы; божественное для него существовало облеченнымъ въ человѣческую красоту; въ ней обоготворялась ему природа, и далѣе этой красоты онъ не шелъ. Въ этой жизни за-одно съ природой была увлекательная прелесть и легкость существованія. Люди были довольны жизнью. Ни въ какое время не были такъ художественно уравновѣшены элементы души человѣческой. Дальнѣйшее развитіе духа было необходимымъ шагомъ впередъ, но оно не могло иначе быть, какъ на счетъ плоти, тѣла, формы: оно было выше, но должно было пожертвовать античной граціей. Жизнь людей въ цвѣтущую эпоху древняго міра была безпечно-ясна, какъ жизнь природы. Неопредѣленная тоска, мучительныя углубленія въ себя, болѣзненный эгоизмъ—для нихъ не существовали. Они страдали отъ реальныхъ причинъ, лили слезы отъ истинныхъ потерь. Личность индивидуума терялась въ гражданинѣ, а гражданинъ былъ органъ, атомъ другой, священной, обоготворяемой личности—личности города. Трепетали не за свое я, а за я Аѣны, Спарты, Рима:

таково было широкое, вольное воззрѣніе греко-римскаго міра, человѣчески прекрасное *въ своихъ границахъ*. Оно должно было усугубить иному воззрѣнію, потому-что оно было ограничено. Древній міръ поставилъ виѣшнее на одну доску съ внутреннимъ—такъ оно и есть въ природѣ, но не такъ въ истинѣ—духъ господствуетъ надъ формой. Греки думали, что они *вывали* все, что находится въ душѣ человѣческой; но въ ней осталась бездна требованій усипленныхъ, неразвитыхъ еще, для которыхъ рѣзецъ не состоятеленъ; они поглотили всеобщимъ личность, городомъ—гражданина, гражданиномъ—человѣка; но личность имѣла свои неотъемлемыя права, и, по закону возмездія, кончилось тѣмъ, что индивидуальная, случайная личность императоровъ римскихъ поглотила городъ городовъ. Апотеоза Нероновъ, Клавдіевъ и деспотизмъ ихъ—были историческимъ отрицаніемъ одного изъ главнѣйшихъ началъ эллинскаго міра въ немъ самомъ. Тогда наступило время смерти для него и время рожденія новаго міра. Но плодъ жизни эллино-римской не могъ и не долженъ былъ погибнуть для человѣчества. Онъ прозябалъ пятнадцать столѣтій для того, чтобъ германскій міръ имѣлъ время укрѣпить свою мысль и приобрести умѣніе воспользоваться имъ. Въ этотъ промежутокъ расцвѣлъ и поблекъ романтизмъ—съ своей великой истиной и съ своей великой односторонностью.

Романтическое воззрѣніе не должно принимать ни за всеобщехристіанское, ни за чисто-христіанское:—оно почти исключительная принадлежность католицизма; въ немъ, какъ во всемъ католическомъ, спаялись два начала,—одно, почерпнутое изъ Евангелія, другое—народное, временное, болѣе всего германическое. Туманная, наклонная къ созерцанію и мистицизму фантазія германскихъ народовъ, развернулась во всемъ своемъ безконечномъ характерѣ, принявъ въ себя и переработавъ христіанство; но съ тѣмъ вмѣстѣ она придала религіи національный цвѣтъ, и христіанство могло болѣе дать, нежели романтизмъ могъ взять, даже то, что было взято ею, взято односторонно, и, развившись—развилось на счетъ остальныхъ сторонъ. Духъ, равный на небо изъ-подъ стрѣлокъ готическихъ соборовъ, былъ совершенно противоположенъ античному. Основа романтизма—спиритуализмъ, трансцендентность.

Духъ и матерія для него не въ гармоническомъ развитіи, а въ борьбѣ, въ диссонансѣ. Природа—ложь, не истинное; все естественное отринуто. Духовная субстанція человѣка „краснѣла отъ-того, что тѣло бросаетъ тѣнь“ (*). Жизнь, постигнувъ себя двойственностію, стала мучиться отъ внутренняго раздора и искала примиренія въ отреченіи одного изъ началъ. Постигнувъ свою безконечность, свое превосходство надъ природою, человѣкъ хотѣлъ пренебрегать ею, и индивидуальность, затерянная въ древнемъ мірѣ, получила безпредѣльныя права; раскрылись богатства души, о которыхъ тотъ міръ и не подозрѣвалъ. Цѣлью искусства сдѣлалась не красота, а одухотвореніе. Громкій смѣхъ ирирующаго Олимпа прекратился; ждали со-дня-на-день представленія свѣта, вѣчность котораго была догматъ классическаго воззрѣнія. Все вмѣстѣ разливало что-то величественно-грустное на дѣйствія и мысли; но въ этой грусти была неодолимая прелесть темныхъ, неопредѣленныхъ, музыкальныхъ стремленій и упованій, потрясающихъ заповѣданныѣя струны души человѣческой. Романтизмъ былъ прелестная роза, выросшая у подножія распятія, обвивавшаяся около него, но корни ея, какъ всякаго растенія, питались изъ земли: этого романтизмъ знать не хотѣлъ; въ этомъ было для него свидѣтельство его низости, не достоинства: онъ стремился отречься отъ корней своихъ. Романтизмъ безпрестанно плакалъ о тѣснотѣ груди человѣческой и никогда не могъ отрѣшиться отъ своихъ чувствъ, отъ своего сердца; онъ безпрестанно приносилъ себя въ жертву—и требовалъ безконечнаго вознагражденія за свою жертву; романтизмъ обоготворялъ субъективность—предавая ее анаѹемѣ, и эта самая борьба мнимопримиренныхъ началъ придавала ему порывистый и мощно-увлекательный характеръ его. Если мы забудемъ блестящій образъ среднихъ вѣковъ, какъ намъ втѣснила его романтическая школа, мы увидимъ въ нихъ противорѣчія самыя страшныя, примиренныя формально и свирѣпо раздирающія другъ друга на дѣлѣ. Вѣря въ божественное искупленіе, въ тоже время принимали, что современный міръ и человѣкъ подъ непосредственнымъ гнѣвомъ Божиимъ. Приписыв-

(*) Данте; восходъ въ рай.

вая своей личности права безконечной свободы, отнимали всѣ чело-
вѣческія условія бытія у цѣлыхъ сословій; ихъ самоотверженіе—
было эгоизмомъ, ихъ молитва была корыстная просьба, ихъ войны
были монахи, ихъ архіереи были военачальники; обоготворяемыя
ими женщины содержались какъ узники,—воздержность отъ на-
слаждений невинныхъ и преданность буйному разврату, слѣпая по-
корность и безпредѣльное своеволие. Только и рѣчи было что о
духѣ, о погрѣшеніи плоти, о пренебреженіи всѣмъ земнымъ, и—ни
въ какую эпоху страсти не бушевали необузданныѣ и жизнь не
была противоположныѣ убѣжденію и рѣчамъ, формализмъ, улов-
ками, себяобольщеніемъ примиряясь съ совѣстію (напр. покупая
индугенціи). То было время жи явной, безстыдной. Свѣтская
власть, признавая папу за пастыря, Богомъ установленнаго, уни-
жаясь передъ нимъ формально, вредила ему всѣми силами, без-
престанно повторяя о своемъ повиновеніи. Папа, рабъ рабовъ
Божіихъ, смиренный пастырь, отецъ духовный — стяжалъ богат-
ства и матеріальныя силы. Въ такой жизни было что-то безумное
и горячее. Долго челоѣчество не могло оставаться въ этомъ не-
естественно-напряженномъ состояніи. Истинная жизнь, не признан-
ная, отринутая, стала предъявлять свои права; сколько ни отво-
рачивались отъ нея, устремляясь въ безконечную даль—голосъ жи-
зни былъ громокъ и родствененъ челоѣку, сердце и разумъ от-
кликнулись на него. Вскорѣ къ нему присоединился другой силь-
ный голосъ—классическій міръ возсталъ изъ мертвыхъ. Романскіе
народы, въ которыхъ никогда и не погибала закваска римская,
бросились съ восторгомъ на дѣдовское наслѣдіе. Движеніе совер-
шенно-противоположное духу среднихъ вѣковъ стало заявлять свое
бытіе во всѣхъ областяхъ дѣятельности челоѣческой. Стремленіе
отречься отъ прошедшаго во что бы то ни стало—обнаружилось:
захотѣли подышать на волѣ, пожить. Германія стала во главѣ ре-
формы, гордо поставивъ на знамени „право изслѣдованія,“ далеко
была отъ того, чтобъ въ самомъ дѣлѣ признать это право. Герма-
нія устремила всѣ силы свои на борьбу съ католицизмомъ; созна-
тельно-положительной цѣли въ этой борьбѣ не было. Она опере-
дила классицизмъ романскихъ народовъ не своевременно, и имен-
но отъ того въ-послѣдствіи была обойдена. Отрекаясь отъ като-

лицизма, Германія отвязывала послѣднюю нить, прикрѣплявшую ее къ землѣ. Католическій ритуаль сводилъ небо на землю, а протестантская пустая церковь только указывала на небо. Стоить вспомнить склонный къ таинственному характеръ Германцевъ, чтобъ понять сильнѣе вліяніе реформаціи на нихъ. Мистицизмъ схоластическій, отрѣшающій человѣка отъ всякаго реализма, мистицизмъ, основанный на буквальномъ жетолкованіи текстовъ въ десяти разныхъ смыслахъ, холодное безуміе у однихъ—разработанное съ страшной послѣдовательностью, фанатическій бредъ у другихъ, необузданный и тяжелый: вотъ направленіе, въ которое вали Германцы послѣ реформаціи. Среди всего этого движенія, новый міръ „нарождался;“ его дыханіе стало замѣтно вездѣ. Храмомъ Петра въ Римѣ человѣчество торжественно отреклось отъ готической архитектуры. Браманте и Буонаротти лучше хотѣли нечистый стиль de la renaissance, нежели суровый—оживы. Это очень-понятно. Готизмъ, безъ сомнѣнія въ эстетическомъ смыслѣ, отвлеченномъ отъ исторіи, несравненно-выше стиля возстановленія, рококо и другихъ, служившихъ переходомъ отъ готизма къ истинной реставраціи древняго зодчества. Но готизмъ, тѣсно связанный съ католицизмомъ среднихъ вѣковъ, съ католицизмомъ Григорія VII, рыцарства и феодальныхъ учрежденій, немогъ удовлетворить вновь-развившимся потребностямъ жизни. Новый міръ требовалъ иной плоти; ему нужна была форма болѣе свѣтлая, не только *стремляющаяся*, но и *наслаждающаяся*, не только подавляющая величіемъ, но и успокоивающая гармоніей. Обратились къ древнему міру: къ его искусству чувствовалась симпатія; хотѣли усвоить его зодчество, ясное, открытое какъ чело юноши, гармоническое, „какъ ожившая музыка.“ Но много было прожито послѣ Рима и Греціи. и опытъ, глубоко запавшій въ душу, говорилъ въ то же время, что ни периптеръ Грековъ, ни римская ротонда не выражаютъ всей идеи новаго вѣка. Тогда построили „Пантеонъ на Пареенонѣ“ (*), и неопытные, боясь прямой линіи, исказили пилястрами, уступами и выступами античную простоту: переворотъ этотъ въ

(*) Выраженіе о музыкѣ принадлежитъ Шеллингу; „Пантеонъ на Пареенонѣ“ сказалъ о храмѣ Петра В. Гюго.

зодчество былъ шагомъ назадъ искусства и шагомъ впередъ чело-
вѣчества. Своевременность его доказала вся Европа: всѣ бога-
тые города построили свои храмы Петра. Готическія церкви оста-
вили недостроенными для того, чтобъ воздвигать церкви въ сти-
лѣ возстановленія. Одна Германія, по превосходству готическая,
оставалась долѣе вѣрною своему зодчеству—но она мало воздви-
гала въ эту эпоху: глубокія раны и истощеніе не позволяли ей
много строить. Противъ такихъ всеобщихъ фактовъ возражать
нечего, надо стараться ихъ понять; челоѣчество грубо не оши-
бается цѣлыми эпохами. Храмъ новаго стиля свидѣтельствовалъ
объ окончаніи среднихъ вѣковъ и ихъ воззрѣнія. Готическая ар-
хитектура сдѣлалась невозможною послѣ храма Петра: она сдѣ-
лалась прошедшею, анахронизмомъ.—Пластическія искусства осво-
бождались въ свою очередь. Готическая церковь дѣлала инныя тре-
бованія на живопись, нежели храмъ Петра. Византизмъ выра-
жаетъ одинъ изъ существенныхъ моментовъ готической живописи.
Неестественность положенія и колорита, суровое величіе, отрѣ-
шающее отъ земли и отъ земнаго, намѣренное пренебреженіе кра-
сотою и изяществомъ—составляетъ аскетическое отрицаніе зем-
ной красоты; образъ не картина: это слабый очеркъ, намекъ; но
художественная натура Итальянцевъ не могла долго удержаться
въ предѣлахъ символическаго искусства и, развивая его далѣе и
далѣе, ко времени Льва X, съ своей стороны вышла изъ преобра-
зовательнаго искусства въ область чисто-художественную. Великіе,
вѣчные типы *dei divini maestri* облекли во всю красоту земной пло-
ти небесное, и идеаль ихъ—идеаль челоѣка преображеннаго, но
челоѣка. Рафаэлевы мадонны представляютъ апотеозу дѣвствен-
но-женской формы; но его мадонны не супра-натуральныя, отвле-
ченныя существа—это преображенные дѣвы. Живопись, подняв-
шись до высочайшаго идеала, стала снова твердой ногой на зем-
лю, а не оставила ее. Византійская кисть отреклась отъ идеала
земной челоѣческой красоты древняго міра. Итальянская живо-
пись, развивая византійскую, въ высшемъ моментѣ своего разви-
тія отреклась отъ византизма и по-видимому возвратилась къ то-
му же античному идеалу красоты; но шагъ былъ совершенъ ог-
ромный; въ очахъ новаго идеала свѣтилась иная глубина, иная

мысль, нежели въ *открытыхъ глазахъ безъ зрѣнія* греческихъ статуй. Итальянская кисть, возвращая жизнь искусству, придала ему всю глубину духа, развитого словомъ Божиимъ.—Въ поэзіи совершался свой переворотъ. Рыцарство въ поэзіи теряетъ свою созерцательную важность и феодальную гордость. Аріосто, играя, улыбаясь, рассказываетъ о своемъ Орландѣ; Сервантесъ со злой ироніей объявляетъ міру безсиліе и несвоевременность его; Бокаччо раскрываетъ жизнь католическаго монаха; Раблэ идетъ еще дальше, съ отважной дерзостью Француза. Протестантскій міръ даетъ Шекспира. Шекспиръ—это человѣкъ двухъ міровъ. Онъ затворяетъ романтическую эпоху искусства и растворяетъ новую. Геніальное раскрытіе субъективности человѣческой во всей глубинѣ, во всей полнотѣ, во всей страстности и безконечности, смѣлое преслѣдованіе жизни до заповѣднѣйшихъ тайниковъ ея и обличеніе найденнаго, не составляетъ романтизма, а *переходитъ его*. Главный характеръ романтизма выражается сердечнымъ стремленіемъ куда-то, непременно грустнымъ, потому-что „тамъ никогда не будетъ здѣсь.“ Онъ вѣчно стремится оставить грудь; ему нѣтъ примиренія въ ней. Для Шекспира грудь человѣка—вселенная, которой космологію онъ широко набрасываетъ мощной и геніальной кистью. Во Франціи и въ Италіи въ это время возрасталъ и усиливался ложный классицизмъ. Палладій, въ своемъ сочиненіи объ архитектурѣ, съ презрѣніемъ говоритъ о готизмѣ; слабыя и безцвѣтные подражанія древнимъ писателямъ цѣнились выше исполненныхъ поэзіи и глубины пѣсней и легендъ среднихъ вѣковъ. Античное увлекало своею человѣчностью, своимъ примиреніемъ въ жизни, въ красотѣ. Черезъ античное вырабатывалось новое.—Въ наукѣ (*), въ политикѣ даже проявляется тотъ же духъ. Между-тѣмъ, борьба католицизма и протестантизма продолжалась. Католицизмъ обновился, поюнѣлъ въ этомъ бою, протестантизмъ мужалъ и окрѣпалъ; но новый міръ не принадлежалъ исключительно ни тому, ни другому. Въ началѣ этой перепутанной борьбы, былъ одинъ ученый, отказывавшійся прямо пристать къ той

(*) О переворотѣ въ наукѣ предполагаемъ поговорить въ особой статьѣ, а потому не говоримъ здѣсь. Впрочемъ, достаточно назвать Бэкона, Декарта и Спинозу.

или другой сторонѣ. Онъ говорилъ, что, занимаясь *гуманіоромъ*, не хочетъ мѣшаться въ войну папы съ Лютеромъ. Этотъ ученый гуманистъ былъ Эразмъ Роттердамскій, тотъ самый, который, улыбаясь, написалъ что-то такое *de libero et servo arbitrio*, отъ-чего Лютеръ дрожа отъ гнѣва сказалъ: „если кто нибудь меня ранилъ въ самое сердце, такъ это Эразмъ, а не защитники папы.“ Съ легкой руки Эразма, мысль новаго гуманическаго міра то являлась въ мірѣ классическомъ, то въ романтическомъ: реформація принесла ей бездну силъ, но она при первомъ случаѣ перешла къ классикамъ. Изъ этого ясно можно было понять—однако не поняли—что для новой мысли опредѣленія классики, романтики, несвойственны, не существенны, что она ни то, ни другое, или лучше и то и другое, но не какъ механическая смѣсь, а какъ химическій продуктъ, уничтожившій въ себѣ свойства составныхъ частей, какъ результатъ уничтожаетъ причины, *однѣствотворяя* ихъ, какъ силлогизмъ уничтожаетъ въ себѣ посылки.—Кто не видалъ дѣтей чудно схожихъ на отца и на мать—вовсе непохожихъ другъ на друга? Такое дитя—былъ новый вѣкъ: въ немъ были и есть элементы романтической мечтательности и классическаго пластицизма; но они въ немъ не отдѣльны, а неразъемлемо слиты въ его организмъ, въ его чертахъ.

Романтизмъ и классицизмъ должны были найти гробъ свой въ новомъ мірѣ, и не одинъ гробъ—въ немъ они должны были найти свое безсмертіе. Умираетъ только одностороннее, ложное, временное; но въ нихъ была и истина—вѣчная, всеобщечеловѣческая; она не можетъ умереть, она поступаетъ въ майоратъ старшимъ рода человѣческаго. Вѣчные элементы классическіе и романтическіе безъ всякихъ насильственныхъ средствъ живы; они принадлежатъ двумъ истиннымъ и необходимымъ моментамъ развитія духа человѣческаго во времени; они составляютъ двѣ фазы, два возрѣнія разнолѣтнія и относительно-истинныя. Каждый изъ насъ, сознательно или безсознательно, классикъ или романтикъ, по-крайней мѣрѣ былъ тѣмъ или другимъ. Юношество, время первой любви, невѣдѣнія жизни, располагаетъ къ романтизму; романтизмъ благодотворенъ въ это время: онъ очищаетъ, облагораживаетъ душу, выжигаетъ изъ нея животность и грубыя желанія; душа моется,

расправляетъ крылья въ этомъ морѣ свѣтлыхъ и непорочныхъ мечтаній, въ этихъ возношеніяхъ себя въ міръ горній, поправшій въ себѣ случайное, временное. ежедневность. Люди, одаренные свѣтлымъ умомъ болѣе, нежели чувствительнымъ сердцемъ—классики по внутреннему строенію духа, такъ какъ люди созерцательные, нѣжные, томные болѣе нежели мыслящіе—скорѣе романтики нежели классики. Но отъ этого до существованія исключительныхъ школъ—безконечное разстояніе. Шиллеръ и Гете представляютъ великій образъ, какъ должны быть приемлены романтическіе и классическіе элементы въ нашемъ вѣкѣ. Конечно, Шиллеръ болѣе Гете имѣлъ симпатіи къ романтическому; но главная его симпатія была къ современности, и послѣднія, самыя зрѣлыя его произведенія чисто *человѣческія* (если допустите это названіе), а не романтическія. И развѣ для Шиллера было что-нибудь чуждое въ классическомъ мірѣ—для него, переводившаго Расина, Софокла, Виргилія? А для Гете развѣ было что-нибудь недоступное въ глубочайшихъ тайникахъ романтизма? Въ этихъ гигантахъ борющіяся и противоположныя направленія соединились огнемъ генія—въ возрѣніе изумляющей полноты. Но люди партій остались при своемъ. Человѣчество вошло въ такую эпоху совершеннѣйшаго, что просто смѣшно сдѣлалось притязаніе обратить его въ классицизмъ или романтизмъ. И между-тѣмъ, мы были свидѣтелями, какъ послѣ Наполеона явилась сильная школа нео-романтизма. Явленіе это не было лишено причинъ достаточныхъ, чтобъ узаконить его. Направленіе германской науки и германскаго искусства становилось болѣе и болѣе всеобщимъ, космополитическимъ. Всеобщность эта покупалась цѣною жизненности. Вялая народность Германцевъ не напоминала о себѣ до наполеоновской эпохи:—тутъ Германія воспрянула одушевленная національными чувствами; всемірныя пѣсни Гёте худо согласовались съ огнемъ, горѣвшимъ въ крови. Что сдѣлалъ патріотизмъ въ Германіи, то совершила апатія во Франціи, и ихъ руками растворились обѣ половинки дверей романтизму. Удушающее чувство равнодушія и сомнѣнія и пылкое чувство народной гордости располагали особенно душу къ искусству полному вѣры и національныхъ сочувствій. Но такъ-какъ чувства, вызвавшія неоромантизмъ, были чисто-временныя, то судьбу

его можно было легко предвидѣть,—стоило взглянуть въ характеръ XIX вѣка, чтобъ понять невозможность продолжительнаго очарованія романтизмомъ.

Въ-самомъ-дѣлѣ, самобытный характеръ XIX вѣка обозначился съ первыхъ лѣтъ его. Онъ начался полнымъ развитіемъ наполеоновской эпохи; его встрѣтили пѣснопѣнія Гёте и Шиллера, могучая мысль Канта и Фихте. Полный памяти о событіяхъ десяти послѣднихъ лѣтъ, полный предчувствій и вопросовъ, онъ не могъ шутить какъ его предшественникъ. Шиллеръ въ колыбельной пѣсни ему напоминалъ трагическую судьбу его

Das Jahrhundert ist in Sturm geschieden
Und das neue öffnet sich mit Mord.

Окаменѣлыя зданія вѣковъ рушились; усомнились въ прочности благаго, въ дѣйствительности и незыблемости существующаго, глядя на поля Іены, Ваграма. Въ парижскомъ „Монитерѣ“, было однажды объявлено, что Германскій Союзъ пересталъ существовать. Гёте узналъ объ этомъ изъ французской газеты. Сколько скептическихъ мыслей, сколько критики навѣвали развалины храминъ, считавшихся вѣчными! И не-уже-ли весь этотъ *gemue-ténage* имѣлъ цѣлью—возвратить къ романтизму? Нѣтъ!—Люди мысли присутствовали при великой драмѣ, переходя изъ одной эры въ другую; не даромъ они важно разошлись съ глубокой и торжественной думой: плодъ этой думы развился на деревѣ всего прошедшаго мышленія. Первое имя, загремѣвшее въ Европѣ, произносимое возлѣ имени Наполеона, было имя великаго мыслителя. Въ эпоху судорожнаго боя началъ, кровавой распри, дикаго расторженія, вдохновенный мыслитель провозгласилъ основою философіи примиреніе противоположностей; онъ не отталкивалъ враждующихъ: онъ въ борьбѣ ихъ постигнулъ процессъ жизни и развитія. Онъ въ борьбѣ видѣлъ высшее торжество, снимающее борьбу. Мысль эта, заключающая въ себѣ глубокий смыслъ нашей эпохи, едва пришла въ сознаніе и высказалась поэтомъ-мыслителемъ, какъ уже развилась въ стройной, строгой, наукообразной формѣ спекулятивнымъ, диалектическимъ мыслителемъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1812 года, въ то время, какъ у Наполеона въ Дрезденѣ толпились короли и вѣнценосцы,

печатались въ какой-то юриббергской типографіи *Лотка Гееля*; на нее не обратили вниманія, потому-что всѣ читали тогда же напечатанное „Объявленіе о второй польской войнѣ“. Но она прозябала. Въ этихъ нѣсколькихъ печатныхъ листахъ, писанныхъ труднымъ языкомъ и назначенныхъ, кажется, исключительно для школы, лежалъ плодъ всего прошедшаго мышленія, сѣмя огромнаго, могучаго дуба. Условія для его развитія не могли не найтись, стоило понять и развернуть скобки—какъ говорятъ математики—и древо познанія и жизни развѣтывалось съ зелеными шумящими листьями, съ прохладною тѣнью, съ плодами сочными и питательными. То, что носилось въ изящныхъ образахъ шиллеровыхъ драмъ, что прорывалось сквозь пѣснопѣнія Гёте, было понято, обличалось. Истина, будто изъ-какого то чувства цѣломудренности и стыда, задернулась мантией схоластики и держалась въ одной отвлеченной сферѣ науки; но мантия эта, изношенная и протертая еще въ средніе вѣка, не можетъ нынче прикрывать; истина лучезарна: ей достаточно одной щели, чтобъ освѣтить цѣлое поле. Лучшіе умы сочувствовали новой наукѣ; но большинство не понимало ея, и псевдоромантизмъ, развиваясь, въ то же самое время заманивалъ въ ряды свои юношей и дилеттантовъ. Старикъ Гёте скорбѣлъ, глядя на отклонившееся поколѣніе. Онъ видѣлъ, какъ въ немъ цѣнять не то, что достойно, какъ въ немъ понимаютъ не то, что онъ говоритъ. Гёте былъ по превосходству реалистъ, какъ Наполеонъ, какъ вся наша эпоха; романтики не имѣютъ органа понимать реальное. Байронъ осыпалъ ругательствами мнимыхъ товарищей. Но большинство было въ пользу романтизма: въ украшеніяхъ, въ одеждахъ воскресъ вкусъ среднихъ вѣковъ, столь діаметрально-противоположный положительному характеру нашей современности и ея требованіямъ. Рукава женскаго платья, прическа мужчинъ—все подверглось романтическому вліянію. Такъ-какъ у классиковъ трагедія была не трагедія, если въ ней не было греческихъ или римскихъ героевъ, такъ какъ классики безпрестанно воспѣвали дрянное фалернское вино, употребляя прекрасное бургонское,—такъ поэзія романтизма поставила необходимымъ условіемъ рыцарскую одежду, и нѣтъ у нихъ поэмы, гдѣ не льется кровь, гдѣ нѣтъ наивныхъ пажей и мечтательныхъ графинь, гдѣ

нѣтъ череповъ и труповъ, восторженности и бреда Мѣсто фалерн-скаго вина заняла платоническая любовь; поэты-романтики, любя реально, человѣчески, поютъ одну платоническую страсть. Германія и Франція наперерывъ дарили человѣчество романтическими произведеніями: Гюго и Вернеръ,—поэтъ, прикинувшійся безумнымъ и безумный, прикинувшійся поэтомъ, стоятъ на вершинѣ романтическаго Брокена, какъ два сильные представителя. Между ими являлись истинно увлекательные таланты, какъ Новалисъ, Тикъ, Уландъ, и др., но ихъ побивала когорта послѣдователей. Эти портретисты такъ исказили черты романтической поэзіи, такъ напѣли о своемъ стремленіи и о своей любви, что и хорошихъ романтиковъ стало скучно и невозможно читать. Особенно примѣчательно, что одинъ изъ главныхъ распространителей романтизма вовсе не былъ романтикъ—я говорю о Вальтерѣ Скоттѣ; жизненно-практическій взоръ его родины есть его взоръ. Возсоздать жизнь эпохи—не значить принять односторонность ея. Такъ или иначе романтизмъ торжествовалъ, воображая, что его станетъ на вѣкъ. Онъ гордо начиналъ переговаривать съ новой наукой, и она часто поддѣлывалась подъ его языкъ; романтизмъ, снисходя къ ней, начиналъ какую то романтическую философію, но никогда не доходилъ до того, чтобъ съ ясностію изложить въ чемъ дѣло. Философы и романтики подъ одними и тѣми же словами разумѣли разное — и безпрестанно говорили! Комизмъ былъ совершеннѣйшій, когда послѣ долгихъ трудовъ догадались тѣ и другіе, что они не понимаютъ другъ друга. За этимъ невиннымъ занятіемъ, за сочиненіемъ пѣсенъ на трубадурный ладъ, за откапываніемъ преданій и хроникъ о рыцаряхъ для балладъ, за томнымъ стремленіемъ, за мучительной любовью къ неизвѣстной дѣвѣ.... шло время и прошло нѣсколько лѣтъ: Гёте умеръ, Байронъ умеръ, Гегель умеръ, Шеллингъ *состарился*. Казалось бы, тутъ-то бы и царствовать романтизму. Вѣрный тактъ массъ рѣшилъ иначе: массы въ послѣднее пятнадцатилѣтіе перестали сочувствовать романтикамъ, и они остались, какъ Спартакъ съ Леонидомъ, обойденными и обрекли себя, по ихъ примѣру, на геройскую, но бесполезную смерть. Чтò заняло общее вниманіе, что отвлекло отъ нихъ—это другой вопросъ, на который мы не имѣемъ намѣренія теперь отвѣчать. Ог-

раничимся фактомъ. Кто нынче говоритъ о романтикахъ, кто занимается ими, кто знаетъ ихъ? Они поняли ужасный холодъ безучастья, и стоятъ теперь съ словами чернаго проклятѣя вѣку на устахъ—печальные и блѣдные, видятъ, какъ рушатся замки, гдѣ обитало ихъ милое воззрѣніе, видятъ, какъ новое поколѣніе попираетъ мимоходомъ эти развалины, какъ не обращаетъ вниманія на нихъ, проливающихъ слезы; слышать съ содроганіемъ веселую пѣсню жизни современной, которая стала не ихъ пѣснью, и съ скрежетомъ зубочъ смотреть на вѣкъ суетный, занимающійся матеріальными улучшеніями, общественными вопросами, наукой, и страшно подчасъ становится встрѣтить среди кипящей, благоухающей жизни—этихъ мертвецовъ укоряющихъ, озлобленныхъ и невѣдающихъ, что они умерли! Дай имъ Богъ покой могилы; не хорошо мертвымъ мѣшаться съ живыми.

Werden sie nicht schaden
So werden sie schrecken.

1842. Мая 9.

ХІІ.

Ц Е Х Ъ У Ч Е Н Ы Х Ъ

И

БУДДИЗМЪ ВЪ НАУКЪ.

THE
JOURNAL
OF
THE
AMERICAN
MEDICAL
ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., U.S.A.
1914

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

PUBLISHED BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

CHICAGO, ILL., U.S.A.
1914

ЦЕХЪ УЧЕНЫХЪ.

Такихъ... welche alle Töne einer Musik mit durchgehört haben, an deren Sinn aber das Eine, die *Harmonie dieser Töne* nicht gekommen ist... какъ сказалъ Гегель. (Gesch. der Phil.).

Во всѣ времена долгой жизни человѣчества замѣтны два противоположныя движенія; развитіе одного обусловливаетъ возникновеніе другого, съ тѣмъ вмѣстѣ борьбу и разрушеніе перваго. Въ какую обитель исторической жизни мы ни всмотримся—увидимъ этотъ процессъ, и притомъ повторяющійся рядомъ метаспихозъ. Въ-слѣдствіе одного начала, лица, имѣющія какую-нибудь общую связь между собою, стремятся отойти въ сторону, стать въ исключительное положеніе, захватить монополію. Въ-слѣдствіе другого начала, массы стремятся поглотить выгородившихъ себя, взять себѣ плодъ ихъ труда, растворить ихъ въ себѣ, уничтожить монополію. Въ каждой странѣ, въ каждой эпохѣ, въ каждой области борьба монополіи и массъ выражается иначе, но цехи и касты непрерывно образуются, массы непрерывно ихъ подрываютъ, и, что всего страннѣе, масса, судившая вчера цехъ, сегодня сама оказывается цехомъ, и завтра масса степенью общѣ поглотить и побѣтъ ее въ свою очередь. Эта полярность одна изъ явленій жизненнаго развитія человѣчества, явленіе въ родѣ пульса, съ той разницей, что съ каждымъ біеніемъ пульса человѣчество дѣлаетъ шагъ впередъ. Отвлеченная мысль осуществляется въ цехѣ, группа людей, собравшихся около нея, во имя ея,—необходимый организмъ ее развитія; но какъ скоро она достигла своей возмужалости въ цехѣ, цехъ дѣлается ей вреденъ, ей надобнодохнуть

воздухомъ и взглянуть на свѣтъ, какъ зародышу послѣ девяти-мѣсячнаго прозябанія въ матери; ей надобна среда болѣе широкая; между-тѣмъ, и люди касты, столь полезные своей мысли при начальномъ развитіи ея, теряютъ свое значеніе, застываютъ, останавливаются, нейдутъ впередъ, ревниво отталкиваютъ новое, страшатся уступить руно свое, хотятъ для себя, за собою удержать мысль. Это невозможно. Натура мысли лучезарна, всеобща; она жаждетъ обобщенія, она вырывается во всѣ щели, утекаетъ между пальцами. Истинное осуществленіе мысли не въ кастѣ, а въ чело-вѣчествѣ; она не можетъ ограничиться тѣснымъ кругомъ цеха; мысль не знаетъ супружеской вѣрности—ея объятія всѣмъ; она только для того не существуетъ, кто хочетъ эгоистически владѣть ею. Цехъ падаетъ по мѣрѣ того, какъ массы постигаютъ мысль и симпатизируютъ съ нею; жалѣтъ нечего—онъ сдѣлалъ свое. Цѣль отторженія непремѣнно единеніе, общеніе. Люди выходятъ изъ дому, чтобъ возвратиться съ новыми пріобрѣтеніями; навсегда домъ оставляютъ одни бродяги. Таковъ путь касты. Можно предположить, что *rouge la bonne bouche* цехъ чело-вѣчества обниметъ всѣ прочіе. Это еще не скоро. Пока—чело-вѣкъ готовъ принять всякое званіе, но къ званію чело-вѣка не привыкъ.

Современная наука начинаетъ входить въ ту пору зрѣлости, въ которой обнаруженіе, отданіе себя всѣмъ становится потребностью. Ей скучно и тѣсно въ аудиторіяхъ и конференц-залахъ; она рвется на волю, она хочетъ имѣть дѣйствительный голосъ въ дѣйствительныхъ областяхъ жизни. Не смотря на такое направленіе, наука остается при одномъ желаніи и не можетъ войти живымъ элементомъ въ стремительный потокъ практическихъ сферъ, пока она въ рукахъ касты ученыхъ; одни люди жизни могутъ внѣдрить ее въ жизнь. Великое дѣло началось; оно идетъ тихо; наука дорабатываетъ кое-что въ области отвлеченностей, столь же необходимой для науки, какъ и выходъ изъ нея. Для массъ наука должна родиться не ребенкомъ, а въ полномъ вооруженіи, какъ Паллада. Прежде, нежели она предложитъ плодъ свой, она должна совершить въ себѣ и сознать, что совершила все, къ чему была призвана въ своей сферѣ; она близка къ этому. Но люди смотрятъ доселѣ на науку съ недо-вѣріемъ, и недо-вѣріе это прекрас-

но; вѣрное, но темное чувство убѣждаетъ ихъ, что въ ней должно быть разрѣшеніе величайшихъ вопросовъ, а между-тѣмъ передъ ихъ глазами ученые по большей части занимаются мелочами, пустыми диспутами, вопросами, лишенными жизни, и отворачиваются отъ общечеловѣческихъ интересовъ; предчувствуютъ, что наука общее достояніе всѣхъ, а между тѣмъ видятъ, что къ ней приступа нѣтъ, что она говоритъ страннымъ и труднопонятнымъ языкомъ. Люди отворачиваются отъ науки, такъ какъ ученые отъ людей. Вина, конечно, не въ наукѣ и не въ людяхъ, а между ними. Лучъ науки, чтобъ достигнуть обыкновенныхъ людей, долженъ пройти сквозь такіе густые туманы и болотистыя испаренія, что достигаетъ ихъ подкрашенный, непохожій самъ на себя,—а по немъ-то и судятъ. Первый шагъ къ освобожденію науки есть сознаніе препятствій, обличеніе ложныхъ друзей, воображающихъ, что ее доселѣ можно пеленать схоластическимъ свивальникомъ, и что она, живая, будетъ лежать какъ египетская мумія. Туманная среда, окружающая науку, вся наполнена ея друзьями; но эти друзья ея опаснѣйшіе враги. Они живутъ какъ совы подъ кровомъ храма Паллады и выдаютъ себя за хозяевъ въ то время, какъ они работники или праздношатающіеся. Они заслужили всѣ нареканія, всѣ упреки, дѣлаемые наукѣ. Поверхностный дилеттантизмъ и ремесленническая спеціальность ученыхъ *ex officio* — два берега науки, удерживающіе этотъ Ниль отъ плодоноснаго разлива. О дилеттантизмѣ мы недавно говорили, но считаемъ не вовсе-излишнимъ упомянуть объ немъ здѣсь, какъ о совершеннѣйшей противоположности спеціализму. Противоположность объясняетъ иногда лучше сходства.

Дилеттантизмъ—любовь къ наукѣ, сопряженная съ совершеннымъ отсутствіемъ пониманья ея; онъ расплывается въ своей любви по морю вѣдѣнія и не можетъ сосредотчиться; онъ доволенъ тѣмъ, что любитъ и не достигаетъ ничего, не печется ни о чемъ, ни даже о взаимной любви; это платоническая, романтическая страсть къ наукѣ, такая любовь къ ней, отъ которой дѣтей не бываетъ. Дилеттанты съ восторгомъ говорятъ о слабости и высотѣ науки, пренебрегаютъ иными рѣчами, предоставляя ихъ толпѣ, но смертельно боятся вопросовъ и измѣннически продаютъ науку, какъ-

только ихъ начнутъ тѣснить логикой. Дилеттанты—это люди предисловія, заглавнаго листа,—люди, ходящіе около горшка въ то время, какъ другіе ѣдятъ. Жерновикъ училъ, помнится, англійскаго короля играть на скрипкѣ. Король былъ дилеттантъ, т. е. любилъ музыку и не умѣлъ играть. Однажды онъ спросилъ Жерновика, къ какому разряду скрипачей онъ его относитъ—„ко второму“, отвѣчалъ артистъ. „Кого же вы еще причисляете къ этому разряду?“ — „Многихъ, государь; я вообще дѣлю родъ человѣческій относительно скрипичной игры на три разряда: первый, самый большой, люди неумѣющіе играть на скрипкѣ; второй, также довольно-многочисленный, люди—не то, чтобъ умѣющіе играть, но любящіе безпрестанно играть на скрипкѣ; третій очень бѣденъ: къ нему причисляются нѣсколько человѣкъ знающихъ музыку и иногда прекрасно играющихъ на скрипкѣ. Ваше величество, конечно, ужь перешли изъ перваго разряда во второй“. Не знаю, былъ ли доволенъ этимъ отвѣтомъ король, но лучше о дилеттантизмѣ ничего нельзя сказать, и Жерновикъ превосходно замѣтилъ, что именно второй разрядъ *безпрерывно* играетъ; у дилеттантовъ дѣлается болѣзнь, помѣшательство отъ избытка любовной страсти. Дилеттантизмъ дѣло не новое. Неронъ былъ дилеттантъ музыки, Генрихъ VIII—дилеттантъ теологіи. Дилеттанты принимаютъ наружный видъ своей эпохи. Въ XVIII вѣкѣ, они были веселы, шумѣли и назывались *esprit fort*; въ XIX вѣкѣ, дилеттантъ имѣетъ грустную и неразгаданную думу; онъ любитъ науку, но *знаетъ* ея коварность; онъ не много мистикъ и читаетъ Шведенборга, но также немного скептикъ и заглядываетъ въ Байрона; онъ часто говоритъ съ Гамлетомъ: „нѣтъ, другъ Гораціо, есть много вещей, которыхъ не понимаютъ ученые“—а про себя думаетъ, что понимаетъ все на свѣтѣ. Наконецъ, дилеттантъ безвреднѣйшій и бесполезнѣйшій изъ смертныхъ; онъ кротко проводитъ жизнь свою въ бесѣдахъ съ мудрецами всѣхъ вѣковъ, пренебрегая матеріальными занятіями; о чемъ они бесѣдуютъ, кто ихъ знаетъ! самимъ дилеттантамъ это еще не ясно—но какъ-то хорошо въ своемъ полумракѣ.

Каста ученыхъ (die Fachgelehrten), ученыхъ по званію, по диплому, по чувству собственнаго достоинства, составляетъ совершенную противоположность дилеттантовъ. Главнѣйшій недостатокъ

этой касты состоитъ въ томъ, что она каста; второй недостатокъ — специализмъ, въ которомъ обыкновенно затеряны ученые. Чтобы разомъ выразить отношеніе касты ученыхъ къ наукѣ, вспомнимъ, что она развилась болѣе нежели гдѣ-нибудь въ Китаѣ. Китай считается многими очень благоденствующимъ патріархальнымъ царствомъ; это можетъ быть; ученыхъ тамъ бездна; преимущества ученыхъ въ службѣ у нихъ споконъ вѣка—но науки слѣда нѣтъ... „Да у нихъ своя наука!“ И противъ этого не будемъ спорить; но мы говоримъ о наукѣ, человѣчеству принадлежащей, а не Китаю, не Японіи и другимъ ученымъ государствамъ. У насъ мальчишекъ отдаютъ въ науку къ кузнецамъ, столярамъ: думать надобно, что и у нихъ есть своя наука.—Впрочемъ, и для истинной науки былъ возрастъ, въ которой каста ученыхъ какъ каста была необходима, въ періодъ неразвитости, когда наука была отринута, ея права не признаны, она сама подчинена авторитетамъ. Но это время прошло. Такъ у касты ученыхъ, у людей знанія въ среднихъ вѣкахъ, даже до XVII столѣтія, окруженныхъ грубыми и дикими понятіями, хранилось и святое наслѣдіе древняго міра, и воспоминаніе прошедшихъ дѣяній, и мысль эпохи; они въ тиши работали, боясь гоненій, преслѣдованій,—и слава послѣ озарила скрытый трудъ ихъ. Ученые хранили тогда науку какъ тайну и говорили объ ней языкомъ недоступнымъ толпѣ, намѣренно скрывая свою мысль, боясь грубаго непониманья. Тогда было доблестно принадлежать къ леви-тамъ науки; тогда званіе ученаго чаще вело на костеръ, нежели въ академію. И они шли, вдохновенные истиной. Иордано Бруно былъ ученый, и Галилей былъ ученый. Тогда ученые, какъ сословіе, были своевременны; тогда въ аудиторіяхъ обсуживались величайшіе вопросы того вѣка; кругъ занятій ихъ былъ пространенъ, и ученые озарялись первые восходящими лучами разума, какъ нагорные дубы—гордые и мощные. Съ-тѣхъ-поръ все перемѣнилось; науки никто не гонитъ, общественное сознаніе dorosло до уваженія къ наукѣ, до желанія ея, и справедливо стало протестовать противъ монополіи ученыхъ; но ревнивая каста хочетъ удержать свѣтъ за собою, окружаетъ науку лѣсомъ схоластики, варварской терминологіи, тяжелымъ и отталкивающимъ языкомъ. Такъ огородники сажаютъ около грядъ своихъ колючее растеніе—чтобъ дерз-

кій, намѣревающійся перелѣзть, сперва десять разъ укололся и изорвалъ платье въ клочки. Все тщетно! Время аристократіи знанія миновало. Изобрѣтеніе книгопечатанія, безъ всѣхъ остальныхъ содѣйствовавшихъ причинъ, должно было нанести рѣшительный ударъ спрятанности вѣдѣнія, приобщая къ нему всѣхъ желающихъ. Наконецъ, послѣдняя возможность удержать науку въ цехѣ была основана на разработываніи чисто-теоретическихъ сторонъ, не вездѣ недоступныхъ профанамъ. Но современная наука, сверхъ теоретическихъ отвлеченностей, пишетъ инія притязанія: она, будто забывая свое достоинство, хочетъ съ своего трона сойти въ жизнь. Ученымъ ея не удержать; это не подвержено сомнѣнію.

Каста ученыхъ нашего времени образовалась послѣ реформации и всего болѣе въ мірѣ реформаціонномъ. Объ ученыхъ корпораціяхъ въ среднихъ вѣкахъ и въ католическомъ мірѣ мы упомянули; ихъ не надо смѣшивать съ новой кастой ученыхъ, выращенной въ Германіи въ послѣдніе вѣка. Правда, старая каста ученыхъ налагала на умы ярмо своего авторитета, но не надобно забывать, во-первыхъ, состояніе умовъ того времени, во-вторыхъ, что и ихъ шея была стерта отъ ярма, тяжело лежавшаго на ней. Во всемъ реформаціонномъ образованіи была какая-то недоуѣлка: не доставало геройства идти до послѣдняго слѣдствія, не доставало геройства логики: часто ставили громогласно начало и робко отрекались отъ естественныхъ послѣдствій; часто разрушали зданіе и берегли мусоръ и битый кирпичъ; часто не умѣли ни благочестиво уважить существующее, ни смѣло отречься отъ него. Мысль реформации пришла въ дѣйствіе какъ-то преждевременно, и отъ того она отстала и была обойдена. Каста ученыхъ, образовавшаяся въ мірѣ реформаціонномъ, никогда не имѣла силы ни составить точно замѣненную въ себѣ твердую и вѣдающую свои предѣлы корпорацію, ни распуститься въ массы. Она никогда не имѣла энергіи ни пристать къ положительному порядку дѣлъ, ни стать противъ него; отъ того на нее со всѣхъ сторонъ стали смотрѣть косо, какъ на что-то постороннее; отъ того она сама стала убѣгать живыхъ вопросовъ и сосредоточиваться на мертвыхъ. Нить, связующая касту съ обществомъ, должна была ослабнуть, а прямымъ слѣдствіемъ этого—взаимное непониманье, взаимное равно-

душіе. Какое то поэтическое провидѣніе указало на слово *гуманіора*,—слово прекрасное, пророческое; но въ гуманіорахъ ученыхъ не было ничего человѣческаго. Слово это было отнесено исключительно къ филологіи, какъ будто тутъ участвовала иронія, какъ будто они понимали, что древній міръ человѣчественнѣе ихъ. Педантизмъ, распаденіе съ жизнію, ничтожныя занятія, типъ которыхъ меледа—какой-то призрачный трудъ, трудъ занимающій, а въ сущности пустой; далѣе, искусственныя построенія, неприлагаемыя теоріи, невѣдѣніе практики и надменное самодовольство — вотъ условія, подъ которыми развилось блѣднолистое дерево цеховой учености. Ученые принесли свою пользу наукѣ, которую непризнать было бы неблагодарно; но совсѣмъ не потому, что они стремились составить касту: напротивъ, одни индивидуальныя труды были истинно-полезны. Послѣ католической науки, новая наука, рожденная среди отрицанья и борьбы, требовала иныхъ основаній, болѣе положительныхъ, фактическихъ; но не было у нея матеріаловъ, запасовъ, обслѣдованныхъ событій и наблюденій; войско фактовъ было недостаточно. Ученые разобрали по клочку поле науки и разсыпались по немъ; имъ досталась тягостная доля *de fricher le terrain*, и въ этой-то работѣ, составляющей важнѣйшую услугу ихъ, они утратили широкій взглядъ и сдѣлались ремесленниками, оставаясь при мысли, что они пророки. На ихъ потѣ, на ихъ утомительномъ трудѣ цѣлыхъ поколѣній возрасла истинная наука — и работники, какъ всегда бываетъ, всего менѣе воспользовались результатомъ своего труда.

Противоположность романскаго характера и германскаго не могла не отразиться во вновь-образовавшемся сословіи ученыхъ. Французскіе ученые сдѣлались больше наблюдатели и матеріалисты, германскіе больше схоласты и формалисты; одни больше занимаются естествовѣдѣніемъ, прикладными частями, и притомъ они славные математики; вторые занимаются филологіей, всѣми неприлагаемыми отраслями науки, и притомъ они тонкіе теологи. Одни въ наукѣ видятъ практическую пользу, другіе поэтическую безполезность. Французы больше спеціалисты — но меньше каста; Германцы наоборотъ. Ученые въ Германіи похожи на касту жрецовъ въ Египтѣ: они составляютъ особый народъ, въ рукахъ котораго лежитъ

дѣло общественнаго воспитанія, общественнаго мышленія, леченія, ученія и проч. Добрымъ Германцамъ оставалось пить, ѣсть и subig лечение, ученье, мышленье имущихъ право на то по диплому. Во Франціи ученые не стоятъ на первомъ планѣ и, слѣдственно, не имѣютъ такого вліянія, какъ ученые въ Германіи. Во Франціи они всѣ болѣе или менѣе устремлены на практическія улучшения—это огромный выходъ въ жизнь. Если ихъ по справедливости можно упрекнуть въ спеціальности больше, нежели Германцевъ, то навѣрное нельзя упрекнуть въ бесполезности. Франція именно стоитъ во главѣ популяризаціи науки; какъ ловко она умѣла, вѣкъ тому назадъ, свое воззрѣніе (каково бы оно ни было) облечь въ современно-народную, всѣмъ доступную, проникнутую жизнію, форму! Французъ не можетъ удовлетвориться въ одной отвлеченной сферѣ; ему нужна и гостиная, и площадь, и пѣсня Беранжѣ, и листъ газеты; за него нѣчего бояться, онъ долго въ кастѣ не останется. Совсѣмъ не таковы цеховые ученые германскіе. Главный, отличительный признакъ ихъ — быть валомъ отдѣлену отъ жизни; это отшельники среднихъ вѣковъ, имѣющіе свой міръ, свои интересы, свои обычаи. Теологія, древніе писатели, еврейскій языкъ, объясненія темныхъ фразъ какой нибудь рукописи, опыты безъ связи, наблюденія безъ общей цѣли — вотъ ихъ предметъ; когда же имъ случится имѣть дѣло съ дѣйствительностію, они хотятъ подчинить ее своимъ категоріямъ, и изъ этого выходятъ пресмѣшныя уродства. Академическій, ученый міръ въ Германіи составляетъ особое государство, которому дѣла нѣтъ до Германіи. По правдѣ, послѣ тридцати-лѣтней войны, не много можно было заимствовать школѣ изъ жизни. Вина обоюдная. Прозывая въ вѣчномъ занятіи схоластическими предметами, ученые приняли слой, рѣзко отдѣляющій ихъ отъ прочихъ людей. Жизнь, медленно и скучно процвѣтавшая за стѣнами академіи, не манила къ себѣ; она въ своемъ филистерствѣ была столько же невыносимо скучна, какъ ученость въ своемъ. Несмотря на это распаденіе съ жизнію, ученые, памятуя, какой могучій голосъ имѣли университеты и доктора въ средніе вѣка, когда къ нимъ относились съ вопросами глубочайшей важности, захотѣли вершать безапелляціоннымъ судомъ всѣ сціентифическіе и художественные

споры; они, подрывшіе во имя всеобщаго права изслѣдованія касту католическихъ духовныхъ пастырей, показывали поползновеніе составить свой цехъ пастырей свѣтскихъ. Не удалось имъ, лишеннымъ, съ одной стороны, энергіи католическихъ пропагандистовъ, съ другой—невѣжества массъ. Новая каста людопасовъ не состоялась; пасти людей стало труднѣе; люди смотрятъ на ученыхъ дѣль мастеровъ, какъ на равныхъ, ~~какъ~~ на людей, да еще какъ на людей, недошедшихъ до полной жизни, а пробавляющихся одной обителью изъ многихъ. Наука открытый столъ для всѣхъ и каждого, лишь бы былъ голодъ, лишь бы потребность манны небесной развилась. Стремленіе къ истинѣ, къ знанію, не исключаетъ никакимъ образомъ частнаго употребленія жизни; можно равно быть при этомъ химикомъ, медикомъ, архитекторомъ, купцомъ. Никакъ не можно думать, чтобъ спеціально-ученый имѣлъ большія права на истину; онъ имѣетъ только большія притязанія на нее. Отчего человѣку, проводящему жизнь въ монотонномъ и одностороннемъ занятіи какимъ-нибудь исключительнымъ предметомъ, имѣть болѣе ясный взглядъ, болѣе глубокую мысль, нежели другому, искусившемуся самыми событіями, встрѣтившемуся въ тысячѣ разныхъ столкновеній съ людьми? Напротивъ, цеховой ученый внѣ своего предмета за что не пріймется, пріймется лѣвой рукой. Онъ не нуженъ во всякомъ живомъ вопросѣ. Онъ всѣхъ менѣе подозрѣваетъ великую важность науки; онъ ея не знаетъ изъ за своего частнаго предмета, онъ свой предметъ считаетъ наукой. Ученые въ крайнемъ развитіи своемъ, заняли въ обществѣ мѣсто втораго желудка животныхъ, жующихъ жвачку: въ него никогда не попадаетъ свѣжая пища,—одна пережеванная, такая, которую жуютъ изъ удовольствія жевать. Массы дѣйствуютъ, проливаютъ кровь и потъ—а ученые являются послѣ рассуждать о происшествіи. Поэты, художники творятъ, массы восхищаются ихъ твореніями, — ученые пишутъ коментаріи, грамматическіе и всяческіе разборы. Все это имѣетъ свою пользу; но несправедливость въ томъ, что они себя считаютъ по праву головою выше насъ, жрецами Паллады, ея любовниками, хуже — мужьями ея. Съ другой стороны, было бы еще страннѣе, еслибъ мы сказали, что ученые не могутъ знать истины, что они внѣ ея. Духъ, стремящійся человѣкъ къ ис-

тинѣ, не исключаетъ никого. Не всѣ ученые принадлежатъ къ *цеховымъ* ученымъ; многіе *истинно-ученые* дѣлаются, подавляя въ себѣ школьность, *образованными* (*) людьми, выходятъ изъ цеха въ человѣчество. *Безнадежные* цеховые это рѣшительные и отчаянные специалисты и схоластики,—тѣ, на которыхъ намекалъ Жан-Поль, говоря: „скоро поваренное искусство разовьется до того, что жарящій форели не будетъ умѣть жарить карпа.“ Вотъ эти-то повара карповъ и форелей составляютъ массу ученой касты, въ которой творятся всякаго рода лексиконы, таблицы, наблюденія и все то, что требуетъ долготерпѣнія и душу мертву. Ихъ въ людей развить трудно; они крайность односторонняго направленія учености; мало того, что они умрутъ въ своей односторонности: они бревнами лежатъ на дорогѣ всякаго великаго усовершенія, — не потому, чтобъ не хотѣли улучшенія науки, а потому что они только то усовершеніе признають, которое вытекло съ соблюденіемъ ихъ ритуала и формы, или которое они сами обработали. У нихъ метода одна—анатомическая: для того, чтобъ понять организмъ, они дѣлаютъ аутопсію. Кто убилъ ученіе Лейбница и далъ ему труповой видъ школьности, какъ не ученые прозекторы? Кто изъ живаго, всеобъемлющаго ученія Гегеля стремился сдѣлать схоластическій, безжизненный, страшный скелетъ?—берлинскіе профессора. Греція, умѣвшая развѣивать индивидуальности до какой-то художественной оконченности и высоко-человѣческой полноты, мало знала въ цвѣтуція времена свои ученыхъ въ нашемъ смыслѣ; ея мыслители, ея историки, ея поэты были прежде всего граждане, люди жизни, люди общественнаго совѣта, площади, военнаго стана: отъ того это гармонически уравновѣшенное, прекрасное своимъ аккордомъ, многостороннее развитіе великихъ личностей ихъ науки и искусства — Сократа, Платона, Эсхила, Ксенофонта и другихъ. А наши ученые? Сколько профессоровъ въ Германіи спокойно читали свой схоластическій бредъ во время наполеоновской драмы и спокойно справлялись на картѣ, гдѣ Ауэрштетъ, Ваграмъ, съ тѣмъ любознательнымъ бездуніемъ, съ которымъ на дру-

(*) Разумѣется, слово *образованный* принято въ истинномъ смыслѣ его, а не въ томъ, въ которомъ его употребляетъ, наприм. жена городничаго въ „Ревизорѣ.“

гой картѣ отмѣчали они путь Одиссея, читая Гомера! Одинъ Фихте, вдохновенный и глубокий, громко сказалъ, что отечество въ опасности, и бросилъ на время книгу. А Гёте.... прочтите его переписку того времени! Конечно, Гёте недосыгаемо выше школьной односторонности: мы доселѣ стоимъ передъ его грозной и величественной тѣнью съ глубокимъ удивленіемъ, съ тѣмъ удивленіемъ, съ которымъ останавливаемся передъ лукзорскимъ обелискомъ—великимъ памятникомъ какой то иной эпохи, великой, но прошлой (*), не нашей! Ученый (**) до такой степени разобщился съ современностью, до такой степени завялъ, вымеръ съ трехъ сторонъ, что надобно почти не человѣческія усилія, чтобъ ему войти живымъ звеномъ въ живую цѣпь. Образованный человѣкъ не считаетъ ничего человѣческаго чуждымъ себѣ: онъ сочувствуетъ всему окружающему; для ученаго—наоборотъ: ему все человѣческое чуждо, кромѣ избраннаго имъ предмета, какъ бы этотъ предметъ самъ въ себѣ ни былъ ограниченъ. Образованный человѣкъ мыслить по свободному побужденію, по благородству человѣческой природы, и мысль его открыта, свободна: ученый мыслить по обязанности, по возложенному на себя обѣту, и отъ того въ его мысли есть что то ремесленническое, и она всегда подъ-авторитетна. Ученый имѣетъ часть и въ ней; онъ долженъ быть уменъ: образованный человѣкъ не имѣетъ права быть глупымъ ни въ чемъ. Образованный человѣкъ можетъ знать и не знать по латинѣ, ученый долженъ знать по-латинѣ.... Не смѣйтесь надъ этимъ замѣчаніемъ: я и здѣсь вижу слѣдъ окостенѣлаго духа касты. Есть великія поэмы, великія творенія, имѣющія всемірное значеніе,—вѣчныя пѣсни, завѣщаемыя изъ вѣка въ вѣкъ; нѣтъ сколько-нибудь образованнаго человѣка, который бы не зналъ ихъ, не читалъ ихъ, не прожилъ ихъ: цеховой ученый навѣрное не читалъ ихъ, если онъ не

(*) Не помню въ какой то, недавно вышедшей въ Германіи брошюрѣ было сказано: „Въ 1832 году, въ томъ замѣчательномъ году, когда умеръ послѣдній Могиканъ нашей великой литературы“.—Да!

(**) Считаю необходимымъ еще разъ сказать, что, дѣло идетъ единственно и исключительно о *цеховыхъ ученыхъ*, и что все сказанное только справедливо въ антитетическомъ смыслѣ; *истинный* ученый всегда будетъ просто человѣкъ—и человечество всегда съ уваженіемъ поклонится ему.

относятся прямо къ его предмету. На что химику „Гамлетъ“? На что физику „Дон-Хуанъ“? Есть еще болѣе-странное явленіе, особенно часто встрѣчающееся между германскими учеными: нѣкоторые изъ нихъ все читали и все читаютъ,—но понимаютъ только по одной своей части; во всѣхъ же другихъ они изумляютъ сочетаніемъ огромныхъ свѣдѣній съ всесовершеннѣйшею тупостью, напоминающею иногда наивность ребяческаго возраста: „они прослушали всѣ звуки, но гармонія не слышали,“ какъ сказано въ эпиграфѣ.—Степень цеховой учености опредѣляется рѣшительно памятью и трудолюбіемъ: кто помнитъ наибольшій запасъ вовсе ненужныхъ свѣдѣній объ одномъ предметѣ, у кого въ груди не бьется сердце, не кипятъ страсти, требующія не книжнаго удовлетворенія, а подѣйствительнѣе; кто имѣлъ терпѣніе лѣтъ двадцать твердить частности и случайности, относящіяся къ одному предмету—тотъ и ученѣе. Безъ-сомнѣнія, господинъ, котораго привозили къ князю Потемкину, и который зналъ на память мѣсяцесловъ, былъ ученый—и еще болѣе, самъ изобрѣлъ *свою* науку. Ученые трудятся, пишутъ только для ученыхъ; для общества, для массъ пишутъ образованные люди; большая часть писателей, произведшихъ огромное вліяніе, потрясавшихъ, двигавшихъ массы, не принадлежатъ къ ученымъ:—Байронъ, Вальтеръ Скоттъ, Вольтеръ, Руссо. Если же изъ среды ученыхъ какой-нибудь гигантъ пробьется и вырвется въ жизнь, они отрекаются отъ него, какъ блуднаго сына, какъ отъ ренегата. Копернику не могли простить геніальность, надъ Колумбомъ смѣялись, Гегеля обвиняли въ невѣжествѣ.—Ученые пишутъ съ ужаснымъ трудомъ; одинъ трудъ только тягостнѣе и есть: это чтеніе ихъ *doctes écrits* (*); впрочемъ, такого труда никто и не предпринимаетъ; ученые общества, академіи, бібліотеки покупаютъ ихъ фоліанты; иногда нуждающіеся въ нихъ справляются,—но никогда никто не читаетъ ихъ отъ доски до доски. Собраніе ученыхъ какой-нибудь академіи было бы похоже на нашу роговую музыку, гдѣ каждый музыкантъ всю жизнь дудитъ одну и ту же ноту, еслибъ у нихъ былъ капель-

(*) Гегель, говоря гдѣ-то объ гигантскомъ трудѣ читать какую-то ученую нѣмецкую книгу, присовокупилъ, что ее вѣрно было легче писать.

мейстеръ и ensemble (а въ ensemble и состоитъ наука). Они похожи на роговыхъ музыкантовъ, спорящихъ между собою каждый о превосходствѣ своей ноты и дудящій, для доказательства, всю силу легкихъ. Имъ въ голову не приходитъ, что музыка будетъ только тогда, когда всѣ звуки поглотятся, уничтожатся въ одной ихъ объемлющей гармоніи.

Различіе ученыхъ съ дилеттантами весьма-ярко. Дилеттанты любятъ науку—но не занимаются ею; они разсѣваются по лазури, носящейся надъ наукой, которая точно такъ же ничего, какъ лазурь земной атмосферы. Для ученыхъ наука—барщина, на которой они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками, мелочами, они рѣшительно не имѣютъ досуга бросить взглядъ на все поле. Дилеттанты смотрятъ въ телескопъ: отъ-того видятъ только тѣ предметы, которые по-меньшей-мѣрѣ далеки какъ луна отъ земли,—а земнаго и близкаго ничего не видятъ. Ученые смотрятъ въ микроскопъ, и потому не могутъ видѣть ничего большаго; для того, чтобъ быть ими замѣченнымъ, надобно быть незамѣтнымъ глазу человѣческому; для нихъ существуетъ не кристальный ручей—а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилеттанты любятъ науку, такъ какъ мы любимъ Сатурномъ, на благородной дистанціи, и ограничиваясь знаніемъ, что онъ свѣтится и что на немъ обручъ. Ученые такъ близко подошли къ храму науки, что не видятъ храма и ничего не видятъ кромѣ кирпича, къ которому пришелся ихъ носъ. Дилеттанты—туристы въ областяхъ науки и, какъ вообще туристы, знаютъ о странахъ, въ которыхъ они были, общія замѣчанія, да всякій вздоръ, газетную клевету, свѣтскія сплетни, придворныя интриги. Ученые—фабричные работники и, какъ вообще работники, лишены умственной развязности, что не мѣшаетъ имъ быть отличными мастерами своего дѣла, внѣ котораго они никуда негодны. Каждый, дилеттантъ занимается всѣмъ scibile, да еще, сверхъ того, тѣмъ, чего знать нельзя, т. е. мистицизмомъ, магнетизмомъ, физиогномикой, гомеопатіей, гидронпатіей и пр. Ученый, наоборотъ, посвящаетъ себя одной главѣ, отдѣльной вѣтви какой-нибудь спеціальной науки и, кромѣ ея, ничего не знаетъ и знать не хочетъ. Такія занятія имѣютъ иногда свою пользу, доставляя факты для истинной нау-

ки. Отъ дилеттантовъ, само собою разумѣется, никому и ничему нѣтъ пользы. Многіе думаютъ, что самоотверженіе, съ которымъ ученые обрекаютъ себя на кабинетную жизнь, на скучную работу, однообразную и утомительную, для пользы своей науки, заслуживаетъ великой благодарности со стороны общества. Мнѣ кажется, награда всякому труду въ самомъ трудѣ, въ дѣятельности. Но, не подымаясь въ эту сферу, разскажу одинъ старый анекдотъ.

Какой-то добрый Французъ сдѣлалъ модель парижскаго квартала изъ воска, съ удивительною отчетливостію. Окончивъ долготнѣйшій трудъ свой, онъ поднесъ его конвенту единой и нераздѣльной республики. Конвентъ, какъ извѣстно, былъ права крутаго и оригинальнаго. Сначала онъ промолчалъ: ему и безъ восковыхъ кварталиковъ было довольно дѣла—образовать нѣсколько армій, прокормить голодныхъ Парижанъ, оборониться отъ коалицій.... Наконецъ онъ добрался до модели и рѣшилъ „гражданина такого-то, котораго произведенія нельзя не признать оконченно-выполненнымъ, посадить на шесть мѣсяцевъ въ тюрьму за то, что онъ занимался бесполезнымъ дѣломъ, когда отечество было въ опасности.“ Съ одной стороны, конвентъ правъ; но вся бѣда конвента состояла въ томъ, что онъ во всѣхъ дѣлахъ смотрѣлъ съ одной стороны, да и то не съ самой пріятной. Ему не пришло въ голову, что человѣкъ, который *могъ* съ охотою заниматься годы цѣлые леплѣніемъ изъ воска, и притомъ такіе годы,—не *могъ* никуда быть иначе употребленъ. Мнѣ кажется, подобныхъ людей не слѣдуетъ ни наказывать, ни награждать. Специалисты науки находятся въ этомъ положеніи: имъ ни брани, ни похвалы; ихъ занятія, безъ сомнѣнія, не хуже, да и конечно не лучше всѣхъ будничныхъ занятій человѣческихъ. Странная несправедливость состоитъ въ томъ, что ученыхъ считаютъ выше простыхъ гражданъ, освобождаютъ отъ всякихъ общественныхъ тягостей потому что они ученые,—а они рады сидѣть въ халатѣ и представлять другимъ всѣ заботы и труды. За то, что человѣкъ имѣетъ мономанію къ камнямъ или къ медалямъ, къ раковинамъ или къ греческому языку, за это его ставятъ въ исключительное положеніе—нѣтъ достаточной причины. Между-тѣмъ, избалованные обществомъ ученые дошли-было до троглодитовски-дикаго состоянія. И

теперь, всякій знаетъ, что нѣтъ ни одного дѣла, которое можно поручить ученому: это вѣчный недоросль между людьми; онъ только не смѣшонъ въ своей лабораторіи, музеумѣ. Ученый теряетъ даже первый признакъ, отличающій человѣка отъ животнаго—общественность: онъ конфузится, боится людей; онъ отвыкъ отъ живаго слова; онъ трепещетъ передъ опасностью; онъ не умѣетъ одѣться; въ немъ что-то жалкое и дикое. Ученый—это Готтентотъ съ другой стороны, такъ какъ Хлестаковъ былъ генералъ съ другой стороны. Таково клеймо, которымъ отмѣчаетъ Немезида людей, думающихъ выйти изъ человѣчества и неимѣющихъ на то права. А они требуютъ, чтобъ мы признали ихъ превосходство надъ нами; требуютъ какого-то спасибо отъ человѣчества, воображаютъ себя въ авангардѣ его! Никогда! Ученые—это чиновники, служащіе идеѣ, это бюрократія науки, ея писцы, столоначальники, регистраторы. Чиновники не принадлежатъ къ аристократіи, и ученые не могутъ считать себя въ передовой фалангѣ человѣчества, которая первая освѣщается восходящей идеей и первая побивается грозой. Въ этой фалангѣ можетъ быть и ученый, такъ какъ можетъ быть и воинъ, и артистъ, и женщина, и купецъ. Но они избираются не по званіямъ, а потому-что на челѣ ихъ увидѣли слѣды божественной искры; они принадлежатъ не къ ученому сословію, а просто къ тому кругу образованныхъ людей, который развился до живаго уразумѣнія понятія человѣчества и современности. Этотъ кругъ, болѣе или менѣе просторный, смотря по степени просвѣщенія страны—есть живая, полная силъ среда, пышный цвѣтъ, въ который втекаютъ разными жилами всѣ соки, трудно разработанные, и преобразуются въ пышный вѣнчикъ. Въ немъ настоящее, переходя въ будущее, развертывается во всей красѣ и благоуханіи для того, чтобъ насладиться настоящимъ; но предупредимъ недоразумѣніе—эта аристократія далеко незамкнута: она, какъ Оивы, имѣетъ сто широкихъ вратъ, вѣчно открытыхъ, вѣчно-зовущихъ.

Каждый можетъ войти въ ворота—но труднѣе въ нихъ пройти ученому, нежели всякому другому. Ученому мѣшаетъ его дипломъ: дипломъ—чрезвычайное препятствіе развитію; дипломъ свидѣлствуетъ, что дѣло кончено, *consomatum est*; носитель его совер-

шилъ въ себѣ науку, знаетъ ее. Жан-Поль говоритъ въ Леканѣ: „Когда ребенокъ сказалъ неправду, скажите ему, что онъ сдѣлалъ дурно, скажите, что онъ *солгалъ*, но не называйте *лгуномъ*; онъ наконецъ повѣритъ, что онъ лгунъ“. Это замѣчаніе очень идетъ сюда: получивъ дипломъ, человѣкъ въ-самомъ-дѣлѣ воображаетъ, что онъ знаетъ науку, въ то время, когда дипломъ имѣетъ собственно одно гражданское значеніе; но носитель его чувствуетъ себя отдѣленнымъ отъ рода человѣческаго: онъ на людей безъ диплома смотритъ какъ на профановъ. Дипломъ, точно іудейское обрѣзаніе, дѣлитъ людей на два человѣчества. Юноша, получившій дипломъ, или принимаетъ его за актъ освобожденія отъ школы, за подорожную въ жизни, — и тогда дипломъ не сдѣлаетъ ни вреда, ни пользы; или онъ въ гордомъ сознаніи отдѣляется отъ людей и принимаетъ дипломъ за право гражданства въ республикѣ *litterarum*, и идетъ подвизаться на схоластическомъ форумѣ ея. Республика ученыхъ — худшая республика изъ всѣхъ когда-нибудь бывшихъ, не исключая Парагвайской во время управленія ея *ученымъ докторомъ* Франсіа. Юношу вступившаго, встрѣчаютъ нравы и обычаи окостенѣлые и наросшіе поколѣніями; его вталкиваютъ въ споры безконечные и совершенно-безполезные; бѣдный истощаетъ свои силы, втягивается въ искусственную жизнь касты, и забываетъ мало-по-малу всѣ живые интересы, разстается съ людьми и съ современностью; съ тѣмъ вмѣстѣ начинаетъ чувствовать высоту жизни въ области схоластики, привыкаетъ говорить и писать напыщеннымъ и тяжелымъ языкомъ касты, считаетъ достойными вниманія только тѣ событія, которые случились за 800 лѣтъ и были отвергаемы по латинѣ и признаваемы по гречески. Но это еще не все: это медовый мѣсяцъ; вскорѣ имъ овладѣваетъ односторонняя исключительность (въ родѣ *idée fixe* у поврежденныхъ). Онъ предается специальности, дѣлается ремесленникомъ; наука теряетъ для него свою торжественность; для слуги нѣтъ великаго человѣка, — и цеховой ученый готовъ!

Но можетъ ли существовать наука безъ специальныхъ занятій? Развѣ энциклопедическая поверхностность, за все хватающаяся, не есть именно недостатокъ дилеттантизма? Конечно, не можетъ; но вотъ въ чемъ дѣло:

Наука—живой организмъ, которымъ развивается истина. Истинная метода одна: это собственно процессъ ея органической пластичности; форма, система—предопредѣлены въ самой сущности ея понятія и развиваются по мѣрѣ стеченія условій и возможностей осуществленія ихъ. Полная система есть расчлененіе и развитіе души науки до того, чтобъ душа стала тѣломъ и тѣло стало душою. Единство ихъ одѣйствовворяется въ методѣ. Никакая сумма свѣдѣній не составитъ науки до-тѣхъ-поръ, пока сумма эта не обростетъ живымъ мясомъ, около одного живаго центра, то-есть не дойдетъ до пониманья себя тѣломъ его. Никакая блестящая всеобщность съ своей стороны не составитъ полного, наукообразнаго знанія, если, заключенная въ ледяную область отвлеченій, она не имѣетъ силы воплотиться, раскрыться изъ рода въ видъ, изъ всеобщаго въ *личное*, если необходимость индивидуализація, если переходъ въ міръ событий и дѣйствій не заключенъ во внутренней потребности ея, съ которой она не можетъ *совладѣть*. Все живое живо и истинно только какъ цѣлое, какъ внутреннее и внѣшнее, какъ всеобщее и единичное—сосуществующія. Жизнь связуетъ эти моменты; жизнь—процессъ ихъ вѣчнаго перехода другъ въ другъ. Одностороннее пониманье науки разрушаетъ неразрывное—то-есть, убиваетъ живое. Дилеттантизмъ и формализмъ держатся въ отвлеченной всеобщности: отъ-того у нихъ нѣтъ дѣйствительныхъ знаній, а есть только тѣни. Они легко распыляются, отъ-того, что кругомъ пустота; они для легкости ноши хотѣли отдѣлить жизнь—отъ живущаго; ноша стала, въ-самомъ-дѣлѣ, легка, потому-что такое отвлеченіе—*ничего*. А это ничего есть любимая среда дилеттантовъ всѣхъ степеней; они въ немъ видятъ безпредѣльный океанъ и довольны просторомъ для мечтаній и фантазій. Но если очевидно нѣчто-безумное въ мысли отдѣлить жизнь отъ живаго организма и между-тѣмъ сохранить ее, то ошибка специализма, конечно, не лучше. Онъ всеобщаго знать не хочетъ; онъ до него никогда не поднимается; онъ за самобытность принимаетъ всякую дробность и частность, удерживая ихъ самобытность: специализмъ можетъ дойти до каталога, до всякихъ субсумаций, но никогда не дойдетъ до ихъ внутренняго смысла, до ихъ понятія—до истины, наконецъ: потому-что въ ней надобно погубить всѣ част-

ности; путь этотъ похожъ на опредѣленіе внутреннихъ свойствъ человѣка по калошамъ и пуговицамъ. Все вниманіе специалиста обращено на частности; онъ съ каждымъ шагомъ болѣе и болѣе запутывается; частности дѣлаются дробнѣе, ничтожнѣе; дѣленіе не имѣетъ границъ; темный хаосъ случайностей стережетъ его возлѣ и увлекаетъ въ болотистую тину той *закраины* бытія, которую свѣтъ не объемлетъ: это *его* безконечное море въ противоположность дилеттантскому. Всеобщее, мысль, идея—начало, изъ котораго текутъ всѣ частности, единственная нить Аріадны, теряется у специалистовъ, упущена изъ вида за подробностями; они видятъ страшную опасность: факты, явленія, видоизмѣненія, случаи, давятъ со всѣхъ сторонъ; они чувствуютъ природный человѣку ужасъ заблудиться въ многоразличіи всякой всячины, ничѣмъ не сшитой; они такъ положительны, что не могутъ утѣшаться, какъ дилеттанты, какимъ-нибудь общимъ мѣстомъ, и въ отчаяніи, теряя единую, великую цѣль науки, ставятъ границей стремленія *Orientierung*. *Лишь бы найдтиса*, лишь бы не быть засыпану съ головой нескомъ фактовъ, сыплющихся отвсюду. Желаніе найдтиса наводитъ на искусственныя системы и теоріи, на искусственныя классификаціи и всякія построенія, о которыхъ *впередъ знаютъ*, что они не истинны. Такія теоріи трудны для изученія, потому-что онѣ противоестественны, и онѣ-то составляютъ непреоборимыя укрѣпленія, за стѣнами которыхъ сидятъ ученые себѣ-на-умѣ. Эти теоріи — наросты, бѣлмы на наукѣ; ихъ должно въ свои время срѣзать, чтобъ раскрыть зрѣніе; но они составляютъ гордость и славу ученыхъ. Въ послѣднее время, не было извѣстнаго медика, физика, химика, который не выдумалъ бы своей теоріи:—Бруссе и Гэ-Люссакъ, Тенаръ и Распайль, и *tutti quanti*. Но чѣмъ добросовѣстнѣе ученый, тѣмъ меньше онъ самъ можетъ удовлетвориться подобными теоріями: лишь только онъ принялъ *какую-нибудь*, чтобъ скрѣпить связку фактовъ, онъ наталкивается на фактъ, очевидно неидущій въ мѣру; надобно для него сдѣлать отдѣлъ, новое правило, новую гипотезу, а эта новая гипотеза противорѣчитъ старой — и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Ученый долженъ *по своей части* знать всѣ теоріи и при этомъ не забывать, что всѣ онѣ вздоръ (какъ оговариваются во всѣхъ француз-

ских курсахъ физики и химіи). Посвящая время на полезныя изученія прошедшихъ ошибокъ, онъ не можетъ найти мгновений, чтобъ заняться *не по своей части*, еще менѣе, чтобъ подняться въ сферу истинной науки, обнимающей всѣ частныя предметы, какъ свои вѣтви. Впрочемъ, ученые не вѣрятъ въ нее; они на мыслителей посматриваютъ проницески улыбаясь, какъ Наполеонъ смотрѣлъ на идеологовъ. Они люди положительнаго опыта, наблюденія. А между-тѣмъ, ни положительность, ни матеріализмъ не мѣшаютъ имъ быть по превосходству идеалистами. Искусственные методы, системы, субъективныя теоріи развѣ не крайность идеализма? Какъ бы человекъ ни считалъ себя занимающимся одними фактами, внутренняя необходимость ума увлекаетъ его въ сферу мысли, къ идеѣ, къ всеобщему; специалисты выигрываютъ упорнымъ непослушаніемъ только то, что, вмѣсто правильного пути поднятія, они блуждаютъ въ странной средѣ, которой дно — факты безъ связи, а верхъ — теоретическія мечтанія безъ связи. Поднимаясь по-своему во всеобщее, они не хотятъ упустить ни одной частности, а въ той сферѣ не принимается ничего точнаго молью: одно вѣчное, родовое, необходимое призвано въ науку и освѣщено ею. Міръ фактичскій служить, безъ-сомнѣнія, основой науки; наука, опертая не на природѣ, не на фактахъ, есть именно туманная наука дилеттантовъ. Но, съ другой стороны, факты *in studo*, взятые во всей случайности бытія, несостоятельны противъ разума, свѣтящаго въ наукѣ. Въ наукѣ природа возстановляется, освобожденная отъ власти случайности и вѣшнихъ вліяній, которая притѣсняетъ ее въ бытіи; въ наукѣ природа просвѣтляется въ чистотѣ своей логической необходимости; подавляя случайность, наука примиряетъ бытіе съ идеей, возстановляетъ естественное во всей чистотѣ, понимаетъ недостатокъ существованія (*des Daseins*) и поправляетъ его, какъ власть-имущая. Природа, такъ-сказать, жаждала своего освобожденія отъ узъ случайнаго бытія, и разумъ совершилъ это въ наукѣ. Люди отвлеченной метафизики должны опуститься изъ своего поднебесья имено въ *физику* (въ обширѣйшемъ смыслѣ слова), и въ нее же должны подняться роющіеся въ землѣ специалисты. Въ наукѣ, принимаемой такимъ образомъ, нѣтъ ни теоретическихъ мечтаній, ни

фактических случайностей: въ ней—себя и природу созерцающій разумъ.

Главное, что дѣлаетъ науку *ученыхъ* трудною и запутанною, это — метафизическія бредни и тьма-тьмушая спеціальностей, на изученіе которыхъ посвящается цѣлая жизнь и схоластическій видъ которыхъ отталкиваетъ многихъ. Но въ истинной наукѣ необходимо улетучивается то и другое, и остается стройный организмъ разумный и отъ-того *просто-понятный*. Наука достигаетъ теперь, передъ нашими глазами, до понятія себя въ истинномъ значеніи. Еслибъ не было такъ, и намъ не пришло бы въ голову говорить объ этомъ. Всегда и вѣчно будетъ техническая часть отдѣльныхъ отраслей науки, которая очень-справедливо останется въ рукахъ специалистовъ, — но не въ ней дѣло. Наука въ высшемъ смыслѣ своемъ сдѣлается доступна людямъ, и тогда только она можетъ потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Нѣтъ мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи. Буало правъ:

Tout ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement
Et les mots pour le dire, arrivent aisément.

Мы, улыбаясь, предвидимъ теперь смѣшное положенія ученыхъ, когда они хорошенько поймутъ современную науку; ея истинные результаты до такой степени просты и ясны, что они будутъ скандализованы: „Какъ! не-уже-ли мы бились и мучились цѣлую жизнь, а ларчикъ такъ просто открывался?“ Теперь еще они сколько-нибудь могутъ уважать науку, потому-что надобно имѣть нѣкоторую силу, чтобъ понять, какъ она *проста*, и нѣкоторую сноровку, чтобъ узнавать ясную истину подъ плевою схоластическихъ выраженій, а они и не догадываются объ ея простотѣ. Но если въ самомъ-дѣлѣ истинная наука такъ проста, зачѣмъ же высшіе представители ея, напр. Гегель, говорили тоже труднымъ языкомъ? Гегель, не смотря на всю мощь и величіе своего генія, былъ тоже человѣкъ; онъ испыталъ панической страхъ просто выговориться въ эпоху, выражавшуюся ломанымъ языкомъ, такъ, какъ боялся идти до послѣдняго слѣдствія своихъ началъ; у него не достало

геройства послѣдовательности, самоотверженія въ принятіи истины во всю ширину ея и чего бы она ни стоила. Величайшіе люди останавливались передъ очевиднымъ результатомъ своихъ началъ; иные, испугавшись, шли вспять, и, вмѣсто того, чтобъ искать ясности—затемняли себя. Гегель видѣлъ, что многимъ изъ общепринятаго надобно пожертвовать: ему жаль было разить; но, съ другой стороны, онъ не могъ не высказать того, что былъ призванъ высказать. Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всѣхъ слѣдствіяхъ его и ищетъ *не простаго*, естественнаго, само собою вытекающаго результата, но еще, чтобъ онъ былъ въ ладу съ существующимъ; развитіе дѣлается сложнѣе, ясность затемняется. Присовокупимъ къ этому дурную привычку говорить языкомъ школы, которую онъ по-неволѣ долженъ былъ пріобрѣсти, говоря всю жизнь съ нѣмецкими учеными. Но мощный геній его и тутъ прорывается во всемъ колоссальномъ своемъ величіи. Возлѣ запутанныхъ періодовъ, вдругъ одно слово, какъ молнія, освѣщаетъ безконечное пространство вокругъ, и душа ваша долго еще трепещетъ отъ громовыхъ раскатовъ этого слова и благоговѣетъ передъ высказавшимъ его. Нѣтъ укора отъ насъ великому мыслителю! Никто не можетъ стать на столько выше своего вѣка, чтобъ совершенно выйти изъ него, и если современное поколѣніе начинаетъ проще говорить и рука его смѣлѣе открываетъ послѣднія завѣсы Изиды, то это именно потому, что гегелева точка зрѣнія у него впередъ шла, была побѣждена для него. Человѣкъ настоящаго времени стоитъ на горѣ и разомъ обнимаетъ обширный видъ; но проложившему дорогу на гору видъ этотъ раскрывался мало-по-малу. Когда Гегель взошелъ первый, ширина вида его подавила; онъ сталъ искать своей горы: ее не было видно на вершинѣ; онъ испугался; она слишкомъ тѣсно связалась со всѣми испытаніями его, со всѣми воспоминаніями, со всѣми судьбами, которыя онъ пережилъ; онъ хотѣлъ сохранить ее. Юное поколѣніе, легко взнесшее на мощныхъ раменахъ геніальнаго мыслителя, не имѣетъ уже къ горѣ ни той любви, ни того уваженія: для него она *прошедшее*.

Когда юное возмужаетъ, когда оно привыкнетъ къ высотѣ, оглядится, почувствуетъ себя тамъ дома, перестанетъ дивиться ши-

рокому, безконечному виду и своей волѣ,—словомъ, сживется съ вершиной горы, тогда его истина, его наука выскажется просто, всякому доступно. *И это будетъ!*

1842. Ноябрь.

БУДДИЗМЪ ВЪ НАУКѢ.

— Погубящій свою душу найдетъ ее.

— Вѣра безъ дѣлъ мертва.

Наука, сказали мы прежде, провозгласила всеобщее примиреніе въ сферѣ мышленія, и жаждавшіе примиренія раздвоились: одни отвергли примиреніе науки не обсудивъ его, другіе приняли поверхностно и буквально; были и есть, само-собою разумѣется истинно-понявшіе науку—они составляютъ македонскую фалангу ея, о которой мы не предположили себѣ говорить въ рядѣ этихъ статей. Потомъ, мы сдѣлали опытъ взглянуть на не-*примиримыхъ* и видѣли, что по-большой-части имъ не позволяетъ больное и испорченное зрѣніе туда смотрѣть, куда слѣдуетъ, такъ видѣть какъ совершается, такъ понимать какъ сказано; личный недостатокъ въ органахъ зрѣнія переносится ими на зримое. Болѣзненность глаза не всегда свидѣтельствуетъ о слабости его; иногда, съ нею вмѣстѣ соединяется чрезвычайная сила, но отклоненная отъ естественнаго отправленія своего. Теперь, обратимся къ *примиреннымъ*. Въ ихъ числѣ есть люди ненадежные, положившіе оружіе при первомъ выстрѣлѣ, принявшіе всѣ условія съ самоотверженіемъ, приводящимъ въ отчаяніе, съ подозрительною безпрекословностію. Мы ихъ называли мухаммеданами въ наукѣ, но не оставимъ при нихъ этого названія, напоминающаго пестрыя и яркія картины Халифата и Алгамбры; ихъ несравненно-вѣрнѣе можно назвать буддистами въ наукѣ (*). Постараемся высказать нашу мысль о нихъ

(*) Буддисты принимаютъ существованіе за истинное зло, ибо все существующее—призракъ. Верховное бытіе для нихъ—пустота безконечнаго пространства. Переходя изъ степени въ степень, они достигаютъ высшаго конечнаго блаженства несуществованія, въ которомъ находятъ полную свободу (Клапротъ). Какое родственное сходство!

какъ-можно-яснѣе, безъ притязаній, простыми средствами разговорной рѣчи.

Наука не только провозгласила, но и сдержала слово; она дѣйствительно достигла примиренія *въ своей сферѣ*. Она явилась тѣмъ вѣчнымъ посредствомъ, которое сознаниемъ, мыслію снимаетъ противоположное, примиряетъ ихъ обличеніемъ ихъ единства, примиряетъ ихъ въ себѣ и собою, сознаниемъ себя правдой борющихся началъ. Требованіе было бы безумно, еслибъ вмѣнили ей въ обязанность совершить что-нибудь внѣ своей сферы. Сфера науки—всеобщее, мысль, разумъ, *какъ самопознающій духъ*, и въ ней она исполнила главную часть своего призванія—за остальную можно поручиться. Она поняла, сознала, развила истину разума, какъ *предлежащей дѣйствительности*; она освободила мысль міра изъ событія міра, освободила все сущее отъ случайности, распустила все твердое и неподвижное, прозрачнымъ сдѣлала темное, свѣтъ внесла въ мракъ, раскрыла вѣчное во временномъ, безконечное въ конечномъ и признала ихъ необходимое сосуществованіе; наконецъ, она разрушила китайскую стѣну, дѣлившую безусловное, истину отъ человѣка, и на развалинахъ ея водрузила знамя самозаконности разума. Останавливая человѣка на простомъ событіи чувственной достовѣрности, начавъ съ нимъ личныя умствованія, она развиваетъ въ немъ родовую идею, всеобщій разумъ, освобожденный отъ личности. Она требуетъ съ самаго начала жертвоприношенія личностію, закланія сердца—это ея *conditio sine quâ non*. И какъ бы это ужасно ни казалось, она права; у науки одна сфера всеобщаго, мысли. Разумъ не знаетъ личности *этой*; онъ знаетъ одну необходимость личностей вообще; разумъ, какъ высшая справедливость, нелицепріятенъ. Оглашенный наукой долженъ пожертвовать своей личностію, долженъ ее понять не истиннымъ, а случайнымъ, и, свергая ее, со всѣми частными убѣжденіями взойти въ храмъ науки. Этотъ искусь для однихъ слишкомъ-труденъ, для другихъ слишкомъ-легокъ. Мы видѣли, какъ дилеттантамъ наука недоступна, отъ-того, что между ими и наукой стоитъ ихъ личность; они ее удерживаютъ трепетной рукой и неподходятъ близко къ стремительному потоку ея, боясь, что быстрое движеніе волнъ унесетъ и утопитъ; а если и

подходятъ, то забота самосохраненія не дозволяетъ ничего видѣть. Такимъ людямъ наука не можетъ раскрыться, отъ-того, что они ей не раскрываются. Наука требуетъ всего человѣка, безъ заднихъ мыслей, съ готовностью все отдать и въ награду получить тяжелый крестъ *трезваго знанія*. Человѣкъ, который ничему не можетъ распахнуть груди своей, жалокъ; ему не одна наука затворяетъ свою храмину; онъ не можетъ быть ни глубоко-религіознымъ, ни истиннымъ художникомъ, ни доблестнымъ гражданиномъ; ему не встрѣтитъ ни глубокой симпатіи друга, ни пламеннаго взгляда взаимной любви. Любовь и дружба—взаимное эхо: онѣ даютъ столько, сколько берутъ. Въ противоположность этимъ скупцамъ и эгоистамъ нравственнаго міра, есть моты и расточители, не ставящіе ни во что ни себя, ни свое достояніе; радостно бѣгутъ они къ самоуничтоженію во всеобщемъ и при первомъ словѣ бросаютъ и убѣжденія свои и свою личность, какъ черное бѣлье. Но невѣста, которой они искали, своенравна; она потому не хочетъ брать душу этихъ людей, что они легко отдаютъ ее и не требуютъ назадъ,—напротивъ, довольны, что отдѣлались отъ нея. Она права: хороша личность, которую бросаютъ въ окошко! Но какъ же быть? погуби свою личность, а тамъ удерживай свою личность—логомахія новой кабалистики!

Личность погибла въ наукѣ; не имѣетъ ли личность, сверхъ призванія въ сферу всеобщаго, инаго призванія, и если то призваніе лично, то оно не можетъ поглотиться наукой, именно потому, что она улечиваетъ личное, обобщая его. Процессъ погубленія личности въ наукѣ есть процессъ становленія — въ сознательную, свободно-разумную личность изъ непосредственно-естественной; она приостановлена для того, чтобъ вновь родиться. Въѣдъ и парабола погибла въ уравненіи параболы, и цифра погибла въ формулѣ. Алгебра — логика математики; алгоритмъ ея представляетъ всеобщіе законы, результатъ и самое движеніе въ родовомъ, вѣчномъ, безличномъ видѣ. Но парабола только *притаилась* въ уравненіи, не умерла въ немъ, такъ какъ и цифра въ формулѣ. Для полученія дѣйствительно-сущаго результата, буква замѣняется цифрой, формула получаетъ живую особность, уносится въ міръ событій, изъ котораго вышла, движется и окан-

чивается практическимъ результатомъ, не уничтожая съ своей стороны формулу. Выкладка исполнила ее практическимъ одѣйствованіемъ, и по-прежнему, спокойная, царитъ въ сферѣ всеобщаго. Примѣры изъ формальной науки всегда способствуютъ къ уразумѣнію, если только мы не будемъ забывать, что спекулятивная наука *не то* формальная, что ея формула исчерпываетъ и самое содержаніе. И такъ, личность, разрѣшающаяся въ наукѣ, не безвозвратно погибла: ей надобно пройти чрезъ эту гибель, чтобъ убѣдиться въ невозможности ея. Личности надобно отречься отъ себя, для того, чтобъ сдѣлаться сосудомъ истины; забыть себя, чтобъ не стѣснять ея собою, принять истину со всѣми послѣдствіями и въ числѣ ихъ раскрыть непреложное право свое на возвращеніе самобытности. Умереть въ естественной непосредственности значитъ воскреснуть въ духѣ, а не погибнуть въ безконечномъ ниче, какъ погибаютъ буддисты. Эта побѣда надъ собою возможна и дѣйствительна, когда есть борьба; ростъ духа труденъ, какъ ростъ тѣла. То дѣлается нашимъ, что выстрадано, выработано; что даромъ свалилось, тому мы цѣны не знаемъ. Игроки бросаютъ деньги горстями. Стоило ли испытывать Авраама, еслибъ ему ничего не стоило убить Исаака? Здоровая, сильная личность не отдается наукѣ безъ боя; она даромъ не уступитъ шагъ; ей ненавистно требованіе пожертвовать собою; но непреодолимая власть влечетъ ее къ истинѣ; съ каждымъ ударомъ человѣкъ чувствуетъ, что съ нимъ борется мощный, противъ котораго силъ не довѣдетъ: стѣнная, рыдая, отдаетъ онъ по клочку все свое, и сердце и душу. Такъ Одиссей, погибая въ волнахъ и цѣпляясь за скалы, прежде нежели спасся, орумянилъ ихъ своею кровью и оставилъ на нихъ куски своего мяса. Побѣдитель безпощаденъ, требуетъ всего—и побѣжденный отдастъ все; но побѣдитель въ самомъ дѣлѣ не возьметъ: на что ему человѣческое? человѣку нужно было отдать, а не ему взять. Формалистамъ, вѣчно-находящимся въ мірѣ отвлеченномъ, уступка личностью ничего не значитъ, и потому они черезъ такую уступку ничего не приобрѣтаютъ; они забываютъ жизнь и дѣятельность; лиризмъ и страстность ихъ удовлетворяются отвлеченнымъ пониманіемъ, отъ-того имъ не стоитъ ни труда, ни страданій пожертвовать личнымъ благомъ своимъ.

Имъ убить Исаака ничего не стоитъ. Формалисты науку *изучаютъ*, какъ нѣчто внѣшнее; до нѣкоторой степени они могутъ усваивать себѣ ея остовъ, ея выраженія, полагая, что они приняли въ себя ея животворящую душу. Науку надобно прожить, чтобъ не формально усвоить ее себѣ. Переломившій ногу полѣе и тверже всякаго врача знаетъ, какая именно боль при переломѣ. Прострадать феноменологію духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, много любить и все отдать истинѣ,—такова лирическая поэма воспитанія въ науку. Наука дѣлается страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя прогнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ вызвалъ его изъ собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тутъ надобно оставить пріятную мысль благоразумно заниматься въ извѣстный часъ дня бесѣдой съ философами для образованія ума и украшенія памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они передъ нимъ, писанные огненными буквами Даніила, и тинуть куда-то въ глубь, и силъ нѣтъ противостоять чарующей силѣ пропасти, которая влечетъ къ себѣ человѣка загадочной опасностью своей. Змѣя мечетъ банкъ; игра, холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, быстро разворачивается въ отчаянное состязаніе; всѣ заповѣдныя мечты, святые, нѣжныя упованія, Олимпъ и Аидъ, надежда на будущее, довѣріе настоящему, благословеніе прошедшему, все послѣдовательно является на картѣ, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ прони и участія, повторяетъ холодными устами: „убита. Что еще поставить? все проиграно; остается поставить себя; понтёръ ставитъ, и съ той минуты игра мѣняется. Горе тому, кто не доигрался до послѣдней тали, кто остановился на проигрышѣ: или онъ падаетъ подъ тяжестію мучительнаго сомнѣнія, спѣдаемый алканіемъ горячей вѣры, или пріиметъ проигрышъ за выигрышъ и самодовольно примирится съ своимъ увѣчьемъ: первое—путь къ нравственному самоубійству, второе—къ бездушному атеизму. Личность, имѣвшая энергію себя поставить на карту, отдается наукѣ безусловно; но наука не можетъ уже поглотить такой личности, да и она сама-по-себѣ не можетъ уничтожиться во всеобщемъ—слишкомъ-просторно. Погубящій душу *найдетъ ее*. Кто

такъ дострадался до науки, тотъ усвоилъ ее себѣ не токмо какъ остовъ истины, но какъ живую истину, раскрывающуюся въ живомъ организмѣ своемъ; онъ дома въ ней, не дивится болѣе ни своей свободѣ, ни ея свѣту; но ему становится мало ея примиренія; ему мало блаженства спокойнаго созерцанія и видѣнія; ему хочется полноты упоенія и страданій жизни; ему хочется *дѣйствованія*, ибо одно дѣйствованіе можетъ вполнѣ удовлетворить человека. Дѣйствованіе сама личность. Когда Данте вступилъ въ свѣтлую область, въ которой нѣтъ ни плача, ни воздыханія; когда онъ увидѣлъ безплотныхъ жителей рая, ему стало стыдно тѣни, бросаемой ето тѣломъ. Ему, земному, не товарищи были эти свѣтлые, эфирные, и онъ пошелъ опять въ нашу юдоль, опираясь на свой посохъ бездомнаго изгнанника; но теперь ужъ онъ не потеряетъ тропинки, не упадетъ середь дороги отъ усталости и изнеможенія. Онъ пережилъ свое становленіе, выстрадалъ его; онъ блуждалъ по жизни и прошелъ мученіями ада; онъ лишился чувствъ отъ вопля и стога и раскрывалъ мутный, испуганный взоръ, вымаливая каплю утѣшенія, вмѣсто котораго снова стоны, e nuovi tormenti, e nuovi tormentati. Но онъ *дошелъ* до Люцифера, и тогда поднялся чрезъ свѣтлое чистилище въ сферу вѣчнаго блаженства безплотной жизни, узналъ, что есть міръ, въ которомъ человекъ счастливъ, отрѣшенный отъ земли,—и воротился въ жизнь и понесъ ее крестъ.

Буддисты науки, такъ или сякъ поднявшись въ сферу всеобщаго—изъ нея не выходятъ. Ихъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности и жизни. Кто имъ велитъ промѣнять обширную храмину, въ которой дѣлать нечего, а почетно, — на нашу жизнь съ ея бушующими страстями, гдѣ надобно работать, а иногда погибнуть. Одни тѣла, имѣющія удѣльный вѣсъ, тяжеле воды и тонуть; щены и солома важно плаваютъ по поверхности. Формалисты нашли примиреніе въ наукѣ, но примиреніе ложное; они больше примирились, нежели наука могла примирить; они не поняли *какъ* совершенно примиреніе въ наукѣ; вошедши съ слабымъ зрѣніемъ, съ бѣдными желаніями, они были поражены свѣтомъ и богатствомъ удовлетворенія. Имъ понравилась наука такъ же неосновательно, какъ дилеттантамъ не понравилась. Они вообразили, что

достаточно *знать* примиреніе, а одѣйствоворять его ненужно. Отступивъ отъ міра и разсматривая его съ отрицательной точки, имъ не захотѣлось снова взойти въ міръ; имъ показалось достаточноымъ знать, что хина лечитъ отъ лихорадки, для того, чтобъ вылечиться; имъ не пришло въ голову, что для человѣка наука—моментъ, по обѣимъ сторонамъ котораго жизнь: съ одной стороны стремящаяся къ нему — естественно-непосредственная, съ другой вытекающая изъ него—сознательно-свободная; они не поняли, что наука сердце, въ которое втекаетъ темная венозная кровь не для того, чтобъ остаться въ немъ, а чтобъ сочетавшись съ огненнымъ началомъ воздуха разлиться алой артеріальной кровью. Формалисты подумали, что пріѣхали въ пристань, въ то время, какъ въ-самомъ-дѣлѣ имъ слѣдовало отчаливать; они сложили руки, узнавъ въ чемъ дѣло, то-есть когда послѣдовательность заставляла ихъ раскрыть руки. Для нихъ знаніе заплатило за жизнь и имъ ея больше не нужно: они узнали, что наука цѣль самой себя и вообразили, что наука исключительная цѣль человѣка. Примиреніе науки — снова начатая борьба, достигающая примиренія въ практическихъ областяхъ; примиреніе науки въ мышленіи, но „человѣкъ не токмо мыслящее, но и дѣйствующее существо“ (*). Примиреніе науки всеобщее и отрицательное—отъ-того ей личность не нужна; положительное примирѣніе можетъ только быть въ дѣяніи свободномъ, разумномъ, сознательномъ. Въ тѣхъ сферахъ, въ которыхъ личность сохранила необходимость проявленія ея въ дѣяніяхъ очевидца, въ религій, на-примѣръ, не одно возношеніе лицъ, но и нисхожденіе къ лицамъ, сохраненіе ихъ; въ ней вѣра признана мертвою безъ дѣлъ, любовь поставлена выше всего. Отвлеченная мысль есть непрерывное произношеніе смертнаго приговора всему временному, казнъ неправого, вѣхътаго во имя вѣчнаго и непреходящаго; отъ-того, наука ежеминутно отрицаетъ воображаемую незыблемость существующаго. Дѣяніе сознательной любви творчески создательно. Любовь есть всеобщее прощеніе, снисходительное, прижимающее къ груди своей самое временное

(*) Это сказалъ Гёте; Гегель въ Проледевтикѣ (томъ XVIII, § 63) говоритъ „слово не есть еще *дѣяніе*, которое *выше* *тычи*“. И Германцы стало понимали это.

за слѣдъ вѣчнаго отпечатлѣннаго на немъ. Но чистыя отвлеченія не имѣютъ возможности существовать, противоположное находится мѣсто, вкрадывается и развивается въ домъ врага своего; отрицаніе науки чревато съ перваго появленія положительнымъ. Эта скрытая положительность освобождается любовью, струится во всѣ стороны какъ теплотворъ, непрерывно стремясь найти условія осуществленія и выхода изъ области всеобщаго отрицанія въ область свободнаго дѣянія; когда наука достигаетъ высшей точки, она естественно переходитъ самое себя. Въ наукѣ, мышленіе и бытіе примирены; но условія мира дѣланы мыслию—полный миръ въ дѣянніи. „Дѣянніе есть живое единство теоріи и практики“ сказалъ слишкомъ за двѣ тысячи лѣтъ величайшій мыслитель древняго міра (*). Въ дѣянніи, разумъ и сердце поглотились одѣйствованіемъ, исполнили въ мірѣ событій находившееся въ возможности. Мірозданіе, исторія не вѣчны ли дѣянія? Дѣянніе отвлеченнаго разума—мышленіе уничтожающее личность; человѣкъ безконеченъ въ немъ, но теряетъ себя; онъ вѣченъ въ мысли—но онъ не онъ; дѣянніе отвлеченнаго сердца, частный поступокъ, неимѣющій возможности раскрыться во всеобщее; въ сердцѣ человѣкъ у себя—не преходящъ. Въ разумномъ, нравственно-свободномъ и страстно-энергическомъ дѣянніи, человѣкъ достигаетъ дѣйствительности своей личности и увѣковѣчиваетъ себя въ мірѣ событій. Въ такомъ дѣянніи, человѣкъ вѣченъ во временности, безконеченъ въ конечности, представитель рода и самого сея (**), живой и сознательный органъ своей эпохи.

Истина, высказанная нами, далека отъ того, чтобъ быть сознанною. Могущественнѣйшіе и величайшіе представители современнаго человѣчества поняли мысль и дѣянніе разнo и односторонно. Степенная, глубоко чувствующая и созерцающая Германія опредѣлила себя человѣка какъ мышленіе, науку признала пѣлью и нравственную свободу поняла только какъ внутреннее начало. Она никогда не имѣла вполнѣ-развитаго смысла практической дѣя-

(*) Аристотель.

(**) Надъ этими выраженіями посмѣются наши люстихи; не будемъ такъ робки, пусть люстихи посмѣются, на то они люстихи. Смѣхъ для нихъ вознагражденіе непониманью; изъ человѣколюбія надобно имъ предоставить такой дешевый *реванжъ*.

тельности; обобщая каждый вопросъ, она выходила изъ жизни въ отвлеченія и оканчивала одностороннимъ разрѣшеніемъ. Савонарола, слѣдуя инстинкту жизни романскихъ народовъ, сдѣлался главою политической партіи (*). Германскіе реформаторы, уничтоживъ въ половинѣ Германіи католицизмъ, не выступили изъ области теологіи и схоластическихъ споровъ; фазы новой французской исторіи повторялись въ Германіи въ области науки и отчасти искусства. Германическій міръ имѣетъ самъ въ себѣ и противоположное направленіе, также отвлеченное и одностороннее. Англія одарена величайшимъ смысломъ жизни и дѣятельности; но всякое дѣяніе ея есть частное; общечеловѣческое у Британца превращается въ національное; всеобъемлющій вопросъ сводится на мѣстный. Англія моремъ отдѣлена отъ человѣчества и, гордая своей замкнутостью, не раскрываетъ своей груди интересамъ материка; Британецъ никогда не отступится отъ своей личности; онъ знаетъ великую заслугу свою, то неприкосновенное величіе, тотъ нимбъ уваженія, которымъ онъ окружилъ именно идею личности. Заснувшіе народы Италіи и вновь выступающіе Испанцы не заявили никакихъ правъ на попринце, о которомъ мы говоримъ. Остаются два народа, на которые невольно обращается взглядъ. Съ одной стороны, Франція — самымъ счастливымъ образомъ поставленная относительно европейскаго міра, сбѣгающагося въ ней, опираясь на край романизма, и соприкасающаяся со всѣми видами германизма отъ Англіи, Бельгіи до странъ, прилегающихъ Рейну; романо-германская сама, она какъ-будто призвана примирить отвлеченную практичность средиземныхъ народовъ съ отвлеченной умозрительностью за-рейнской, поэтическую нѣгу солнечной Италіи съ индустріальной хлопотливостью туманнаго острова. Доселѣ, Франція и Германія не понимали другъ друга вполне; разное волновало ихъ, разное влекло ихъ, одни и тѣ же предметы выражались иными языками; весьма-недавно они узнали другъ-друга: ихъ

(*) Романскіе народы имѣютъ характеристику рѣзче Германцевъ, они опредѣленные цѣли свои исполняютъ съ чрезвычайной твердостью, обдуманностью и ловкостью.

познакомилъ Наполеонъ и, послѣ взаимныхъ посященій, когда улеглись страсти вмѣстѣ съ пороховымъ дымомъ, онѣ съ уваженіемъ склонились другъ передъ другомъ и признали другъ-друга. Но истиннаго единенія нѣтъ. Наука Германіи упорно не переплываетъ Рейна; бѣглый умъ Француза предупреждаетъ діалектическое развитіе, хватается изъ середины какую-нибудь мысль и торопится осуществить ее. Грядущему предлежитъ разрѣшить: на сколько Франція можетъ быть органомъ примиренія науки и жизни; впрочемъ, не надобно ошибаться, принимая слишкомъ-рѣзко противоположность Франціи и Германіи; она часто совершенно выѣшняя. Франція своимъ путемъ дошла до заключеній очень близкихъ къ заключеніямъ науки германской, но не умѣетъ перенести ихъ на всеобщій языкъ науки; такъ-какъ Германія не умѣетъ языкомъ жизни повторить логику. И сверхъ-того, наука германская искони пользовалась Франціей. Не говоря о Декартѣ, вліяніе энциклопедистовъ было очень-сильно; ей никогда не достигнуть бы своей зрѣлости безъ фактическаго обилія разработаннаго по всѣмъ отраслямъ во Франціи. Съ другой стороны, можетъ, тутъ раскроется великое призваніе бросить нашу сѣверную гривну въ хранилищницу человѣческаго разумѣнія; можетъ, мы, маложившіе въ быломъ, явимся представителями дѣйствительнаго единства науки и жизни, слова и дѣла. Въ исторіи, поздно приходящимъ не кости, а сочные плоды. Въ-самомъ-дѣлѣ, въ нашемъ характерѣ есть нѣчто соединяющее лучшую сторону Французовъ съ лучшей стороной Германцевъ. Мы несравненно способнѣе къ наукообразному мышленію, нежели Французы и намъ рѣшительно невозможна мѣщански-филистерская жизнь Нѣмцевъ; въ насъ есть что-то gentlemanlike, чего именно нѣтъ у Нѣмцевъ, и на челѣ нашемъ проступаетъ слѣдъ величавой мысли, какъ-то не сосредоточивающейся на челѣ Француза.

Но не будемъ забѣгать въ будущее и возвратимся. Философы Германіи какъ-то провидѣли, что дѣяніе а не наука, цѣль чело-вѣка. Это была часто гениальная пророческая непослѣдовательность, насильно врывавшаяся въ безстрастныя и суровыя логическія построения. Самъ Гегель болѣе намекнулъ, нежели развилъ мысль о дѣяніи. Это дѣло не его эпохи,—дѣло эпохи нмѣ поро-ж-

денной. Гегель, раскрывая области духа, говорит о искусствѣ, наукѣ, и забываетъ практическую дѣятельность, вплетенную во всѣ событія исторіи. Но рядъ мыслителей Германіи, замыкающійся Гегелемъ, не должно ставить на одну доску съ настоящими формалистами. Они не имѣли иныхъ требованій, кромѣ потребности вѣдѣнія, но это было своевременно; они труженически разработали для человѣчества путь науки; для нихъ примиреніе въ наукѣ было наградой; они имѣли право, по историческому мѣсту своему, удовлетвориться во всеобщемъ; они были призваны свидѣтельствовать міру о совершившемся самопознаніи и указать путь къ нему: въ этомъ состояло *ихъ дѣяніе*. Мы совсѣмъ чужды въ томъ положеніи; для насъ жизнь въ отвлеченно-всеобщихъ сферахъ несвоевременность, личная охота. Всякая восходящая сфера имѣетъ притязаніе на исключительное господство и безусловное значеніе; въ ра въ него—главнѣйшее условіе успѣха, но дальнѣйшее развитіе во времени необходимо переходитъ мнимо-безусловную сферу и эта необходимость перехода гораздо съ большей справедливостью можетъ казаться безусловной. Гегель чрезвычайно-глубокомысленно сказалъ: „понять *то, что есть*—задача философіи, ибо *то, что есть*—разумъ. Какъ всякая личность *произведеніе своего времени*, такъ философія есть въ *мысляхъ схваченная эпоха*; нелѣпо предположить, что кака-нибудь философія переходила свой современный міръ“ (*). Задача реформаціоннаго міра была понять, но понятіемъ не замыкается воля. Философы забыли о положительной дѣятельности. Бѣды въ этомъ не было. Практическія сферы все не лишены языка; онѣ заявили свой голосъ, когда время пришло. Оно пришло быстро; человѣчество несется теперь какъ по желѣзной дорогѣ. Годы-вѣка. Едва прошло десять лѣтъ послѣ смерти Гёте и Гегеля, величайшихъ представителей искусства и науки, какъ самый Шеллингъ, увлеченный новымъ направленіемъ, сталъ дѣлать совершенно инныя требованія, нежели съ которыми явился проповѣдывать науку въ началѣ XIX вѣка. Ренегатство Шеллинга во всякомъ случаѣ событіе важное и многозначительное. Шеллингъ болѣе обладаетъ поэтическимъ созерцаніемъ, чѣмъ

(*) Philos. des Rechts, Vorrede. Курсивомъ напечатанное, подчеркнуто въ текстѣ.

діалектикой, и именно какъ Vates онъ испугался океана всеобщаго, готовившагося поглотить весь потокъ умственной дѣятельности; онъ пошелъ вспять, несладивши съ послѣдствіями своихъ началъ, и вышелъ изъ современности, указывая на большое мѣсто. Во всей германской атмосферѣ носятъ новыя вопросы о жизни и наукѣ—это очевидный фактъ въ журналистикѣ, въ изящныхъ произведеніяхъ, въ книгахъ. Забытая въ наукѣ личность потребовала своихъ правъ, потребовала жизни, трепещущей страстями и удовлетворяющейся однимъ творческимъ, свободнымъ дѣланіемъ. Послѣ отрицанія, совершеннаго въ сферѣ мышленія, она захотѣла отрицаній въ другихъ сферахъ: необходимость личности обличилась. Человѣкъ требуетъ ее, а наука, взявшая все, признаетъ это право; она не удерживаетъ, она благословляетъ въ жизнь личную, въ жизнь свободного дѣянія, во имя абсолютной безличности.

Да, наука есть царство безличности, успокоенное отъ страстей, почившее въ величавомъ самопознаніи, озаренное всепроникающимъ свѣтомъ разума—царство идеи. Не мертвое, не остывшее какъ трупъ, но покойное въ самомъ движеніи своемъ какъ океанъ. Въ наукѣ, сонмъ Олимпійцевъ, а не люди; *матери*, къ которымъ ходилъ Фаустъ. Въ наукѣ истина облеченная не въ вещественное тѣло, а въ логическій организмъ, живая архитектурой діалектическаго развитія, а не эпопеей временнаго бытія; въ ней законъ—мысль исторгнутая, спасенная отъ бурь существованія, отъ возмущеній внѣшнихъ и случайныхъ; въ ней раздается симфонія сферъ небесныхъ и каждый звукъ ея имѣетъ въ себѣ вѣчность, потому что въ немъ была необходимость, потому что случайный стонъ временнаго не достигаетъ такъ высоко. Мы согласны съ формалистами, наука *выше* жизни, но въ этой высотѣ свидѣтельство ея односторонности; конкретно истинное не можетъ быть ни выше, ни ниже жизни, оно должно быть въ самомъ средоточіи ея, какъ сердце въ срединѣ организма. Отъ-того, что наука выше жизни, ея область отвлеченна, *ея полнота не полна*. Живая цѣлость состоитъ не изъ всеобщаго снявшаго частное, но изъ всеобщаго и частнаго взаимно другъ въ друга стремящихся и другъ отъ друга отторгающихся, ея нѣтъ ни въ какомъ моментѣ, ибо всѣ моменты ея; какъ бы ни казались самобытны и исчерпывающи иныя оп-

редѣленія, они таютъ отъ огня жизни и вливаются, теряя односторонность свою въ широкій, всепоглощающій потокъ.... Разумъ сущій прояснилъ для себя въ наукѣ, свелъ свои счета съ прошедшимъ и настоящимъ,—но осуществиться будущему надобно не въ одной всеобщей сферѣ. Въ ней будущности собственно нѣтъ, потому-что она предузнана, какъ неминуемое логическое послѣдствіе, но такое осуществленіе бѣдно своей отвлеченностью; мысль должна принять плоть, сойти на торжищѣ жизни, раскрыться со всею роскошью и красотой временнаго бытія, безъ котораго нѣтъ животрепещущаго, страстнаго, увлекательнаго дѣянія.

Warum bin ich vergänglich, o Zeus? so fragte die Schönheit.

Macht ich doch, sagte dek Gott, nur das Vergängliche schön.

Г О Е Т Т Е .

Наука не только сознала свою самозаконность, но себя сознала закономъ міра; переводя его въ мысль, она отрелась отъ него какъ отъ сущаго, улетучила его своимъ отрицаніемъ, противъ дыханія котораго ничто фактическое несостоятельно. Наука разрушаетъ въ области положительно-сущаго и созидаетъ въ области логики—таково ея призваніе. Но человѣкъ призванъ не въ одну логику—а еще въ міръ соціально-историческій, нравственно-свободный и положительно-дѣятельный; у него не одна способность отрѣшающагося пониманья, но и воля, которую можно назвать разумомъ положительнымъ, разумомъ творящимъ; человѣкъ не можетъ отказаться отъ участія въ человѣческомъ дѣянніи, совершающемся около него; онъ долженъ дѣйствовать въ своемъ мѣстѣ, въ своемъ времени—въ этомъ его всемірное призваніе, это *ego: conditio sine qua non*. Личность, выходящая изъ науки, не принадлежитъ болѣе ни частной жизни исключительно, ни исключительно всеобщимъ сферамъ; въ ней сочетались частное и общее въ единичности гражданского лица. Примирившись въ наукѣ—онъ жаждетъ примиренія въ жизни; но для этого надобно творчески одѣйствовать нравственную волю во всѣхъ практическихъ сферахъ.

Вина буддистовъ состоитъ въ томъ, что они не чувствуютъ потребности этого выхода въ жизнь—дѣйствительнаго осуществленія идеи. Они примиреніе науки принимаютъ за *всяческое* примиреніе; не за поводъ къ дѣйствованію, а за совершенное, замкнутое

удовлетвореніе. А тамъ хоть трава не роси за переплетомъ книги. Они все снесутъ за пустоту всеобщности. Буддисты индійскіе стремятся *цплью бытія* купить свободу въ Буддѣ. Будда для нихъ именно отвлеченная безконечность, ничего. Наука покорила человѣку міръ, больше—покорила исторію не для того, чтобъ онъ могъ отдыхать. Всеобщность, удерживаемая въ своей отвлеченности, всегда ведетъ къ сонному уничтоженію дѣятельности, таковъ индійскій квіетизмъ.—Гранитный міръ событій, подвергаясь огненной струѣ отрицанія, не имѣетъ силы противостоятъ и низвергается растопленной каскадой въ океанъ науки. Но человѣкъ долженъ переплыть океанъ для того, чтобъ снова начать дѣйствование въ иномъ свѣтѣ, въ обѣтованной Атлантидѣ. Начать не инстинктомъ, не по внѣшнимъ наталкиваніямъ, не съ скорбнымъ метаньемъ во всѣ стороны, не съ темнымъ предчувствіемъ, а съ полной нравственной свободой. Человѣкъ не можетъ примириться, пока все окружающее не приведено въ согласіе съ нимъ. Формалисты довольствуются тѣмъ, что выплыли въ море, качаются на поверхности его, не плывутъ ни куда и оканчиваютъ тѣмъ, что обхватываются льдомъ, не замѣчая того; наружно для нихъ тѣ же стремящіяся прозрачныя волны—но въ-самомъ-дѣлѣ это мертвый ледъ, украсившій очертанія движенія, живая струя замерла сталактитомъ, все окоченѣло. Формалисты сами приняли характеръ льда и нанесли ужасный вредъ наукѣ, говоря ея языкомъ и высказывая безжалостные приговоры свои, отъ которыхъ вѣетъ полярной стужей; весь блескъ ихъ рѣчи—блескъ льда, водяной, мертвый, по которому лучъ солнца скользитъ, но не грѣетъ, который скорѣе уничтожится, нежели пріиметъ теплоту. Слушавшіе содрогнулись, замѣтивъ отсутствіе любви у большой части берлинскихъ и иныхъ корифеевъ формализма, этихъ *талмудистовъ* новой науки. Взявъ однѣ буквы, одни слова, они ими заглушили всякое состраданіе, всякое теплое сочувствіе. Они намѣренно, съ усиліями поднялись на точку равнодушія ко всему человѣческому, считая ее за истинную высоту; имъ не всегда надобно вѣрить, что они безъ сердца—они часто прикидываются такими (новаго рода *captatio benevolentiae*). Формальныя разрѣшенія принимаются ими всегда и вездѣ за дѣйствительныя.

Имъ казалось, что личность дурная привычка, отъ которой пора отстать; они проповѣдывали примиреніе со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словомъ все, что ни встрѣтится на улицѣ, *дѣйствительнымъ* и слѣдственно имѣющимъ право на признаніе; такъ поняли они великую мысль, „что все дѣйствительное разумно;“ они всякій благородный порывъ клеймили названіемъ *Schönseeligkeit*, не усвоивъ себѣ смысла, въ которомъ слово это употреблено ихъ учителемъ (*). Если присовокупимъ къ этимъ результатамъ напыщенный и нелѣпый языкъ, надменность ограниченности, то отдадимъ справедливость вѣрному такту общества, смотрѣвшаго съ недовѣріемъ на этихъ фигляровъ науки. Гегель гдѣ только могъ просилъ, умолялъ опасаться формализма (**), доказывалъ, что самое истинное опредѣленіе, взятое въ его завышенности, буквальности, доведетъ до бѣды, бранился наконецъ—ничего не помогало. Они его-то фразы и свинтили, его-то и поняли буквально. Они не могутъ привыкнуть къ вѣчному движенію истины, не могутъ разъ-на-всегда признать, что всякое положеніе отрицается въ пользу высшаго, и что только въ преемственной послѣдовательности этихъ положеній, бореній и снятій проторгается живая истина, что это ея змѣняющія шкуры, изъ которыхъ она выходитъ свободнѣе и свободнѣе. Они (не смотря на то, что толкуютъ о чѣмъ-то подобномъ) не могутъ привыкнуть, что въ развитіи науки нѣ на что опереться, что одно спасеніе въ быстромъ, стремительномъ движеніи. Они цѣпляются за каждый моментъ, какъ за истину; какое-нибудь одностороннее опредѣленіе принимаютъ за всѣ опредѣленія предмета, имъ надобно сентенціи, готовые правила, пробравшись до станціи—они—смѣшно-довѣрчивые—полагаютъ всякій разъ, что достигли абсолютной цѣли и располагаются отдыхать. Они строго держатся текста—и отъ-того не могутъ усвоить себѣ его. Мало понимать то, что сказано, что написано; надобно понимать то, что свѣтится

(*) „Есть болѣе полный миръ съ дѣйствительностію, доставляемый познаніемъ ея, нежели отчаянное сознаніе, что временное дурно или неудовлетворительно, но что съ нимъ слѣдуетъ примириться, потому-что оно лучше не можетъ быть.“ *Philos. des Rechts.*

(**) На-прим. во всемъ предисловіи въ *Феноменологіи*.

въ глазахъ, что вѣсть между строевъ, надобно такъ усвоить себѣ книгу, чтобъ выйти изъ нея. Такъ понимаетъ *живущій* науку; пониманье есть обличеніе однородности, которая предсуществуетъ. Наука живому передается жизненно, формалисту—формально. Посмотрите на Фауста и его фамулуса: Фаусту наука жизненный вопросъ „быть или не быть“; онъ можетъ глубоко падать, унывать, впадать въ ошибки, искать всякихъ наслажденій, но его натура глубоко проникаетъ за кору внѣшности, его ложь имѣетъ болѣе истины въ себѣ нежели плоская, непогрѣшительная правда Вагнера. Трудное Фаусту легко Вагнеру. Вагнеръ удивляется какъ Фаустъ не понимаетъ простыхъ вещей. Надо имѣть много ума, чтобъ не понять иного. Вагнера наука не мучитъ, напротивъ утѣшаетъ, успокоиваетъ, отраду въ скорби подаетъ. Онъ покой свой купилъ на мѣдные гроши, отъ-того, что онъ не беспокоился собственнo никогда. Гдѣ онъ видѣлъ единство, примиреніе, разрѣшеніе и улыбался, тамъ Фаустъ видѣлъ расторженіе, ненависть, усложнившійся вопросъ—и страдалъ.

Каждый занимающійся *проходитъ* черезъ формализмъ, это одинъ изъ моментовъ становленія; но имѣющій живую душу проходитъ, а формалистъ остается; для одного формализмъ ступень, для другаго цѣль. Такъ природа, достигая совершенія своего въ человѣкѣ, останавливается на каждой попыткѣ, увѣковѣчивая ее родомъ, вѣчно свидѣтельствующимъ о пройденномъ моментѣ, который для него высшая, единая форма бытія. Но ни природа, ни наука не могли удовлетвориться не дойдя до послѣднихъ слѣдствій, заключенныхъ въ ихъ понятіи. Природа перешла себя въ человѣкѣ, или наступила себѣ на грудь. Наука нынче представляетъ то же зрѣлище: она достигла высшаго призванія своего; она явилась солнцемъ всеосвѣщающимъ, разумомъ факта и слѣдственно оправданіемъ его; но она не остановилась, не сѣла отдыхать на тронѣ своего величія; она перешла свою высшую точку и указываетъ путь изъ себя въ жизнь практическую, сознаваясь, что въ ней не весь духъ человѣческій исчерпанъ, хотя и весь понятъ. Она этимъ погруженіемъ въ жизнь не теряетъ своего трона; однажды побѣжденное въ этихъ сферахъ—побѣждено на вѣки; но и человѣкъ не теряетъ въ ней остальныхъ обитателей жизни. Правовѣрные буд-

дисты больше самой науки за науку, они рѣшились умереть защищая единоедержавное владычество ея надъ жизнію. „Наука есть наука и единый путь ея абстракція“ это стихъ ихъ Корана. Они на все отвѣчаютъ громкими словами и вмѣсто того, чтобъ наполнить въ самомъ дѣлѣ пропасти, дѣлящія сферы отвлеченныя отъ дѣйствительныхъ, противорѣчія въ жизни и мышленіи прикрываютъ ихъ легкими тканями искусственной діалектической *фіоритуры*. Растягивать все сущее на одръ формализма не трудно для тѣхъ, кто не внемлетъ никакому протесту со стороны сущаго. Профаны дивятся иногда какъ самые странные факты, чрезвычайныя явленія легко покоряются у формалистовъ общимъ законамъ, дивятся— а между тѣмъ чувствуютъ, что при этомъ сдѣланъ какой то фокусъ—изумительный, но непріятный для того, кто ищетъ добросовѣстнаго и дѣльнаго отвѣта. Формалистовъ, съ грѣхомъ пополамъ, можно оправдать только тѣмъ, что они себя первыхъ обманываютъ своими фокусами. Вольтеръ рассказываетъ, какъ докторъ увѣрялъ зрячаго, что онъ слѣпъ, доказывая ему, что неразумный фактъ его зрѣнія нисколько не противорѣчитъ его выводу, и что онъ все-таки принимаетъ его за слѣпаго. Такъ новые буддисты разговаривали съ Германцами до-тѣхъ-поръ, пока, не смотря на всю тихую и добрую натуру свою, Нѣмцы догадались въ чемъ дѣло. А дѣло въ томъ, что факты имъ и не покоряются вовсе. Они, какъ китайскій императоръ, считаютъ себя владѣтелями всего земнаго шара, что однакожь не мѣшаетъ всему земному шару за исключеніемъ Китая, вовсе не зависѣть отъ него.

Дилеттанты, находящіеся внѣ науки, могутъ иногда образумиться и въ-самомъ-дѣлѣ заняться наукой, по-крайней-мѣрѣ могутъ *оставаться въ подозрѣніи*, что съ ними случится такой переворотъ. Формалистовъ въ этомъ никакъ подозревать нельзя, они удовлетворились, покойны, дальше идти не могутъ; они не знаютъ и не могутъ себя представить, что есть дальше. Неизлѣчимо-отчаянное положеніе ихъ состоитъ въ этомъ чрезвычайномъ довольствѣ; они со всѣмъ примирились; ихъ взглядъ выражаетъ спокойствіе, немного стеклянное, но невозмущаемое изнутри; имъ осталось почивать и наслаждаться, прочее все сдѣлано или сдѣлается само-собою. Имъ удивительно, о чемъ люди хлопочутъ, когда все

объяснено, сознано и человечество достигло абсолютной формы бытія (*)—что доказано ясно тѣмъ, что современная философія есть абсолютная философія, а наука всегда является тождественною эпохѣ—но какъ ея результатъ, т. е. по совершеніи въ бытіи. Для нихъ такое доказательство неопровержимо. Фактами ихъ не смутить—они пренебрегаютъ ими. Спросите ихъ, отъ-чего при этой абсолютной формѣ бытія въ Манчестерѣ и Бирмингамѣ работники мрутъ съ голоду или прокармливаются на столько, на сколько нужно, чтобъ они не потеряли силъ. Они скажутъ, что это случайность. Спросите ихъ, какъ они слово абсолютное привязываютъ къ развивающимся событіямъ, къ сферамъ, которыя своимъ движеніемъ впередъ доказываютъ свою неабсолютность. „Да такъ сказано въ такомъ-то и такомъ-то параграфѣ. „Для нихъ и это доказательство, а въ какомъ смыслѣ принято слово въ этихъ параграфахъ—объ этомъ нечего и хлопотать. Раскрыть глаза формалистовъ трудно; они рѣшительно, какъ буддисты, мертвое уничтоженіе въ безконечномъ считаютъ свободой и цѣлью—и чѣмъ выше поднимаются въ морозныя сферы отвлеченій, отрываясь отъ всего живаго, тѣмъ покойнѣе себя чувствуютъ. Такъ эгоисты доставляютъ себѣ своего рода спокойное счастье, заглушая всѣ человѣческія чувства, удаляя отъ себя все непріятное, огорчительное. Но для эгоизма, какъ для формализма, надобно родиться. Всякій можетъ отвернуться отъ картины страданій, но не всякій перестаетъ стонать отъ этого. Гегель (подъ фирмою котораго идутъ всѣ нелѣпности формалистовъ нашего времени, такъ-какъ подъ фирмой Фарина продается одеколонъ, дѣлаемый на всѣхъ точкахъ нашей планеты) вотъ какъ говоритъ о формализмѣ (*) „Нынѣ главный трудъ состоитъ не въ томъ, чтобъ очистить отъ чувственной непосредственности лицо и развить его въ мыслящую сущность, но болѣе въ противоположномъ, въ одѣйствованіи всеобщаго чрезъ снятіе отвердѣлыхъ, опредѣленныхъ мыслей. Но гораздо труднѣе сдѣлать текучими твердыя мысли, нежели чувственную веществен-

(*) Это не выдумка, а сказано въ байергоферовой „Исторіи Философіи“. (Die Idee und Geschichte der Philosophie, von Bayerhoffer. Leipzig. 1838. Последняя глава).

(*) Phenomenologie. Vorrede.

ность "... Формализмъ принимаетъ отвлеченную всеобщность за безусловное; онъ увѣряетъ, что быть не удовлетвореннымъ ею, доказываетъ неспособность подняться въ безусловную точку зрѣнія и держаться на высотѣ ея. Онъ все приписываетъ всеобщей идеѣ въ ея недѣйствительной формѣ и принимаетъ за спекулятивность бросанье и низверженье всего въ пропасть этой страшной пустоты. Разсматриваніе чего-либо сущаго въ безусловномъ сводится на то, что въ немъ все одинаково, и безусловное дѣлается такимъ образомъ ночью, въ которой всѣ коровы черныя. Если нѣкогда людямъ показалось возмутительно принять безусловное за субстанцію, то долею основа этого отвращенія лежала въ инстинктуальномъ прозрѣніи, что сомопознаніе потеряно, а не сохранено въ субстанціи; обратное воззрѣніе, останавливающее мышленіе, какъ мышленіе, всеобщее какъ таковое, есть опять безразличная, неподвижная субстанціальность. Даже, если мышленіе соединяетъ бытіе субстанціи съ собою и непосредственное воззрѣніе (das Anschauen) постигаетъ, какъ мышленіе, то и тутъ все зависитъ отъ того, не впадаетъ ли это умозрѣніе въ лѣнливое однообразіе, и не представится ли дѣйствительность не дѣйствительнымъ образомъ. Въ Философіи Права Гегель говоритъ: „между самопознаніемъ и дѣйствительностію всего чаще становится отвлеченность, неосвоившаяся въ понятіе“. Читая эти и подобныя мѣста, съ изумленіемъ спрашиваешь, какъ добрые люди всю жизнь читаютъ Гегеля и не понимаютъ. Человѣкъ читаетъ книгу, но понимаетъ собственно то, что въ его головѣ. Это зналъ тотъ китайскій императоръ, который учившись у миссіонера математикѣ, послѣ всякаго урока благодарилъ, что онъ напомнилъ ему забытыя истинны, которыя онъ не могъ не знать, будучи par metier всезнающимъ сномъ неба. Въ-самомъ-дѣлѣ такъ. Читая Гегеля, только то понимаютъ, что онъ напоминаетъ, то, что неразвито предсуществовало чтенію. Дѣло книги собственно акушерское дѣло—способствовать, облегчить рожденіе, но что родится, за это акушеръ не отвѣчаетъ. Ненадобно, впрочемъ, думать, чтобъ Гегель самъ не впадалъ много разъ въ нѣмецкую болѣзнь, состоящую въ признаніи вѣдѣнія послѣдней цѣлью всемірной исторіи. Онъ это гдѣ-то прямо сказалъ(*)

(*) Помнится въ „Исторіи Философіи“.

Мы говорили въ третьей статьѣ о томъ, что Гегель часто не-
последователенъ своимъ началамъ. Никто не можетъ стать выше
своего времени. Въ немъ наука имѣла величайшаго представителя;
доведа ее до крайней точки—онъ нанесъ ее могуществу какъ иск-
лючительному, можетъ не-хотя, сильный ударъ, ибо каждый шагъ
впередъ долженствовалъ быть шагомъ въ практическія сферы. Ему
лично довѣло знаніе и потому онъ не сдѣлалъ этого шага. Наука
была для германо-реформаціоннаго міра то, что искусство для эл-
линскаго. Но ни искусство, ни наука въ своей исключительности
не могли служить полнымъ успокоеніемъ и отвѣтомъ на всѣ тре-
бованія. Искусство представило, наука поняла. Новый вѣкъ тре-
буетъ совершить понятое въ дѣйствительномъ мірѣ событій. Ге-
ніальная натура Гегеля непрерывно порывала пути, накладываемыя
духомъ времени, воспитаніемъ, привычкой, образомъ жизни,
званіемъ профессора. Посмотрите, какъ торжественно разверты-
вается у него философія права; не фразу, не выраженіе намѣрены
мы указать, а внутреннюю настоящую мысль, душу книги. Области
отвлеченнаго права разрѣшаются, снимаются міромъ нравствен-
ности, царствомъ нормъ, правомъ просвѣтленнымъ для себя. Но
Гегель этимъ не оканчиваетъ, а устремляется съ высоты идеи
права въ потокъ всемірной исторіи, въ океанъ исторіи. Наука права
совершается, вѣнчается, выходитъ изъ себя. Процессъ развитія
личности тотъ же самый. Мутныя индивидуальности, вырабаты-
ваясь изъ естественной непосредственности, туманомъ поднимаются
въ сферу всеобщаго и просвѣтленныя солнцемъ идеи разрѣшаются
въ безконечной лазури всеобщаго; но они не уничтожаются въ ней,
принявъ въ себя всеобщее, они низвергаются благодатнымъ дож-
демъ, чистыми кристаллыными каплями на прежнюю землю. Все
величіе возвращенной личности состоитъ въ томъ, что она сохра-
нила оба міра, что она родъ и недѣлимое вмѣстѣ, что она *стала*
тѣмъ, чѣмъ родилась или лучше, къ чему родилась—сознательною
связью обоихъ міровъ; что она постигла свою всеобщность и со-
хранила единичность. Развитая такимъ образомъ личность, самое
вѣдѣніе принимаетъ за непосредственность *высшаго порядка*, а не
за совершеніе судебъ. Возвращеніе есть діалектическое движеніе
столь же необходимое, какъ *возрожденіе*. Пребываніе во всеоб-

щем—покой, т. е. смерть; жизнь идеи есть „вакхическое опьянѣніе, въ которое все увлечено, непрерывное возникновеніе и уничтоженіе никогда не останавливающееся и спокойное только въ этомъ движеніи“. Еще разъ, всеобщее не есть полная истина, а одна фраза ея, въ которой частное распустилось, а процессъ перехода уже совершился. Всеобщее представляетъ довременный или послѣвременный покой, но идея не можетъ пребывать въ покоѣ, она сама-собою выходитъ изъ области всеобщаго въ жизнь.

Полное *trio*, согласное и величественное, звучитъ только во всемирной исторіи, только въ ней живетъ идея полнотою жизни—въ ея отвлеченности, стремящіяся къ полнотѣ, алкающія другъ-друга. Непосредственность и мысль, два отрицанія, разрѣшающіяся въ дѣяніи исторіи. Единое для того расторгнулось въ противоположное, чтобъ соединиться въ исторіи. Природа и логика сняты и осуществлены ею. Въ природѣ все частно, индивидуально, врозь суще, едва обнято вещественною связью; въ природѣ идея существуетъ тѣлесно, безсознательно, подчиненная закону необходимости и влеченіямъ темнымъ, неснятымъ свободнымъ разумѣніемъ. Въ наукѣ, совсѣмъ напротивъ; идея существуетъ въ логическомъ организмѣ, все частное заморожено, все проникнуто свѣтомъ сознанія, *скрытая* мысль волнующая и приводящая въ движеніе природу, освобождаясь отъ физическаго бытія развитіемъ его, становится *открытой* мыслию науки. Какъ бы полна ни была наука, ея полнота отвлеченна, ея положеніе относительно природы отрицательно; она это знала со временъ Декарта, ясно противопоставившаго мышленіе факту, духъ—природѣ. Природа и наука, два выгнутыя зеркала, вѣчно отражающія другъ-друга; фокусъ, точку пересѣченія и сосредоточенности между окончанными мірами природы и логики, составляетъ личность человѣка. Природа, собираясь на каждой точкѣ, углубляясь болѣе-и-болѣе, оканчиваетъ человѣческимъ *я*; въ немъ она достигла своей цѣли. Личность человѣка, противопоставляя себя природѣ, борясь съ естественною непосредственностію, развѣртываетъ въ себѣ родовое, вѣчное, всеобщее, разумъ. Совершеніе этого развитія — цѣль науки. Вся прошедшая жизнь человѣчества, сознательно и безсознательно, имѣла идеаломъ стремленіе достигнуть разумнаго самопознанія и подня-

тія воли человѣческой къ волѣ божественной; во всѣ времена, человечество стремилось къ нравственно-благому, свободному дѣянію. Такого дѣянія въ исторіи не было и не могло быть. Ему должна была предшествовать наука; безъ вѣдѣнія, безъ полного сознанія нѣтъ истинно-свободнаго дѣянія; но полного сознанія въ прошедшей жизни человѣческой не было. Наука, приводя къ нему, оправдываетъ исторію и съ тѣмъ вмѣстѣ отрекается отъ нея; истинное дѣяніе не требуетъ для своего оправданія предъидущаго событія, исторія для него почва, непосредственность; все предшествующее необходимо въ генеизическомъ смыслѣ, но самобытность и самоозакононеніе грядущее столько же будетъ имѣть въ себѣ, какъ въ исторіи. Грядущее отнесется къ былому, какъ совершеннолѣтній сынъ къ отцу; для того, чтобъ родиться, для того, чтобъ сдѣлаться человѣкомъ, ему нуженъ воспитатель, ему нуженъ отецъ; но ставши человѣкомъ, связь съ отцомъ мѣняется — дѣлается выше, полнѣе любовью, свободнѣе. Лессингъ назвалъ развитіе человечества воспитаніемъ—выраженіе невѣрное, если взять его безусловно, но въ извѣстныхъ предѣлахъ оно удачно. Въ-самомъ-дѣлѣ, человечество доселѣ имѣетъ ясные признаки несовершенности; оно мало-по-малу воспитывается въ сознаніе. Единство этой педагогії теряется для не глубокаго взгляда за пышностію и многообразіемъ, за роскошью творчества, за преизбыткомъ формъ и силъ, по-видимому, не нужныхъ и противоборствующихъ. Но таковъ инстинктуальный путь развитія естественнаго, безсознательнаго къ сознанію, къ себяобладанію; обратимся къ природѣ: не ясная для себя, мучимая и томимая этой неясностію, стремясь къ цѣли ей неизвѣстной — но которая, съ тѣмъ вмѣстѣ, есть причина ея волненія — она тысячею формами домогается до сезнанія, одѣйствоворяетъ всѣ возможности, бросается во всѣ стороны, толкается во всѣ ворота, творя безчисленныя варіаціи на одну тему. Въ этомъ поэзія жизни, въ этомъ свидѣтельство внутренняго богатства. Каждая степень развитія въ природѣ есть вмѣстѣ и цѣль, относительная истина; она звѣно въ цѣпи, но кольцо для себя. Влекомая непонятной, великой тоской, природа возвышается отъ формы въ форму; но переходя въ высшее, она упорно держится въ прежней формѣ и развиваетъ ее до послѣдней край-

ности, какъ-будто все спасеніе въ этой формѣ. И въ-самомъ-дѣлѣ, достигнутая форма великая побѣда, торжество и радость; она всякій разъ высшее, *что есть*. Природа выступаетъ изъ нея во всѣ стороны (*). Отъ-того такъ тщетно искали вытянуть всѣ произведенія ея въ мертвую прямолинейность; у ней нѣтъ правильной табели о рангахъ. Произведенія природы не составляютъ одну лѣстницу; нѣтъ—они представляютъ лѣстницу и то, что идетъ по лѣстницѣ; каждая ступень вмѣстѣ и средство, и цѣль, и причина. *Idemque rerum naturae opus et rerum ipsa natura*, какъ сказалъ Плиній. Исторія человѣчества продолженіе исторіи природы; многообразіе, разнородность, встрѣчаемыя въ исторіи, поразительны: область стала шире, вопросъ выше, средства богаче, задняя мысль яснѣе—какъ же не усложниться путямъ? Развитіе съ каждымъ шагомъ становится глубже и съ тѣмъ вмѣстѣ сложнѣе; всего проще камень, спокойно отдыхающій на начальныхъ ступеняхъ. Гдѣ начинается сознаніе, тамъ начпнается нравственная свобода; каждая личность одѣйствуетъ *по-своему* призваніе, оставляя печать своей индивидуальности на событіяхъ. Народы—эти колоссальныя дѣйствующія лица всемірной драмы—исполняютъ дѣло всего человѣчества, какъ *свое дѣло*, придавая тѣмъ художническую окончанность и жизненную полноту дѣяніямъ. Народы представляли бы нѣчто жалкое, еслибъ они свою жизнь считали только одной ступенью неизвѣстному будущему; они были бы похожи на носильщиковъ, которымъ одна тяжесть ноши и трудъ пути а руно несомое другимъ. Природа не поступаетъ такъ съ своими безсознательными дѣтьми—какъ мы замѣтили; тѣмъ болѣе въ мірѣ сознанія не можетъ быть степени, которая не имѣла бы собственного удовлетворенія. Но духъ человѣчества, нося въ глубинѣ своей непреложную цѣль, вѣчное домогательство полного развитія, не могъ успокоиться ни въ одной изъ бывшихъ формъ; въ этомъ тайна его трансценденція, его перехватывающей личности (*übergreifende Subjectivität*). Не забудемъ однако, что каждая изъ бывшихъ формъ имѣла содержаніемъ его, и не было духу иной формы, какъ той, за грани которой онъ перешелъ, только потому-что онъ доросъ до

(*) Великая мысль Бюффона: „La nature ne fait jamais un pas qui ne soit en tous sens“.

нея, былъ ею и переросъ ее. Исторія дѣянія духа, такъ сказать, личность его, ибо „онъ есть то, что дѣлаетъ“ (*)—стремленіе безусловнаго примиренія, осуществленіе всего, что есть за душою, освобожденіе отъ естественныхъ и искусственныхъ путъ. Каждый шагъ въ исторіи, поглощая и осуществляя *весь* духъ своего времени, имѣетъ свою полноту—однимъ словомъ—личность кипящую жизнію. Народы, ощущая призваніе выступить на всемірно-историческое поприще, услышавъ гласъ, возвѣщавшій, что часъ ихъ насталъ, проникались огнемъ вдохновенія, оживали двойною жизнію, являли силы, которыя никто не смѣлъ бы предполагать въ нихъ, и которыя они сами не подозрѣвали; степи и лѣса обстроивались весями, науки и художества расцвѣтали, гигантскіе труды совершались для того, чтобъ приготовить караван-сарай грядущей идеѣ, а она—величественный потокъ—текла далѣе и далѣе, захватывая болѣе-и-болѣе. Но эти караван-сарай не внѣшнія гостиницы идеи, а ея плоть, безъ которой она не могла бы осуществиться,—чрево матери, принявшее прошедшее для будущаго, но и живое своею жизнію; каждая фаза историческаго развитія имѣла сама-въ-себѣ цѣль и, слѣдственно, награду и удовлетвореніе. Для греческаго міра, его призваніе было безусловно; за предѣлами своего міра, онъ ничего не видалъ и не могъ видѣть, ибо тогда *не было* еще будущаго. Будущее возможность, а не дѣйствительность: его собственно нѣтъ. Идеаль для всякой эпохи—она сама, очищенная отъ случайности, преображенное созерцаніе настоящаго. Разумѣется, чѣмъ всеобъемлемѣе и полнѣе настоящее, тѣмъ всемірнѣе и истиннѣе его идеаль. Такова наша эпоха. Народы, глядя на совершеніе судебъ человѣчества, не знали аккорда, связывавшаго ихъ звуки въ единую симфонію. Августинъ на развалинахъ древняго міра возвѣстилъ высокую мысль о веси Господней, къ построенію которой идетъ человѣчество, и указалъ вдали торжественную субботу успокоеній. Это было поэтико-религіозное начало философія исторіи; оно очевидно лежало въ христіанствѣ, но долго не понимали его; не болѣе, какъ вѣкъ тому назадъ, человѣчество подумало и въ-самомъ-дѣлѣ стало спрашивать отчета

(*) Philos. des Rechts.

въ своей жизни, провидя, что оно не даромъ идетъ, и что біографія его имѣетъ глубокий и единый всесвязывающій смыслъ. Этимъ совершеннолѣтнимъ вопросомъ, оно указало, что воспитаніе оканчивается. Наука взялась отвѣчать на него; едва она высказала отвѣтъ, явилась у людей потребность выхода изъ науки — второй признакъ совершеннолѣтія. Но для того, чтобъ своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полнотѣ свое призваніе; пока хоть одна твердая точка остается непокоренною самопознаніемъ — внѣшнее будетъ противоѣствовать. Число неподвижныхъ становится менѣе-и-менѣе, но онѣ еще есть. Воспитаніе предполагаетъ внѣ-сущую, готовую истину; съ того мгновенія, какъ человѣкъ пойметъ истину, она будетъ у него въ груди, и тогда дѣло воспитанія исчерпано — дѣло сознательнаго дѣянія начнется. Изъ вратъ храма науки, человѣчество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ челомъ, вдохновенное сознаніемъ: *omnia sua secum portans* — на творческое созданіе веси Божіей. Примиреніе науки въѣдѣніемъ сняло противорѣчія. Примиреніе въ жизни сниметъ ихъ блаженствомъ (*). Примиреніе въ жизни, есть плодъ другаго древа эдемскаго, его надобно было заслужить Адаму въ кровавомъ потѣ, въ тяжкихъ трудахъ — и онъ заслужилъ его.

Но какъ будетъ это? Какъ именно принадлежитъ будущему. Мы можемъ предузнавать будущее, потому-что мы посылки, на которыхъ оснуется его силлогизмъ—но только общимъ, отвлеченнымъ образомъ. Когда настанетъ время, молнія событій раздеретъ тучи, сожжетъ препятствія и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженіи. Но вѣра въ будущее наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему.

И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими дѣяніями.

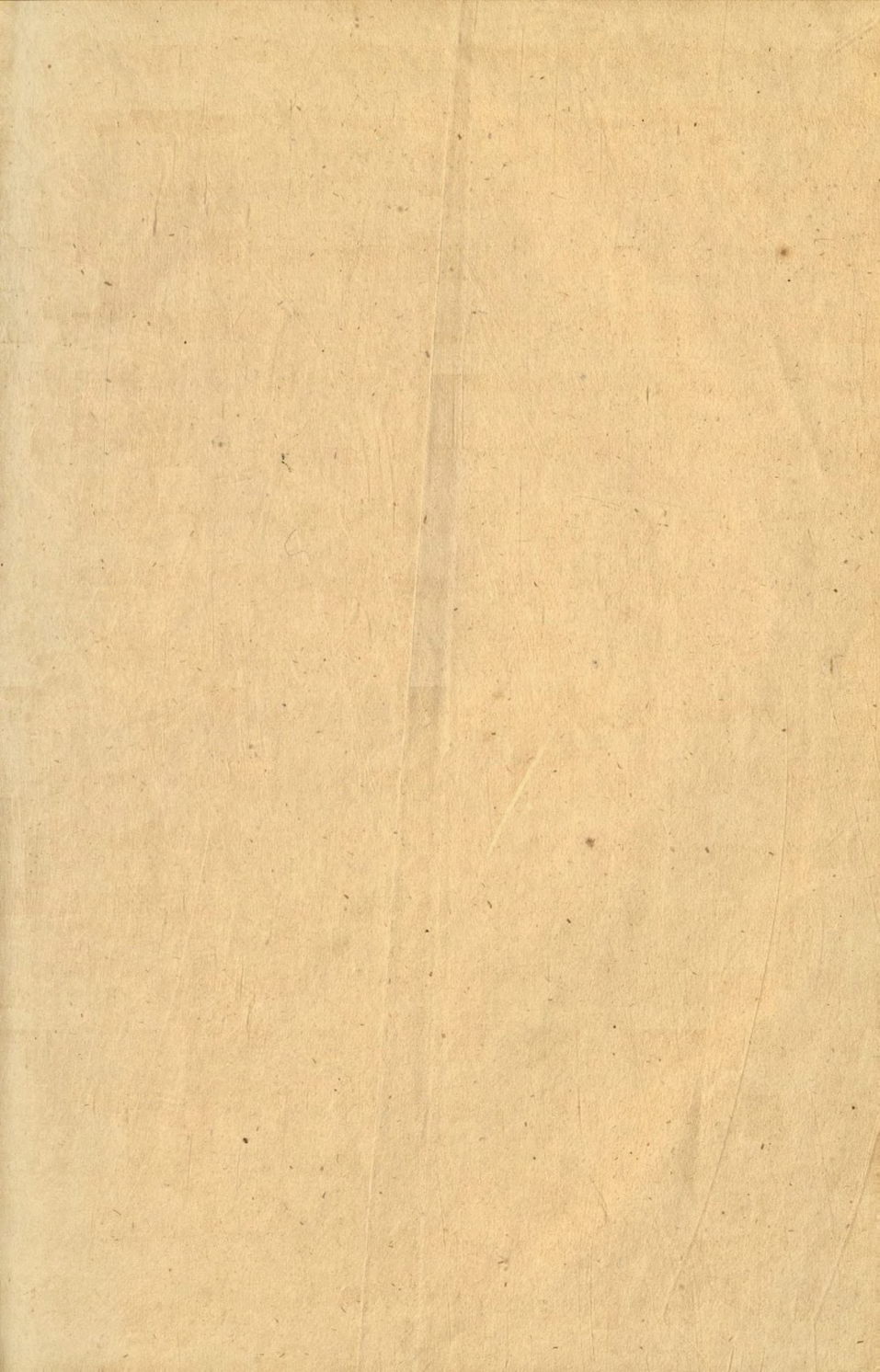
23 марта, 1843.

(*) При этомъ невольно вспомнилась великая мысль Спинозы: „*Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa virtus*“.

ГЛАВНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ.

<i>Стр.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Должно быть.</i>
13	10 сверху	Цецеронъ	Циперонъ
50	3 снизу	сторонней	стороной
51	12 сверху	а не спорю	и не спорю
68	9 сверху	знать	занять
69	7 сверху	пленою	плевою
74	12 сверху	понять событіе	понять. Понять событіе
74	19 сверху	себя: въ положеніи	себя, хотя въ положеніи
75	6 сверху	бóленья	хóленья
75	8 сверху	хоть истинно	хоть разъ истинно
76	5 сверху	истокъ	истока
77	8 снизу	разума,	разуму,
80	11 сверху	сedy.	сady,
88	7 снизу	характеръ, это	характеръ? Это
94	8 снизу	Жакато	Жакото
101	17 сверху	моди	люди
105	7 сверху	требованію	презрѣнію
114	13 снизу	поминанье	пониманье
116	4 снизу	страшный	страстный
119	2 снизу	невинности, французскіе	невинности и французскіе.
139	7 снизу	строить	скроить
141	9 сверху	ого	его
143	7 снизу	переломоть	переломить
159	11 сверху	течки	точки
169	13 снизу	этотъ	этомъ
208	10 снизу	ококо	около
252	12 сверху	но только	не только
254	14 снизу	Франія	Франція
256	11 снизу	вѣходили	выходили
340	3 сверху	съ каждымъ	съ каждымъ
342	15 снизу	положенія	положеніе

CLARENCE B. BROWN



25. ИВАНОВЪ, А. Разсказы о землѣ и о небѣ. Ц. 15 к.
26. ГЕЙДУКЪ. Вглядѣ иностранца на нѣмѣннее положеніе
сельскаго хозяйства въ Россіи. Ц. 50 к.
27. ЛАЗАРЕВИЧЪ, ПРОФЕССОРЪ. О циркированіи въ мѣстѣ
Ц. 75 к.
28. СТАНИСЛАВСКИЙ, ПРОФ. ЕС. Записки Римскаго права. II
3 р. 50 к.
29. КАНДАУРОВЪ. Могильные оеки, романъ. Ц. 1 р. 30 к.
30. КОВАЛЕВСКИЙ, Н. Изъ жизни. Разсказы и повѣсти. Ц. 2 р.
31. ПОВЫШЕННАЯ АЗБУКА съ краткимъ руководствомъ къ обу-
ченію грамотѣ по звуковому методу. Пять листовъ буевъ больша-
го размѣра со всеми знаками писанія и цифрами для *одно-
временнаго* ознакомленія съ *чтеніемъ* и *писаніемъ*. Ц. 50 к.
32. РУССКІЯ ПРОПИСИ съ руководствомъ къ обученію *писанію*.
Ц. 40 к.
33. ТЕТРАДИ ГРАФИЧЕСКИХЪ СЪѢТЪ для самообученія
писанію. Цѣна каждой тетради 20 к.
34. ЛЕО. Популярное изложеніе тѣленія и дѣтства. Ц. 1 р. 50 к.
35. ЗИГМУНДЪ. Леченіе спѣлиса втираніями *сѣрной* ртутной
мази. Ц. 60 к.
36. ЛЕВЦЯ ОШПОЛЦЕРА по частной патологіи и терапіи. 3
выпуски. Ц. 3 р.

Гдѣ иотородныя и кнжопродавцы за означенными изданіями мо-
гутъ обращаться по слѣдующему адресу: въ Москвѣ, на Арбату-
ской, въ Афискобесскій мѣ, домъ, дѣлѣ Спечинская, Екате-
ринѣ Архидеиитъ Троянъ. Ниребѣжу кнжѣ издательница при-
нимаетъ на свой счетъ и, сверхъ того, кнжопродавцамъ дѣлается
уступка съ коминальной цѣны 20%.